

Липкин

Семен Липкин
«Угль, пылающий огнем...»

Российский государственный гуманитарный университет

Мандельштамовское общество

Кабинет мандельштамоведения
научной библиотеки РГГУ



Записки Мандельштамовского общества
Том 15

Семен Липкин
«Угль, пылающий огнем...»

Воспоминания о Мандельштаме.

Стихи, статьи, переписка

Москва
2008

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2Рос-Рус)6я43
С30

Редакционная коллегия:

*О. Лекманов, И. Делекторская, Д. Мамедова,
П. Нерлер (гл. редактор), Н. Поболь, Ю. Фрейдин*

Составители:

П. Нерлер, Н. Поболь, Д. Полищук

Художник М. Гуров

Содержание

<i>От составителей</i>	9
Семен Липкин	
<i>Об Осипе Мандельштаме</i>	
«Угль, пылающий огнем...». <i>Воспоминания</i>	13
Молдавский язык	36
<i>Стихотворения, не входившие в сборники</i>	37
<i>Статьи и выступления</i>	
От переводчика (Джангар. Калмыцкий народный эпос) ...	101
Гравюры «Джангариады»	105
Анкета «Вестника РХД» к столетию Анны Ахматовой (1889–1966)	109
Катаев и Одесса	110
Культура бессмертна	120
О стихах Юлии Нейман	123
«Преодолей соблазн страницы...» (о стихах Павла Нерлера)	124
Собственная жизнь – это клад	126
Праздничный день	142
О моих мемуарах	143
Дух Гитлера одолел дух Сталина. Размышления о Дне Победы	146
Когда я отдыхал в Малеевке	147
Однажды в «Знамени»...	151
<О Каверине. К 100-летию со дня рождения>	155
Я счастье отработал не только стихами	156
Я танцевал лезгинку	159
Заметки из рабочих тетрадей	160
Мнение. <i>Стихотворения Инны Лиснянской</i>	163
<i>Из переписки</i>	
«Истинная сила – доброта» (Два письма Василия Гроссмана)	166
Письма С.И. Липкина Л.К. Чуковской	169

С. И. Липкин и А.А. Ахматова.	
Из истории взаимоотношений	172
Образ и давление времени. Открытое письмо	175
Письмо С.И. Липкина М.В. Фаворской	180
Письма С.И. Липкина Е. Макаровой	181
Из переписки с А.И. Солженицыным	192

Интервью

Я хотел передать музыку киргизской поэзии.	
<i>Беседа с Валерием Ровинским</i>	195
«Стихи пишутся сами...» <i>Беседу вел Дмитрий Полищук</i>	201
Нынешняя власть не заинтересована в литературе.	
Это хорошо. <i>Беседу вела Ирина Тосунян</i>	210
Покурим, Семен Израилевич?	
<i>Беседу вела Юнна Чуприна</i>	218
Искусство не знает старости.	
<i>Беседу вела Ольга Постникова</i>	225
Воспоминания о поэте Арсении Тарковском.	
<i>Беседа с А.Н. Кривомазовым</i>	248
«Я родился при царе и девять лет жизни прожил в нормальных условиях».	
<i>Беседу вела Екатерина Варкан</i>	258
Мы – бедные наследники великой литературы.	
<i>Беседу вела Лиза Новикова</i>	268
«Тем, кого я переводил, я часто советовал, что убрать, где расширить...» <i>Беседу вела Елена Калашникова</i> ...	270
С вершины горы. <i>Беседу вел Лев Алейник</i>	276
Преодоление века. <i>Беседу вел Ян Шенкман</i>	281

О Семене Липкине

Портреты и свидетельства

<i>Сергей Аверинцев</i> . Ответственное свидетельство	287
<i>Василий Аксенов</i> . «Дышат в его стихах Бог и Правда...»	289
<i>Иосиф Бродский</i> . «Замечательный, по-моему, поэт»	289
<i>Марк Ватагин</i> . «Убери Липкина, я не хочу из-за тебя и из-за него терять партбилет!»	290
<i>Матвей Гейзер</i> . Тот, кто родился, – не умрет	295
<i>Наталья Иванова</i> . «Благословляя дней остаток...»	304
<i>Александр Кривомазов</i> . Встречи с С.И. Липкиным	309
<i>Павел Крючков</i> . Светильник	313
<i>Давид Кугультинов</i> . О Липкине	321

<i>Инна Лиснянская. На крылечке</i>	323
<i>Елена Макарова. Победитель</i>	341
<i>Владимир Мощенко. «Мы, приятель, не те номера набираем...»</i>	347
<i>Павел Нерлер. Последняя воля</i>	356
<i>Вадим Перельмутер. Фрагменты о Липкине</i>	363
<i>Рада Полищук. Бесконечное мужество преодоления</i>	373
<i>Станислав Рассадин. Преодолевавший, преодолевший</i>	378
<i>Александр Солженицын. Из «Литературной коллекции»</i> ...	393
<i>Марк Харитонов. Из дневниковых записей</i>	398
<i>Олег Чухонцев. Похвала Семену Липкину</i>	408

Отклики на 90-летие

Из выступлений на праздновании 90-летия Семена Липкина в Музее Булата Окуджавы в Переделкине	420
<i>Лев Лосев. <Семен Липкин></i>	426
<i>Андрей Немзер. Праздник на Пушкинской улице</i>	427
<i>Михаил Синельников. Таинственный хорист</i>	430

Отклики на смерть

Памяти Семена Липкина	435
<i>Андрей Немзер. «Исполнен долг, завещанный от Бога»</i>	436
Татьяна Бек о Семене Липкине. <i>Беседу вел Семен Резник</i>	439

<i>Избранная библиография</i>	443
-------------------------------------	-----

От составителей

Материалы, собранные в настоящем издании, распределены между двумя большими частями.

В первую вошли избранные произведения самого поэта, во вторую – избранные произведения о нем и его творчестве.

Открывается первая часть воспоминаниями Липкина об О.Э. Мандельштаме, одним из лучших мемуарных очерков о поэте. Его заглавие дало имя всему сборнику, выходящему в серии «Записки Мандельштамовского общества». Второй и третий разделы книги составили стихи С.И. Липкина (они предварены вступительным словом И.Л. Лиснянской), а также статьи и очерки поэта, в том числе заметки из рабочих тетрадей. Всех их объединяет то, что они или не входили в прижизненные авторские сборники, или не публиковались вовсе. В четвертый раздел вынесена избранная переписка С.И. Липкина, в частности с В. Гроссманом, Е. Макаровой, А. Солженицыным, М. Фаворской и Л. Чуковской. В эту же часть включен и раздел, состоящий из интервью с С.И. Липкиным, данных им различным массмедиа на протяжении многих лет. Все разделы первой части выдержаны в условно-хронологическом порядке.

Вторая часть открывается разделом, состоящим из мемуаров и статей общего содержания, посвященных жизни и творчеству Липкина в целом. Среди авторов раздела – С. Аверинцев, В. Аксенов, И. Бродский, М. Ватагин, М. Гейзер, Н. Иванова, П. Крючков, И. Лиснянская, Е. Макарова, П. Нерлер, Р. Полищук, С. Рассадин, А. Солженицын, Е. Степанян, О. Чухонцев и другие. Большинство мемуарных материалов сборника было написано по просьбе составителей специально для настоящего издания. В раздел вошли также статьи по поводу 90-летия поэта, отмечавшегося в сентябре 2001 г., а также отклики на его смерть.

Если первая часть сборника представляет главным образом творчество Липкина последнего десятилетия, то вторая дает коллективный панорамный портрет писателя с удивительной творческой судьбой, участвовавшего в литературном процессе на протяжении почти семи десятилетий.

Даты и источники материалов приводятся в конце каждого из них.

П. Нерлер, Н. Поболь, Д. Полищук

Семен Липкин

«УГЛЬ, ПЫЛАЮЩИЙ ОГНЕМ...»

«УГЛЬ, ПЫЛАЮЩИЙ ОГНЕМ...»

Воспоминания

Ранней осенью 1931 г. я во второй раз в жизни увидел Мандельштама. Встреча произошла на Чистых прудах. Небритое лицо его (бородки тогда еще не было) показалось мне помолодевшим от загара – обычно он выглядел старше своих лет. В глазах, вместо им свойственной какой-то воспаленной, гневной тревоги, появилось выражение спокойствия, даже веселости. Это выражение, как я мог потом убедиться, вскоре исчезло. Я обрадовался тому, что он узнал меня. Услыхав, что я учусь на химическом факультете, он сказал: «Теперь вы стали благополучным советским студентом». Странная фраза должна быть объяснена.

Стипендия была крохотная, в общежитии на Стромынке, в бывшем Вдовьем доме, мы жили в комнатах по шесть-восемь (а то и больше) человек, уже была в стране введена карточная система, в столовой над каждым счастливецом, успевшим воссесть за тарелкой, томился напряженно ожидавший своей очереди, не хватало вилок и ложек (ножей не давали), чаем у нас назывался просто кипяток, – и все это Мандельштам называл благополучием? Надо его понять. У студентов был быт, у Мандельштама быта не было. Студенты были веселы, молоды, здоровы, твердо верили в то, что живут как надо, что лучшее – впереди, а Мандельштам жил неуверенно и вряд ли знал, что впереди.

Конечно, он догадался, что я хочу прийти к нему со своими стихами (прямо сказать об этом я не посмел), и он был так внимательно добр, что дал мне свой адрес, новый, не на одной из Бронных, где я у него был в первый раз, а поблизости от Чистых прудов, если не ошибаюсь, в Старосадском переулке, назначил день, час.

Я с отроческих лет восхищался им. Стихи новых поэтов тогда к нам в провинцию доходили редко, книг почти не было, хотя в то же время «Версты» Цветаевой и «Тяжелую лиру» Ходасевича я приобрел на развале за гроши. О Мандельштаме я узнал от Багрицкого, моего старшего земляка и наставника. «Я лечу свою астму, читая вслух Мандельштама», – как-то сказал мне

Багрицкий, великолепно знавший и благоговейно любивший русскую поэзию. Я не расставался с книгой Мандельштама «Стихотворения», выпущенной Госиздатом в кирпичного цвета переплете. А до этого мне на глаза попался «Лёт» – сборник произведений советских поэтов и прозаиков о первых шагах отечественной авиации, и в сборнике неожиданно оказалось стихотворение Мандельштама «Ветер нам в утешенье принес...», весьма условно соответствующее заданию сборника, и меня поразили ассирийские крылья стрекоз. Я не мог сказать толком, в чем была причина моего преклонения перед Мандельштамом, преклонения почти молитвенного. Мне нравилось как будто совсем другое – ясность, строгость, точность, 19-й стихотворный век ценил выше 20-го, а в 20-м недосыгаемыми образцами казались мне Бунин, Ахматова, Ходасевич, Сологуб. И что-то чудное, волшебное – «не радость, а мученье» – властно притягивало меня к Мандельштаму, и строки, которые я не понимал, были еще притягательнее, чем строки, мне понятные, хотя футуристической зауми я уже тогда терпеть не мог.

Как-то в журнале «Молодая гвардия» сотрудник познакомил Мандельштама с рифмованным самотеком, и Мандельштам отметил мое, присланное из Одессы, стихотворение «Пригород», я получил от поэта ободряющую открытку, приглашение присылать ему стихи, и, таким образом, у меня возникла возможность, когда я вскоре приехал в Москву, попасть к нему.

Мандельштамы жили не то у родственников, не то снимали комнату.

Мои рукописные листы Мандельштам разложил на три неравные стопки. О первой, самой большой, он ничего не сказал: значит, говорить не стоило. Перебирая гораздо меньшую вторую, указывал на неправильные ударения, банальности, но не сердился. Третья стопка состояла из трех стихотворений. Об одном, со сложным строфическим построением, сказал: «Здесь хороши только эти ое, ое (рифменные окончания), напоминают Белого». Другое прочел дважды, пристально, вскинув длиннейшие, равнинские ресницы, посмотрел на меня, – стихотворение называлось «Петр и Алексей», – сказал: «Концепция, того-этого, не стала стихом. И после словесных открытий Тынянова уже нельзя так писать на темы русской истории». Вот как он разобрал начальную строфу:

У нас и недорослей, и ябед
Хоть пруд пруди,
Но все же страшен постылый Запад
И боль в груди.

– Сперва пошло хорошо. Недоросли, ябеды – 18 век, Фонвизин. Капнист. На «ябед» найдена новая рифма, но вся строка с Западом – перепев символистов, вернее – их славянофильских эпигонов, всяких родственников известных поэтов. Что же касается «боли в груди», то это уже вовсе Аполлон Коринфский. А дальше и того хуже. Ум острый, языка нет.

Третье стихотворение ему понравилось – не по-настоящему, а как ученически способное. Он при мне позвонил своему старому товарищу по акмеистической группе М.А. Зенкевичу, который заведовал стихами в «Новом мире», и стихотворение это очень быстро появилось в журнале. Никаких напутственных слов он мне не сказал, только разрешил позвонить, подал мне, мальчишке, плащ, и когда я, раздавленный, пытался этому воспротивиться, сказал: «Есть английская поговорка: “В борьбе человека с пальто стань на сторону человека”». До сих пор не знаю, действительно ли есть такая английская поговорка.

Разрешением позвонить я стеснялся воспользоваться, но вот помогла случайная встреча, и я опять его увижу. Дом был доходный, высокий, дореволюционной хорошей постройки.

Потом я узнал, что здесь жили родственники Мандельштама, своего жилья у него не было.

В широкой парадной было не очень светло, но я довольно ясно увидел человека лет 30, спускавшегося по лестнице мне навстречу. В руке он держал толстый портфель.

Человек был явно чем-то напуган. Сверху н'извергался высокий, звонко дрожащий голос Мандельштама: – А Будда печатался? А Христос печатался?

Вот что произошло до моего прихода. Посетитель принес Мандельштаму свои стихи. Это была, по словам Мандельштама, довольно интеллигентная дребедень, с которой к Мандельштаму иногда приходили надоедать. Мандельштам рассердился на неудачного стихотворца еще и по той причине, что в этом виршеплетении была фронда, Мандельштам этого не выносил, во-первых, потому, что боялся провокации, а во-вторых, – и это главное – он считал, что поэзия не возникает там, где идут наперекор газете, как равно и там, где тупо следуют за газетой. Неумный автор стал жаловаться на то, что его не печатают. Мандельштам вышел из себя, он сам печатался с большим трудом, крайне редко, и выгнал посетителя. Когда я поднялся на указанный мне этаж, Мандельштама уже у перил не было (а я снизу видел, как он над ними, крича, наклоняется чуть ли не до пояса). мне открыла дверь длиннокобая девушка и, впустив меня, посмотрела на меня жалостными восточными глазами.

Через много-много лет я рассказал о происшествии с Буддой и Христом Ахматовой, Анна Андреевна весело рассмеялась: «Узнаю Осю».

Мандельштам успокоился не сразу. «И почему вы все придаете такое значение станку Гутенберга?» – характерным для него певучим и торжественным, при беззубом рте, голосом укорял он меня, и мне стало нехорошо от того, что он как бы соединял меня с предыдущим посетителем.

Я прочел несколько стихотворений, может быть, десять – и остановился.

Мандельштам спросил: «Сколько вам лет?» – «Двадцать».

– Да, верно, в тот раз вам было восемнадцать, – неодобрительно вспомнил он и добавил: – Плоско, плоско, – дважды повторенный звук «пло» ударил особенно больно. – Вы кое-чему научились в столице, не стало южных оборотов, больше теперь у вас, того-этого, заемного лоску. Вы мне напоминаете небогатого бессарабского помещика. Почти весь год он трудился, обрабатывал свои скудные виноградники, более или менее удачно продал виноград, и вот, в парусиновом длиннополом балахоне, в парусиновых сапогах, приехал в город и все, что выручил, бессмысленно пропил в дешевой харчевне.

Он ругал меня еще долго и возбужденно, как бы с кем-то, более зрелым и значительным, споря, заодно досталось и моим друзьям, молодым поэтам Тарковскому и Штейнбергу, чьи стихи он однажды выслушал, неожиданно стал нападать на «Столбцы» Заболоцкого, не помню, чем был вызван его гнев. В комнату вошла девушка, открывшая мне дверь, может быть, его родственница, она мне понравилась, но взгляд ее, мне сочувствовавший, был, увы, взглядом существа высшего, пожалевшего существо низшее. А Мандельштам уже при ней продолжал:

– Мне в Армении рассказали легенду. Гончар лепит в своей хижине горшки из глины. Уже тех горшков стало столько, что они не умещаются в хижине, лежат вокруг навалом, а гончар все лепит да лепит. «Глупец, для чего ты лепишь горшки, их и так у тебя много!» – осуждают соседи. А гончар: «Чтобы пришел лев, ударил их своей лапой и разбил их». Вы, того-этого, не оказались тем львом.

Я узнал, что Мандельштам недавно приехал из Армении, что он после долгого перерыва, после «черной измены» стихам, вернулся к стихам.

– Хотите, прочту, – и, не дожидаясь ответа, уверенный в ответе, начал читать, потому что ему нужен был слушатель, очень нужен был слушатель, заменяющий ему станок Гутенберга.

Он был одинок. Я это понял, когда начал посещать его чаще. У него не было той пусть негулкой, но светящейся славы, как была у Ахматовой, и от которой сердца не только дряхлеют, но и утешаются, не было у него и внутрилитературной, но достаточно мощной славы Пастернака, его почитали немногие, почитали восторженно, но весьма немногие, и, большей частью, люди его поколения или чуть-чуть моложе, а среди моих ровесников почитателей было раз-два и обчелся. А он нуждался в молодежи, хотел связи с временем, он чувствовал, он знал, что он в новом времени, а не в том, которое ушло. Он не любил тех, кто любил его ранние стихи, хотя вряд ли ему было бы приятно, если бы кто-нибудь стал их бранить в его присутствии. Он не терпел своих подражателей, в особенности таких, которые обидно легко усваивали манеру его письма. Он ощущал себя не в настоящем, а в будущем. Внешне рано постарев, он дышал, как почти никто из современных ему поэтов, аквилонном грядущего, тем пространством, где не сани правоведа катятся, а лопастью пропеллер лоснится. Он сам был тем львом, который ударом лапы разбивал горшки гончара.

Мандельштам служил в газете «Московский комсомолец», редакция помещалась сперва на Старой Басманной (ныне улица Карла Маркса), а потом переехала в здание на Тверской, где теперь театр им. Ермоловой. Я стал у него бывать и в том, и в другом зданиях. На Тверской размещались и редакции других газет. В широком зале с верхним, если не ошибаюсь (давно там не был), освещением – нечто вроде пассажа – была устроена для газетчиков столовая. Как-то мы с Мандельштамом сидели за столиком. К нам приблизились поэт-переводчик Давид Бродский и поэт Николай Ушаков, оба – знакомые Мандельштама и мои. Действие происходило в пору известного конфликта Мандельштама с Горнфельдом. Группком писателей (союза тогда еще не было) стал на сторону Горнфельда, Мандельштам был этим оскорблен и, поднявшись навстречу двум литераторам, церемонно, но твердо произнес:

– Товарищи, к глубокому моему сожалению, я не могу подать вам руки, поскольку вы являетесь членами московского группкома писателей, подло оскорбившего меня.

Большой, толстый Бродский в ответ протянул свою руку и соврал:

– Я не член группкома.

– Это меняет дело, – с радостью сказал Мандельштам и поздоровался с переводчиком. Тогда стеснительный Ушаков, смущенно улыбаясь, тоже протянул руку:

– Собственно говоря, я в этом смысле тоже не член группкома, я киевлянин.

Мандельштам пожал и ему руку. Конечно, он понимал, что его обманывают, но понимал и то, что обманывают его ради общения с ним. Да и я, с которым он обедал, состоял в группкоме. Мандельштам вовсе не хотел ссориться с двумя литераторами, он, измученный, через их посредство хотел дать знать обществу, как остро его ранила несправедливая позиция группкома в деле Горнфельда. Я не буду касаться существа дела, оно известно по мандельштамовской «Четвертой прозе» и по другим литературным источникам, скажу только, что Мандельштам – в который раз! – показал, что он не понимает людей, не видит среди них себя, не в силах взглянуть на себя их глазами. Он полагал: я виноват, но я извинился перед Горнфельдом, и материальная сторона ссоры решается для Горнфельда хорошо, чего же он хочет? А Горнфельд, несчастный калека, в прошлом влиятельный критик народнического толка, близкий сотрудник самого Короленко, придерживался в советское время благородных демократических взглядов, что же касается литературных, то они, думаю, были такими, что Мандельштам представлялся ему пустым декадентом. А Мандельштам никогда не был эпиком, его характер не позволял ему взглянуть на себя со стороны, у него не было бесслезной силы и надменной выдержки Ахматовой. Я это увидел ясно, когда – один из горсточки сторонников обвиняемого – присутствовал на товарищеском суде над Мандельштамом в подвале Дома Герцена.

Произошла, неточно выражаясь, жилищная склока. Сосед Мандельштама по Дому Герцена, печатавшийся под именем Амира Саргиджана, обвинил Мандельштама в том, что он нанес пощечину его, Саргиджана, жене, но скрыл, что сначала сам ударил Мандельштама и Надежду Яковлевну. В рукоприкладстве Мандельштама я сомневаюсь. Он мог больно оскорбить женщину, но не ударить. Амир Саргиджан принадлежал к самому опасному виду опасных людей: неглуп, начитан, в обращении мягок, позволял себе вольности, обсуждая литературное начальство. Его жена тоже что-то писала, кажется, о Первой мировой войне. Поговаривали, что она кололась. Амир Саргиджан был женат многократно. Однажды он женился на официантке из дома творчества в Малеевке, на доброй женщине по прозвищу «Колхозная Венера». Официантка, известное дело, профессия прибыльная, Саргиджан поселился в ее деревенском доме, и соседи-колхозники часто по-лесковски называли его Содержаном. Когда русский народ был объявлен первым среди равных, оказалось, что татаро-ликий Саргиджан – в действительности русский, фамилия его Бородин. Впоследствии он получил сталинскую премию за роман «Дмитрий Донской». Но в ту пору он был безвестным

литератором. Я не исключаю того, что всю эту свару он затеял с насмешливого одобрения компетентных органов.

Подавляющее большинство присутствующих на товарищеском суде явно было на стороне Саргиджана. Я с облегчением вздохнул, когда председательское место занял А.Н. Толстой. Специально для этого из Ленинграда приехал, что ли? Ну, думаю, он-то, талантливый, образованный, да еще и граф, петербуржец, знает цену Мандельштаму, защитит его. Но не тут-то было. А.Н. Толстой обращался с Мандельштамом, когда задавал ему вопросы и выслушивал его, с презрительностью обрюзгшей, брезгливой купчихи. Мандельштам вел себя бессмысленно. Вместо того чтобы объяснить, как обстояло дело в действительности, он нервно и звонко, почти певуче, напирал на то, что Саргиджан и его жена – ничтожные, дурные люди и плохие писатели, вовсе не писатели. Присутствующие, будучи того же типа, что и Саргиджан, симпатизировали Саргиджану. Унижая его, Мандельштам задевал и их. Не помню формулировку решения суда, но хорошо помню, что решение было не в пользу Мандельштама. Опять Мандельштам показал, что плохо разбирается в людях, не видит себя среди них. Он еще долго и красноречиво бушевал у себя в полутемной комнате, куда мы, два или три человека, зашли после суда. Надежда Яковлевна вела себя лучше, спокойнее.

Я часто вспоминал этот грязный суд, когда Мандельштама арестовали. Я представлял себе, как его мучают во время допросов и как он, умный, порой гениальный, бессилён в лапах следователя. Там, уже тогда я угадывал, надо быть волком среди волков, а ведь Мандельштам не был волком по крови своей, он – высокое пламя, но хрупок, ослаб пламенник...

В редакцию «Московского комсомольца» к Мандельштаму приходили молодые пишущие, он читал их рукописи добросовестно, разбирал при них каждую строчку, ум его при этом был щедр и снисходителен, но я, свидетель тех бесед, видел, что начинающие не знают его как поэта, знают Уткина, Жарова, Безыменского, Светлова и, конечно, Есенина, в те годы еще не отмеченного печатью классика, а более понаторевшие увлекались Багрицким, Сельвинским, Луговским. Исключением был Ваня Пулькин (он погиб на фронте), он хорошо знал русскую поэзию, учился у Оболдуева, любил Мандельштама, и Мандельштам к нему благоволил. В своих суждениях Мандельштам был резок, но никогда-никогда! эти суждения не диктовались личными отношениями. Я к этому еще вернусь...

А пока вернемся в дом на Старосадском. Вот Мандельштам читает мне стихи об Армении, читает, высоко, с беспомощным

чванством задрал голову, подчеркивая просодию стиха, его гармонию. Беззубый рот не мешал ему, или казалось, что не мешал, и мне не мешал, я жадно ловил то, что, как потом я от него услышал, он рассматривал как второстепенное – смысл, глубокий, опьяняющий смелой новизной, как горной крутизной, смысл этих огромных стихов. Но нет, он притворялся, смысл для него не был делом второстепенным. Стихи то потрясали необыкновенной наблюдательностью, сказочным блеском подробностей, например замечанием, что жены здесь «как детский рисунок просты», или про армянский алфавит, где «буквы кузнечные клещи, а каждое слово – скоба», то заставляли по-новому и напряженно думать о народе, чьи «церковки басенного христианства» граничили с миром мусульманским: «Я бестолковую жизнь, как мулла свой коран, замусолил». И какое сверхпонимание географической, исторической сути Армении: «Орущих камней государство». Мне встречались и встречаются любители поэзии, которые, отдавая должное Мандельштаму, не удерживаются от упреков в литературности, будто бы ему присущей. Теперь, после 46 лет, прошедших с того незабываемого дня, когда Мандельштам читал мне стихи об Армении, стихи, которые не всегда можно отчетливо понять, не зная истории Армении и сопредельных с нею стран, истории ее христианства, ее «казнелюбивых владык», ее связей с Византией, с Персией, с античной философией, – теперь я хочу поразмыслить вместе с читателем о том, что такое пресловутая литературность в стихах.

Литературны, в дурном смысле этого слова, всегда литературны стихи подражателей, даже если авторы дремуче невежественны, даже если их произведения изобилуют новейшими бытовыми частностями, приметами дня, наполнены сельской или городской утварью, укреплены частоколом собственных добродетелей, орошены слезами любовных неудач (и удач). Какая странность – и в то же время закономерность: даже у тех подражателей, которые мало читали, даже у тех, которым образцы мало знакомы, – словосочетания почти всегда – бледные копии давно написанных и переписанных. Но литературности нет у Пушкина, ни тогда, когда у него пляшут воды Флегетона, ни тогда, когда он переиначивает стихи греков, римлян, французов, и даже своих скромных русских современников. Каким литературным с виду может показаться Пастернак, когда он в одной строке соединяет название философского труда древнего грека со стихами мало известного английского драматурга, да еще в пушкинском переложении, но разве литературна эта строка: «На пире Платона во время чумы?» Разве не полна жгучей человеческой боли?

Когда поэзия рождена жизнью (иначе она не поэзия), то и литература, слившаяся в нашем сознании с жизнью, растущая вместе с жизнью, тоже становится, соединенная с пережитым, одним из источников поэзии. Мандельштам и в молодости, и в более поздние годы любил и умел твердо, неожиданными штрихами, очерчивать литературное произведение, вошедшее в наш жизненный обиход. Он прочел, кажется, в Армении «Шах-Наме» Фирдоуси во французском переводе – прозаическом – Жюль Моля и проникновенно заметил, что характеры героев поэмы меняются по произволу автора, – проникновенно, потому что гениально догадался, что Фирдоуси считал так: нет людей хороших и дурных, пока чтить светлого Ормузда, – ты хорош, начинаешь служить дьяволу Ахриману – становишься плохим. «У Чарльза Диккенса спросите, что было в Лондоне тогда», – советовал Мандельштам читателям, и дальнейшие строки этого раннего стихотворения вовсе не пересказывают какой-то определенный роман Диккенса, мы не припоминаем именно те страницы, где веселых клерков каламбуры не понимает Домби-сын или где клетчатые панталоны, рыдая, обнимает дочь, но все стихотворение в целом рисует скорее наше восприятие диккенсовской Англии, нежели саму диккенсовскую Англию, и перед каждым встают картины того детства, которое для многих невысказано без прочитанных в ту пору книг. Я хотел бы к этому добавить, что и Диккенс воспринят Мандельштамом через Россию, через Достоевского, что лондонский Сити – это и Петербург Достоевского.

Некоторые замечательные и значительные стихотворения Мандельштама, навеянные памятниками литературы, не излагают содержания этих памятников, а выражают как бы наше (сначала, разумеется, его) к ним отношение, нашу с ними совместную жизнь на протяжении годов, наше понимание характеров их героев, предметов, в них описанных («Я список кораблей прочел до середины»), нам слышится русский отзвук тех чужеземных арф.

Нет ли, однако, в пристрастии к литературным первоисточникам нарочитой отстраненности от злобы дня? Любой ответ на этот вопрос прозвучит упрощенно, все решает в конечном счете талант художника. Шестьдесят лет существует советская поэзия, – и что же в итоге? Дыхание эпохи мы слышим не в сочинениях государственных стихотворцев, они бездыханны со дня рождения, а в стихах «далеких от жизни» Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Цветаевой, Хлебникова. Когда говорят о гражданственности поэзии, редко кто обходится без крылатого пушкинского призыва – глаголом жечь сердца людей. Не все

помнят, что в основе «Пророка» лежит литературный текст – мотивы VI главы Книги пророка Исаяи. Пушкин довольно далеко отошел от библейского сюжета, но шел-то он от него. В примечаниях к академическому изданию сочинений Пушкина (I, 56), относящихся к «Подражанию Корану», указывается: «Тема первого подражания позднее развита в “Пророке”». Чтобы убедиться в этом, я прочитал два перевода Корана, понял, что, действительно, некоторые библейские мотивы в «Пророке» Пушкин воспринял через их кораническое истолкование (он читал «Коран» в русском переводе М. Веревкина, изданном в 1790 г.), но прямых соответствий я не нашел, кроме одного. В суре 94 Аллах говорит своему посланнику: «Разве мы не раскрыли тебе грудь?» (Коран, пер. И.Ю. Крачковского. М., 1963), и, конечно, вспомнилось: «И он мне грудь рассек мечом». И далее:

И сердце трепетное вынул,
И уголь, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

Какое жуткое хирургическое вмешательство! И как мучительно, и потому прекрасно, призвание поэта. Да, да, только при том непременно (но еще недостаточном) условии, что человек томим духовной жаждой и в его рассеченной мечом, отверстой груди пылает уголь, можно стать поэтом не празднословным и лукавым, а, обходя моря и земли, глаголом жечь сердца людей. Именно эта пророческая, учительская сущность сделала русскую поэзию величайшим проявлением человеческого, а значит, и Божественного гения новых веков. Чиновник синода или синагогника – не учитель, не пророк. Становясь чиновничьим писанием, стихотворная литература перестает быть писанием пророческим. И согласимся с другой бесспорной истиной: чтобы глаголом жечь сердца людей, надо этот глагол хорошо знать. Проникнуть в его строение, как физики проникают и продолжают проникать в строение атома. Глагол, слово порождается не только тем, что пережито, но и тем, что узнано, прочитано, услышано. Не будь бессмертных литературных образцов, не было бы, может быть, и этого литературного пушкинского стихотворения. Конечно, книгами не ограничишься, хорошо бы еще с детских лет иметь свою Арину Родионовну – няню, мать или «московскую просвирню» – в широком, современном смысле этого понятия, но я не принимаю стихотворцев, которые уныло бахвалятся своей кондовостью, «нелитературностью», своим незнанием основ ремесла. Наше дело, как всякое дело, надо уметь делать. Нужна школа, нужны учителя. Обращение «виждь и внемли» содержит в себе,

думаю, совет видеть не только картины жизни, но и прежде, до тебя, написанное, чтобы пойти дальше, слышать не только голоса всего живущего вокруг, но и голоса, ранее сказанные. Интерес к метрическим и изобразительным средствам стиха, знание версификации проявляли, и весьма настойчиво, Сумароков и Ломоносов, Державин, Пушкин и Тютчев, не говоря уже о более близких к нам по времени, и это вовсе не исключает приверженности к первенствующему значению содержания, к пророческому началу поэзии. Та кровавая операция, которую проделал с будущим стихотворцем шестикрылый серафим (а сколько еще будет других кровавых операций!), была бы бессмысленной, если бы стихотворец не научился своему делу, не образовал свой вкус, не выработал свое представление о прекрасном, ибо глагол лишь тогда будет жечь сердца людей, лишь тогда станет огненным, когда станет прекрасным.

В первый раз я пришел к Мандельштаму 18-летним, сравнительно начитанным, но, по сути, невежественным. Звание поэта в моем сознании сопрягалось, как у многих пишущих юношей, со славой, с житейским блеском. И вот я увидел несравненного поэта, почти неизвестного широкой публике, бедного, странного, нервного, стряхивающего почему-то пепел от папиросы на левое плечо, отчего как бы образовывался серебристый эполет, и я не разочаровался, я понял, что именно таким должен быть художник, что возвышенна, завидна, даже великолепна такая тяжкая, нищая судьба моего необыкновенного соседа.

Я часто начал бывать у Мандельштама, когда он поселился в довольно плохонькой комнате в Доме Герцена, в строении бывших конюшен. Это была, кажется, первая за много лет комната, принадлежавшая Мандельштамам. Он ко мне относился хорошо, приветливо (старомодно-приветливо обращался к юнцу по имени-отчеству), происходило это, возможно, потому, что я ему не подражал, а это было редкостью среди того крайне небольшого круга стихотворцев, молодых и не очень молодых, с которым он общался. Одному из таких стихотворцев он в раздражении сказал:

– Разделим землю на две части, в одной половине будете вы, в другой останусь я.

Мои литературные взгляды (в особенности пристрастие к Бунину-поэту) казались ему нелепыми, хотя и простительно-смешными, но иногда они выводили его из себя, он метался по комнате, пустой и полутемной, как келья, и кричал мне: «Народник! Златовратский!»

Стихи мои по-прежнему большей частью ругал, едко и остроумно, но однажды неожиданно, с лестной для меня серьез-

ностью похвалил стихотворение «Мир», и только поэтому я сравнительно недавно опубликовал его в сборнике, вышедшем в калмыцком издательстве. Он выделял – и чудесно читал вслух – строки: «Где шушера теснилась по углам, / А краденое прятали по складам». Но если мои стихи нравились ему редко, то он с покровительственным любопытством, порою, смею сказать, с интересом, выслушивал мои комментарии газетных сообщений, всевозможные пылкие соображения, рожденные только что прочитанным Шопенгауэром, Шпенглером, Бергсоном. Убедившись в моей прочной любви к нему, он мне позволял, без большой радости, себя критиковать. Как-то я ему сказал, что в прославленном среди его поклонников стихотворении «Золотистого меда струя» есть неточность: Пенелопа не вышивала, как у него написано, а ткала (именно в этом суть известного эпизода). К ней в отсутствие Одиссея приставали женихи, она, чтобы они отвязались, обещала, что выберет одного из них, когда кончит ткать, а сама ночью распутывала пряжу. С вышивкой так не поступишь.

Мандельштам рассердился, губы у него затряслись:

– Он не только глух, он глуп, – крикнул он Надежде Яковлевне.

Я эту историю рассказал через много лет Ахматовой, и она стала на мою сторону: «В ваших словах был резон. Он не хотел исправить из упрямства».

Но так ли это, думаю я теперь? Поэтика Мандельштама жила на тогда мне неизвестных, да и сейчас не всегда мне ясных основаниях. Прежде всего, как и в давнишнем случае с Диккенсом, Мандельштам излагал не эпизод гомеровского эпоса, а свое, которое должно было стать нашим, ощущение эпоса, мифа, эллинистической культуры, достигшей Таврии, дикой и печальной, где всюду «Бахуса службы».

Миф есть поэзия целого. Он отвергает поэзию частных: они ему нужны только как слуги целого. Миф может упомянуть вскользь собак и сторожей, а Мандельштам скажет: «Как будто на свете одни сторожа и собаки». Такая мысль не придет в голову аэду. Миф может указать на время года и приложить нежный эпический трафарет к имени героини, а Мандельштам скажет с обдуманым просторечием: «Ничего, голубка Эвридика, что у нас холодная зима». Используя миф, Мандельштам преобразовывал поэзию целого в поэзию частных и поэтому считал себя вправе не только изменять частности, но и выдумывать их: «Собирались элины войною / На прелестный остров Саламин». Гомер мог бы назвать прелестной женщину, но никогда – остров.

Для понимания его поэтики важнее этих соображений то, что слово для него было не частью фразы, а частью ритма. О нет,

это не было зауемью в крученыховском стиле, избави Боже, но теперь я понимаю так. Подобно тому как истинный живописец требует, чтобы сюжет картины выражался с помощью рисунка и цвета, а не, скажем, с помощью заранее нам известной исторической фабулы, Мандельштам требовал от стихотворного слова, чтобы оно прежде всего было музыкой, чтобы смысл ни в коем случае не предрешал слова. Мандельштам много и часто говорил об этом, и без какой-нибудь утонченности, он расшвыривал метафоры, но был чужд краснобайству, здание его фразы строилось причудливо, но основанием всегда служило здоровое понятие. Не в коня, как говорится, корм, я не обладал достаточной подготовленностью для того, чтобы со всей полнотой воспользоваться счастьем быть собеседником Мандельштама. Я усваивал только мне доступное. Здесь я не могу избежать небольшого отступления.

Мандельштам был на дружеской ноге с поэтом Георгием Шенгели, ныне несправедливо не издаваемым. Шенгели, немного, кажется, моложе Мандельштама, был человек добрый, яркий, очень образованный, интересовался не только гуманитарными науками, но и точными, владел главными европейскими языками, опубликовал труды по стиховедению. Мария Петровых, Тарковский, Штейнберг и я многим ему обязаны. Его стихи мне нравились и теперь нравятся.

Однажды Шенгели пригласил меня в гости. Он жил в одном из арбатских переулков, занимал с женой странную комнату, большую, но в квартире, где размещался детский сад, нужно было пройти к нему по ломаной линии коридора, на стенах которого низко начинались вешалки, и над каждой, чтобы еще не умевшие грамоте дети различали свое место, пестрело изображение зверька или цветка. Из этого пестрого эдема вы попадали в комнату, разделенную на две или три части книжными шкапами. Книг было много, все ценные. Оказалось, что в гостях у Шенгели был Мандельштам. Хозяева хорошо нас накормили (Мандельштам любил званые обеды, не очень часто его на обеды приглашали), потом Шенгели читал нам стихи, удивительно искусно написанные, а в некоторых мне слышалась поэзия. Мы вышли вместе с Мандельштамом, и он, прощаясь со мною, заметил:

– Каким прекрасным поэтом был бы Георгий Аркадьевич, если бы он умел слушать ритм.

Я опешил. Известный поэт, автор к тому же трудов по стиховедению (о них и сейчас отзываются с уважением специалисты) не умеет слушать ритм! Что Мандельштам, легко удалявшийся от меня по Собачьей площадке, хотел этим сказать?

После многих бесед с Мандельштамом о ритме, после многих лет работы я попытаюсь ответить. Мы, стихотворцы, часто действуем, заколдованные ритмами данной литературной эпохи, даже данного десятилетия. Есть не только словоблоки, есть и метроблоки. Картина общеизвестная. Как вырваться из этого колдовского плена? Никакие советы не помогут, кроме разве плодотворного разъяснения, что дело обстоит именно так. Умение слушать ритм есть умение врожденное, от Бога данное. Суть в том, чтобы мысль, слово и ритм возникали одновременно. Не обязательно, чтобы мысль была сногшибательно новая. «Бывал я рад словам неизреченным», – сказал Рудаки одиннадцать веков назад на языке фарси, сказал с помощью размера, основанного на чередовании долгих и кратких слогов. «Мысль изреченная есть ложь», – сказал в прошлом веке Тютчев с помощью русского четырехстопного ямба, совершенно не похожего на такой же ямб Пушкина: другой ритм!

Мандельштам открыл для себя, что слово не живет в стихе отдельной жизнью, что оно связано семейными, родственными, дружескими, историческими, общественными узами с другими словами, эти узы, существуя, нередко сокрыты от читателей, и поэт обязан их раскрыть и даже пойти на тот риск, что слово будет связано со словом не прямой связью, а с помощью не прямых, не сразу замечаемых, но бесспорно, физически существующих связей, порой более сильных, чем наглядные прямые. Вот они-то и рождают ритм, сами обязанные своим появлением ритму. Мандельштам обычно подчеркнуто уважительно говорил о Хлебникове. В ответ на мое замечание, что в Хлебникове изумительно дерзкое соединение культур высокой и первобытной, например в «Шамане и Венере», он сказал:

– Айхенвальдовщина какая-то (т. е. мои слова – айхенвальдовщина). Дело не в этом. Хлебников расщепил слово, как зерно, на дольки. Он слушал ритм, как слушают рост зерна. Он и сам был деревом, по его жилам бежал древесный сок.

Позднее в дневнике Гонкуров я прочел мысль Флобера о Гюго, почти совпадающую с выражением Мандельштама, но уверен, что о древесном соке в жилах поэта Мандельштам говорил без подсказки Флобера, он был слишком богат для того, чтобы снизойти к заимствованию мысли. Он говорил: «Размеры ничьи, размеры Божьи, принадлежат всем, а ритм есть только у поэта – принадлежит ему одному», и подкреплял это положение примерами: четырехстопный ямб «Евгения Онегина» совершенно не похож на четырехстопный ямб тютчевский или некрасовский, и совсем уже иной послефюфановский четырехстопный ямб Блока: «Вновь оснеженные колонны...», и, того-этого,

«Возмездие» у Блока не получилось, потому что ритм рабски заимствован у Пушкина: «Больной и хилый Достоевский / Туда ходил на склоне лет». Гимназический ямб! (Впоследствии я услышал отрицательное мнение о «Возмездии» от Анны Ахматовой, но соображения были иные.)

В те годы нас, пишущих юношей, обвораживал метр поэмы Пастернака «1905 год», журналы были наполнены стихами, написанными этим метром, на всевозможные темы. Я заметил, что если перевернуть строки стихотворения «Золотистого меда струя...» так, чтобы оно начиналось строкой с женским окончанием, то получился бы этот метр, и не взял ли его невольно Пастернак у Мандельштама. В самом деле, сравним: «Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела» и «Это было при нас, это с нами вошло в поговорку».

– Вздор, – отрезал Мандельштам. – У Пастернака другой ритм. Это ритм событий тех лет. Не путайте ритм с размером.

Между тем он был не всегда последователен. Когда он мне прочел «За гремучую доблесть грядущих веков», я, потрясенный, воскликнул: «Это лучшее стихотворение двадцатого века!», но Мандельштам, указав на жену, которая обычно сидела в дальнем углу, небрежно произнес:

– А в нашей семье это стихотворение называется Надсоном.

Почему Надсон? При чем тут Надсон? Только потом, на улице, я понял, что имел в виду Мандельштам: размер стихотворения напоминал надсоновское «Верь, настанет пора и погибнет Ваал». Неужели такое поверхностное, лишенное внутренней связи сходство тревожило Мандельштама? Значит, он придавал значение не только ритму, но и его частному, случайному виду – размеру? Или он хотел, с педагогической целью, обратить мое внимание на то, что другие его стихи не хуже, что дело не только в содержании, которое поразило меня своим пророческим духом? Не думаю. А может быть, хорошо понимая мощь этого стихотворения, он просто позволил себе пококетничать? Последнее я не исключаю. В нем было много детского. И не только потому, что он, как ребенок, любил сладости (я впервые видел взрослого мужчину-сладкоежку). Он, разгорячась, бывал баснословно умен, хотя, повторяю, я не мог бы тогда насладиться умом его бесед, и в то же время, снова повторяю, он плохо разбирался в людях, не видел себя со стороны (а видеть себя со стороны, по-моему, признак умного человека), видел себя одним из крупнейших (не крупнейшим ли?) поэтов современности и не видел, что далеко не все смотрят на него точно так же, отсюда его бытовые ошибки, нередко очень тяжелые, отсюда – несуразности в поведении. Он рас-

сказал мне такой случай. Испытывая какие-то затруднения (сейчас не помню, какие именно, но легко могу себе их представить), он, по совету знакомых, позвонил Енукидзе, тогдашнему секретарю ВЦИК. Узнав от секретарши, что звонит Мандельштам, Енукидзе весело сказал в трубку:

- Это ты, Одиссей? Куда ты запропастился?
- Одиссей? Какой Одиссей?
- Кто со мной говорит?
- Поэт Осип Мандельштам.

Не помню, что произошло дальше, но помню, что Мандельштам долго негодовал на то, что его спутали с каким-то однофамильцем, а то был почтенный старый большевик, чья партийная кличка была «Одиссей», в Москве, в районе Усачевки, мне запомнился сад имени Мандельштама. А Осип Мандельштам во время этого краткого разговора обиделся, подумал, что по телефону смеются над его стихотворениями в антологическом роде, не понимая, что они известны только узкому кругу читателей, во всяком случае не таким, как Авель Енукидзе. Мандельштам (не на словах, конечно) то преувеличивал свою известность, то видел себя окончательно затерянным в толпе. Вот мы гуляем по Тверскому бульвару вдоль его дома, из которого мы вышли вместе с его отцом, ровесником которого казался Мандельштам. Отец сидит во дворе на скамеечке, а его преждевременно состарившийся сын читает мне стихи о немецкой речи, спрашивает, нравятся ли, и, получив утвердительный ответ, гордо заявляет: «Мое», как будто я мог усумниться, как будто мне могла прийти мысль, что он читает не свои стихи, как будто, наконец, можно было допустить, что в России есть другой поэт, который умел бы написать так, как написал он. К замечаниям тоже относился по-детски, терпел их с трудом. Когда я ему сказал, что вряд ли кони гарцуют (так у него), гарцуют всадники, он осыпал меня неестественной для него, неумелой бранью. Кажется в тот же день (я не уверен в своей хронологической памяти) он прочел мне известные ныне строки:

Довольно кукситься, бумаги в стол засунем,
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.

Я пошел в наступление:

– Осип Эмильевич, почему такая странная, нищая рифма «Обуян – Франсуа»? Почему не сделать «Антуан», и все будет в порядке, и ничего не меняется.

– Меняется! Меняется! Боже, – нарочито по-актерски, обращаясь в бульварное пространство, закричал, чуть ли не завопил Мандельштам, – у него не только нет разума, у него нет и слуха! «Антуан – обуян!» Чушь! Осел на ухо наступил!

В самом деле, думаю я теперь, может быть, он слышал так, как не слышим мы, смертные, ему в данном случае важна была не школьная точность рифмы, а открытый, ничем не замкнутый звук в конце строфы – Франсуа.

Я уже писал, что он был очень одинок, но я не сразу понял, что он не выносил одиночества, радовался, когда к нему приходили. Считается, что он мало (редко?) работал, но я с этим не согласен, он работал всегда, в особенности во время чтения, мысль его страдала бессонницей, плодотворной бессонницей, тому доказательство, например, «Разговор о Данте». Когда он чем-нибудь из прочитанного увлекался, он только и говорил о предмете увлечения. Помню месяцы его увлечения Батюшковым, он написал о нем упоительное стихотворение, героем которого, как часто бывает с истинными поэтами, стал он сам. Он рассказывал о Батюшкове с горячностью первооткрывателя (он никогда не говорил о литературе банально), не соглашался с некоторыми критическими замечками Пушкина на полях батюшковских стихов, искал, находил линию Батюškова в дальнейшем движении русской поэзии, называл при этом Языкова и Веневитинова. Запомнилась (неточно) фраза: «Прекрасно обливаться слезами над вымыслом, а Батюшков слезы превращал в вымысел».

Надежда Яковлевна никогда не принимала участия в наших беседах – сидела над книгой в углу, изредка вскидывая на нас свои ярко-синие, печально-насмешливые глаза. Я, каюсь, в ней тогда не видел личности, она казалась мне просто женой поэта, притом женой некрасивой. Хороши были только ее густые, рыжеватые волосы. И цвет лица у нее был всегда молодой, свежематовый. Как-то Осип Эмильевич, говоря о чем-то возвышенном, вдруг тонко закричал:

– Надюша, Надюша, клоп!

Он засучил над локтем рукава пиджака и рубашки. Надежда Яковлевна молча приблизилась к нему на своих кривоватых ногах, уверенным щелчком смахнула клопа с руки мужа и так же молча уселась в своем углу. А ведь если бы я был наблюдательней, то мог бы понять, что Надежда Яковлевна была человеком незаурядным, – хотя бы потому, что Мандельштам, прочтя свои стихи, часто ссылался на мнение о них Надежды Яковлевны, хотя бы потому, что эта чета была неразлучной, по всем делам всегда отправлялись вместе, а дела большей частью были какие? Перехватить денег в долг, редко с отдачей, и это дало повод

Валентину Катаеву, иногда кормившему поэта и его подругу в ресторане, выразиться так:

С своей волчицею голодной
Выходит на добычу волк.

Только в конце сороковых, снова, через много лет – и каких лет! – встретившись с Надеждой Яковлевной у Ахматовой на Ордынке, я мог оценить блестящий, едкий ум Надежды Яковлевны, превосходное ее понимание государственной машины, не столь часто наблюдаемое даже у людей неглупых. А когда позднее прочел ее книги (вторая, на мой взгляд, сильно уступает первой), то, к своему изумлению, открыл оригинального, страстного и, увы, пристрастного писателя. Она совершила подвиг, сохранив в памяти все неопубликованные стихи Мандельштама, и заслужила вечную благодарность русских читателей. Я до сих пор храню подаренное ею машинописное собрание стихотворений Мандельштама, не вошедших в прежние его книги.

Вместе с И.Л. Лиснянской и молодым поэтом П. Нерлером, деятельно занимающимся изданием мандельштамовской прозы, я посетил Надежду Яковлевну незадолго до ее смерти. Вид ее меня не порадовал. В том, как она говорила, не было знакомой мне злости, была какая-то примиренность, поругивала, правда, одну нашу общую знакомую, уехавшую из Союза, ей, как мне казалось, преданную, но поругивала вяло, без присущей ей страсти. Она сказала о себе: «Восемьдесят лет стукнуло девочке». Стали вспоминать прошлое – и давнее, и более близкое. Она напомнила мне, что Анна Андреевна называла меня своим великим визирем: я занимался некоторыми ее переводческими делами. Такой эlegantный ход разговора позволил мне сказать Надежде Яковлевне, что во второй ее книге много несправедливого (я выразился мягче), и это соседствует с прекрасными мыслями, наблюдениями, что особенно мне неприятен в книге портрет М.С. Петровых, благородной женщины, истинной христианки, замечательного поэта, чей образ автором искажен, а я дружил с ней с юношеских лет и знаю, что она виновна только в том, что Мандельштам – дело прошлое – был в нее влюблен, а она ему не отвечала взаимностью. Надежда Яковлевна встретила мои слова неожиданно спокойно, спросила задумчиво: «Вы так думаете?» Странный вопрос...

Потом опять пошли воспоминания. Я сказал:

– Надежда Яковлевна, мерещится мне или в самом деле в «Александре Герцовиче» была одна строфа, позднее не вошедшая в окончательный вариант? Я даже слышу голос Осипа Эмильевича, читающего мне приблизительно так:

Он музыку приперчивал,
Как жаркое харчо.
Ах, Александр Герцович,
Чего же вам еще.

Надежда Яковлевна оживилась:

– Да, да. Ося эту строфу выбросил. Вам жаль? А я считаю, что так надо было сделать.

Между тем строфа говорит о характерной подробности быта. Музыканты из консерватории направлялись по короткому Газетному переулку до Тверской, в ресторан «Арагви», помещавшийся тогда не там, где теперь, а в доме, отодвинутом во двор новопостроенного здания, брали одно лишь харчо, на второе блюдо денег им не хватало, но жаркое, острое харчо им наливали щедро, полную тарелку...

Не всегда те, чье общество было интересно Мандельштаму, общались с ним. Не могу поклясться, охотно допускаю, что ошибаюсь, но у меня тогда возникло впечатление, что к нему был холоден Пастернак, они, по-моему, редко встречались, хотя одно время были соседями по дому Герцена. Однажды я застал Мандельштама в дурном настроении. Постепенно выяснилось, что то был день рождения Пастернака, но Мандельштамы не были приглашены. А поэзию Пастернака Мандельштам ставил чрезвычайно высоко.

Вот кого из современников он при мне хвалил всегда: Ахматову, Пастернака, Хлебникова, Маяковского. Иногда Андрея Белого, Клюева. Ему нравились ранние стихи Есенина («Хотя Кольцову больше доверяешь»), нравились «Пугачев» и «Черный человек», отрицательно отзывался о «Персидских мотивах»: «Не его это дело, да и где в Тегеране теперь менялы? Там банки, как всюду в Европе. А если и есть, то почему меняла выдает рубли взамен местных денег? Надо бы наоборот».

Что-то привлекательное слышалось ему в некоторых строчках Асеева, позднее – Павла Васильева. По-корнелевски высокогласно, чуть ли не как сам Тальма, произносил «Николай Степаныч», но я полагаю, что в Гумилеве он видел прежде всего друга, авторитетного, умного вожака былой литературной группы и, конечно, жертву разбойного деспотизма. Расстрел Гумилева потряс его навсегда. Не помню, чтобы Мандельштам читал его стихи.

Чудесной чертой Мандельштама, ныне не часто встречающейся, была его литературная объективность. Не то что суд его был всегда правым, но свои оценки писателей он не связывал с отношением этих писателей к себе. Он восторгался Хлебниковым,

который его мало ценил, называл, кажется, «мраморной мухой», восторгался Маяковским, между тем и Маяковский, и круг Маяковского его не очень жаловали, Мандельштам знал это. И другая чудесная черта: никогда не злился на знаменитых, не завидовал им, взирал на них спокойно, издали, даже, по-моему, с некоторым добродушием. Цену себе знал.

Приведу пример его независимой объективности. Я рассказал ему, как его любит Багрицкий, можно сказать, боготворит его, а Багрицкий тогда был гораздо популярнее Мандельштама и среди читателей, и в литературных кругах. Но Мандельштама мое сообщение не тронуло. «У него в мозгу фотографический аппарат, – сказал он. – Выйдет на Можайское шоссе, так непременно увидит Наполеона. Лучшее у него от Нарбута».

Году в 33-м был устроен в Политехническом музее вечер Мандельштама. Я получил билет. В тот день, проводя студенческую практику на Дербеневском химическом заводе, я задержался в связи с оформлением цеховой стенгазеты, немного опоздал. Вступительное слово произнес Борис Эйхенбаум. Публики было довольно много, больше, чем я ожидал, но кое-где зияли пустые скамейки. А публика была особенная, не та, которая толпилась на взрыхленной строительством метрополитена Москве, на узких мостках вдоль Охотного Ряда, деловая, целеустремленная, аскетически одетая, – то пришли на вечер поэта люди, обычно на московских улицах не замечаемые, иные у них были лица, и даже одежда, пусть бедная, была по-иному бедная. Увидел я десятка полтора моих сверстников, запомнился один красноармеец.

Признаюсь со стыдом, я плохо слушал маститого докладчика, думал о слушателях, об этом вечере, устроенном внезапно, как вдруг откуда-то сбоку выбежал на подмостки Мандельштам, худой, невысокий (на самом деле он был хорошего среднего роста, но на подмостках показался невысоким), крикнул в зал: «Маяковский – точильный камень русской поэзии!» – и нервно, неровно побежал вспять, за кулисы. Потом выяснилось, что ему показалось, будто Эйхенбаум недостаточно почтительно отозвался о Маяковском (этого не было, Мандельштам ослышался). Не все в зале поняли, что на подмостки выбежал герой вечера. А вечер прошел превосходно, слушали так, как следовало слушать Мандельштама, даже горсточка случайных неофитов была вовлечена во всеобщее волнение, к тому же, к большой радости давних поклонников, Мандельштам читал много новых стихов, еще не опубликованных.

Мне казалось странным, что Мандельштам, так восхищаясь далеким ему Маяковским, довольно небрежно, порой неприяз-

ненно отзывался о поэтах, которые, как я тогда думал, должны были ему быть ближе, чем Маяковский. Он не любил символистов, ругал Бальмонта и Брюсова, поругивал Вяч. Иванова, делал исключение, не говоря уже о Блоке, для Сологуба и Андрея Белого, с которым с удовольствием встречался. Вышла в свет «Форель разбивает лед» Кузмина, я и мои друзья были очарованы этой книгой, несмотря на то неприятное, что в ней было и что Блок деликатно назвал варварством. Мандельштам разругал «Форель»:

– Это ядовитый плод болезненно цветущего ствола. Стилизация не дело поэта.

– Но вы же сами советовали мне следовать за Тыняновым, учиться у него воспроизводить речевой стиль эпохи.

– Тынянов возродил живые голоса времени, а Кузмин в «Форели» обезьянничает.

Я не согласился, прочел:

Кони бьются, храпят в испуге,
Синей лентой обвиты дуги...

Или это:

То Томас Манн, то Генрих Манн,
А сам рукой к тебе в карман.

– Да, хорошо. Но Кузмину лучше удаются свободные метры. Птица певчая:

Золотое, ровное шитье, – вспомнить твои волосы,
Бег облаков в марте – вспомнить твою походку...

Я любил, знал почти всю книгу наизусть – «Версты» Цветаевой. Стихов ее, написанных в эмиграции, я в те годы не знал. И вот попалась мне «Царь-девица». Вещь мне не понравилась. Мандельштам со мной согласился. «Я антицветаевец», – сказал он, озорничая, и стал резко критиковать подругу своей юности. Из потока слов я запомнил фразу: «Ее переносы утомительны. Они выходят не в прозу – признак высокой поэзии, – а в стилизацию. Она слышит ритм, но лишь слуховым аппаратом, ухом, а этого мало».

Опять ритм! И возникает в памяти замечание Мандельштама о Петрарке:

– Его сонеты скучно переводят пятистопным ямбом или театральным александрийцем, и беззаконная страсть монаха превращается в переводах в адвокатскую напыщенность. Послушайте его почти уличную итальянскую речь.

Он прочел несколько сонетов Петрарки в подлиннике, один или два наизусть, другие – глядя в книгу, прочел так, как обычно читал собственные стихи. То было почти пение.

– Мне кажется, – сказал я, имея в виду размер, – что русской кальки не получится.

– И пусть не получается! Вообще стихи переводить не надо. В переводе можно читать только прозу, стихи следует читать только в подлиннике. Напрасно вы начинаете заниматься переводами, потом пожалеете.

Он был неправ. Я не пожалел и не жалею. Конечно, и дрянь приходилось перекладывать на язык родных осин, но переводя классику, я узнал Восток – мусульманский, индуистский, буддийский, его древнюю поэзию, его еще более древний эпос. Для Мандельштама переводы были сущей пыткой (из его переводов мне понастоящему нравится только тот сонет Петрарки, где шепот клятв каленых), Ахматова, переводя, испытывала удовлетворение крайне редко, а Пастернак и Заболоцкий переводили с увлечением.

Не столь пристрастный, какой оказалась Надежда Яковлевна, Мандельштам довольно часто и горячо менял свои суждения. Отрицая значительного поэта (например, Заболоцкого или Вагинова), он вдруг, ни с того ни с сего, начинал хвалить заурядного стихотворца, да еще, на мой взгляд, ему чуждого. Так мне запомнились неожиданные для меня похвалы Кирсанову.

Поучая меня, приравниваясь к моему советскому невежеству, Мандельштам вел со мною разговоры о различных особенностях литературного ремесла. Разговаривали мы и на более важные темы, например о христианстве и иудаизме. В отличие от Пастернака, Мандельштам духовно ощущал свое еврейство (в молодости он крестился, но то был акт чисто внешний: ради возможности поступить в университет он принял лютеранство). Надежда Яковлевна родилась в крещеной семье, но религиозные чувства пришли к ней очень поздно. Я опрометчиво понадеялся на свою память и ничего не записывал. Память в то время у меня была хорошая, но я чувствую, что даже те фразы, которые я запомнил, я воспроизвожу, обедняя их.

Интересовали Мандельштама и политические вопросы, и не мудрено, политика властно и жестоко входила в повседневный быт советских людей. У Мандельштама не было того обстоятельного, поразительно ясного политического мышления, которое впоследствии восхищало меня в Ахматовой, зато некоторые его прозрения были гениальны. Запомнилось:

– Этот Гитлер, которого немцы на днях избрали рейхсканцлером, будет продолжателем дела наших вождей. Он пошел от них, он станет ими.

Однажды я посетил его вместе с Г.А. Шенгели. Мандельштам прочел нам стихотворение об осетинском горце, предварительно потребовав поклясться, что никому о стихотворении не скажем. Я понял, что он и боится, и не может не прочесть эти строки. Откуда, однако, он уже в те годы знал об осетинском происхождении Сталина?

Шенгели побледнел, сказал: «Мне здесь ничего не читали, я ничего не слышал...»

Во время допроса Мандельштам составил список лиц (он теперь известен, хотя и неточно), которым он читал это стихотворение. Моя фамилия в списке не указана. Забыл или пожалел? Но почему же он не пожалел М.С. Петровых, которая была ему ближе, чем я?

В лагере он сошел с ума. Его убили. Теперь о нем пишут статьи, он знаменит, как никогда при жизни. Ахматова еще в начале 50-х предсказывала ему славу. Даже у нас издали в «Библиотеке поэта» укороченный томик его стихов с оскорбительным предисловием. Мне рассказывали, что секретарь калмыцкого обкома партии, храбрый солдат, генерал-лейтенант в отставке, вряд ли прочитавший за всю свою жизнь более двух-трех книг, самостоятельно распределял присланные в республику экземпляры книги Мандельштама среди партийной элиты: все-таки ценность! Как всегда, Поэт оказался сильнее Государства. Угль, пылающий огнем, не гаснет.

1977–1981

Публикуется по изд.: *Мандельштам О.Э.* Собр. соч.:
В 4 т. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1994. Т. 3.

МОЛДАВСКИЙ ЯЗЫК

Степь шумит, приближаясь к ночлегу,
Загоняя закат за курган,
И тяжелую тащит телегу
Ломовая латынь молдаван.

Слышишь медных глаголов дрожанье?
Это римские речи звучат.
Сотворили-то их каторжане,
А не гордый и грозный сенат.

Отгремел, отблистал Капитолий,
И не стало победных святынь,
Только ветер днестровских раздолий
Ломовую гоняет латынь.

Точно так же блатная музыка,
Со словесной порвав чистотой,
Сочиняется вольно и дико
В стане варваров за Воркутой.

За последнюю ложку баланды,
За окурок от чьих-то щедрот
Представителям каторжной банды
Политический что-то поет.

Он поет, этот новый Овидий,
Гениальный болтун-чародей,
О бессмысленном апартеиде
В резервацыи воров и блядей.

Что мы знаем, поющие в бездне,
О грядущем своем далеке?
Будут изданы речи и песни
На когда-то блатном языке.

Ах, Господь, я прочел твою книгу,
И недаром теперь мне дано
На рассвете доест мамалыгу
И допить молодое вино.

С. Липкин

1962

Публикуется по изд.: *Липкин С.И.* Воля. М.: ОГИ, 2003.

«Когда человек умирает, / Изменяются его портреты», – писала Ахматова. В обыденном смысле несколько изменился и портрет Семена Липкина. Трудно было бы себе представить, что педантичный, предельно аккуратный, неукоснительно соблюдающий распорядок дня, знающий место каждому предмету, никогда ничего не ищущий, поскольку ничего не теряющий, Семен Израилевич оставит после себя такой неупорядоченный архив. Вот уж, действительно, он как бы вторил Пастернаку: «Не надо заводить архива, / Над рукописями трястись». Но стихотворение «Быть знаменитым некрасиво», как мне думается, мог написать только знаменитый поэт.

Совсем иначе складывалась поэтическая судьба Липкина. Его многие годы знали и почитали как переводчика эпосов народов СССР и классической поэзии Востока. А его оригинальные стихи, едва начав, прекратили печатать в начале 1930-х годов, да и опубликовано было к тому времени всего несколько стихотворений. Как оригинальный поэт Липкин был известен лишь узкому кругу литераторов. Талант его оценили в его юные годы Багрицкий и Мандельштам, а в зрелые – Ахматова, Заболоцкий, Платонов и Василий Гроссман. Борис Слуцкий, любивший поэзию Липкина, способствовал выходу в свет его первого сборника «Очевидец». Эта книга вышла в крайне урезанном виде в 1967 г., когда поэту было уже 56 лет. Да и могло ли в те годы издательство «Советский писатель» издать в достаточном объеме произведения поэта, религиозного с детства и, возможно, в силу этого говорящего о мире, времени и о себе открыто и ясно? Семен Израилевич и в частных разговорах всегда подчеркивал, что не терпит в изящной словесности темнот и туманностей, не признает таинственностей, ибо сама по себе поэзия есть тайна.

В начале 1980 г. Семен Липкин в связи с участием в неподцензурном альманахе «Метрополь», в знак протеста против исключения молодых составителей альманаха Евгения Попова и Виктора Ерофеева из Союза писателей, вышел из этого Союза. Судьба круто изменилась как в худшую, так и в лучшую сторону.

С одной стороны, запрет на профессию, всякого рода преследования и гонения. С другой – неслыханное счастье: наконец-то выходят в свет, пусть и за океаном, его стихи и поэмы! Издательство «Ардис» в 1981 г. издает «Волю», составленную Иосифом Бродским, в 1984 г. еще один поэтический сборник – «Кочевой огонь». А в 1991 г., слава Богу, уже на родине увидело свет избранное Липкина «Письмена». И как был счастлив Семен Израилевич, когда в 2000 г. издательство «Возвращение» напечатало «Семь десятилетий» – почти все, что он к тому времени написал стихами за 70 лет жизни.

Ныне издательство «Время» подготовило свод поэзии Семена Израилевича, названный, как и его первый сборник, «Очевидец». Но эти стихи, представленные читателям «Знамени», войти в книгу уже не успеют: «Очевидец» к началу 2005 г. уже, надеюсь, будет на прилавках книжных магазинов.

Здесь я не стану говорить о прозе Липкина. Но о том, как мечтал Семен Израилевич о переиздании его прозы – художественной и мемуарной, не упомянуть просто не в силах. А вдруг какой-нибудь издатель прочтет это мое предисловие и захочет переиздать в двух томах прозу Липкина?!

Но вернусь к разговору об архиве, как бы изменившем портрет поэта после его жизни. Никаких дневников. Несколько записных книжек, где стихи разных лет перемежаются короткими записями адресов и телефонов, а также краткими дорожными заметками и рассуждениями. На осенние пожелтевшие листья похожи и кипы плохо, вразнобой собранных машинописных страниц, некоторые – от руки. Такое впечатление, что Семен Израилевич относился к своим стихам спустя рукава, ничуть себя как поэта не ценил. Но это впечатление разрушают не только, скажем, строка-заклинание своей поэзии «Чтобы остаться как псалом» или же скромное «Я всего лишь переписчик: / Он диктует – я пишу». Но кто диктует? Господь Бог! А к Нему и, значит, к Его переписчику Липкин не мог относиться несерьезно. О том, как серьезно относился поэт к написанному им, свидетельствуют и разбросанные по разным папкам многочисленные оглавления книжек, которые он составлял с юношеских лет. Однако ни одной рукописной книжки не осталось. Эта же публикация выбрана из разных по годам записных книжек и уцелевших страниц. Многие стихи, указанные в оглавлениях, наш драгоценный поэт и вовсе не сохранил. Казалось бы, именно тот, кого так долго не публиковали и кто был в повседневности тщательно аккуратен, должен был с особым тщанием сохранять свои рукописи и трястись над ними. Так не случилось. Это в основном касается стихов раннего периода. Почему? И можно только предполагать, что именно –

из отчаянья, из неверия в то, что стихи когда-нибудь дойдут до читателя. В записной книжке военных лет нашлось дивное лирическое стихотворение «На пароходе». Семен Израилевич, прошедший всю войну от Кронштадта и Сталинграда, в начале 1967 г., когда мы встретились с ним на всю жизнь, много говорил мне о своей давней фронтовой любви, но этого стихотворения мне никогда не показывал.

Что же касается неопубликованных стихов 1980–1990-х годов, то он их, видимо, просто забыл отдать в печать, занятый своей прозой и увлеченный переводом древнейшего эпоса «Гильгамеш». И я их непростительно запомнила, ведь каждое, свежеспеченное, как выражался Липкин, стихотворение он мне тут же прочитывал по нескольку раз. Писал же Семен Израилевич чаще всего на ходу, обкатывал строки в уме, а уж потом переносил на бумагу. Еще он рассказывал мне, как ему пишется: стихотворение виделось (именно «виделось») сразу и целиком, он почти точно знал, сколько будет строф, и работа над словом происходила уже внутри увиденных строф и услышанной музыки.

Господь даровал Семену Израилевичу длинную жизнь и долгую муку непечатанья.

И.Л. Лиснянская

Публикуется по изд.: Знамя. 2005. № 2.

* * *

Делают мое стихотворенье
Хлеба кус,
Обонянье, осязанье, зренье,
Слух и вкус.

А когда захочется напиться,
Крикну в тишине,
Крикну – тишине: «Испить, сестрица!»,
Станет легче мне.

И сестрица ласково подходит –
Круглая, как море, тишина.
Речи непристойные заводит,
Как своя, привычная жена.

И на отмели, в песчаной пене
Возникают меж суровых бус
Обонянье, осязанье, зренье,
Слух и вкус.

1928

2

В БОЛЬНИЦЕ

Я умираю в утро ясное,
Я умираю.
И смерть, смерть старчески-прекрасная
Садится с краю.

Она совсем, совсем как нянюшка.
Мелькают спицы.
Я тихо говорю ей: Аннушка,
Испить... водицы...

Вот кружка медная царапает
Сухие губы,
И на душу мне капли капаят,
О, душегубы!

И чудятся мне пташки ранние,
Луга, болота
И райских дворников старания
Открыть ворота.

1929

3

* * *

С прогорклым, стремительным дымом
Мы весть узнаем о любимой,
И милым домашним животным
Ложится у ног паровоз.
Веселое стадо вагонов,
Обширное вытоптав лоно,
Пропитано салом добротным
И запахом девичьих слез.

Мы ищем любимых годами
И плотью, и тайными снами,
И в омуте сонном подушки.
Мы верим – она к нам придет.
Я вижу ее: спозаранку
На дальнем глухом полустанке
Толчет она масло в кадучке
Иль шерсть одиноко прядет.

Мне б только путем ненадежным
Скитаться по кочкам таежным,
Бродить по богатым станицам,
Чтобы однажды, как зверь,
Стуча в занесенное снегом
Окно и моля о ночлеге –
Увидеть...

Узнать...

И влюбиться,
Пока отворяется дверь.

<1929>

ВТОРОЙ ПОХОД

Он такой же, как все, одинаково болен тоской
 И для предков его одинаково неузнаваем.
 Он стонал, как Батый, он метался, как Дмитрий Донской,
 Как собака, покорно на лапы вставал пред Мамаем.
 Летописец правдивый! О, Нестор, предшественник мой!
 Этот город в истории – знаю – ты не опорочишь!
 Ты кириллицей скажешь, как, повелеваем войной,
 Он входил во владения княжеств, уделов, урочищ.
 Как, смущая дворню красотой византийской своей,
 Полногрудые князьки опальные жены скучали...
 Как в отваге разбойничьей смерд становился храбрый,
 И, князей обезглавив, крамольники повелевали.
 Как потом, позабыв о безглавых князьях, он уже
 Их менял на двуглавых властителей в царстве картежном.
 И уже его девушкам родичи не по душе –
 Те, что отданы в рабство шлагбаумам, верстам дорожным.
 И уже странноват городничий... Он занят бельем...
 Он досуг уделяет шитью... А на зло скалозубам
 Здесь начальник тюрьмы серенады поет: он влюблен
 Безнадежно в кухарку с таким поразительным крупом.
 Пролетают над городом хищные стаи тревог.
 Вольнодумствуют дьяконы в потных и терпких купальнях.
 А над ними трехперстый, без рода, без племени бог –
 Не бог уже больше; он – идол, он – столоначальник!
 Да, праведный Нестор, тебе описать не дано,
 Как ночью уездной в тоске, в бытии станционном
 И метался и корчился христоподобный Махно,
 И въезжал нарицательным именем в город Буденный!
 Скрежетали дороги. До боли хрустели крестцы.
 И тонули дома в разноцветных настойках и супах.
 Семенили, презрев толстопятство и важность, купцы,
 Семенили купчихи, презрев многочисленность юбок.
 Поколенье второе! Товарищи, други мои!
 Я знаком с вашей завистью к славным бывалым походам!
 Но смотрите, товарищи: город еще в забытьи
 И, как прежде, еще бытию станционному отдан.

И, как прежде, петух одиноко кричит на току,
И, как символ, над городом важно встают дымоходы...
О, товарищи, други! На эту глухую тоску –
Я верю – мы грянем вторым небывалым походом!

<10.1929>

5

НА СТРОЙКЕ

О, груды щебня, залитые солнцем!
О, сухость перекладин
И лесов, –
Я вашим чувствую себя питомцем!
Хочу я вас на тысячи ладов
Воспеть, –
Залитых известью и солнцем!
Пусть песнь моя не пламя, но она,
Как дерево сухое, зажжена!
Она горит, когда ее поют –
Про жизнь и труд!

<Не позднее 1929 г.>

6

СЛЕПОТА

Пусть так. Я слеп. Дрожит эфир.
Горит заря. Скудеют реки.
Стучит разнообразный мир
В мои захлопнутые веки.

Но веки – как стена. Не сдвинуть, не открыть.
И мир другой, беднее, может быть,
За ними скрыт. Он ближе и дороже
И зренью моему ясней.
Вот несколько простых вещей:
Бродяга... поезд... бездорожье.

<Конец 1920-х – начало 1930-х годов>

ДЕРЕВНЯ

И вот потомки племени мотыг,
Почивших в бозе сонмами святых,

Рассказывают путь земного шара,
О полуголом, гнотом дикаре,
Бесплотную любовь ветеринара
И порчу в брошенном инвентаре.

А лошадям в скучающей конюшне
Все меньше дел: ни рыскать, ни пахать,
Смотреть в окно на месяц золотушный
И первым день суровый замечать,

Когда с утра, обставлены железом,
Что пахнет потом, лошадью, овсом,
Проходят полем, пастбищем и лесом
Жнецы, влекомы синью и трудом!

Идут, а молотилки и комбайны –
Как старые, библейские волы!
И на полях, как океан, бескрайных
Вскипают жита первые валы!

И вот – побеждены суперфосфатом,
Уже не благодетели земли, –
Дожди косые, с видом виноватым,
Как родственники бедные, пришли!

Страда... Хмелеет голова от хлеба,
И вкусные трепещут облака,
А взглянешь на языческое небо –
И видишь ковш сырого молока!

<Не позднее 1930 г.>

ГОРОДУ НА МОРЕ

Где же страшные вывески меховщиков?
 Клейкий запах столярной? Цирюльни альков?
 Часовых мастерских паутина?
 Где ж турецких пекарен цукатный дурман?
 Золотые сандалии тучных армян?
 Как мне скучно вдали карантина!

Ты, красавица, нынче как будто не та:
 Неприметна родня моя вся – нищета,
 Запах моря на старом погосте!
 Где ж латальщики, сгорбленные до зари?
 Не скрипите подводами, золотари,
 Янтари не рассыпьте в замостье.

Я хотел бы, прибывши часам к десяти,
 По твоим цеховым переулкам брести,
 Никому не известный приезжий.
 Только март начался. Задышало весной.
 Пахнет мокрым каракулем воздух дневной,
 Свежей тиной морских побережий.

1931

9 (*)

ОСЕНИ

Пусть я солгал, и ты мне дорога –
 Я не хочу любви, которой нет.
 Я жить начну – и вся тут недолга –
 За гранью светлых снов и светлых лет.

Твой день горит двойным огнем свечи.
 Он умирает на глазах твоих.
 Ладони листьев странно горячи...
 Зачем ты чашечкой свернула их!

Я принимаю, осень, вечер твой
 У ветел фольговых и желтых плит.
 Перебродивший сад шумит листвою
 И, кажется, еще тобой шумит.

Дыши, нездешний! Позолотой тлей!
За гранью светлых снов – в начале дня –
За гранью светлых лет – еще светлей!
А если я поэт... прости меня!

1932

10

В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ

– Будь нежным, голос мой, будь неземным, –
Душа бормочет, замирая.
Вот сети сушатся. Землянки дым
Чернит покровы молочая.

Четыре кирпича – костер и печь.
Золой, наверно, пахнет ужин.
На берег сиятся две тени лечь
От вечеряющих жемчужин.

Зачем девчонка рыбу потрошит?
Обиду заглуша земную,
– Будь нежным, голос мой, – душа велит,
Играя с мыслями вслепую.

...Я вижу блеск ее холодных глаз,
Передающийся подругам.
Корзины в сторону – бесчестить нас
Они уселись полукругом.

Я вижу торжество твое, нужда.
Но, просветленный и нежданный,
Будь нежным, голос мой, как никогда,
Дыши, казалось, бездыханный.

1932

РУЧЬЮ

Что с тобой стало, ручей, был ты всегда безглагольным,
 Был нелюдимым всегда, треплешься нынче весь день:
 – Вышито небо к весне бабочек цехом игольным... –
 Врешь, это я написал, выложил суриком тень.

Знаю, что скажешь мне, всю речь твою знаю заранее:
 Паводок – голос ее. В синих прожилках земли –
 В сонных озерах – зрачков отблески. А на поляне...
 Врешь! Это выдумал я! Песни мои расцвели!

Завтра придет моя жизнь – так вот в ушах раздается!
 (Лесу шепнул: зеленей! Воздуху: будь невесом!)
 Жизнь моя завтра придет, та, что Весною зовется...
 (Крови своей: не балуй! Ласточкам подал: начнем!)

Спросишь, хитрец: почему ж коверик не выткан зеленый?
 Рук не хватило тебе?.. Полно злорадствовать, друг!
 Лишь переступит она те полуголые склоны –
 Буду следы целовать, даром что скошен каблук.

1932

12

* * *

Разве припомнишь развалин
 Замшенные жерла,
 Где, словно пчелкой ужален,
 Закат узкогорлый?
 Церковки новой, портовой
 Смущенные звоны?
 Матушку с вечной основой?
 (А нитки – бессонны.)

Что вспоминать мне! Ты вспомни
 Проулками всеми
 Шедшие с каменоломни
 Рабочие семьи.

Косточки, вспомни, валялись
Гнилых абрикосов...
К нам на плечах приближались
Останки матросов.

Мертвые ждали салюта,
Друзья по-матросски
Губы кусали, как будто
Ища папироски.
Ты не забыл те тужурки,
Пропахшие морем,
Мальчик болезненный, в жмурки
Играющий с морем.

1932

13

МУЗЫКА

Флейту я не слышал городскую,
Но я верю в ее бытие,
Ибо музыку знаю другую,
И загадочней свойства ее.

Говорят... я не помню преданья,
Но ученого память хранит:
Он играл – это были рыданья
Бледных, запертых в колбах сильфид.

Нет, не звук – очертание звука.
Морем выступит, встанет стеной,
И чужая неясная мука
Этой музыки станет родной.

Вспомнишь: нерасторопный прохожий
Загляделся на вывеску – вдруг
С чем-то схожий и все же несхожий
Нежный голос – блаженства испуг.

И целует, и нежит, и носит,
И поет, – но пройдет колдовство, –
Засмеет и, как женщина, бросит...
Это длилось минуту всего.

И не знаешь, что ж это такое:
То ли шепоты пыльных вершин,
То ли вашу мечту за живое
Неуклюже берет Бородин.

1933

14

НОЧЬ ПЕРЕД ЭВАКУАЦИЕЙ (Воспоминание)

Я в март вошел, в тот мир жестокий,
Где май зажегся на припеке,
А княжество зимы – в тени.
О, город-мальчик! Протяни
Татуированную руку,
Дай краскам – ночь, дай море – звуку,
Но вновь со мной соедини
Восторгов медленную муку.

И – вверх по лестницам бесплотным,
Вольнолюбивым, многосчетным, –
К судоремонтным мастерским!
И – вверх, вослед ночным прогулкам
К домам-ханжам, к домам-шкатулкам
По переулкам неземным.

Акации. Пучки сирени.
Дворы каретных заведений.
Где древний Рим деревней спит.
Все пышет: упряжь, кузов, части...
Но нет коня, нет конской масти,
Чтоб нас обдать огнем копыт!

Вот Путнынъ – уроженец Жмуди,
Чей подоконник тонет в груди
Скрепленных клейстером значков,
Усыпан пестрядью петличек
Погон, сереброкрылых птичек –
Нездешним миром пустяков.
Здесь улицы дрожат, как сходни.

Я помню праздник ежегодный,
Закатных красок густоту,
И возле боен – запах крови,
И шлюх, одетых в траур вдовий,
И прапорщиков на мосту.

То были сыновья хористок
И дворничих, и вдов-модисток,
То были дети без отцов.
Их вспомнил вдруг в кровавый праздник
Отец – окраинный лабазник –
И полюбил в конце концов.

И в памяти встают ночами
Деревни с буйными бахчами, –
Там были наши братья. Там
Они печатали листовки,
И чистили свои винтовки
И ждали боя.

По утрам.

Речитативом старых арий
Врывался в город запах гари
И на заставе замирал
От робости, по-детски влажен,
Как бы на миг обескуражен
Тобою, биржевой хорал.

Как бы на миг. Но вскоре, вскоре
Триустую собаку – море
Дразня животной теплотой,
Мешался с запахом миндальным,
Кондитерским, колониальным,
Тавотным, серным...

В мастерской

У Путныня еще не гасло.
Утюжный дым и копоть масла
Колеблет суетня подков.
То – в мутных стеклах чей-то топот,
Невнятный счет и смутный шепот,
То – смута в бездне шепотков.

Два бешеных удара. Споря,
Два выстрела несутся с моря.
Две – в гавань – барышни летят,
Везет их офицер в черкеске,
И кони в раздвоенном треске
Подкову счастья золотят.

<1934>

15

МИР

Мир в отрочестве был не в облаках,
А на земле, как наш огонь и прах,
Невидимый, таился как бы рядом
С дворами, где мешались рай и срам,
Где шушера теснилась по углам,
А краденое прятали по складам.

И сладок нам казался переход,
Когда мы видели на хлябях вод,
Нет, не дыханье, – тень его дыханья!
Не часто в жизни думали о нем
И, умирая, знали: не найдем
Гудящего бок о бок мирозданья.

Тот мир не то чтоб так уж и хорош:
В нем та же боль жила, и та же ложь,
И тот же блуд, безумный и прелестный,
Но был он близок маленькой душе
Хотя бы тем, что нас пленял уже
Одной своей незримостью телесной.

1934

ПИСЬМО В СТОРОНУ ПОНТА

Михаилу Скалету

Долго беседу веду с любезными сердцу друзьями.

Овидий. Письма с Понта

Только невежд рассмешить Скалета фамилия может,
 Знающим слышится в ней венценосной Венеции речь
 Или Толедо. Когда иду я кладбищем еврейским,

Повесть скитальческих лет в фамилиях тех мертвецов
 Мне открывается: вот – смотрю – Малой Азии отпрыск,
 Явно голландец другой, а третий – Германии сын.

Далее дети Литвы, белорусских, польских местечек,
 Русь и Кавказ говорят окончаньями «швили» и «ов».

Был твой отец меховщик, и вывески на Ришельевской
 Золото выпуклых букв горело, когда поутру

Мимо я в школу ходил... Очень рано мать овдовела,
 Трудно ей стало одной меховую торговлю вести.

Замуж вторично она удачно, казалось бы, вышла:

Муж – ювелир, и вдовец, и видный мужчина, силач.

В городе знали: хитер Паромщик, еврей свиномордый,
 На Дерibasовской он в доме Вагнера лавкой владел.

В красное мясо лица были вправлены два бриллианта –
 Точки глаз, но знаток понимал поддельный их блеск.

С дочерью юной вдовец и с мальчиком-сыном вдовица
 Объединились в семью и квартиру нашли без труда

В доме у нас, на втором этаже. Вливалась к ним в окна,
 Что против наших окон, весеннего нэпа заря.

Мы подружались с тобой: ты был крепышом, забиякой,
 Я – созерцателем дня, жадным глотателем книг.

Ты восторгался моим беспомощным стихоплетеньем,
 Я – сочетаньем в тебе и умницы, и драчуна.

Нравилась мне и Адель, сестра твоя, нежный подросток

С зрелостью ранней груди, с пленительной лживостью

глаз.

Позже призналась она, что с умыслом, полунагая,

Будто, Бог знает, о чем в мечтание погружена,

Передо мною в окне стояла и тайно следила,

Как я зубрю иль черчу. О, я плохо зубрил и чертил,

Станным волненьем томим – необычным, мучительным,

чудным.

Было четырнадцать мне, шел ей шестнадцатый год.
Только тебе открывал заключенное в ямбы томленьё,
Памятлив был ты и ей читал эти ямбы, смеясь.

1935

17

НА ПАРОХОДЕ

Черты лица ее были, наверно, грубы,
Но такой отрешенностью, такой печалью сияли глаза,
Так целомудренно звали страстные губы...
Или мне почудились неведомые голоса.

Как брат и сестра мы стояли рядом,
А встретились в первый раз.
И восторг охватил меня под взглядом
Этих нечеловечески-печальных глаз.

Она положила слабые руки на борт парохода
И, хотя была молода и стройна,
Казалась безвольной, беспомощной, как природа,
Когда на земле – война.

И когда, после ненужного поцелуя,
После мгновенного сладостного стыда,
Еще не веря, еще негодуя,
Неуклюже протянула мне руку, сказав: навсегда, –

Я понял: если с первоначальной силой
Откроется мне, чтоб исчезнуть навеки, вселенной краса, –
Не жены, не детей, не матери милой, –
Я вспомню только ее глаза.

Ибо нет на земле ничего совершенней забвенья,
И только в том, быть может, моя вина,
Что ради одного, но единственного мгновенья
Должна была произойти война.

20.08.1941. Кронштадт

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Прощайте, палаты, прощайте, лепные колонны,
Прощайте, товарищи, сад мой широкий, зеленый,

Я при смерти был, но врачи меня к жизни вернули,
Ни разу не проклял я этой отравленной пули!

И вот, как бывало, хожу на работу ночную,
Детей обнимаю, жену молодую целую,

К друзьям, сослуживцам ни зависти нет, ни презренья,
Но сердце напитано медленным ядом прозренья.

Жена-хлопотунья, жена-хлопотунья и лгунья,
Не верует в Бога, боится грозы, новолунья,

И дети – хорошие дети, и в теннис играют, –
Не знают меня и, наверное, знать не желают...

А, впрочем, подумать, так дети и мать не виновны,
Без смысла, но свято блюдем договор любовный,

И в мире нет места счастливей, милее,
Чем тот коридорчик в подернутой дерном траншее.

22.08.1941

ПОСЛЕ ИНФАРКТА

Заснула роща сном истомным,
Лишь рокот слышен отдаленный, –
То трудится трудом никчемным
Дом отдыха белоколонный.

Деревья на зиму надели
Из снега сделанные шкуры,
А на снегу, где зябнут ели,
Чернеют резко две фигуры,

Инфарктник с палочкой таежной,
С женою новой, полнокровной,
Походкой тихой, осторожной,
Гуляет рощей подмосковной.

Он за женой скользит, сползает
В овраг, где мягок снег, как вата,
Затем очки он протирает
Застенчиво-молодцевато.

Семнадцать лет в тайге он прожил
И вывез палочку оттуда.
Себя душил, себя корежил,
И снова жизнь, и снова чудо.

– Послушай, Люда, что такое?
Да что такое, в самом деле?
В застывшем снеговом покое,
Где стынут сосны, зябнут ели,

Где розовое от мороза
Им небо головы кружило,
Где сумасшедшая береза
Вдруг почками стрелять решила,

Где валенок следы несмело
Легли на толщу снеговую, –
Под настом теплота запела
Без удержу, напропалую!

Они стоят на снежном спуске,
Внимая песне речки дерзкой,
То плавно плещущей по-русски,
То бурной, как мятеж венгерский...

1957

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Мы хоронили дряхлого певца,
 Забытого и прочно, и давно.
 А были дни – и он смущал сердца
 Смятением, что в сердце рождено.

С трудом собрали два десятка лиц,
 Чтоб сжечь пристойно одинокий прах,
 И двигался автобус вдоль больниц
 Сквозь гомон птиц в строительных лесах,
 И в стекла иногда вливалась высь
 Всей влагой вечереющей зари...
 Чтоб сделать много, вовремя родись,
 Чтоб быть счастливым, вовремя умри.

30.6.1967

ИННЕ

Раскольниковы твои слова грустят,
 То яростью сжигаясь, то стыдом,
 И сумрачно твои глаза блестят –
 Два зеркала, облитые дождем.

И в этом жарком, влажном пепле глаз,
 Столь соприродных мирозданиям двум,
 Открыл я бред и боль двух древних рас,
 Души дремотной бодрствующий ум.

1979

ЛИПА

Вода из тучи грозовой,
Грозась, никак не выльется.
Трепещет плотною листвою
Моя однофамилица.

Одной заботой занята, –
Чтоб туча отодвинулась,
Чтоб роковая темнота
На лес не опрокинулась.

На той тропе, где жухнет пень,
Местечко есть лукавое:
Не сохнет в самый жаркий день
Болотце медно-ржавое.

Его мне надо обойти,
А надо, так попробую,
Я должен до дому дойти
И не залечь с хворобою.

И липа – ближе, чем родня
Иль чем сестра названная, –
С какою жалостью в меня
Уткнулась, деревянная!

А я пойду и над водой
Падучей или вязкою
Вновь посмеюсь, как молодой,
Согрет медовой ласкою.

Пусть липовый густеет цвет,
Дыша стихом невянущим.
«В ней есть любовь», – шепчу я вслед
За Федором Иванычем.

09.08.1979

ЧИТАЯ ЛЬВА КОПЕЛЕВА

Вам обещает начальник конвоя:
 «Я научу вас свободу любить».
 Так я запомнил словечко живое,
 Что и в гробу мне его не забыть.

Как же российскую нашу породу
 Может понять окружающий мир,
 Если понять научились свободу
 Только лишь ту, что сулит конвоир?

17.10.1979

24

* * *

О дождя стариковские слезы,
 О как хочется верить слезам,
 И трехпалую руку березы
 Поднимает земля к небесам,

Чтобы заново с ними наладить
 Им и ей столь потребную связь,
 Чтоб на небе морщины разгладить
 И самой рассмеяться, светясь.

Но калек небеса не жалеют,
 Ни трехпалых берез, ни людей,
 Лишь по-старчески плакать умеют
 В час, когда нам не нужно дождей.

<1980-е>

* * *

Я смотрю на город мой столичный,
На его дневную суету,
И впервые глаз, к нему привычный,
Открывает мрак и пустоту.

Так торгуем, плачем и ликуем,
Так задумали земную ось,
Будто мы взаправду существуем
И давно все это началось.

Мрак предвечный нами не осознан,
И ничто ни с чем не говорит,
Дольний мир пока еще не создан,
Только Дух над ним парит.

03.05.1980

* * *

Молодые несли мне потертые папки,
С каждым я говорил, как раввин в лисьей шапке,
А теперь, отлученный, нередко унылый,
Хорошо различающий голос могилы,
Я опять начинаю, опять начинаю
И, счастливый, что будет со мною – не знаю.

27.05.1980

СУМАСШЕДШИЙ

Сын профессора был сумасшедшим,
 Жил на даче круглый год.
 Вышел вечером к вишням расцветшим,
 Слышит – соловей поет.

Очарованный звонким рассказом,
 Вдруг почувствовал большой,
 Что такой же измученный разум
 Бредит в местности лесной.

Пусть грохочет насмешливый поезд, –
 Легче мучиться вдвоем:
 Тот же бред и серебряный посвист
 В сердце слышит он своем.

05.06.1980

28 (*)

ЛИК

Раньше личности – личина,
 А потом лицо, но лик
 Прежде этих трех возник,
 Он всего первопричина.

Отражения его,
 Речью, взглядом, цветом кожи
 Друг на друга не похожи, –
 Мы похожи на него.

Прочь личины! Если лица
 Обнажатся в некий миг,
 Вспыхнет в каждом вечный лик,
 Каждый в личность превратится!

14.07.1980

* * *

Зачем же я прячу,
Скрываю, таю
И все-таки трачу
Отраду свою?

Отраду-отраву,
Чья горечь сладка,
Заботу-забаву,
Чья сладость горька.

А как не истратить?
А как уберечь?
Иль законопатить
Шалавую речь?

Пускай задохнется,
Когда не судьба,
Но если очнется,
Не будет слаба.

А будут родниться
Друг с другом слова,
Как с небом зарница,
Как с полем трава.

05.10.1980

ЕЛЬ В ОКНЕ

Ель в окне, одетая
В белые меха,
Столько раз воспетая
Дудочкой стиха,

Я тебя-то, скромница,
Знаю много лет,
А тебе ли вспомнится
Старый твой сосед?

Как порой невесело
Он смотрел в окно,
А зима развесила
Серое рядно,

Как терзал он перышком
Толстую тетрадь,
Чтоб весною скворушкам
Повесть прочитать,

Как однажды жесткую
Не убрал постель,
А заря полоскою
Золотила ель.

22.01.1981

31

НОЧНАЯ ТЬМА

Притормозив, спросил с небрежной
Усмешкой: «Есть ли закурить?»
А я шагал и думал, грешный:
«Здесь, на земле, мне долго ль жить?»

Он в фирменной дубленке вышел.
Был голос пьян, а сам – тверез.
Я понял раньше, чем услышал,
Что будет разговор всерьез.

Он вышел посреди дороги
Вдоль дач, переходящих в лес,
Такой же, как и я, двуногий
И с тем же признаком словес.

Зима ночную тьму простерла
На елей и заборов смесь,
А он схватил меня за горло:
«Вы долго жить решили здесь?»

Как видно, государь геенны
Гонца прислал на «Жигулях»,
Чтоб он раскрыл мой сокровенный,
Чтоб растолкал мой спящий страх.

Я -- за угол, в калитку. Прячусь
В ночном снегу. За мной вдогон,
Утратив на минуту зрячесть,
Кидается автофургон.

Чего гонец бесовский хочет?
Поработить? Побить? Иль сбить?
То я шепчу, иль ночь бормочет:
«Здесь, на земле, мне долго ль жить?»

07.03.1981

32 (*)

В ГОСТИНИЦЕ

В номер заявлялась
Днем, по выходным.
Чудно удивлялась
Двум грудям своим.

«Муж какой-то смурый,
Пьет, ревнует, бьет.
Родилась я душой,
Так и жизнь пройдет.

В госпитале ночи,
На дворе мороз.
Ты бы меня в Сочи
Хоть бы раз повез».

Купленные ласки
Делались теплей,
Кукольные глазки
Делались влажней.

Чесноком и водкой
Пахло от нее,
Да еще пилоткой
Хахаля ее.

15.08.1981

СОНЕТ КЛАРЕ

В музеях, что для публики открыты,
 Где множество реликвий и святынь,
 Мы видим изваяния богинь –
 Афины, Геры, Гебы, Афродиты.

В них также манускрипты знамениты,
 Нам говорят кириллица, латынь,
 Что блеск, и власть, и красота княгинь
 И королев досель не позабыты.
 Но важных, пышных зданий мне родней
 Тот ветхий дом, где обитал Корней,
 Где дочь его – исполненная дара
 Свидетельница горестных годин,
 Где лучше изваяний и картин –
 Живая, восхитительная Клара.

11.10.1981

ВДВОЕМ

Из страны раскатов грозových
 Я пришел к блюстителю живых;

Из страны глупцов, слепцов, хромцов
 Я пришел к владыке мертвецов;

Из страны метельных холодов
 Я пришел к хозяину плодов

И сказал: «Я прожил жизнь, греша,
 Но виновна плоть, а не душа.

На меня без гнева погляди,
 Кровь сожги, а душу пощади».

Он сказал: «Вчера горел закат.
 Я вступил в свой финиковый сад.

Возле пальмы, в ямочках следов,
Косточки валялись от плодов.

Двое смолкли пред моим лицом,
Был один слепцом, другой – хромцом.

– Вор и вор! За страсть к чужим плодам
Вас обоих каре я предам!

Но спокойно возразил слепой:
– Посмотри, слепец перед тобой,

Посмотри на мой потухший взор:
Я плодов не вижу. Я ли вор?

Закричал в волнении другой:
– Как я мог с моей хромой ногой

Влезть на пальму и плоды сорвать?
Разве мне под силу воровать?

Я сказал им: “Слышу ложь словес.
Ты, хромой, слепцу на плечи влез,

Вы, бесчинствуя в саду моем,
Воровали финики вдвоем”.

Ты один, но состоишь из двух,
И грешат вдвоем и плоть, и дух».

04.11.1981

.

Я ЦАРЬ, Я РАБ...

Затерянных ослиц
Искал я, как Саул.
И среди встречаемых лиц
Я на одно взглянул,
И светлый Самуил
Меня остановил!

«Я внемлю, – ты внемли.
Ступай к другой мете,
И будут все кремли
Принадлежать тебе,
И станешь ты царем
Над Звуком и Пером».

Я Внемлющему внял,
Пастуший кинул рог,
Пошел я, но узнал:
Ошибся наш пророк,
И вот я страж добра
У Звука и Пера.

Я стал у них рабом,
Я царства не обрел,
И стучаюсь я лбом
Об их дворцовый пол,
Но злы Пера и Звук
На худшего из слуг.

20.11.1981

НЕСКОЛЬКО ОПРЕДЕЛЕНИЙ

1

Грехопаденье – это вера,
 Вся устремленная к лукавству:
 Извечно обольщает паству
 Змееголовая химера.
 Грехопаденье – это вера.

2

Существование – это частность,
 С которой спорит целокупность,
 И обрекает на доступность
 И смерти грубую причастность.
 Существование – это частность.

3

Воспоминанье – это сказка,
 Утратившая повседневность,
 Ее обманчивая древность –
 Актера площадного маска,
 Воспоминанье – это сказка.

16.11.1983

37

НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ

При реках Вавилона сидели мы и плакали,
 когда вспоминали о Сионе.

Псалом 136

Не сидят на Истре и не плачут,
 Здесь – не Вавилонская река.
 Кто же знал, что все переиначит
 Не чужая, а своя рука?

В зипуне кощунства и доноса,
Из безумья, хмеля, нищей лжи
Появился Навуходносор,
И пошли убийства, грабежи.
Здание стоит, а дом разрушен:
Полой стала каменная плоть,
Ибо тот и умер, кто бездушен,
Если смертью смерть не побороть.

Мы пред стариной благоговеем,
И когда районный городок
Порешил потешить нас музеем, —
Видеть не хотим его порок.

От вина и от лихвы пьянеют
Областена начальники его,
Даже в вечном сне они тучнеют,
Ибо то и тучно, что мертво.

В доме Нового Иерусалима
Нынче нет молитв и чистых слуг,
Все же шум от крыльев херувима
Иногда в себя вбирает слух.

Кто мне голос крыльев переводит?
Правильно ли понял перевод?
«Тот, кто жаждет, пусть сюда приходит,
Воду жизни даром пусть берет!»

03.05.1986. Красновидово

38

РАСПАД

Произошел распад ядра.
И с бешенством больным и ярым
Достигло облако Днепра,
Остановясь над Бабьим Яром.

И тот, кем был когда-то я,
Давно лежащий в яме темной,
Увидел: красная струя
Во мрак вонзилась черноземный,

И кровью став, вошла в меня
И мясом остов мой одела,
И вновь из праха и огня
Цветущее возникло тело.

Я оглянулся: не костей
Сыпучий тлен, не пыль бесполох,
А много женщин и детей,
Отцов и юношей веселых.

Наверх! Скорей вверх! О нет,
Слои земли нам не преграда,
И нас не мрак изверг, а свет
Обетованного распада!

Мы по Крещатику идем
Средь ламп, зачем-то днем зажженных,
И видим в ужасе кругом
Ослепших или прокаженных,

И плачем – пожалейте нас,
И руки снова окровавьте!
Стреляйте в нас! Убейте нас,
И памятников нам не ставьте!

09.05.1986. Красновидово

39

* * *

Чудный свет, хотя и бестелесный,
Так сияет нынче на снегу,
Будто бы ласкает Царь Небесный
Своего слугу.

Во дворце зимы никто не нищий,
Он богаче Зимнего дворца.
Хорошо, что нет в моем жилище
Края и конца!

Как близка мне бедностью наряда
Сосен титулованная знать!
Мимо изб иду, и сердце радо
И страдать, и ждать.

<1989>

* * *

Избеги суесловия, жалкой гордыни,
 Удались и застынь, словно столпник, в пустыне,
 Никому, никому не являйся отныне,
 Оставайся в пустыне.

Чтоб несметные толпы пришли к тебе сами,
 И тогда, чтобы стать твоих строк голосами,
 Устремятся к тебе из далекой столицы
 Говорливые птицы.

Бормочи и молись, – пусть воздушная стая
 Разольет твои звуки от края до края,
 Пусть вослед за тобой обратятся к святыне
 Сотни толп, – оставайся в безлюдной пустыне,
 Оставайся в пустыне.

<1990>

ПЕРЕД БОЕМ

Будет бой – и хуже: окруженье.
 Мертвым в землю мне придется лечь,
 Или пленом кончится сраженье,
 И войду я в газовую печь.

Но кого же вспомню в душегубке?
 Брата и сестру? Отца и мать?
 Иль дурные мысли и поступки
 В миг последний стану вспоминать?

За окном – короткий конский топот,
 В комнате – комод и образа,
 Молодой, дрожащий, жаркий шепот,
 Ждущие и жгучие глаза.

<1990>

ЗАКАТНАЯ СВЕЧА

Были утра, были полдни,
 А в такие вечера
 Звезды, свечечки Господни,
 Загореться вам пора.

Виноватого украсьте
 Вашим светом, дайте мне
 Чистых праведников счастье –
 Ночью умереть во сне.

Чтоб огонь ко мне спустился,
 На ветру не трепеща,
 Чтоб я тихо засветился,
 Как закатная свеча.

<1990>

43 (*)

НА СМЕРТЬ А.Д. САХАРОВА

Он говорил без восклицаний,
 Вел наступленье без атак,
 Санкт-Петербургские дворяне
 Порой грассировали так.

Смертельной бомбы водородной
 Он был страдающим отцом,
 Бессмертной думы всенародной
 Он был твореньем и творцом.

Болезненный, он был всесильным.
 Казалось, заживо зарыт,
 В закрытом городе был ссыльным,
 Но мирозданию открыт.

Могучий, был он беззащитным,
 Но слабых, нас, он защитил
 И стал реактором, магнитом,
 Источником грядущих сил.

Явил он снова, что Востока
Не умолкают голоса.
Ребенка, ангела, пророка –
Нам не забыть его глаза.

1991

44

КЕСАРИЯ

Кесария, ты не забыла
Тех, столь разно одетых людей.
Как недавно все это было:
Крестоносцы, а раньше Помпей.

Как недавно все это было,
Если зорким глазом взглянуть.
Преходяща земная сила,
Вечен духа высокий путь.

Легион уходил с легионом,
Отступал с отрядом отряд,
Но под тем же стою небосклоном,
Что синел столетья назад.

Тот же ров перед мощной стеною,
И театр слепит белизной,
Но мне кажется: солнце иное,
Да и самый воздух иной.

Там, вдали, замирание зноя,
Вечность сводится к счету минут,
Здесь волна гудит за волною:
– Вы уйдете, другие придут.

Но в незримом, неведомом хоре
Неожиданный слышится гром:
– Замолчи, Средиземное море,
Никогда никуда не уйдем!

21.04.1991

ПРЕДКИ МАСТЕРОВ

Я блюститель полнокровья,
 Но не хищных, а овец.
 И поэтому сословья
 Третьего певец.

Мы из лавки, банка, цеха,
 Знаем толк в камнях, в стекле,
 В шерсти, в жести, в громе смеха
 Грубого Рабле.

Твердо в здравый смысл поверив,
 Мы надежный строим кров,
 Мы потомки подмастерьев,
 Предки мастеров.

02.05.1992. Переделкино

ТРИ ДОЧЕРИ

Женщина трех дочерей родила.
 Первая трудно и чисто росла.
 Даже в пределах извечного зла
 Жизнь без нее невозможна была.

Средняя – дочери первой близнец.
 Это – основа и это – венец,
 Ангел и жница, мечта и стрелец,
 Ярость, безумье и счастье сердец.

Мудрой Софии последняя дочь,
 Та, что одета в денницу и ночь,
 Может легко погубить и помочь,
 К телу прижаться – и выскользнуть прочь.

08.06.1992. Переделкино

* * *

Не доносил, не клеветал,
 Не грабил среди бела дня,
 Мечтал, пожалуй, процветал,
 Прости меня.

Не предавал, не продавал,
 Мне волк лубянский не родня,
 Таился, не голосовал,
 Прости меня.

Мой друг погиб, задушен брат,
 Я жил, колени преклоня,
 Я виноват, я виноват,
 Прости меня.

02.10.1992

НИКОГДА

Кто вдохнул в меня душу,
 Тот со мной до сих пор.
 Никогда не нарушу
 Давний тот договор.

Только выпрямлю спину,
 Долгий сделаю вдох, –
 Никогда не покину
 Одного ради трех.

11.04.1993. Переделкино

АТЛАНТИДА

Бесспорно, были в Атлантиде
 Свои Гомер, Эсхил, Овидий,
 Сервантес, Пушкин, Достоевский,
 Шекспир, Куняев, Бабаевский.
 Различны были их пути,
 Сравнялись все в небытии.

Но почему-то, почему-то
 Век вспыхивает, как минута,
 Речь вырывается из уст,
 Тогда-то возникает Пруст,
 И Бродский, хоть неброский с виду,
 Родную вспомнит Атлантиду.

22.04.1993. Переделкино

ТРИ БАБКИ

Вот бабушка русской эстрады,
 Покуда кассовая.
 Светясь и меняя наряды,
 Поет, приплясывая.

Колдуя, лаская, играя,
 А речь пророческая,
 Шаманствует бабка другая,
 Стать стихотворческая.

На площади бабушка третья,
 В словах натасканная,
 Неистова в дни лихолетья,
 Никем не ласканная.

07.04.1994. Переделкино

МОГИЛЕВ

Мои две родные тетки
 Были мечтательны, кротки.
 Двоюродные братишки
 Запоем читали книжки.
 От них не осталось и крови
 В захваченном Могилеве.

Миля, врачиха зубная,
 Жила без мужа, страдая.
 Рахиль, моя тетка вторая,
 Девушка полуседая,
 Деточек беспечальных
 Учила в классах начальных.
 От них не осталось и крови
 В захваченном Могилеве.

На площадь, подобие Красной,
 Смотрели окна прекрасной
 Трехкомнатной квартиры,
 А на балконе кумиры
 На полотне рисовались,
 По праздникам красовались,
 Но и от них в Могилеве
 Не осталось и капли крови.

19.04.1995. Переделкино

52 (*)

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПУТАНИЦА

Нам Ганнибал полезен,
 Но некий книжный клоп
 Узнал, что был обрезан
 Пленный эфиоп.

Звезда всего славянства,
 Обрел несчастный Фет
 По матери гражданство:
 Так утвердил Кнессет.

По этой же причине
Решил Ерусалим,
Что Ходасевич ныне
Считается своим.

Быть лекарем маститым
Еврей в России смог,
Но стал антисемитом
Его праправнук Блок.

Весь ход вещей запутан,
И не поймешь никак,
Что Бабель, словно Ньютон, –
Всего лишь Исаак.

В глазу померк хрусталик,
Мозг болен, гнев иссяк:
Лишь Хаим-Нахман Бялик –
Единственный русак.

19.06.1996. Переделкино

53 (*)

СУД

Три земные поры –
Юность, подлость и старость,
А на Страшном суде
Что ушедшим досталось?

Оправдают конец.
Утро дней не осудят.
Середина грязна:
Ей пощады не будет.

11.08.1996. Переделкино

СРЕДИ МОГИЛ

Среди востряковских могил,
 Когда набежало ненастье,
 Я понял, что мир позабыл
 Закон сохранения счастья.

Склонись к родовому стволу:
 Кем сделались нам дорогие?
 Одних превратили в золу,
 Фрагментами стали другие.

Когда в государстве могил
 Не дряхлость преграда, не слякоть,
 Есть горькое счастье – поплакать
 Над теми, с кем близок ты был.

<1997>

У ФИНСКОГО ЗАЛИВА

Спешат с работы запоздалые
 Работники домой,
 И пахнут сумерки усталые
 Карболкой и зимой.

На пляже лодки опрокинуты
 Вдоль скрывшейся воды,
 Где ищет Дед Мороз покинутый
 Снегуркины следы.

Иную веру исповедует,
 Пришел издалека,
 Людей спросил бы, да не ведает
 Чужого языка.

Все тихо. Только окна светятся
 Да лампы на столбах,
 Да в мутном небе спит Медведица
 С солодкой на губах,

Да отдыхающая пьяная,
Раскинувшись в снегу,
Поет про счастье окаянное
На финском берегу.

<1997>

56 (*)

ЛЕТО БУДУЩЕГО ГОДА

Вежливо меня в предзимье будит
Голос чей-то сквозь ночную темь:
«Жития вам будет
Восемьдесят семь».

Значит, лето будущего года
Отцветет последним для меня.
Надо ждать ухода,
Прочь печаль гоня.

Сколько в жизни наболтал я вздору,
Сколько написал я чепухи!
Мне замолкнуть впору
И забыть стихи.

А когда перед судьей предстану,
Ничего сказать я не смогу:
Духом не увяну,
Мыслью не солгу.

Будет Божья воля – бестелесный,
Без надежд и страха помолюсь,
Как жилец небесный,
С облаком сольюсь.

10.12.1997

ДРОБЬ

Поняв: ты родом из дробей
 С огромным знаменателем,
 Ты поумнел. Так не робей,
 Представ перед читателем.

Ты в гуще многих наособь
 Держись как неотмеченный:
 Вдруг станет маленькая дробь
 Потом очеловеченной.

И если знаменатель твой
 Негаданно уменьшится,
 Удаче, женщине пустой,
 Не смей на шею вешаться.

23.12.1997

ЗЕМНАЯ ЗВЕЗДА

Безмолвье твоего лица.

Оссиан

Божественная, ты прекрасна
 Безмолвьем твоего лица,
 Ты звездам неба сопричастна,
 Ты облаками правишь властно, –
 И это не слова льстеца.

Еще ты в материнском чреве
 Сияла скрытой красотой,
 В травинке каждой, в каждом древе
 Рождались повести о деве,
 Земною названной звездой.

Но ты свой свет порою прячешь.
Ты удаляешься? Куда?
Нам слышен плач. Но ты ли плачешь?
Кого зовешь? Кому назначишь
Свиданье? Кто придет сюда?

Вернись. Тогда в ночном тумане
Откроются Его врата,
И горы в снежноглавом стане,
И волны в грозном океане, –
Откроется без одеяний
Твоя святая нагота.

06.12.1997

59 (*)

ТАМАРЕ ИВАНОВОЙ

У женщины чудна загадка дара:
Воспеть не трудно, тяжело понять.
Мне вспомнилась Иванова Тамара,
Жена, писательница, мать.

Жена – и два таланта с нею слито,
Мать – вырастила славных трех детей,
Я дружен с Комой. Говорю открыто,
Что он меня храбрее и умней.

Война. Есть общество. И есть нагрузки,
Есть переводы, чей французский звон
Преобразиться должен так по-русски,
Как будто был он в Угличе рожден.

Была красива и резка. Грешна ли?
Не знаю. Но надеюсь, как собрат,
Что Мать Утоли Моя Печали
О ней расскажет стражу райских врат.

04.02.1998

ДРЕВНИЙ ЗАКОН

Материя есть мать всего, что существует,
 Отец всего, что существует, – Дух,
 Но мысль во мне так вопрошает вслух:
 А Дьявол? Он-то есть и вроде – торжествует.

Неверно! Матери-материи – дано
 Грешить и грех внедрять нам в душу, как заразу,
 Но Дух научит нас, как победить проказу,
 Как вызволить добро, что в нас заключено.

25.02.1998

61

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Каждый месяц на небосводе
 Уменьшается луна,
 Наконец, в мировом просторе
 Исчезает, но видим: вскоре,
 Будто чудом, возрождена.

Я скажу о родном народе:
 Превращаясь в пепел, в кровь,
 Уменьшаясь в смертельном горе,
 Исчезает, но чудом вскоре
 На земле рождается вновь.

27.05.1998

62

* * *

Как всегда, перед завтраком вышел
 Погулять, – вот и все дела,
 И от встречного слово услышал,
 Уколовшее, как игла.

Это слово не мечь Немезиды,
Но оно овладело мной, –
Мне, столь чуждому чувству обиды,
Мне оно – как зерну пережной.

21.07.1998

63

* * *

Сказал мудрец, не склонный к похвальбе:
«Где б ни был ты, принадлежи себе».

Легко ли вникнуть в эту мысль живую?
Ведь для того чтобы ее понять,
Сперва я должен верить, должен знать:
Я существую.
А не то солгу,
Что я себе принадлежать могу.

27.08.1998. *Переделкино*

64

* * *

Может, в мою душу странный луч проник,
Иль ее встревожил непонятный крик?

Что со мною стало, не могу понять:
То ли горе близко, то ли благодать?

Как я состоянье это назову?
Только то мне ясно, что еще живу.

<1999>

БАШНЯ

В том государстве странном,
 Где мы живем,
 Мы заняты обманом
 И плутовством,

Мы заняты витийством
 Там, где живем,
 Мы заняты убийством
 И воровством.

Что завтра с нами станет, –
 С толпой племен?
 Вновь стройкой башни занят
 Наш Вавилон.

<1999>

ЛОРД

В белом фраке, униженный кольцами темными,
 Лорд не очень-то жаловал близких коллег,
 Никогда не общался с чужими бездомными,
 Не терпел безымянных нерях и калек.

Так случилось: ходил он с годок искалеченным,
 (Наскочил малолетка велосипедист),
 Но потом целиком оказался излеченным,
 А красив, до чего же красив и казист!

Как всегда, он махал пред двуногими хвостиком,
 Притворяясь хромым ради их пирогов,
 Впрочем, он даже в юности не был агностиком,
 И охотней богинь почитал, чем богов.

Вот в садочек выходит хозяйка с тарелочкой,
 Он виляет, хромает: гляди, пожалей!
 Как-то свадьбу сыграл с рыжеватой целочкой,
 И она понесла под навесом ветвей.

Мимоходом целует ее снисходительно,
Счастье входит в глаза ее так глубоко,
И ложится жена на него упоительно,
Рыжей лапкой погладит, укусит ушко –

И сползает. А Лорд с горделивою важностью
На траве растянулся, супруга – у ног,
И трава, после дождика, радуется влажностью, –
Так приятна она в жаркий летний денек.

16.05.1999. Переделкино

67

* * *

Все люди – живопись, а я чертежник,
Меня в тетрадке вывел карандаш,
При этом обе ручки ниже ножек,
Кому такое зрелище продашь?

Все люди – письма, а я описка,
Меня легко резинкою стереть.
Я чувствую: мое спасенье близко,
Но чтоб спастись, я должен умереть.

12.07.1999

68

* * *

Мир в окне – это племя листы
И высоких столбов белоствольных,
И гуляющих, самодовольных,
Обходящих цепочкою рвы.

Мир во мне – это свойство души,
Это чувство, что близко засека,
Властный голос предсмертного века
В предвечерней, тревожной тиши.

10.08.1999

ТЕЛЕФОН

Пусть дерево не может поднять опавший плод,
А я могу вернуться в тот незабвенный год.

Забыл свои остроты, но помню я твой смех,
Тот мягкий, тот волшебный, тот загородный снег.

А летом шел в Жуковский, чтоб позвонить тебе,
Шесть верст шептал я строки при медленной ходьбе.

Тебя не заставал я – ушла с друзьями в лес,
Сердился, ревновал я, уму наперерез.

Ночь смолкнет, погружусь я в свой предпоследний сон,
Но не забуду в будке висящий телефон.

19.08.1999

ШКОЛА

Рассказ учительницы

Между школой и моей деревней
Было десять километров ровно,
Городок великорусский, древний,
А дома – где камень, где и бревна.

В нашей школе Молотов учился,
И не вру, так было в самом деле,
Алый плат над партою лучился,
Там одни отличники сидели.

Молотов, конечно, был отличник,
Здесь обрел он знания основу.
У меня ж отец – единоличник,
Мы имели лошадь и корову.

Дети, чьи родители в колхозе,
Ежедневно, как бойцы в обозе,
В села, лишь занятия кончались,
На санях-телегах возвращались.

Но из-за моей кулацкой доли
Лишь одна я ночевала в школе,
Каждую неделю в бане мыли,
Кашею три раза в день кормили.

Где отец и мать? Их жизнь пропала.
Умерли на воле иль в неволе?
Я росла, учительницей стала
И учу детей в той самой школе.

19.08.1999

71

ОДНО МГНОВЕНЬЕ

Тот, кто увидел и услышал Бога,
Кто нам поведал: «Он таков», –
Был отпрыском грешившего премного
Изготовителя божков.

Средь глиняных он вырос изваяний –
Аврам, еще не Авраам,
Но он познал Познание всех Познаний
И глиняный разрушил хлам.

Узнал: «Вас будут презирать, и в гетто
Загонят вас, загонят в печь,
Но к вам, когда состарится планета,
Придет Мессия, молвит речь:

“Пришел. Спасу. Но избегу жалеть я
Лжеца, убийцу, подлеца”».

С тех пор прошли для нас тысячелетия –
Одно мгновение для Творца.

29.08.1999

* * *

Ветерок колышет ветки
 Молодой оливы,
 Я сижу в полубеседке,
 Старый и счастливый.

Важных вижу я прохожих
 В шляпах и ермолках,
 Почему-то чем-то схожих
 С книгами на полках.

Звук услышан и оборван, –
 Это здесь не внове:
 За углом автобус взорван
 Братьями по крови.

19.09.1999

ОСЕННИЙ САД

Проснусь, улыбнусь наяву:
 Оказывается, живу!
 В окне ветерок так прилежно
 Качает листву.

Неспешно в осеннем саду
 Неровным асфальтом иду,
 Упавшие с дерева звезды
 Желтеют в пруду.

Настойчива дней череда.
 Придут в этот сад холода,
 А звезды взметнутся на небо,
 Блестя, как всегда.

03.10.1999

ПЕСОК

Травка, что нежнее шелка,
Кланяется ветерку,
И старательная пчелка
Устремляется к цветку.

В среднеазиатском мире
Вижу: в белом далеке
Хлопок взвешивают гири,
Побелев, как в молоке.

Здесь в былые мчались годы
Басмачи, большевики.
Будет день – погубят всходы
Новые боевики.

Топот близится отряда,
Двигается наискосок
Этот ненавистник сада –
Истребительный песок.

28.10.1999

* * *

Истоки нашего безумия
Суть непредвиденность утрат.
Ученые нам говорят:
При извержения Везувия
Погиб неведомый солдат;
Стоял он у помпейских врат,
И снять с поста его забыли.

Настанет день, настанет час,
Низвергнется мертвящий газ,
Громада непонятной пыли...
Ужели Бог отвергнет нас
И мир забудет, что мы были?

02.11.1999

ОТОШЕДШИЕ

Нужна ли музыка едва родившимся?
 Не ведаю, но верю, что она
 Умершим, между небом заблудившимся
 И грешною землей, всегда нужна.

Таинственным звучаньем пораженные,
 Непрочное покинув бытие,
 Казалось бы, в молчанье погруженные,
 Нездешним слухом слушают ее.

Да, слушают недавно отошедшие,
 Чтобы, отправившись в последний путь,
 Забыть свое ничтожное прошедшее
 И к вечному и нежному прильнуть.

01.12.1999

Перевод

77

Из Лиджи Инджиева

РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧЕНИКОВ БУДДЫ

1

Боже, мир необычайный
 Шире всех картин и карт,
 Неразгаданные тайны
 Составляют миллиард.

Дар и все прятяга дара
 Хорошо сотворены,
 То, что юно, то, что старо,
 В существе своем равны.

Сила вечная вселенной
Ради жизни создана,
Все живое неизменно
Движет правдою она.

2

Размножаясь многократно,
Все живое, не дремля,
Славит землю: всем понятно
То, что кормит нас земля.

3

Многих на земле калечат
Слабость, старость и недуг,
Но людей любовью лечит
Божеству подвластный дух.

Яды, умерщвлять стараясь,
Губят юных и седых,
Небо, с ядами сражаясь,
Обезвреживает их.

4

Укрепляясь год за годом,
Бесконечен ум людской,
И трудясь под небосводом,
Обретает он покой.

5

Только тот умен, кто верит.
Мир в душе? Душа чиста!
Лишь молитвой счастье мерят,
В ней родится доброта.

Страх только тот не знает,
У кого чиста душа.
Кто такого испугает?
Жизнь с молитвой – хороша.

6

В жизни добрая примета
Свет и силу нам дает,
Это наше благо, это
Свойство радовать народ.

Но примета есть дурная,
В ней насилие и ложь,
И ее распространяя,
Лишь проклятье обретешь.

7

Знайте: грех и преступленье
Нам легко объединить,
Коль нанижем их в паденье
На одну и ту же нить.

Потом ~~нажитое~~ хрупко,
Сим ~~добром~~ мы дорожим.
Нет противнее поступка,
Чем завидовать другим.

8

Если, чтоб украсть богатство,
Человека ты убьешь,
Совершишь ты святотатство,
Имя зверя обретешь.

9

Тот, кто дурака обманет,
Совершит тяжелый грех,
Ниже дурака он станёт,
Он – ничтожество для всех.

10

Тот, кто слабых обдирает,
Полон жадности вконец,
Кто родню свою не знает,
Тот войстину глупец.

11

Человека убиваешь –
Тяжкий грех свершаешь ты.
Человека воспитаешь –
Мудрость всем являешь ты.

12

Зависть черная мешает
Каждому спокойно жить,
А глупец заболевает –
Врач не в силах излечить.

13

Коль обидишь ты святого,
Свой покой утратишь, друг,
Помни: от греха такого
Тяжкий обретешь недуг.

14

Беды все свои умножит
Тот, кто будет воровать.
Знай: в желудке пес не сможет,
Жадный, масло удержать.

15

Жизни светится дорога
Славных щедростью людей,
Счастья им дано премного –
Жизнь красивей, веселей.

16

Тот, кто множества мудрее,
Всех богаче, всех нужней:
Золота мешка ценнее
Уважение людей.

Если ты мудрец, но знанье
 Не сумел распространить, –
 Собственное достоянье
 В землю ты решил зарыть.

Помни, что учить лентяя –
 Знанья по ветру пустить.
 Если голова пустая,
 Надобно ль ее учить?

Всуе не молись Бурханам,
 Коль несправедно живешь.
 Глупый, ты своим обманом
 К жизни честной не придешь.

Коль, раскаявшись, обманам
 И грехам враждебен ты,
 Веришь искренно Бурханам –
 То достиг ты чистоты.

Если ученик уроки
 Не усвоил до конца,
 А, от истины далекий,
 Ищет славы мудреца,
 Кто тщеславием болеет
 И не блещет он умом,
 Тот назваться не посмеет
 Благородным существом.

Каждый, кто не помышляет
 Убивать существ людских,
 Все деянья направляет
 На спасение живых,
 Кто добро и счастье славит
 В благоденствии людском,
 Кто всего превыше ставит
 Мудрость в существе своем,
 Я того благим зову,
 Он подобен Божеству.

Признак накопленья знаний –
 Жить стремлением вперед,
 Признак мудрых созиданий –
 Радовать добром народ.

Милосердья проявленье
 К нищим, сирым и больным –
 Всех страдающих спасенье,
 В сердце мы его храним.

Если воровством, разбоем
 Мы богатство обретем,
 Слова доброго не стоим,
 В жизни счастья не найдем.

Жить, не зная то, что ново,
 Во вчерашнем дне стареть,
 Светлых дней не слыша зова, –
 Значит, цели не хотеть.

Полон глупостью хвастливый,
Он собою одержим,
Все его бахвальства лживы
И рассеются, как дым.

Кто безгрешен – безмятежен,
И спокоен он всегда.
Он в труде своем прилежен,
И легки его года.
Ищет он добра досель –
Это правильная цель.

Что прекрасней мироздания?
В нем – стремление людей.
Что верней и что мудрей?
Жизни праведной желанья.

Чем же заняты Бурханы?
Счастьем всех существ людских.
Разве Божествам желанны
Беды, горести живых?
Только тот не слышит нас,
Кто навек в грехах погряз.
Бойся, молодой и старый,
Ты Зунквы-Гегяны кары.
Грешника терзает рана,
Грешник умирает рано.

Что – табак? Он лист мертвящий, –
И не пьют и не едят.
Нет, не думает курящий
То, что он вкушает яд.
Он не создан для посева,
Что же всюду он растет?

Из бесовской самки чрева
Капля наземь упадет,
Из нее, в том нет сомненья,
Тотчас вырастет растение,
То, что стало табаком:
Яд отравит всех кругом...
Жаль, что люди всюду курят,
Что, глупцы, себя же дурят!

32

Вера в Божество есть дело,
Нареченное добром.
Мы такого мужа смело
Праведником назовем.

33

Книг священных уваженье,
Непричастность к силе зла,
То, что жаждет жизнь, – спасенье,
Всех, кто верует, дела.

34

Всех, кто молится Бурханам,
Милосердна чья душа,
Кто не хочет жить греша,
Огражден добром желанным.

35

Мысль Зунквы-Геляна стала
И священна, и светла,
От нее уход – начало
Тяжкого греха и зла.

36

Вера и душа навеки
Слиты, их нельзя разъять.
Жизнь без веры в человеке
Надо гибелью назвать:
Надо грешников спасать.

Да, вкусна еда, но честно
 Скажем: есть в еде предел.
 Если много ешь, известно:
 Бойся, ты, брат, растолстел.
 Назовем еще примеры:
 Пусть еда весьма вкусна,
 Если есть ее без меры,
 Ядом станет нам она.

Хороши по вкусу, право,
 Наши водка и табак,
 Но они для нас отравы,
 Их любить нельзя никак.
 Это лишь несчастных прибыль,
 Праведных Заветов гибель.

Миру нет конца и края,
 Не погибнет никогда,
 В мире чище всех живая
 Вожденная вода.

Это наш аршан волшебный,
 Жизнь питающий, целебный,
 Господом благословенна,
 Славная вода священна.

Нас к добру чужому зависть
 Изнутри жестоко точит,
 Долгой жизни нам не хочет,
 К счастью нам дорогу застит.

За проступок наказания
 Хитростью избежать можно,
 Но от подлого деянья
 Избавленье безнадежно.

Если человек гордится,
 Хвастает своим умом,
 Это дело не годится,
 Скажут мудрецы о нем:
 Кто себя лишь в мире любит,
 Имя собственное губит.

Набожный живет достойно,
 Сердце у него спокойно.
 Добродетелен, он славой
 Обладает величавой.
 Чисты у него уста,
 Ибо мысль его чиста.
 Добр, в желаниях умерен,
 Своему бурхану верен.

На земле людей премного,
 Но не сказано у Бога,
 Чей народ весьма хорош,
 Чей плохим ты назовешь.
 Жители любой страны,
 Пред судьбою все равны.
 Кто живет под небом синим –
 Всех мы любим, не покинем.
 Равноправья нарушенья –
 Хуже нету прегрешенья.

КОММЕНТАРИИ

Стихотворения: 1 «Делают мое стихотворенье...»; 6 «Слепота»; 11 «Ручью»; 12 «Разве припомнишь развалин...»; 20 «Последний путь»; 25 «Я смотрю на город мой столичный...»; 30 «Ель в окне»; 31 «Ночная тьма»; 33 «Сонет Кларе» (посвящено К.И. Лозовской, секретарю К.И. Чуковского); 35 «Я царь, я раб...»; 37 «Новый Иерусалим»; 45 «Предки мастеров»; 47 «Не доносил, не клеветал...»; 63 «Сказал мудрец, не склонный к похвальбе...» – впервые были опубликованы по рукописям в: Новый мир. 2004. № 11.

Стихотворения: 2 «В больнице»; 8 «Городу на море»; 10 «В картинной галерее»; 13 «Музыка»; 16 «Письмо в сторону Понта»; 17 «На пароходе»; 19 «После инфаркта»; 21 «Раскольниковы твои слова грустят...»; 22 «Липа»; 24 «О дождя стариковские слезы...»; 26 «Молодые несли мне потертые папки...»; 27 «Сумасшедший»; 29 «Зачем же я прячу...»; 34 «Вдвоем»; 38 «Распад»; 44 «Кесария»; 46 «Три дочери»; 48 «Никогда»; 50 «Три бабки»; 51 «Могилев»; 57 «Дробь»; 61 «Возрождение»; 62 «Как всегда, перед завтраком вышел...»; 68 «Мир в окне – это племя листвы...»; 66 «Лорд» – даются по первой публикации в: Знамя. 2005. № 2.

Стихотворения: 3 «С прогорклым, стремительным дымом...»: Новый мир. 1930. № 3; 4 «Второй поход» приводится по изданию: Октябрь. 1929. № 10; 5 «На стройке»: Известия. № 257. 17.11.1929; 7 «Деревня» приводится по первой публикации в альманахе «Земля и фабрика» (1930. № 6). Ср. рукописный вариант: Новый мир. 2004. № 11; 14 «Ночь перед эвакуацией» приводится по публикации в: Знамя. 1934. № 11; 15 «Мир»: Очевидец. Элиста. 1974; 39 «Чудный свет, хотя и бестелесный...»: Знамя. 1990. № 5; 40 «Избеги суесловия, жалкой гордыни...»: Согласие. 1991. № 2; 41 «Перед боем»; 42 «Закатная свеча»: Знамя. 1991. № 9; 54 «Среди могил»; 55 «У Финского залива»; 58 «Земная звезда»: Новый мир. 1998. № 6; 64 «Может, в мою душу странный луч проник...»; 65 «Башня»; 69 «Телефон»; 76 «Отошедшие»: Знамя. 2000. № 12; 67 «Все люди – живопись, а я чертежик...»; 70 «Школа»; 71 «Одно мгновенье»; 72 «Ветерок колышет ветки...»; 73 «Осенний сад»; 74 «Песок»; 75 «Истоки нашего безумия...»: Новый мир. 2000. № 3.

Стихотворения, помеченные (*): 9 «Осени»; 18 «Возвращение»; 23 «Читая Льва Копелева»; 28 «Лик»; 32 «В гостинице»; 36 «Несколько определений»; 43 «На смерть А.Д. Сахарова»; 49 «Атлантида»; 52 «Литературная путаница»; 53 «Суд»; 56 «Лето будущего года»; 59 «Тамаре Ивановой»; 60 «Древний закон» – публикуются впервые по рукописям.

77. Последняя переводческая работа С. Липкина, выполненная осенью 2002 г. Публикуется по рукописи.

Публикация И.Л. Лиснянской, подготовка текста и комментарии Д.В. Полищука.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
(Джангар. Калмыцкий народный эпос)

В 1936 г. редакция альманаха «Творчество народов СССР» предложила мне сделать стихотворный перевод довольно большого отрывка из неизвестного мне прежде калмыцкого эпоса «Джангар». Речь шла о вступлении к «Песни о походе против лютого хана Хара Киняса». Новый, самобытный мир открылся мне при чтении подстрочного перевода. Степи и луга с их странными деревьями, травами и цветами; сказочная архитектура дворцов-кибиток; образы и сравнения, такие реальные и неожиданные; богатыри, рассеявшиеся семью кругами на пиру, – отважные, сильные, мудрые; удивительная страна Бумба, – поэзия, исполненная красоты нам не знакомой, но нам не чуждой, своеобразной, но не экзотической, – все это заняло все мои помыслы, перевод «Джангара» стал моей заветной мечтой.

Калмыцкого языка я не знал. Имел я довольно смутное представление и об истории калмыков, их обычаях. При таком невежестве нельзя было ограничиться одним подстрочным переводом. Я начал изучать труды историков и путешественников – Пальмова, Грумм-Гржимайло, Иакинфа Бичурина, Палласа и других; познакомился со «Сравнительной грамматикой монгольского письменного языка» Б.Я. Владимирцова (калмыцкий язык входит в группу монгольских языков), со «Строем халха-монгольского языка» Н.Н. Поппе; впоследствии прочел (в рукописи) интереснейшее исследование С. Козина о дате возникновения «Джангариады»; несомненный налет буддийской, тибетско-индийской культуры, лежащий на эпосе, вызвал необходимость познакомиться – хотя бы в общих чертах – с основами буддизма, в особенности с его ламаистским истолкованием.

Мне посчастливилось: моим чтением руководил калмыцкий писатель Баатр Басангов, страстный поклонник «Джангариады», знаток истории, обычаев, устного творчества родного

народа. Общение с ним увеличило запас сведений, почерпнутых мной в литературе.

Постепенно все ясней и ясней вырисовывались передо мной очертания «Джангариады», но по-прежнему оставался загадочным ритм поэмы. Сколько я ни вчитывался в латинскую транскрипцию подлинника, я никак не мог уловить стихотворного размера. Мне часто казалось, что эпос написан не стихами, а прозой. Это впечатление усиливалось незначительным количеством гласных. Высказывания же ученых по этому вопросу оказались крайне противоречивыми, – до сих пор еще изучение калмыцкого стиха находится в зачаточном состоянии.

Однако со слов своих калмыцких друзей я знал, что имеются народные певцы, джангарчи, исполняющие различные варианты «Джангара» в сопровождении домбры. Выяснилось, что стихотворный размер эпоса можно определить только с их помощью. Я поехал в Калмыкию.

Калмыцкие степи раскинулись между двумя историческими путями: между Кавказом и Волгой. Из Астрахани переправляются через Волгу на пароме верблюды, автомобили и кони, впряженные в подводы. Автомобиль часами несется вдоль ковыля, который в эпосе с поразительной точностью назван коленчатым...

Всюду – и в улусных центрах, и в маленьких аймаках – убеждался я в горячей любви калмыков к своему поэтическому творению. «Оказывается, и в Москве знают о нашем “Джангаре”», – говорили мне колхозники, но в голосах слышалась удовлетворенность, а не удивление.

Недалеко от Хулхуты у нас лопнул скат, и мы провели несколько часов в дорожной будке. Там за длинным узким столом сидели чабаны, рабочие дорожной бригады, шоферы и пили калмыцкий чай. Когда мой спутник спросил, где здесь живет поблизости хороший джангарчи, все рассмеялись. «Каждый из нас – джангарчи», – сказал водитель грузовой машины и запел главу о «Савре Тяжелоруком». Все присутствующие, как бы соревнуясь, исполнили свои любимые места из «Джангара». Тогда же один маленький старик в островерхой барашковой шапке рассказал нам легенду о создании калмыцкого эпоса.

В драгоценное изначальное время, когда степь успокоилась после топота могучих коней, когда были подавлены все враги Бумбы, Джангар и его богатыри заскучали. Не стало сайгаков, чтобы поохотиться на них, не стало соперников, чтобы помериться с ними силою. Скука, как туман, вползала в страну Бумбы. Тогда, неизвестно откуда, появилась женщи-

на, но еще не жена, и была она великой красоты. Она вошла в кибитку, где восседали семь богатырских кругов, и круг старух, и круг стариков, и круг жен, и круг девушек, – и запела. Запела она о подвигах Джангара и его богатырей, об их победах над несметными врагами, о Бумбе, стране бессмертия. От теплоты ее голоса рассеялась скука, как туман под лучами солнца. Так родилась «Джангариада». Богатыри, слушая ее, становились снова веселыми и жизнелюбивыми, и нойон Джангар приказал им заучить эту песнь. С той поры появились джангарчи, над вечно зеленой землей Бумбы зазвенела песнь победы, – поют ее и поныне.

Много в калмыцкой степи можно услышать таких легенд, да это и неудивительно: долгие годы «Джангариада» была для калмыков не только литературным произведением, но и символом их национальной гордости, их источником сил, их утешением...

Вслушиваясь в исполнение джангарчи Ара Човаева, Дава Шавалиева и других, я стал различать плавный, пусть не похожий на европейские стихи, ритм. Почему же я не улавливал его при чтении? В калмыцком языке слово имеет два ударения: главное, падающее на первый слог, и второстепенное, музыкальное, падающее во многих случаях на последний слог. В письменной литературе, как и в обыденной речи, ударение всегда падает на первый слог, а остальные гласные произносятся кратко, чаще вообще не произносятся. Я уже писал, что меня поразило при чтении оригинала незначительное количество гласных; создавалось впечатление, что поэма сложена не стихами, а прозой. Если же прочесть «Джангар» так, как его исполняют джангарчи, – пользуясь музыкальным ударением, падающим во многих случаях главным образом на конец строки, на последний слог, то неударные гласные обретут ясность и силу, и прозаическая, казалось бы, строчка зазвучит, как стихотворная.

Сопоставление записей, сделанных со слов различных джангарчи, привело к выводу, что стих «Вступления» и первых восьми песен состоит из восьми-девяти слогов (хотя встречаются строки и с большим и меньшим количеством слогов), а стих последних четырех песен состоит из 11–13 слогов.

Так в основу русского перевода легла музыкальная мелодия «Джангариады».

Оригинальна и калмыцкая рифма. В эпосе преобладает анафора, т. е. стихи начинаются на одну и ту же букву или группу букв. В русском языке такая рифма читателем почти не ощущается; анафора как основная система рифмовки не свойственна русскому стихосложению. Поэтому в переводе анафора заменена знакомой нам концевой рифмой, но чтобы читатель получил

представление о звучании калмыцкого стиха, нередко применяется и анафора, не исключаящая, однако, концевой и даже внутренней рифм, например:

БУрый ЛЫСКО ВСПРЫГНУЛ вдруг,
БУдто ИСКРА ВСПЫХНУЛ вдруг...
ЛЮДи не знали в этой стране
ЛЮТых морозов, чтоб холодать,
ЛЕТнего зноя, чтоб увядать...
ШЕСТИ крепостей разрушил врата,
ШЕСТЫ сломал сорока пик.

Чтобы читатель не только видел, но и слышал анафорическую рифму, я решил как можно чаще рифмовать начальные слова строк, например:

БЛАГОУХАННАЯ, сильных людей страна,
ОБЕТОВАННАЯ богатырей страна.

В «Джангариаде» часто встречаются редифы, т. е. повторы одного слова или группы слов в нескольких строках. В этих случаях в переводе рифма поставлена перед повтором, например:

Что тебе, желанная, дать,
Что тебе в приданое дать?
БУДда свидетель: верные воины мы.
БУДем ли, наконец, удостоены мы...

Стремился я передать и свойственную стиху «Джангариады» аллитерацию (повторение одинаковых звуков):

РЕШИл он: ШИРЕ на целый аРШИн...

Естественно теперь задать вопрос: если переводчик передаст абсолютно точно смысл каждой строки подлинника, воссоздаст его форму, проявит изобретательность при передаче трудно переводимых выражений, – можно ли утверждать, что перевод будет удачным? Нет. Перевод можно считать удачным только тогда, когда он воспроизведет и то обаяние, которое оказывает оригинал на читателей. Это обаяние нужно искать во всем: и в рифме, и в ритме, и в словаре оригинала, и в синтаксисе, и – это, может быть, самое главное – в живой интонации стиха, которую научил нас слушать Владимир Маяковский.

Пусть читатели судят, насколько мне удалось разрешить эту задачу, но должно отметить, что все благоприятствовало моей работе. Прежде всего я слушал древнюю калмыцкую поэму из уст

ее авторов, ибо как же иначе назвать джангарчи, этих народных певцов, исполняющих одни и те же главы, но каждый раз только в своих, отмеченных личным дарованием, вариантах! Я наблюдал, какой мимикой сопровождалась отдельные места эпоса и как они воспринимались слушателями. Было необычно и то, что моя работа, работа молодого литератора, заинтересовала целый народ, я получал письма от рыбаков и табунщиков, от представителей калмыцкой интеллигенции, – письма критикующие, ободряющие, советующие...

Отдельные главы, эпизоды, монологи переводил я несколько раз заново. Появление нового джангарчи, нового, более яркого варианта какой-нибудь из глав «Джангариады» вызывало соответствующие изменения в переводе.

Вдохновенные гравюры В.А. Фаворского уточняли мое представление об одежде богатырей, об их доспехах, о снаряжении коней, об убранстве кибиток, о древней утвари.

Пользуюсь случаем, чтобы принести благодарность редакторам С.Я. Маршаку, Баатру Басангову и Е.С. Мозолькову.

Публикуется по изд.: Джангар. Калмыцкий народный эпос / Пер. Семена Липкина. Худ. В.А. Фаворский. М.: Худож. лит., 1940. С. 11–14.

ГРАВЮРЫ «ДЖАНГАРИАДЫ»

Старый богатырь, вождь племени, держа в руках плеть, сидит на траве. Он в голубом кафтане, и седина его тоже стала голубой от движения времени, от дряхлости. За его спиной – табун одномастных коней, стадо быков – его труд, его богатство, а впереди, перед его глазами, – будущее, мы, читающие книгу о нем.

Таким изобразил его художник, сделав сначала – до гравюры – множество рисунков со знакомого мне старика сторожа при складе на элистинском базаре. Как угадал художник в нем то, что, думается, сам старик и не ощущал в себе? Это и есть единственно верный путь искусства – от повседневного к прекрасному. Тогда-то становится ясно, чем привлекло к себе внимание В.А. Фаворского лицо этого, казалось бы, ничем не примечательного старика. И теперь – после Фаворского – вспоминаешь, каким пристальным был пытливый взгляд узких, уже выцветших глаз, как бы заглядывающих вам в душу.

Сколько лиц, сколько мест вижу я, когда смотрю на гравюры «Джангариады»! Хорошо помню того загорелого, широкоплечего

калмыка, каспийского рыбака, с которого написан богатырь Хонгор, Алый Лев, и ту молоденькую актрису с некрасивым умным лицом, которая изображена на гравюре в качестве мудрой Заидан Герел, и то местечко в степи около Яшкуля, которое, возродившись в душе художника, стало фронтисписом к вступлению.

Вспоминаются мне и наши поездки по калмыцкой степи, и в особенности одна такая поездка летом, когда трава сгорела и волны песка двигались навстречу нашей машине по сухой и, казалось, очень твердой земле, но так только казалось, а на самом деле мы вскорости попали в *ерик*, и машина надолго в нем застряла, и мы ее толкали вчетвером: и водитель, и Баатр Басангов, и я, и уже тогда седобородый Владимир Андреевич Фаворский в старенькой чистой парусиновой толстовке, из бокового кармана которой выглядывали толстый карандаш и дерматиновый потертый очечник.

Машина наконец вырвалась из соленого вязкого плена, сумерки широко, полно и густо легли на половину видимой степи, а другая половина еще насквозь золотилась дневным красным золотом, и на небе одновременно зажглись круг солнца и круг луны.

– Видите, – сказал Владимир Андреевич, – на буддийских иконах тоже бывают одновременно и солнце и луна, считают, что это условность, а какая же это условность – вот они два круга на небе.

Заночевали мы, не помню уже в каком селении – или то было отделение совхоза? Хозяева дома, твердо соблюдая обычаи калмыцкого гостеприимства, сперва угостили нас маханом и чаем, а потом уже спросили, кто мы. Пришли соседи, и в кибитке запахло особенным ароматом степного жилья – кизячным дымом, овцой, перегнанным молоком. Владимир Андреевич был удивительно хорош с простыми людьми, потому что естествен. Когда перед маханом выпили по чарочке «тепленького» – водки из молока, – Владимир Андреевич произнес нечто вроде тоста:

– Вы, калмыки, сначала показались мне чудными, а теперь кажетесь чуждыми.

И все с удовольствием смотрели на то, с каким непритворным удовольствием московский профессор, зурач, пьет золотистый калмыцкий чай, о котором поэтесса сказала, что вкус его зависит от той, кто этот чай приготовил.

Владимир Андреевич, взявшись за иллюстрации к национальной эпической поэме, изучил довольно-таки обширную литературу о калмыках, о монголах, о буддизме. Книгами его снабжал Баатр Басангов. Фаворский полюбил степной народ так, как может полюбить русский, чье сердце чисто и радостно открыто

всему человеческому в человеке. И как бы смущенно, что ли оправдываясь, объясняя эту любовь, говорил:

– Пушкин целые страницы выписывал из Иакинфа Бичурина, из разных книг по истории калмыков. И сказочка, которую рассказывает у него Пугачев в «Капитанской дочке», – калмыцкая.

Осталось в моей памяти и такое его мимолетно произнесенное высказывание:

– Неправильно говорят, что степь однообразная. Степь разная. Иная в «Слове о полку Игореве» (он делал ударение на первом слоге – полку), иная она у Чехова, иная у калмыков.

Мы часто, на протяжении нескольких лет, встречались с ним и его учениками во время общей работы над «Джангариадой». Учеников своих он всегда хвалил, появились у него и ученики-калмыки, среди которых он выделял безвозвратно ушедшего Ивана Нухаева, а о своем сыне Никите говорил с какой-то лукавой гордостью:

– Есть такие, что считают: сын, мол, отца превзошел!

Нет сына, он пал на фронте, нет и пережившего его отца... Я приходил к ним на квартиру на улице Кирова, подъезд был в глубине двора. На высоком этаже, с окном во двор, была их – отца и сына мастерская. Они сидели друг против друга, Владимир Андреевич и Никита, и работали на досках продольного распила. Сидели они босиком, в рубашках навыпуск. Рядом с возникающими гравюрами на доске побольше был рассыпан колотый сахар и стоял большой фарфоровый «трактирный» чайник. У Никиты была маленькая шелковистая светло-каштановая бородка, борода отца – серебро с чернью. Что-то простое и вместе с тем величаво-значительное было в этой сцене, почему-то вспомнились где-то прочитанные в юности строки:

От братии прилежной
Апостола Луки
Икону тайны нежной
Писать – мне испытанье.
Перенесу ль мечтанье
На кипарис доски?

Разумеется, у Владимира Андреевича была своя система взглядов на искусство книжной иллюстрации. Насколько я вспоминаю и понимаю, суть этих взглядов сводилась к тому, что книжные иллюстрации не должны быть картинами, живущими отдельной от книги жизнью («как стены в Сандуновских банях» – запомнилось мне едкое сравнение). Иллюстра-

ции должны быть связаны и с типом шрифта, и с видом набора, и с буквицами, и с орнаментом, и с титулами, и с размером полей.

Иллюстрации к «Джангариаде» кажутся мне гениальными. Русский художник выразил душу маленького степного народа, знавшего не только перекочевки вместе с четырьмя видами скота, но и ставки властителей полумира, и пагоды храмов. Художник, иллюстрируя народный эпос, изобразил и народ, и его идеалы, его сердечный жар, его представления о красоте. Великий художник скромно совершил подвиг дружбы и братства.

Давид Кугультинов рассказывает: он, 14-летний мальчик, принес нам свою рукопись. Мы, как заправские командировочные, жили втроем в маленькой и единственной элистинской гостинице чуть ли не в одном номере. Баатр Басангов угадал в подроске будущего писателя. После хвалебных слов последовали и критические. Тогда, заметив на лице юного Давы огорчение, В.А. Фаворский сказал ему:

– Учился я в ваши годы, или чуть-чуть постарше был, у скульптора. Дал он нам лепить полотенце, но сначала погрузил край полотенца в воду. Он требовал, чтобы у нас и в глине было видно, что край полотенца мокрый. Искусство – это тяжелый труд. Бывает мастерство без искусства, но не бывает искусства без мастерства.

Мне кажется, что Владимир Андреевич полюбил и «Джангар», и калмыков прочной любовью. Может быть, здесь сказались особые обстоятельства, а именно: в Прикаспийской низменности он встретил у степного народа ту любовь и ласку, в которых так нуждалось его сердце.

Мы были у него в дни его ярко и широко разгоревшейся славы в мастерской в Новогирееве. Бем Джимбинов обратился к нему с просьбой проиллюстрировать антологию калмыцкой поэзии, издание которой тогда предполагалось. В.А. Фаворский жарко и молодо согласился, сказал, что надо к этому делу привлечь В. Федявскую и других его учеников. А потом весело и просто напросился к Джимбинову на калмыцкий чай.

Но настало 31 декабря 1964 г., и в канун Нового года я пришел в зал Академии художеств, чтобы поклониться ему и его великому искусству, чтобы проститься с ним в последний раз. Он лежал на столе как живой. Так он лежал когда-то на калмыцкой земле, и степные цветы наклонялись к нему, разговаривая с ним.

«От братии прилежной» – цитата из стихотворения Вяч. Иванова «Примитив» (1912), в обход цензуры С. Липкин цитирует, не указывая автора. Басангов Баатр (псевдоним Гашута Баатр) (1911–1944), кал-

мыцкий писатель, составитель обширного «Русско-калмыцкого словаря» (1940), редактор перевода «Джангара».

Джимбинов Бем Окунович (1914–1986) – калмыцкий поэт, народный поэт Калмыцкой АССР (1985).

Публикуется по изд.: Литературная Россия.
1966. 18 марта. № 12 (168).

АНКЕТА «ВЕСТНИКА РХД» К СТОЛЕТИЮ АННЫ АХМАТОВОЙ (1889–1966)

1. *Какое место в Вашем поэтическом пантеоне занимает Ахматова?*

– На Олимпе русской поэзии XX в. есть боги, полубоги, герои. Можно увидеть и смертных, однажды призванных на пир. Боги: Анненский, Ахматова, Блок, Бунин, Мандельштам, Пастернак, Ходасевич.

2. *Какие стихотворения Вы больше всего любите или считаете лучшими?*

– Одно стихотворение назвать трудно. «Жена Лота», весь «Реквием», «Поэма без героя».

3. *Какой период творчества Ахматовой Вы предпочитаете и почему?*

– Раньше я считал (и написал об этом Анне Андреевне в день ее рождения), что, когда вышли в свет «Вечер» и «Четки», знатоки решили: перед ними женщина-поэт, автор любовной лирики – и только. Трудно было предвидеть знатокам, что Ахматова станет могучим русским поэтом. Теперь я думаю иначе. Уже в молодых стихах Ахматовой чуткий слух мог бы услышать голос великого народного поэта. Все периоды ее творчества суть периоды творчества божества.

4. *Как бы Вы выразили в нескольких строчках ахматовскую поэтику?*

– Волшебная точность; трагическая ясность; тайна; музыка мысли.

5. *Кто, по-Вашему, из критиков лучше всех написал об Ахматовой?*

– Недоброво, Жирмунский, К. Чуковский, Л. Чуковская, А. Найман.

28 марта 1989 г.

Публикуется по изд.: Вестник РХД. 1989. № 156, II. С. 104–105.

КАТАЕВ И ОДЕССА

В сознании читателя Одесса утвердилась как город многокрасочной и нищей Молдаванки с ее налетчиками и волапюком, город черноморских анекдотов и печально остроумных стариков, город Бабеля, Багрицкого, Олеси, Славина, Ильфа и Петрова. Меньше запомнилась Одесса как второй по величине и мощности русский порт, как город Новороссийского университета, блестящей разноплеменной интеллигенции, связанной с именами Пушкина, Гоголя, Бунина, Куприна, Бялика, Леонида Пастернака, Мечникова, Королева, чайковцев, Желябова, город, где рядом с пьяным и трагическим Гамбринусом сверкал Гранатовый браслет, где происходили Сны Чанга и наступили Окаянные дни.

Этот необыкновенный город увидел своими глазами побунински звериной зоркости и воссоздал точным, долгожительским словом Валентин Катаев.

Ему было 23 года – лермонтовский возраст, – когда он твердой рукой зрелого мастера написал рассказ «Бездельник Эдуард», поссоривший его с прототипом. Несколько фраз, музыкальных и живописных, вобрали в себя и черты молодого поэта, и черты приморского города, только что захваченного большевиками. Вот эти фразы.

Целый день он проводил на улице или в греческих кофейнях, кривых аквариумах, наполненных голубой водой табачного дыма. Начальники Красной гвардии вселяли в его сердце подобострастную зависть своими офицерскими рейтузами и полированными ящиками маузеров, висевших на крупных задах. В каждом коренастом матросе черноморского флота с оспенным лицом, отлично и грубо сработанным из орехового дерева рашпилем и долотом, он видел необыкновенного какого-то вождя... Город, пропитанный резкими колониальными запахами, город, видевший на своих площадях оккупационные войска более чем шести европейских держав... был его стихией... и только иногда по вечерам, при нищем пламени керосиновой лампочки, он писал, слюня карандаш, поверх торговых записей отца, в засаленной, как колода кучерских карт, общей тетради романтические стихи о революции отличным пятистопным ямбом, с цезурой на второй стопе...

Не все соединяет героя этого рассказа с прототипом, ставшим через семь лет одним из самых знаменитых поэтов нашей страны. Он и при мне, в 1929 г., в кунцевской избе писал, слюня карандаш, стихи на чистых газетных обрывках. Искусство, созданное истинным художником, превращает очевидца в провидца.

«Бездельник Эдуард» – великолепный рассказ. Великолепный – и только. Через год молодой Катаев начинает – и работает над ним три года – рассказ, которому суждена долгая, прочная жизнь: «Отец».

Во многом писатель автобиографичен. Фамилия героя – Синайский – говорит о его происхождении из духовенства, и действительно, дед Катаева был священником. Как и Синайского, Катаева в 1921 г. бросили беспричинно – старая большевистская привычка – в тюрьму. Катаев описал ее изумительно. Через четыре года, в 1925 г., я приезжал на трамвае в эту тюрьму к своему отцу, его арестовали (на полгода), когда стали сажать бывших меньшевиков, эсеров, бундовцев, анархистов. Тюрьма выглядела не так страшно, как во времена, описанные Катаевым, но многое вспомнил я, читая рассказ.

А каково в те голодные, темные годы было сидеть в тюрьме? Раз в день заключенные, дежуря, несли на гнущихся палканы с ячной кашей. Но было нечто ужасней голода. Однажды ночью к Синайскому приполз полковник, при белых – начальник карательного отряда. Он говорил:

– Есть у меня одна заветная папироска. Но я ее берегу... месяц... когда меня будут выводить... Как вы полагаете, Петр Иванович, а?

Выводили ночью на расстрел. Думаю, что некоторые поздние поступки Катаева, далеко не привлекательные, объясняются тем, что в ранней молодости его, ни в чем перед властью неповинного, бросили в большевистскую тюрьму, в которой он каждую ночь ожидал расстрела. Страх поселился в нем крепко. Может быть, и «Батум» Булгакова – позднее следствие его таинственного пребывания во Владикавказе в годы Гражданской войны. Осуждать легко.

В рассказе «Отец» Катаев себя осуждает. Молодой, с сильным, плотским желанием жить, и жить хорошо, Синайский был невнимателен к отцу, которого обожал, который все шесть месяцев, каждую среду, навещал арестованного сына. Рано, в детстве, лишившись матери, Синайский-Катаев вспоминает, как мертвая голова матери придавила подушку, а он, маленький, влез к отцу на колени «и очень близко увидел его заплаканные, малиновые, удивительные, без пенсне, собачьи глаза». Чтобы глаза назвать малиновыми, надо обладать дерзким глазом. Чтобы назвать их собачьими, надо быть смелым художником, обладать светящимся сердцем.

И вот Петя стал взрослым, он в тюрьме. Рядом с тюрьмой, из-за стены богадельни, появляется с передачей отец. «Рот отца был полуоткрыт, и нижняя челюсть немного отвисала, показывая

несколько гнилых корешков. Тупой язык лежал между ними коротко и неподвижно, как у негомо. Просительно улыбаясь, он смотрит через пенсне на окно сына. Он видел, что его сын жив, и больше ему ничего не нужно было в жизни».

Как странно и горько звучит это «просительно». Что надо отцу у арестованного сына просить? Прощения? Потому что сына могут в тюрьме расстрелять? Или старый учитель в чем-то виноват перед новой властью, потому-то и арестовали его сына? Второе предположение подтверждается такими словами: «Папа, – хотел крикнуть Синайский, – папа, – но вдруг почувствовал бесильный ужасный стыд перед отцом, и равнодушие, и отвращение к нему, и жалость к себе, и страх...» В небольшой фразе – целая жизнь двух близких людей, нарождающаяся советская жизнь, нарождающийся долгий страх.

Но вот Синайский на свободе. Он живет не с отцом. Он стал благополучным советским служащим, ему дали по ордеру комнату в центре города, в буржуйской квартире, к нему часто приходит юная барышня, в комнате тепло, уютно. Отец заглядывает к нему редко: боится помешать? – Да ты посиди, погрейся, – приглашает сын, – куда тебе? Раздевайся. У меня тут тепло. Кофе пьем. Давай свое пальтишко. – Что ты, что ты, – испугался отец. – Я в пальто. Привычка, знаешь ли. Всюду холодище. В техникуме все в пальто сидят. А дома вода стынет. Печки, ведь, знаешь, нет; раздобыть бы, да где уж...

«Он испуганно хватался за пуговицы, не расстегнулись ли, и, стыдясь своей рубахи и того, что под пальто уже не было пиджака, щупал крючки на горле...»

Сын приспособился к новой власти, живет по тогдашним временам недурно, но отца не посещает, не помогает ему. Молодой Синайский беспощаден к себе. Он любит отца и боится его любить. Почему? Мы не знаем. Но маленькая сценка, только что описанная, станет украшением русской литературы.

Синайский оказался в командировке, когда умер его отец. Племяннику рассказывает тетка Дарья: «Его отпевало шесть священников – все его семинарские ученики. Было два хора. Пришла масса народу. Откуда только взялись, не знаю. Свечи. Ладан. И вот теперь он лежит на том самом месте, где всегда мечтал лежать, – между могилками матери и жены».

Позвав старьевщиков, Синайский вошел в квартиру своего детства. Жестоко продал все: фотографические карточки, частый гребень, забитый перхотью и седыми волосами, кровать, портрет матери-епархиалки, письменный стол, лакированную шкатулку, полную запонок, перышек, катушек, аптечные склянки, коробочки, стенные часы, книги – множество книг, от «Истории государ-

ства Российского» Карамзина до сочинений Боборыкина и зеленой бронзы энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Ящики пустели, как жизнь.

Синайский уезжает. В Москву, за славой, как сам автор. «И небо, как незабываемое отцовское лицо, обливалось над сыном горячими, теплыми и радостными звездами». Заметим: звездами, да еще радостными, а не слезами. Так мог сказать только Катаев.

Через четверть века Катаев пишет рассказ о другом Отце. «Отче наш» называется этот рассказ.

Существо катаевского таланта не все понимают. Он и сам, по-моему, его не понимал. Сказочно одаренный, он умел писать все – и стихи, и фельетоны, и пухлые советские романы. От этого непонимания, как мне кажется, и те поступки, которые талант его унижают. Он написал сатирические «Растратчики» (Гроссман считал, что главное у Катаева – сатира, что он пошел не по своему пути), и очень смешную, имевшую большой зрительский успех пьесу «Квадратура круга», и пасторальный «Белеет парус одинокий», и официальное «Время, вперед!». В действительности, Катаев – писатель трагический. Это стало особенно ясно, когда возник «новый» Катаев, когда мы прочли такие вещи, как «Святой колодец», «Трава забвения», «Алмазный мой венец», «Уже написан Вертер», «Спящий».

«Отче наш», величиной в девять книжных страниц, огромен по содержанию, написан строго, резко, скупно. В нем нет когда-то милого катаевскому перу юго-западного красноречия, которое иногда возникало в «Отце». «Гроб матери – пышный торт с зубчатой бумагой» или «ночь уже заводила свои звездные часы граненым ключиком чистого сентябрьского сверчка».

Не до красот в рассказе о том, что творилось в Одессе, когда ее захватили немцы и румыны. Нет красот, есть Красота страдания, жизни и смерти.

Рано утром мать и ее четырехлетний сын вышли на улицу. Редкий для Одессы (но так случалось и прежде) двадцатипятиградусный мороз. Однако мать и сын хорошо и одинаково одеты в шубки из искусственной обезьяны, на ногах валенки, на руках пестрые шерстяные варежки. Видимо, мать и сын из благополучной семьи. Почему они в такую морозную рань вышли на улицу? Детский ангельский голос громкоговорителя возвещает: «С добрым утром!» Но вслед за этим пожеланием тот же голос возвестил и молитву: «Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится Имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя...»

Как славно, что при Советах созданное радио таким проникновенным голосом наконец-то произнесло эти вечные, светлые слова. Но произнесло не по-русски. По-румынски.

Матери страшно. Она хочет спасти сына. Она русская, но мальчик по отцу еврей. Отец на фронте. Она хорошо знает родной город, ведет мальчика через проходные дворы.

– Мама, мы уже гуляем?

– Да, уже гуляем.

Но они не одни на улице в эту рань. Далее следует картина, которую следовало бы кратко пересказать, но я пересказать не могу, потому что автор могущественно краток. Цитирую с небольшими пропусками:

В это утро со всех концов города медленно тащились в одном направлении, как муравьи, люди с ношей. Это были евреи, которые направлялись в гетто. Гетто было устроено на Пересыпи, в той скучной, низменной части города, где на уровне моря стояли обгоревшие нефтяные цистерны... Несколько грязных кварталов окружили двумя рядами ржавой проволоки и оставляли один вход, как в мышеловку... Попадались старики, которые не могли идти, и больные сыпным тифом. Их несли на носилках... Они знали, что тот, кто останется дома, будет расстрелян... За укрывательство еврея также полагался расстрел...

Мать вышла из дома с сыном, рассчитывая до тех пор блуждать по улицам, пока все не уляжется. Они заходят в молочную, где мальчик пьет кефир (при румынах возродилась частная торговля), где топилась железная печка и можно было согреться. Потом мать догадалась, что можно несколько часов провести в кинематографе, где сеансы начинались рано. В кинематографе мальчик выспался. Потом – опять блуждания. Когда мальчику захотелось пи-пи, мать отвела его за афишную тумбу. Дошли до Пироговской улицы (в тех местах жил когда-то автор, теперь недалеко от них есть улица Катаева), потом свернули в сторону парка культуры и отдыха имени Шевченко, который тянулся вдоль моря. На следующее утро, когда еще не вполне рассвело, по городу ездили грузовики, подбиравшие трупы замерзших ночью людей. Грузовик остановился возле скамейки, где сидела женщина с мальчиком.

Они сидели рядом. На них были довольно хорошие шубки из искусственной обезьяны... Они сидели, как живые. Солдаты раскачали и бросили в грузовик женщину с подогнутыми ногами... Потом солдаты раскачали и легко бросили мальчика с подогнутыми ногами. Он стукнулся о женщину, как деревянный...

А затем из рупора раздался нежный детский голос: Отче наш, Иже еси на небесех!

Мать и мальчик погибли. Рассказ не умрет. Он как молитва: в нем нет ни одного лишнего слова. Он как стихи: в нем есть музыка и мера. «Отче наш» – вершина катаевского творчества и, как вершина, рассказ прост. Ему невозможно подражать. Как подражать вершине?

Лет через 30 после этого рассказа возник «новый» Катаев. Он, в молодости поэт (и поэт недурной), делит прозу на строки и строфы, печатает их, как стихи, с интервалами. Но и новый, он не может забыть прожитое с его тюрьмами и убийствами, он упорно, может быть, даже против своей воли возвращается в Одессу своей молодости, в годы Гражданской войны, Чека, расстрелов.

Был на Руси такой писатель – Александр Митрофанович Федоров, крестьянский сын, второстепенный подражатель Чехова и Бунина, с которыми был лично знаком. Он печатал стихи и прозу в обеих столицах. Он построил себе в Одессе дачу, за 16-й станцией, за монастырем, над поросшим полынью обрывом, спускающимся к морю. Место было тогда необжитое. Теперь эта дача превращена в Дом творчества писателей Украины. Во время Гражданской войны Федоров эмигрировал в Болгарию. В свои юношеские одесские годы я вместе с писателем Сергеем Бондаринным доехал на трамвае до 16-й станции, потом верст шесть отмахали до полуразвалившейся дачи Федорова. Было лето, в мазанке одиноко жила старуха – жена Федорова. Она нам обрадовалась, рассказывала о Бунине, который подолгу живал у них на даче, о Куприне. Слушать ее было трудно, зубов осталось мало, к тому же нерусский акцент. То, что осталось от некогда уютной дачи, она сдавала летом, на эти крохотные деньги и жила. У нее было немецкое имя-отчество, я его забыл.

Она и стала персонажем рассказа Катаева «Уже написан Вертер». Катаев назвал ее Ларисой Германовной – Герман, Германия, это отчество должно было указать на ее немецкое происхождение. В рассказе она русская, а ее эмигрировавший муж – в прошлом – преуспевающий адвокат. Название «Уже написан Вертер» не намеком, а открыто утверждает: то, что творилось в стране при Сталине и его наследниках, уже было заложено в стране в начальные, псевдоромантические годы большевистского правления.

Рассказ ведется от лица Спящего, но никакой мистики, все предметно, явственно. И сюжет прост. Юный сын Ларисы Германовны Дима, не очень способный художник, наивный и милый, зарабатывает тем, что изготавливает советские плакаты. Его арестовали за то, что участвовал (он считает – не участвовал, а присутствовал) в одном безобидном, но с антисоветским настроением

собрании молодежи на маяке. Диму выдала его жена, до революции – горничная из богатого питерского дома, теперь – секретная сотрудница Чека, о чем Дима, конечно, не знает. Благодаря хлопотам Ларисы Германовны, с помощью ее знакомого, эсера, но бывшего политкаторжанина, Диму освобождают, но он, к ужасу матери, остается в распространенных по городу списках расстрелянных. Вскользь говорится о том, что впоследствии, лет через двадцать, Дима рисует плакаты, но уже в концлагере. Вот и все.

Но дело не в фабуле. Дело в умерщвляющем воздухе, которым дышит город, в новых людях города. Один из них – Наум Бесстрашный. Псевдоним, характерный для тех лет. Узнаются некоторые черты известного Блюмкина, стрелявшего в германского посла. Они разные, эти люди, решавшие судьбу Димы, но есть нечто, их объединяющее: зло.

Наум Бесстрашный заморожен стилем Марата, издававшего газету «Друг народа» (вскоре распространится палаческий термин «Враг народа»), его вдохновляют романтика Французской революции, конвент, Пале-Рояль, Демулен, *Ça ira*, предмет его подражания – Лев Давыдович Троцкий, он бывал в Москве в «Стойле Пегаса», где собирались, во главе с Есениным, поэты-имажинисты. Иной тип – председатель губчека Маркин, мужик, прошедший каторгу, и рядом – правый эсер, савинковец, бывший комиссар Временного правительства Серафим Лось (настоящая фамилия Глузман), друг Маркина по каторге, и сексот Инга, жена Димы, на много лет старше его, красивая простонародной, жадной и жаркой красотой. А сам Дима так неопытен, так молод, у него «нежная шея скорее девушки, чем молодого мужчины, бывшего юнкера-артиллериста».

Я был мальчиком в те годы, когда происходили события, нарисованные в рассказе, когда так часто менялись власти, когда, по безнадежному замечанию автора, «злые духи рая отпугивали злых духов зла», когда ходили слухи, что поляки уже заняли Раздельную (так называлась последняя станция перед Одессой, где железная дорога разделялась на две ветки – одна на Одессу, другая на Кишинев), когда человека расстреливали на улице (я это в детстве видел) только потому, что он был одет в шубу, а на голове у него была каракулевая шапка, помню и белых, и французов, и англичан в шинелях горчичного цвета, и с какой болью описывает Катаев Одессу в несчастные первобольшевистские дни: «Его поразил вид торгового города, лишённого своей торговой души: вывесок, витрин, банков, меняльных контор, оголенного без фланирующей публики на тенистых улицах и бульварах. В своей целомудренной обнаженности город показался ему новым и прекрасным».

Какая жизнь была раньше! И какая музыка катаевской прозы!

Я познакомился с Катаевым в 1928 (или в 1929) году на одесском пляже, на «камушках» – излюбленное место начинающих сочинителей. Его, приехавшего из Москвы на родину, привел Сергей Бондарин, он был ближе к нему по возрасту, чем остальные. Дети на «камушках» не купались, там было глубже, чем в других местах на Ланжероне. Катаев окинул всех близорукими, но быстро вбирающими в себя глазами, разделся до трусов и, высокий, молодой, красивый, встал на одной из опрокинутых дамб и с неистребимым одесским акцентом произнес:

– Сейчас молодой бог войдет в море.

Потом мы встречались в Москве, беседовали на уровне земляческой близости, но не больше. Случилось так, что в связи с каким-то литературным мероприятием мы с ним и Эстер Давыдовой поехали в Бурятию. Вдвоем гуляли по тайге. Он наклонился и сорвал цветок. Спросил с подначкой:

– Вот вы перевели бурятский эпос. А знаете, как называется этот цветок?

– Да. Ая-ганга.

– Имеет какое-то отношение к знаменитой реке?

– Не знаю.

Он глубоко, как собака-ищейка, внюхивался:

– Пахнет лавандой.

Прошли годы. Мы с Инной Лиснянской вышли из Союза писателей в знак протеста против исключения из этого Союза двух молодых «метропольцев», неожиданно для себя оказались диссидентами. Поселились в Переделкине на даче у вдовы профессора Степанова, моего приятеля, и часто встречались с прогуливающимся Катаевым, обменивались незначущими словами, но дружелюбно, что я отметил в это трудное для нас время, когда обыватели переделкинских дач и Дома творчества из числа прогрессивных старались с нами не здороваться.

Однажды он подошел ко мне, похожий в своей красной рубашке на Савву Леонида Андреева, и сказал:

– Я прочел вашу «Волю». Вы новатор в традиции. Большой поэт.

И тут же, на улице Гоголя, гуляя со мной, стал читать наизусть запомнившиеся ему строки, восхищался и лирикой, и поэмами. Замечу: о книге, опубликованной в Америке издательством «Ардис», составленной изгнанником Иосифом Бродским, он говорил таким тоном, как будто книга вышла в обычном московском издательстве, вещи весьма не советского содержания оценивал только с художественной стороны, как бы не замечая

их политической направленности. Я сначала понял это как осторожность, как то, что слушать предоставлялось только мне. Я ошибался. Живший в Переделкине наш земляк Л.И. Славин с некоторым даже удивлением сообщил мне о восторженном (его эпитет) отзыве Катаева о моих стихах, добавив, что такая восторженность – редкость для Катаева.

Я понимаю, что некрасиво писать о том, как тебя хвалят, но потому так отважно, не боясь насмешек, сообщаю мнение Катаева о книге, изданной нелегально за рубежом, что мне хочется понять и изобразить сложный, как теперь принято выражаться в таких случаях, характер моего знаменитого собеседника.

Я узнал, что «Волю» показал отцу вскоре ставший моим другом Павел Катаев, талантливый писатель, унаследовавший зоркий глаз отца, один из первых модернистов, чья литературная судьба сложилась, увы, не так хорошо, как у Валентина Петровича. Позднее Павел показал отцу и книгу Лиснянской «Дожди и зеркала», вышедшую в Париже, Катаев восхитился и этой книгой и сказал Инне много лестных, искренних слов. Запомнилось: «Я не мог оторваться от книги, открыл ни на кого не похожий лирический дар». Эту оценку также подтвердил Славин.

Мы стали часто гулять вместе втроем, и горько нам было, когда наш близкий друг, замечательный писатель и благородный человек Вениамин Каверин дважды вынужден был не поздороваться со мной и с Инной, так как не хотел здороваться с Катаевым. Бывали мы и в доме Катаева, отдавая должное хлебосольному гостеприимству Эстер Давыдовны. Однажды, во время прогулки, я сказал Катаеву, указывая на дачу Леонида Леонова:

– Вот, смотрите, сидит себе, как барсук, никаких противных подписей, никаких рабских заявлений, а государство его любит, ласкает. Почему же вы так стараетесь, ведь вы несравненно талантливей автора «Русского леса», могли бы спокойно работать в башне из слоновой кости, никто бы вас не трогал, у вас есть слава, любовь читателей, вы богаты, чего же вам еще надо от государства?

Он вспыхнул:

– Меня Союз писателей ненавидит, – все эти напыщенные Федины, угрюмо-беспомощные Леоновы, лакейские Марковы, тупорылые Алексеевы и прочие хребты саянские. Они знают, что я презираю их, и я спасаюсь, подчеркивая свою официальную преданность власти. И не забудьте, я член партии.

– А для чего вы в нее вступили? Вы ее любите? Вы марксист-ленинист?

Он продолжал, не отвечая на мой вопрос, волновался:

– Иначе житья мне не будет. Вы не знаете, как трудно печатались лучшие мои вещи, каждая встречалась отрицательными статьями влиятельных критиков. В сталинское время бывало страшно. Да вот и теперь не понят «Алмазный мой венец», клюют, щиплют.

– Я вам сочувствую, но вы платите дорогой ценой. Например, своей подписью под требованием выслать из страны Солженицына, великого русского писателя.

– Он не великий. Он хороший писатель. Хороши «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». Дальше пошло хуже, просто плохо.

– Я с вами не согласен. Дальше пошло хорошо. Но допустим на минуту, что вы правы. Как может писатель требовать, чтобы власть выслала собрата по перу за пределы родины? Поступили бы так Короленко, Чехов, Бунин? Иногда мне кажется, что вы не понимаете величину своего таланта, унижаете его.

– Какой талант, я средний писатель. Собирают ареопаг. Один из секретарей предлагает, чтобы КГБ снова бросил Солженицына в концлагерь. Выступает Расул Гамзатов, советует выдворить Солженицына за границу. Я, жалея Солженицына, присоединяюсь к хитрому горцу. Все-таки жизнь вашего гения была спасена...

Я не хоронил его: лежал дома после онкологической операции. Один даровитый поэт сочинил четверостишие, в котором бичует его и Алексея Толстого, с фамилией «Катаев» рифмуется «негодяев». Можно понять его гражданское возмущение, но законы искусства вечные, а не временные. И Алексей Толстой, и Валентин Катаев – крупные таланты, они останутся в великой русской литературе, и вполне возможно, что в будущих академических изданиях их сочинений, в примечаниях, будет упомянуто имя автора этого четверостишия.

30.09.1996

Публикуется по изд.: Знамя. 1997. № 1.

КУЛЬТУРА БЕССМЕРТНА
<Речь при вручении премии
независимого движения писателей «Апрель»
«За гражданское мужество писателя»
имени А.Д. Сахарова>

Я благодарю «Апрель», наше литературное объединение порядочных людей, за оказанную мне честь. Признаться, я чувствую себя неловко, принимая от близких мне по духу литераторов награду за мужество. Было бы более правильно, если бы награда была мне присуждена за нормальное поведение русского литератора.

Понятие мужества связано у меня, как и у всех нас, с именем Андрея Дмитриевича Сахарова, с именами Елены Георгиевны Боннер, Марченко, Буковского, Григоренко, Ларисы Богораз, с именем Георгия Владимова, который за несколько лет до нас не только вышел из Союза писателей, но возглавил Московское отделение Международной амнистии, с дорогим мне именем Лидии Корнеевны Чуковской, которая, хотя и не была репрессирована, как, скажем, Лев Разгон, вела наступление на тоталитарный режим умно, яростно, талантливо.

Я не наступал. Я тихо сопротивлялся: полвека писал в стол. Мне было легче, чем другим, потому что с самого начала сознательной жизни я не был очарован режимом. Не будучи очарованным, я не разочаровывался.

Из Союза писателей я вышел вместе с Инной Лиснянской и Василием Аксеновым. Мы протестовали против исключения двух молодых, наименее защищенных наших собратьев, заявив: «Честь и достоинство русского писателя не позволят нам оставаться в союзе писателей, если не восстановят в членстве двух наших молодых коллег».

Не восстановили. Значит, надо выходить. Решение давалось нелегко. Друзья не советовали нам так делать, резонно доказывая, что выход из Союза с точки зрения органов гораздо хуже, чем исключение. Литфонд, получив указание, прислал нам поздравление с Новым 1980 годом и коробку шоколадных конфет. Но я чувствовал сердцем и разумом, что, если нарушу свое слово, не смогу людям смотреть в глаза, не смогу смотреть в свои глаза, когда бреюсь. Прикидывали, что будет: очень трудно, или очень плохо, или ужасно. Слава Богу, оказалось не ужасно, а очень плохо.

Историку советской власти, возможно, окажется небезынтересным исследовать поведение КГБ и его филиала – руководства Союза писателей. Обе организации не только не хотели, но и

не могли понять нашего поступка. С помощью своего актива они широко распространяли слухи, что наше поведение не есть протест против беззакония, а вызван желанием облегчить себе выезд в Америку или Израиль. Недавно я получил письмо от незнакомого мне татарского писателя Альберта Хасанова. Оказывается, он выступил на писательском съезде в Казани, критикуя новые переводы стихов, сработанные вместо моих, запрещенных, и призывал восстановить мои переводы. На другой день, пишет мне Хасанов, его вызвали в КГБ, добродушно и грозно сказали: «Эх, ты, баранья твоя татарская башка, разве ты не знаешь, что Липкин уехал в Америку». Другой случай. Лиснянская повстречалась на улице с писательским руководителем Карповым. Тот изумился: «Как, вы здесь, не уехали?» – «Мы и не собирались уезжать». – «Так для чего же вы оба вышли из Союза?»

Да. Мы не собирались покинуть родину, не думали наступать, но сама жизнь всем своим течением толкала нас на наступление. В США, Франции, Западной Германии, Англии стали издаваться наши книги – стихи, проза, мемуары, в зарубежной печати, русской и иностранной, сочувственно упоминались наши имена. КГБ сильно рассердился. Особенно доставалось Лиснянской, видимо, считали ее наиболее уязвимой в нашей семье. Инна однажды заявила на допросе: «Если возникнет дилемма – концлагерь или Запад, то выберем концлагерь, а на Запад – только в наручниках». <...>

Я останавливаюсь на мелких подробностях только для того, чтобы еще раз проиллюстрировать органическую связь государственных писателей с тайной полицией. Большинство государственных писателей цинично, но немало и таких, которые совершенно искренно считали и считают себя продолжателями Тургенева, Некрасова, Герцена. Часто это не обман. Это самообман. В действительности государственные писатели являются убежденными продолжателями Фаддея Булгарина, и нередко случалось так, что их романы имели не меньший читательский успех, чем «Иван Выжигин» Булгарина. Соцреалистические критики громили за безыдейность хороших художников. Точно так же и Фаддей Булгарин писал об одном литераторе: «В его голове не зародилась ни одна идея». Этим безыдейным литератором был Пушкин.

Надо сказать, что Булгарин сотрудничал с Третьим отделением, но не падал так низко, как его правопреемники, никогда не хулиганил, не был погромщиком. У него был фрак и он дружил с Грибоедовым.

Мы собрались здесь в роковое время. Об этом времени размышлял Сахаров не только как общественный деятель, но и как

физик и философ. Нам кажется, что сегодняшний день есть обычное продолжение вчерашнего. В новом тысячелетии историки будут рассматривать 90-е годы двадцатого века как знаменательную веху, такую же грандиозную, как век великого переселения народов. Ошибочно полагать, что планетарный рубеж двух тысячелетий определяется русской революцией 1917 г. Эта революция осталась внутри своей эпохи. Линию рубежа ведут нарезом по человеческому сознанию нынешние годы распада сталинской империи полумира, простиравшейся от Восточного Берлина до Пхеньяна и Пекина.

Я часто думаю о том, что испытывал рядовой, вроде нас с вами, римлянин в годы крушения Римской империи. Понимал ли он, что крушение действительно началось? Понимал ли, что германские и кельтские племена на окраинах создадут свои мощные государства?

Однако, что же это за штука – национальное самосознание? Неужели это самосознание клана, колена, стойбища? Нет, это всегда самосознание культуры. Рухнули, умерли империи Ассирии-Вавилонии, Ксеркса, Александра Македонского, Августа, Чингиз-хана, Сталина, но жива культура этих империй. На Апеннинском полуострове родился новый народ, близкий римскому, но уже не римский, а итальянский. Не стало прежних римлян, но есть Гораций, Вергилий, Овидий, у них учились Данте, Петрарка, Боккаччо. Я уверен, что великая русская литература, ставшая для мира тем же, чем некогда была для мира культура эллинов, будет жить для грядущих на Руси читателей, будет жить свежо и умно, начиная от Ломоносова и Фонвизина до Солженицына и Бродского. Империя умирает, культура бессмертна.

Если Бог даровал кому-нибудь из нас художественный талант, то этот талант только временный пропуск на вход в литературу, и лишь одному Богу известно, задержимся ли мы в ней, а тем более останемся ли мы в ней.

В нас должно существовать взволнованное и плодоносное двуединство: трепет перед нашими гениальными предшественниками и дерзость продолжать их труд. Это тяжкий и нередко неблагодарный труд, но в то же время такой сладостный, такой чистый.

1995

Публикуется впервые по рукописи из семейного архива поэта.
Публикация И.Л. Лиснянской.

О СТИХАХ ЮЛИИ НЕЙМАН

Юлия Нейман прожила долгую жизнь, но многие годы ее были крайне трудными – в быту и в литературе.

Она училась на брюсовских курсах вместе со своими ровесниками Марией Петровых и Арсением Тарковским. Это были друзья и моей юности.

Однажды Маруся рассказала мне о том, как нелегко живет-ся Юлии Нейман. Она растит свою дочь одна, имея скудный заработок то ли в газете, то ли в журнале для детей. Нельзя ли помочь ей в переводческом деле? Она же, как и мы, пишет стихи в стол.

Мы условились, что Юлия познакомит меня со своим творчеством. Встреча и чтение состоялись, и меня сверх ожидания поразила лирика Нейман не только зрелостью мысли, но и живописностью изображения, что далеко не всегда совпадает.

Открылся талант.

Я свел ее с Давидом Кугультиновым. Так было положено начало ее активной переводческой деятельности, которая оказалась плодотворной.

Недавно Давид позвонил и сообщил мне, что одна из улиц в столице Калмыкии Элисте названа именем Юлии Нейман.

Согласимся, что не часто встречаешь такую благодарность республики переводчику за многолетнюю творческую дружбу.

Если не ошибаюсь, впервые оригинальные стихи Юлии Нейман были опубликованы в альманахе «Литературная Москва». И тут же появилась статья в «Комсомольской правде», где стихи подверглись разгрому. Но талант не победить! Читатели, пусть поздно, получили первый сборник стихов Юлии Нейман, за ним последовали и другие. В России появился новый истинный дар.

Кроме калмыков, Нейман переводила многих разноязычных поэтов, работая до последних дней с неизменным блеском. Последнюю книгу своих стихов она издать не успела.

Обычно, когда говорят о поэте-женщине, вспоминают Ахматову или Цветаеву. У Юлии Нейман родословная, по-моему, другая: Каролина Павлова, Зинаида Гиппиус.

Сейчас русские поэты переживают тяжелую пору. Издать стихи отдельной книгой означает обрести чудо.

Но хотелось бы, чтобы наши читатели дожили до того дня, когда будет издано полное собрание стихотворений Юлии

Нейман, куда вошли бы и ее живые красочные переводы Рильке.

Жизнь поэта заключена в его книгах.

Все остальное – тлен.

<1995>

Публикуется по изд.: Вестник. 2003. 30 апр. № 9(320) (под заглавием: «Об авторе этих стихов»). Текст выступления на вечере памяти Ю. Нейман в ЦДЛ в день первой годовщины ее смерти (зачитан Я. Хелемским).

«ПРЕОДОЛЕЙ СОБЛАЗН СТРАНИЦЫ...» (о стихах Павла Нерлера)

Меняются эпохи, культуры, значимость народов и стран, – неизменно понимание красоты поэтической словесности. Это понимание твердо и прочно опирается на незыблемость двух опор – важности, точности, необходимости слова и его неповторимой музыки, причем ее неповторимость всегда таинственна, ее невозможно построить искусственно, придумать, расчислить.

Как сильно изменился быт человека со времен, скажем, индийской «Махабхараты», библейских преданий или поэм Гомера, и как мало изменился сам человек, он точно так же взыскует правды, ревнует, завидует, хочет познать добро и зло, свет и тьму, любит, жертвует собой, он так же могуч и беспомощен, как стародавние герои древности. Искусство бессмертно, потому что бессмертны духовные поиски человека. Не в этом ли одна из причин того, что нам, русским читателям, одинаково близки Державин, Батюшков, Пушкин, Некрасов, Блок и другие поэты Серебряного века, и совсем уже молодой Бродский, и одинаково чужды беспомощные, пусть в свое время шумные, виршеслагатели, будь то последователи графа Хвостова или Крученых, Ратгауза или Лебедева-Кумача.

Все истинные поэты, не только великие, но даже скромного дарования, – наши современники, собеседники, а лишённые божественной искры утонули в Лете, даже в том случае, если они, согласно паспортным данным, числятся среди живых.

Читатели русских стихов избалованы величием, глубиной мысли и художественной гармонией родной поэзии. Остаться в русской поэзии даже третьестепенным ее деятелем – огромная, неслыханная, почти невозможная честь.

Все вышесказанное необходимо повторять и повторять, когда заходит речь об имени новом, о поэте пока мало известном, предлагающем читателям свою первую книгу.

Вряд ли имя Павла Нерлера много скажет любителям поэзии (хотя они имели случай познакомиться с ним по периодическим изданиям), разве что вспомнят это имя как принадлежавшее автору серьезных исследований о Мандельштаме.

Стихи для печати Нерлер отбирает скупой, придирчивый. Когда-то Мария Петровых, столь ценимая Мандельштамом, призывала: «Умейте домолчаться до стихов». Нерлер следует завету Петровых:

Преодолей соблазн страницы
И зуд настойчивый отринь,
И все, что жаждет отразиться,
Рукою твердою задвинь.

Как нужна молодому поэту твердая рука, преодолевающая соблазн страницы! И мы верим признанию нашего автора: «Меж зеленью вод и холмами двухтысячелетних могил / Я с греками дружбу водил». Это строки навеяны южной, лермонтовской Таманью, но та же точность и ясность слова не покидает автора и среди тундры:

Здесь каждый вздох кочкарником оброс,
Пушится ягель и болото мшится,
Грибная мякоть ломко шелушится,
И не молчит стоярый кровосос.

Опыт географа дает поэту возможность бродить по Сибири «уремный мед с багульником мешая» и понять, оказавшись в Горном Бадахшане, что «горные мышцы Памира / Такая ж рабочая лира, но только в высоких руках».

Трогательны и серьезны стихи Нерлера о своем наставнике в поэтическом ремесле Аркадии Штейнберге, превосходном лирике, блестящем переводчике Мильтона и оригинальном живописце. «Учитель мой веселый» (так обращается Нерлер к мастеру с тяжелой судьбой, но никогда не унывающему и напоминает нам о его смерти, тоже лишенной уныния, на берегу привольной реки:

Все кончено? Конечно! И твой ясный
Прощальный взгляд стремнина отнесла,
И смерть твоя, как жизнь, была прекрасной,
Ты сам хотел такую – у весла.

Хороши переводы Нерлера из Рильке. Переводчик нашел собственный почерк, чтобы передать движение необычной немецкой строки. находка в том, что удалось воспроизвести экспрессию Рильке:

Какой скрипач нас трогает смычком!

Постоянный в своих странствиях – от Кавказа до Памира, от невских вод до тундры, автор столь же постоянен и в своей лирической привязанности.

Вольные, воздушные строки поэта внушают уверенность в его поэтическом будущем:

Не ради славы стоит стих слагать,
А ради отражений и тумана...

1996

Публикуется по изд.: *Нерлер П.* Ботанический сад. Книга стихов. (1970–1987). М., 1998. С. 5–7.

СОБСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ – ЭТО КЛАД

В послеперестроечные годы, которые нам даровали одну только радость – свободу слова, стала довольно широко известна фраза Сталина: «Смерть решает все проблемы. Нет человека – нет проблемы».

Действительно, все то (или почти все), что мы называем сталинизмом, заключено в этой краткой и колоссально дьявольской фразе вождя. Но, оказывается, не Сталин сказал эти слова. Они принадлежат Анатолию Рыбакову. В этом признается автор книги «Роман-воспоминание».

Сталин и Гитлер – самые знаковые имена последнего трагического века нашего тысячелетия. Таких злодеев не ведало человечество от времен Ирода и Понтия Пилата до испанской инквизиции, я бы сказал, даже до Муссолини. Те убивали тысячи, десятки тысяч. Сталин и Гитлер уничтожали миллионы. Для Гитлера смерть была связана только с одной проблемой: окончательное решение истребления ненавистного ему племени и, конечно, неприятеля во время войны. Для Сталина смерть решала не одну, а все, именно все проблемы, потому-то он уничтожал прежде всего своих соотечественников, десятки миллионов, несравненно больше, чем вражеских солдат. Сталин всем своим

существом понимал, что он, как глава государства рабов, не может существовать, если не будет убивать.

О Сталине писали и пишут много, нередко умно и талантливо. Но никто – никто! – не изобразил эту нечистую силу так, как Рыбаков. Вспоминал Каверин, которому Рыбаков (как и другим своим друзьям) читал главы еще неизданных, незаконченных «Детей Арбата»: «Провели вечер со Сталиным. Сталиным был Рыбаков».

Анатолий Наумович не сразу ощутил, что главное в его романе – фигура Сталина. Когда, в начале 60-х, писатель предложил в Малеевке нам, своим приятелям, прочесть рукопись «Детей Арбата», мы были, что называется, потрясены правдой жизни, очарованы письмом, глубиной постижения персонажей, особенно женщин (что удастся не всем), но Сталин при всей портретной живописи еще не был главной темой романа. Каким должен быть Сталин, автор понял в процессе работы.

Художник-труженик бальзаковской породы, он точности ради поехал туда, где родился его персонаж, – в Грузию. Можно себе представить, как после ликвидации культа личности обрадовались видные деятели республики тому, что известный русский писатель решил посетить Гори, маленький городок на границе с Южной Осетией, где жена сапожника зачала того, чьим именем были названы многие большие города бывшей русской империи. Побывал Рыбаков и в Баилловской тюрьме в Баку, где сидел будущий вождь. В книге, о которой идет речь, есть такое замечание автора: «Рассказчик должен быть участником событий или хотя бы свидетелем». Читая «Роман-воспоминание», мы видим, как автор напрягает все свои духовные (и даже физические) силы, чтобы его формула стала художественной явью.

Воспоминания, естественно, начинаются с детства. Автор родился на Украине в довольно зажиточной еврейской семье: отец управлял винокуренными заводами. Уже с первой страницы начинается первая боль: всегда испуганное лицо матери, искривленные в злой насмешке губы отца, который не любил своего сына, будущего писателя, и свою дочь, а дети тоже не любили и боялись его. В этих тяжелых, на редкость откровенных словах обнажается зачин тех бед, которые обрушились на юного автора.

Своих близких он изображает отлично. Вот дед со стороны матери: «У него было поразительной белизны широкоскулое лицо, оттененное черной цыганской бородой, и раскосые японские глаза с синими белками».

Дед был противником революции, а его сын Миша, дядя автора, – блестящий красный командир в папахе, длинной кавалерийской шинели, перетянутой ремнями, с шашкой и пистолетом

на боку, со звенящими шпорами на сапогах. Весь город им гордился – герой Гражданской войны, кавалер ордена Красного Знамени. Война кончилась. В Чернигове арестовали нескольких людей за спекуляцию. Им грозил расстрел. Миша, командир расквартированной в городе части, явился со взводом солдат в тюрьму и освободил самовольно этих мелких спекулянтов. Трибунал приговорил его к расстрелу. Останавливаясь на этом событии, потому что оно и объясняет, и разрушает мысль автора: «Революция вошла в мое сознание, когда она утверждала принципы свободы и справедливости». Увы: утверждала, но ни одного дня не придерживалась этих принципов.

Раннее детство закрепились в памяти писателя мягкими украинскими красками, огнем Гражданской войны, мелодией и вековой печалью еврейских молитв. А воспитываться он стал по ленинской формуле: «Нравственность подчинена интересам классовой борьбы пролетариата». Он считает, что Сталин искал эту формулу, превратил ее в «нечто жестокое и бесчеловечное». Рыбаков ошибается: Сталин, среди прочих большевиков, самый верный продолжатель дела Ленина. Я еще к этому вернусь.

Семья переехала в Москву, когда будущему писателю исполнилось восемь лет. Поселились не где-нибудь, а на самой московской из улиц – на Арбате. Будущая «военно-грузинская» дорога, по которой Сталин ездил из Кремля на дачу, Арбат уже в те ранние годы был улицей необычной. В школах в Кривоарбатском и Обыденском переулках вместе с детьми портных, сапожников, дворников учились дети из интеллигентных, чисто арбатских семейств – братья Келдыши, сын Е.Ф. Никитиной, хозяйки известных литературных «Никитинских субботников», и рядом, близко – Кремль, и улица Грановского с 5-м Домом советов, и вот в школе – сын Дзержинского Ян, дочь наркома А.П. Розенгольца, в общем – советская знать. К ученикам приезжали важные деятели, например Бухарин, беседовали со школьниками, которые видели и Зиновьева, Каменева... Особенно запомнился автору Троцкий: «Копна черных с проседью волос, бородка клинышком, нервное, подвижное, выразительное лицо, острый взгляд голубых глаз из-под стекол очков... Голос неожиданно молодой и звонкий»... Хорошо рисует!

Разноклассовость улицы, школы, порожденная ранними большевистскими годами совокупность детей демоса и детей элиты – все это стало основанием того памятника, который получил название «Дети Арбата».

Школьник Толя принадлежал не элите, а демосу, но верушке демоса. Его дом не знал бедности, был рояль «Беккер», приходили преподавательницы музыки и французского языка.

Окончив школу, пионер, потом комсомолец, еще не достигнув полных 18 лет, пошел работать на Дорогомиловский химический завод: не имея производственного стажа, не мог поступить в вуз, получить стипендию. Был разнорабочим, грузчиком, потом шофером. Работа тяжелая, ломовая, а химическое производство – вредное, я сам в этом мог убедиться, когда был студентом химфака инженерно-экономического института, часть практики проходил на Дорхимзаводе. Рыбаков заслужил нелегкое право сказать: «Я узнал свой народ, неся его ношу».

Заработав производственный стаж, наш автор осенью 1930 г. стал студентом автодорожного факультета транспортно-экономического института. Здесь подстерегала его беда.

На последнем курсе студенты-комсомольцы избрали его членом редколлегии стенной газеты. Газета была тусклая, помещались портреты отличников с однообразными, нудными характеристиками: морально устойчив, ударник учебы и прочее. Чтобы несколько оживить газету, новый член редколлегии предложил на каждого отличника писать шуточные эпиграммы в стихах, выпускать стенгазету без передовицы, поскольку таковая печатается в институтской многотиражке. Руководство института восприняло это новшество как «вылазку врага». Оно, руководство, выяснило, что студент Рыбаков учился в средней школе вместе с детьми многих «врагов народа». Рыбакова исключили из института и вскоре арестовали.

Его дело вел следователь Шарок, ставший под своим именем прообразом одного из главных персонажей «Детей Арбата». Его характер – на мой взгляд – удача автора и всей литературы наших лет.

Что и говорить, трехлетняя ссылка не лагерь, но и не сахар, а после нее – скитания, паспорт «меченый», право жить – только в «нережимных» городах, ведь статья знаменитая: «58–10».

Был шофером, слесарем, жил в бараках, где можно было не прописываться, работал и перевозчиком на моторке, преподавал западноевропейские танцы, нанимался в разные экспедиции, в такие, где документы особенно не спрашиваются, мог бы продолжить горьковские «Мои университеты». Эти трудные годы, однако, подарили Рыбакову слова русского языка в его советском пошибе.

В 1941 г. скитаниям пришел конец: удалось попасть в сражающуюся с немцами армию.

Я заметил, что оставшиеся в живых жертвы большевизма, прежде всего лагерники, но и ссыльные, гораздо толковее нас, счастливых, в понимании людей в разных ситуациях, они быстрее разумом и проницательней, смелее в поступках.

Таким был в армии Рыбаков, старший лейтенант, капитан, майор с нехорошим, весьма нехорошим политическим прошлым. За годы скитаний с «минусом» он привык «шкурой» ощущать, что означает любой брошенный на него взгляд: подозрительность, сочувствие или просто любопытство.

Последний год войны. Рыбаков уже начальник автомобильной службы гвардейского корпуса. Командиру корпуса генералу Глазунову (нарисованному замечательно) предстоит форсировать реку. С автомобильным транспортом дело обстоит плохо. Рыбаков уже об этом рапортовал своему непосредственному начальству. Но генерал недоволен рапортом. Вызванный Рыбаков говорит разгневанному генералу: «Никакие заявки в автоотдел армии не помогут». – «Куда же обращаться?» – «В автоуправление фронта». – «У тебя там, что, знакомые есть?» – «Да». – «По Москве, по институту?»

Рыбакову становится ясна истинная причина вызова к самому командиру корпуса: начальник отдела кадров (т. е. гепеушник) ознакомил генерала с личным делом Рыбакова. Генерал: «Поезжай в штаб фронта. В Москве где жил?» – «На Арбате». – «Знакомая улица».

Машины Рыбаков раздобыл. Читая этот эпизод, начинаешь понимать, почему Рыбакову удавалось впоследствии вести то открытую, то хитрую борьбу за «Детей Арбата» с руководством Союза писателей, с редакторами, с ответственными, могущественными работниками ЦК КПСС. Мне вспомнилось, как бесильны были в подобных обстоятельствах мои друзья Гроссман и Платонов. И дело не только в том, что они были гораздо дальше от советской структуры, чем Рыбаков: у них не было за плечами опыта статьи «58–10».

Рыбаков много, обстоятельно и, видимо, со знанием дела пишет о военных операциях, о расположении наших и вражеских войск. Признаюсь, что я, участник войны, всем этим мало интересовался. Серьезным знатоком этого дела был писатель Симонов. А я уже заранее томился, тосковал, если мой начальник-редактор приказывал мне интервьюировать начальника штаба или самого члена Военного Совета. Милы мне были беседы в кубриках или в землянках с матросами или с солдатами – и не на военные темы. Вот почему я, читатель, оживился, когда Рыбаков прервал военные информации рассказом о своей первой жене Асе, матери его рано скончавшегося старшего сына.

Война для Рыбакова кончилась в маленьком Райхенбахе. Наш майор на собственной машине «опель-капитан», обладатель репарационной пишущей машинки и солидной пачки оккупационных марок, въезжает в разрушенный Берлин. Среди разва-

лин – здание американской комендатуры. О чем думает русский офицер? «Войти, представиться, сказать, что я в прошлом судим по политической статье “58–10”, отбыл ссылку и сейчас опасаясь новых репрессий. Прошу политического убежища».

Я не помню советского писателя (а Рыбаков был писателем советским), который писал бы о себе с такой непривлекательной, даже очень жестокой для своего образа откровенностью. Мне вспомнилась беспощадность «Исповеди» Руссо. В своих воспоминаниях Рыбаков не хочет нравиться. Он хочет правды. И мы верим его торжественным и таким простым словам: «Я люблю Россию, в ней родился и вырос, за нее воевал... я включил мотор, нажал педаль сцепления, перевел рычаг скоростей и поехал на восток. Домой».

С него в армии за храбрость снята судимость, но в родном доме ему жить нельзя: Арбат – режимная улица. Инвалид войны, получавший жалкую пенсию, поселился в подмосковной деревне. Начал писать повесть: «Писать не умел, но упорства хватало». Повесть о детстве называлась «Кортик». В 1948 г. ее напечатали. Успех, критика хвалит, дети читают запоем. Но хочется быть писателем и для взрослых. Следует рассказ о первом романе «Водители».

Роман в «Октябре» напечатал Панферов. Знаменитый слуга государства, влиятельный редактор тогда мерзкого журнала, пьет и закусывает с новым автором, дает Рыбакову понять, что введет его в состав редколлегии, представит на соискание Сталинской премии, выхлопочет для него квартиру, дачу в Переделкине, обещает высшую гонорарную «лауреатскую» ставку и просит собеседника – просит не кто-нибудь, а он, Панферов, любимец режима – прочесть первую книгу своего нового романа. Следует диалог. Хочу передать его в сокращенном виде – не могу отказать в удовольствии себе и читателю. Начинает Панферов:

– Читал мой роман?

– Читал.

– И как?

– Первая книга... Надо бы до конца дочитать.

– Ишь ты какой, – он недобро усмехнулся. – Твой роман я тоже не до конца дочитал, договор подписывал, оценил тебя. А ты, видишь ли, конца дожидаясь.

– Вещь читается, роман, думаю, получится...

– Ах, значит, романа еще нет, еще «думая, получится»... Что же тебя там не устраивает? Говори прямо, по-писательски.

– Один сюжетный ход необубедительный... В романе написано: в Прикаспии гибнут овцы, положение в области отчаянное, туда срочно посылают нового секретаря обкома. Казалось бы,

он должен вылететь первым самолетом, а он садится в Химках на теплоход и спокойно плывет по Волге две недели... а овцы тем временем гибнут. Читатель этому секретарю не поверит.

Панферов сидел, набычившись, потом с горечью сказал:

– Да, вам этого не понять.

– Кому вам?

– Вам не понять... В этой поездке я показываю Волгу. Нашу Волгу, великую русскую реку, дорогую каждому русскому человеку... А вам, конечно, не понять.

– Кому это нам?

– Вам, инородцам.

– Ах так... Мало того, что ты графоман, ты еще и антисемит.

Значит, правду о тебе говорят.

Панферов разорвал и бросил в корзину договор:

– Со шпионами договоров не заключаю.

– Что, что?

– Ты же спал со шпионкой, с Анной Луизой Стронг, вот с кем ты спал...

– Дурак ты! – сказал я на прощание.

Через несколько лет Рыбаков узнал, что Панферов смертельно болен. И навестил его. И простил.

Я пробовал прочесть «Водителей». Не то. Впрочем, сам автор теперь в этом признается.

Первый «взрослый» роман Рыбакова был представлен к Сталинской премии второй степени. На высочайшем заседании сам Сталин назвал «Водителей» «лучшим романом этого года». Но добавил:

– А известно ли товарищам, что Рыбакова исключили из партии и судили по пятьдесят восьмой статье... Неискренний человек, не разоружился.

Рыбаков начинает борьбу за Сталинскую премию. Места его борьбы – кабинеты Союза писателей, нотариальные конторы. Да, он был судим по 58-й статье, сослан, но никогда в партии не состоял и на фронте судимость с него была снята за отличие в боях. Борьба ведется с упорством, с находчивостью, с тем опытом, повторяю, который приобретается в лагерях и в ссылках. И побеждает. Сталин говорит: «Информация была неточной, восстановить его в списке...» И вот Рыбаков – сталинский лауреат.

Наш автор не только памятный, честный воспоминатель, не только превосходный портретист. Он и размышляет. По его мнению, Февральская революция не сумела выполнить те задачи, которые выполнила Октябрьская, например вывести Россию из войны. Нет, не вывела: когда война прекратилась в Европе,

русские с русскими воевали еще три года. Сожалея, что народы в 1930-х годах не избавились от Гитлера, Муссолини, Сталина, автор высоко оценивает Ленина, свершившего революцию под лозунгом социальной справедливости и братства народов, провозгласившего нэп, предоставившего экономическую свободу крестьянам и предпринимателям.

Я с этим не могу согласиться. Конечно, нэп – смелое и разумное решение Ленина, но Ленин такое же зло, как и Сталин. <...>

Неразумная, неграмотная политика нынешнего правительства России по отношению к Чечне, увы, очевидна. Но то, что нам показали в Чечне по телевизору, что возмутило весь мир, начато не сегодня, начато Лениным. Ради того чтобы укрепилась его власть, он готов был идти на любые преступления против своих сограждан. Сталин – продолжатель дела Ленина.

О своих соседях, о детях Арбата, Рыбаков начал писать в 1958 г. Через девять лет он предложил роман «Новому миру»: в этом журнале был напечатан роман Рыбакова «Лето в Сосняках».

Редактором журнала был Александр Твардовский, с необычайной смелостью опубликовавший «Один день Ивана Денисовича», произведение бессмертное. Рыбаков надеялся, что Твардовскому понравятся «Дети Арбата», которые, не дойдя до редактора, уже больше года томились в редакции. Роман высоко оценили сотрудники Твардовского – Анна Берзер, Кондратович, Лакшин. Измученный ожиданием, Рыбаков обратился к Твардовскому с письменной просьбой прочесть роман. Вот что сказал автору по телефону Твардовский.

Позавчера начал читать и прочел одним махом, не отрываясь. Я – крестьянский поэт и думал, что поэзия – в деревне, а вы показали поэзию города... Москва, Арбат, улицы, эти мальчики и девочки, арбатские и дорогомилловские, первая юношеская любовь, тюрьма, все это прекрасно... такого удовольствия, такой радости от чтения я давно не получал... Роман, конечно, попадет под «табу», но не я это «табу» установил. А когда «табу» будет снято, наш журнал сочтет за честь опубликовать его на своих страницах. Не унывайте!.. Вы – человек мужественный, мы вас поддержим, деньги для вас найдем. Вы поставили перед собой грандиозную задачу и блестяще ее выполнили.

Я познакомился с Твардовским в 1929 г., оба – безвестные юноши. Близости не было, но было взаимное уважение, даже тогда, когда один стал знаменит, а другой значился рядовым литератором. В наших беседах он редко кого хвалил из пишущих.

Такая, я бы сказал, восторженная оценка «Детей Арбата» дорогого стоит.

Вскоре Рыбаков встретился с Твардовским в редакции «Нового мира». Вот слова Твардовского.

Каждый писатель мечтает о своей главной книге, но не всякий, даже очень талантливый, ее создает, потому что не находит того, что должно послужить для нее материалом. Вы нашли свой золотой клад. Этот клад – ваша собственная жизнь. И то, что вы пренебрегли своей славой известного беллетриста, своим материальным положением, пишете такую книгу, без надежды на скорое ее опубликование, пишете всю правду, подтверждает, что вы настоящий писатель... Вы прекрасно показали ту эпоху, показали общество во всех его разрезах – от сына портного до дочери наркома... Вы достигли поразительной силы и убедительности изображения. Мне очень горько, что я ничего не могу пообещать вам конкретно. Журнал в очень тяжелом положении, его медленно удушают.

Через три года Твардовский случайно навестил Рыбакова на его даче в Переделкине. Выпили. Снова похвалив «Детей Арбата», сказал: «Солженицын активнее вас, он деятель, такой он человек, и таким его надо принимать. А мы с вами другие. Может, поколение другое, может, закалка не та. Моя мать тоже была в ссылке... А отец, тот был в бегах... Мои родители вон где были, а я стихи про колхозы сочинял... И не знал, что будет со мной».

В свое время Гроссман передавал мне некоторые слова самобичевания Твардовского, но такой покаянной горечи – «а я стихи про колхозы сочинял», как в беседе с Рыбаковым, в них не было.

Нельзя сказать, что Твардовский страдал скромностью. В одной беседе со мной он по-человечески сочувственно, но свысока отозвался о Мандельштаме и Пастернаке. Во время совместной поездки в Италию сказал Заболоцкому: «Надоело мне быть первым парнем на деревне». Заболоцкий не удержался от улыбки – и увидел обиженное лицо собеседника. Читая разговор с Рыбаковым, я подумал, что Твардовский сильно изменился под влиянием встречи с Солженицыным. Этот рязанский школьный преподаватель математики, вероятно, бедно одетый, всем своим обликом, отвагой, прежде всего гениальностью «Одного дня...» против своей воли, конечно, заставил Твардовского усомниться в правильности своей литературной жизни, в служении своему большому таланту.

Идут годы, «Дети Арбата» все еще в утробе письменного стола, Рыбаков пишет новый роман: «Тяжелый песок».

Один одаренный, с хорошим пером, литератор, еврей, никогда не испытывавший религиозного чувства, недавно, следуя моде, крестившийся, как-то спросил меня:

– Кто у вас Мессия – человек или Бог?

Я ответил: «У нас, в Ветхом Завете, священном и для христиан, Мессия, Мешиах – человек. А у вас?»

Русский писатель Рыбаков никогда не забывал о своем еврействе. Он написал много повестей и романов, приобретших большую популярность и на родине, и за ее рубежами. Я уверен, что он надолго останется в литературе как создатель «Детей Арбата» и «Тяжелого песка». А ведь хорошо как-то сказал Корней Чуковский: «В литературу трудно попасть, еще труднее в ней задержаться и почти невозможно в ней остаться. Рыбаков останется».

Название «Тяжелый песок» взято из Библии, из книги Иова: «Если бы была взвешена горесть моя, и вместе страдания мои на весы положили, то ныне были бы они песка морского тяжелее».

Удачливый, широко известный автор впервые понял, как трудно у нас напечатать не беллетристику, пусть увлекательную и честную, а истинно художественную вещь, чуждую политическому направлению тоталитарного государства. «Тяжелый песок» отклонили новый (после Твардовского) «Новый мир», «Дружба народов». Напечатал отважный Ананьев в «Октябре». Как всегда, были потребованы купюры, поправки. Рыбаков скрепя сердце шел на уступки. Один персонаж романа был расстрелян как «враг народа». Теперь Рыбакову пришлось бросить его под поезд. Антисемитские листовки с текстом из Достоевского, которые немцы разбрасывали на фронте, теперь снабжались текстами из Кнута Гамсуна. Цифра уничтоженных фашистами евреев – шесть миллионов – государством запрещалась. Преодолев сопротивление редакции, Рыбаков – впервые в нашей стране – назвал эту цифру в своем романе. Были и смешные придирки. Один из персонажей романа родился в Цюрихе. Но в это время мы узнали книгу Солженицына «Ленин в Цюрихе». Пришлось, по требованию редакции, заменить Цюрих Базелем. Но когда роман вышел отдельным изданием, Рыбакова пригласили в ЦК КПСС. Цекистский чиновник прочел по бумажке замечания «серого кардинала» Сулова, касающиеся романа. Оказалось, что некий профессор написал в ЦК письмо, сообщая: «“Тяжелый песок” – роман сионистский. Не случайно главный герой романа родился в Базеле, где происходил первый сионистский конгресс». Вряд ли Рыбаков об этом знал. Как трудно сделать героя родившимся в Швейцарии: Цюрих плох, а Базель и того хуже.

Читательский успех «Тяжелого песка» был оглушителен. Множество писем прислали автору русские, украинцы, белорусы и, конечно, евреи, писали люди, уцелевшие в лагерях уничтожения, в гетто, дети, потерявшие родителей, родители, потерявшие детей.

Советская печать роман замолчала. Но на Западе публикация «Тяжелого песка» рассматривалась как «поворот Кремля в еврейском вопросе». Роман был издан в 26 странах. Заголовки статей в большой, многоязыкой прессе: «Роман поворачивает душу», «Долгое молчание разбито», «Еврейская семейная сага», «Высокая песня любви», «Семейная хроника, продолжающая старую русскую традицию», «Сильный одинокий плач», «Советским людям нравится еврейская сага».

Окрыленный успехом, Рыбаков предложил «Детей Арбата» редактору «Октября» Ананьеву. Восторг и отказ. Предложил «Дружбе народов», редактору Баруздину. Ответ: «Сразу же поздравляю, это не “Кроши” и даже не “Тяжелый песок”, это намного выше и серьезнее... Все поразительно точно, достоверно и весомо... Это прекрасно...» И все же роман «категорически не устраивает».

Рыбаков отступал, но не сдавался. Борьба за роман продолжалась, приобретая партизанский характер. Удалось переправить «Детей Арбата» в Хельсинки, сыну друзей автора, женатому на финке. Другой экземпляр романа удалось вывезти в Париж, отдать на хранение дочери русского эмигранта, приятельнице автора.

Прочитав об этом в «Романе-воспоминании», я опять подумал о Гроссмани: умен, смел, но так был наивен, так был неприспособлен к советской системе. А о Платонове и говорить нечего: гений, но не борец, храбр, но не воин. Отважные солдаты в борьбе с немцами, подполковник Гроссман и капитан (майор?) Платонов оказались беспомощными в борьбе с советским идеологическим гнетом.

Другим был майор Рыбаков. Резко критически относясь к некоторым вещам, опубликованным в «Метрополе», он, рожденный боец, высоко оценил этот альманах, потому что «Метрополь» «был первым отчаянным прорывом в бесцензурную печать, мужественной попыткой сбросить с литературы оковы государственного партийного контроля».

Многоопытный, умный, умелый боец сочувствовал пусть не таким опытным, но все же неробким собратьям.

В своих мемуарах М.С. Горбачев пишет о рукописи «Детей Арбата»: «Она стала общественным явлением еще до того, как вышла в свет».

О существовании «Детей Арбата» знали в ЦК КПСС. В 1983 г. туда вызвал Рыбакова видный партийный чиновник Альберт Беляев. Он предупредил автора: «Если роман будет опубликован за границей, за это ответит автор».

Предупреждение Беляева не остановило Рыбакова. Он решил давать своим знакомым читать «Детей Арбата» с условием: держать не больше недели. Дал и Самуэлю Рахлину, корреспонденту датского телевидения. Мы с Инной Лиснянской тоже были с ним знакомы, прелестный человек. Кажется, он родился в России, во всяком случае, по-русски говорил свободно. Рахлин дал на краткий срок прочесть роман своему соседу по жилью в дипломатическом корпусе, шведу, страстному поклоннику «Тяжелого песка». Горничная, конечно, сотрудница КГБ, увидела рукопись на столе хозяина и сообщила куда следует. Швед уехал на рождественские каникулы в Стокгольм, взял с собой рукопись, чтобы ее дочитать. На таможне рукопись отобрали. Вскоре Рыбакова пригласили на закрытое заседание секретариата Союза писателей.

Кабинет первого секретаря Маркова. Допрашивают главные помощники Маркова: Верченко, Карпов, Боровик. Разговор с начальством занимает несколько страниц книги, пересказывать не надо, думаю, читателю и так понятно, что могли сказать эти люди автору. Остановлюсь только на быстроте реакции и находчивости Рыбакова. Меня это всегда в нем восхищало, так как сам я такими качествами не обладаю.

Карпов, как новый редактор «Нового мира», уже знакомый с первой частью романа, говорит:

– Я прочел вторую и третью части, правда, не в рукописи, а в ксерокопии.

Рыбаков: – Вот как? Откуда взялась ксерокопия?

Верченко: – Это не имеет значения.

Рыбаков: – Нет, это имеет значение. Если вы сняли с него ксерокопию, то роман выходит из-под моего контроля, что я и фиксирую.

Крайне неприятная беседа закончилась просьбой (просьбой, а не приказом!) Верченко: «Весь сегодняшний разговор должен остаться между нами».

Рыбаков об этом заседании никому не рассказал, но слухи распространились по Москве, отчего интерес к роману повысился. Теперь, давая его читателям, Рыбаков, по совету своего младшего друга Евтушенко, ставил условие: письменный отзыв – обязательно. Решил активнее пробивать «Детей Арбата», создать общественное мнение, на которое – такая началась пора – можно будет опереться. Пришло около 60 восторженных отзывов: их прислали знаменитые писатели, артисты, режиссеры.

Еще одна цитата из мемуаров М.С. Горбачева: «Рукопись прочли десятки людей, которые стали заваливать ЦК письмами и рецензиями, представляя книгу “романом века”...»

Я уверен, что описание борьбы писателя с государственным аппаратом, книга «Роман-воспоминание», станет документом истории нашей страны. Живописная галерея чиновников аппарата, писателей (тоже чиновников) – драгоценный материал для будущих исследователей советской эпохи.

Следует отметить, что в это время иным стал государственный аппарат. Горбачев, сам того не желая, нанес и поныне незаживающие раны одряхлевшему телу советского государства. Не умея, а может быть, и не думая расстаться с коммунистическим мироощущением, всегда бесчеловечным, совершенно не понимая нашей бессмысленной экономики, важного, решающего значения для нашей страны национального вопроса (из большевиков его хорошо понимал только убийца народов Сталин), Горбачев сделал главное – разрушил советскую систему. О том, что пошло дальше, говорить не будем, но должное неудачливому Горбачеву воздадим.

И вот по просьбе Рыбакова его принял на Старой площади секретарь ЦК КПСС Александр Николаевич Яковлев, второй после Горбачева человек в партии, о котором шла молва, что он инициатор и теоретик перестройки. Литераторы благодарно запомнили его знаменитую статью «Об антиисторизме», направленную против черносотенцев.

Я, как и многие, не раз видел и слышал А.Н. Яковлева по телевизору. Его облик, спокойная и (чего не скажешь о Горбачеве) интеллигентная русская речь внушали симпатию. Недавно я впервые увидел его близко. Это произошло на вручении Инне Лиснянской литературной премии журнала «Арион». Яковлев сидел рядом с нами. Лохматые брови, коренастый, с залысинами, сдержанно улыбающийся. Он сказал героине вечера, что ее строки «Кого бы я не встречала, я встречала себя» есть продолжение мысли Канта.

Высказанные Рыбакову мысли Яковлева так важны для понимания не только видного деятеля партии, но и всей перестройки, что мне хочется их воспроизвести как можно подробнее.

– Мы с вами взрослые люди, – начал Яковлев, – фронтовики, будем говорить без обиняков, прямо и честно, да, я читал ваш роман, но не как секретарь ЦК, а как директор Института экономики. Штука сильная, написана хорошо, читается великолепно. Но у меня два замечания. Первое: вина Сталина в убийстве Кирова не доказана. Хрущев пытался доказать, но не сумел... В вашем романе действуют исторические личности, значит, вы должны

придерживаться исторических фактов, а этот факт не доказан. Второе возражение: в романе много сексуального. Молодые люди, девицы только и думают, с кем переспать. Я тоже был молодой, но в наше время так не думали.

Рыбаков: – Сколько было вам лет, Александр Николаевич, когда вы ушли в армию?

Яковлев: – Семнадцать с половиной.

Рыбаков: – Не было бы войны, вы бы через год-два спали с девочками за милую душу.

Яковлев: – Особенно не настаиваю на этом. Главное – Киров.

Рыбаков ссылается на выводы комиссии старой большевички Шатуновской: доказано, что это сделал Сталин. И добавляет:

– Тираны не дают письменных указаний, убивая неудобных. Почему же вы о Кирове требуете предъявить письменное указание?

Яковлев: – Сам-то Киров был такой уж святой?

Рыбаков: – Я не писал Кирова святым. Но не Киров убил Сталина, а Сталин убил Кирова.

Яковлев: – Меня поразила одна фраза Сталина. Он приказывает расстрелять белых офицеров, ему возражают, это незаконно. Сталин отвечает: «Смерть решает все проблемы. Нет человека – нет проблемы». Где Сталин это сказал? В его сочинениях такого нет. Вы действительно сами выдумали и приписали Сталину эту фразу?

Рыбаков: – Возможно, от кого-то слышал, возможно, сам придумал.

Беседа завершается предложением автору сделать некоторые поправки. Рыбаков сделал. Об этом Яковлев сообщил редактору «Дружбы народов» Баруздину. В журнале рукопись читается снова, 9 сентября 1986 г. Рыбакова приглашают на заседание редколлегии журнала. Баруздин настаивает на своем: «Нужно убрать одностороннее, сугубо субъективное изображение Сталина». Но члены редколлегии – такие времена – уже не послушны главному редактору.

Аннинский: «Могучая, мощная, шекспировской силы вещь. Какое счастье, что она попала в журнал».

Калещук (заведующий отделом очерка): «Мы все изолгались... Пора кончать с этим... Считаю, что получить такой роман – большая наша удача».

Тер-Акопян (заместитель Баруздина): «Я восхищен романом и тоже считаю, что трогать там ничего бы не следовало. Но именно я имею дело с цензурой и вам прямо скажу – они роман

не пропустят, на каждое слово Сталина потребуют письменное доказательство».

Баруздин взмолился: «По Сталину пройдишь еще раз пером».

Видимо, Рыбаков идет на уступки. Но не изменяет своему бойцовскому характеру. Спрашивает:

- Когда будете печатать?
- В будущем году, конечно.
- Дайте анонс в октябрьском номере.
- Номер уже набирается.
- Ничего, успеете.

Телефонный разговор с типографией. Анонс вставлен на обложке октябрьского номера.

Свершилось. Роман печатается. Рабочие типографии берут себе по десять экземпляров (как известно, приблизительно так же происходило когда-то в типографии с первыми рассказами Гоголя). На почте тревога: журнал воруют из ящиков в подъездах. В библиотеках очередь на роман на год вперед. На «черном рынке» – астрономические цифры стоимости журнала. «Книжное обозрение» провело опрос читателей: «Дети Арбата» по популярности вышли на первое место. Тираж романа – вместе с изданием в «Роман-газете» – десять с половиной миллионов. Но глава Госкомиздата заявляет: чтобы удовлетворить спрос на роман, его надо издать тиражом минимум 30 миллионов. Наверху испугались. Неужели властители полумира так пугливы? Здесь я позволю себе вернуться на много лет назад.

Сталин в семинарии дружил с одним однокашником (фамилию забыл). До революции он священствовал, потом стал школьным учителем. В Грузии его начали преследовать за церковное прошлое. Он обратился в Москву к другу юности с просьбой защитить его. Сталин ответил, адресовав письмо так: «Народному учителю такому-то». Был слух, что с этого письма началось звание народного учителя. И вот страна готовится к юбилею Сталина. Издательство «Детгиз» отыскило в Грузии сталинского однокашника. Редакторы, писатели, связанные с издательством, помогли старому учителю написать воспоминания о вожде. Получилось так, как было задумано. Сосо – отличник учебы, заботливый товарищ, обаятельный, добрый, уже в детские годы мудрый. Книга напечатана, готовы сигнальные экземпляры, «Детгиз» в восторге, старика приглашают в Москву, поселяют в гостинице «Москва», и вдруг: книга свыше запрещена.

Сталин приглашает к себе друга ранних лет, хорошо, по-кавказски угощает, ласков с ним и, объясняя запрет книги, учит: «Слово не так скажешь – государство потеряешь».

Наши вольнодумцы привыкли считать соратников и наследников Сталина людьми малообразованными, ограниченными, тупыми. Но вот в чем нельзя отказать руководителям советского государства: они знали, что народ обманывают, что их идеология – ложь, вот почему и Сталин и его наследники всегда боялись слова, боялись, что даже намек на правду губителен для их власти над населением.

«Дети Арбата», сказанные «не так», сильно испугали властителей страны. Когда на обложке «Дружбы народов» было объявлено, что в журнале будет напечатан роман Рыбакова, срочно собрали заседание Политбюро ЦК КПСС (в октябре 1986 г.)... Через десять лет, в 1996 г., стенограмму этого заседания опубликовали в «Московских новостях». Читаем:

Лигачев: – Ясно, что такой роман опубликовать нельзя. <...>

Чебриков: – Сейчас по телевидению есть одна популярная передача – «Двенадцатый этаж». В ней идет перепалка между молодежью и старшими поколениями. Старшее поколение выглядит довольно бледно, не может дать отпора вызывающе ведущим себя молодым интеллектуалам.

Горбачев:

– Зачем нам предоставлять трибуну всякой падали?

Громыко:

– Видимо, жестковато поступили в свое время с Ахматовой, Цветаевой, Мандельштамом, но нельзя же, как это делается теперь, превращать их в иконы... Мы не можем быть добренькими.

Шеварднадзе:

– Кто-то сейчас стал предлагать опубликовать неизданные произведения Твардовского в защиту кулака. Он, как вы знаете, был, видимо, сыном кулака. Так что в литературе немало лиц, которые пытались и будут пытаться использовать творческие организации и журналы в своих личных целях...

Рыбаков использовал журнал не в своих целях, а в целях любви к угнетенным и преследуемым.

«Дети Арбата» вышли в свет в 52 странах. Роман пролежал в столе 20 лет и, как Илья Муромец, накопил такую силу, которая удивила, восхитила весь читающий мир.

Однажды Рыбакова посетил знаменитый английский писатель Грэм Грин. Он сказал, что в СССР атмосфера меняется, что русский народ терпеливый, что он, Грэм Грин, сторонник социалистической идеи. И тут Рыбаков, тоже как будто сторонник социалистической идеи, неожиданно возражает:

– Сделаем так: вы нам отдадите свою свободу, а мы вам свой социализм. Поменяемся. Хотите?

«Дети Арбата» – трилогия. Вторая часть называется «Страх», третья – «Прах и пепел». Вторая часть сильно уступает первой, написана поспешно. Но в «Прахе и пепле» возрождается художественная сила Рыбакова, талант глубокий, умен, живописен и так молод, так молод!

«Прах и пепел» заканчивается тем, что разделенные трудной судьбой муж и жена наконец соединились после смерти: их могилы оказались рядом. Рыбаков, всегда прислушивающийся к замечаниям собратьев, сказал мне, что его знакомые сочли такую концовку слащавой, надуманной. Я возразил: «Концовка глубоко народна, она существует в фольклоре Востока и Запада, так кончили свою жизнь Лейли и Меджнун, Ромео и Джульетта. И как хорошо, что современный реалистический роман завершается такой истинно человеческой, из древности до нас дошедшей легендой». Анатолия Наумовича обрадовали мои слова.

Как странно, даже загадочно: великие книги Солженицына, книги Булгакова, Бабеля, Зощенко, Платонова, Гроссмана, «Тихий Дон» (Шолохова?), «Дети Арбата» и «Тяжелый песок» Рыбакова возникли в самую жестокую, в самую несвободную, в самую античеловеческую пору истории России. Сила человечности оказалась сильнее дьявольской мощи большевизма. Так решил Тот, Кто создал человека.

Публикуется по изд.: Знамя. 1998. № 1.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ

<Речь на праздновании 80-летия А.И. Солженицына>

В золотом XIX веке русской литературы писатели приходили к читателям из лица, соседствующего с императорским дворцом, из дворянских усадеб, а если из крестьянских низов, то, скажем, из семьи скотопромышленника, которого в советское время могли расстрелять, а сына, Алексея Кольцова, с домочадцами выслать в места не столь отдаленные.

Был один великий писатель, который, задолго до нашего современника, провел несколько лет в остроге, но тот Мертвый дом был домом отдыха по сравнению с каторгой, где немало умерщвляющих лет провел Солженицын. И там и тут были несчастные люди, а вселенная, учит нас Солженицын, имеет столько центров, сколько в ней живых существ.

Есть еще одно обстоятельство, весьма существенное, которое отличает судьбу Солженицына от судьбы Достоевского.

Отбыв года каторги и солдатской службы, Достоевский вернулся в привычную писательскую и журнальную жизнь, дыша воздухом воли и славы. Солженицын после каторги, после тяжелой операции, став всемирно известным писателем, опять попал в сатанинские лапы власти такой жестокой, какую не знала царская Россия.

С этой властью, с этим прогнившим, но все еще сильным дубом боролся не теленок, а Богом избранный человек, и у этого человека было такое оружие, какого никогда не было у советской власти – мудрая, жизнетворящая мысль, преисполненная любви к людям, музыкальное слово, ослепительно яркая живопись.

Сегодняшний праздничный день Солженицына – это праздник измученной десятилетиями и продолжающей мучиться России.

Страшно подумать, что худшее впереди, и поэтому, Александр Исаевич, что-то важное, нужное и нежное есть в том, что Вы среди нас.

Живите долго и счастливо для наших сердец, для нашей России.

<1998>

Публикуется впервые по рукописи из семейного архива поэта.

Публикация И.Л. Лиснянской.

О МОИХ МЕМУАРАХ

Хорошо помню, что побудило меня впервые заняться воспоминаниями. После гибели Мандельштама в концлагере была издана в Ленинграде книга стихов несчастного поэта. Примечания составил Н.И. Харджиев. О стихотворении «В разноголосице девичьеского хора...» я прочел: «Сообщено С.И. Липкиным». Я позвонил Николаю Ивановичу, с которым познакомился еще в одесской юности, и сказал, что я не сообщал этого стихотворения, оно не нуждалось в сообщении, так как было давно напечатано, между прочим – в наиболее полной из книг Мандельштама, вышедшей, кажется, в 1928 г. Николай Иванович ответил, что основывался на указании Н.Я. Мандельштам. Выяснилось, что Надежда Яковлевна спутала это стихотворение со строфой, действительно сообщенной мною, не включенной, по воле автора, в окончательный текст стихотворения «Жил Александр Герцевич...». Тут я вспомнил, как Осип Эмильевич читал мне это стихотворение, многое вспомнилось, и я решил написать о своих встречах, беседах с великим поэтом, начавшихся осенью 1929 г.

Предложил эти воспоминания одной редакции. Случилось это в конце 1970-х. Потребовали снять несколько крамольных мест (например – что для меня недостижимыми образцами были стихотворения Ахматовой, Бунина, Ходасевича: мол, последние два – скажут наверху – были белыми эмигрантами, и Ахматова недалеко от них ушла). Я согласился – снимем. Но когда потребовали снять имя Гумилева, я отказался: без Гумилева, о котором часто говорил мне Осип Эмильевич, торжественно произнося «Николай Степаныч», не получался разговор об акмеизме, а без акмеизма – о Мандельштаме. Мою работу отвергли.

Ее напечатали, когда я вышел из Союза писателей, в Нью-Йорке, насколько я помню, в издательстве «Чалидзе-Публикейшн», опубликовавшем до этого мою повесть «Декада». Впоследствии воспоминания о Мандельштаме были напечатаны в немецком переводе в ФРГ.

После моего восстановления в Союзе писателей, по рекомендации В. Пискунова, члена редколлегии журнала «Литературное обозрение», мое воспоминание о Мандельштаме «Угль, пылающий огнем» было напечатано в этом журнале. Молоденький, а теперь знаменитый критик Андрей Немзер, сотрудник журнала, любовно отнеся к своим обязанностям, исправил несколько цитат, которые я изложил неточно.

В конце 1980-х швейцарское некоммерческое издательство «L'âge d'Homme» опубликовало небольшим тиражом арестованный советской властью роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Об этом событии заговорили в московских литературных кругах. Лидия Корнеевна Чуковская, знавшая о моей давней дружбе с Гроссманом, попросила меня рассказать о «Жизни и судьбе», об истории ареста этого романа, предложенного автором журналу «Знамя». Я ответил на все ее вопросы, но не сказал, что я сохранил рукопись (машинопись) романа и с деятельной помощью В.Н. Войновича отправил «Жизнь и судьбу» за рубеж.

Мы с Инной Львовной Лиснянской снимали тогда комнату на даче вдовы моего приятеля Н.Л. Степанова. К нам пришли дочь Лидии Корнеевны Елена Цезаревна (Люша) и секретарь Корнея Ивановича Чуковского Клара Лозовская – пришли с магнитофоном, чтобы я наговорил то, что рассказывал в их присутствии Лидии Корнеевне. Когда рассказ превратили в машинопись, получилось десять (или двенадцать) страниц, Инна Львовна сказала, что это недостаточно, что я знаю больше, и настояла на том, что я должен о Гроссмани написать книгу.

Жили мы тогда трудно. КГБ не оставлял нас в покое, угрожал, к тому же на нас наложили запрет на профессию, даже

на переводческую, но при этом – какой-то душевный подъем, мы оба много писали, и я решил, что засяду за воспоминания о Гроссмани.

Получилась книга около семи печатных листов. Я сперва назвал ее «Сталинград Василия Гроссмана»: смысл названия был тот, что, как в разрушенном Сталинграде началась наша победа над немцами, так и арестованный роман Гроссмана станет победой над его жестокими преследователями.

Книга вышла в свет в американском издательстве «Ардис», уже к этому времени познакомившем читателей с моими книгами стихов «Воля» (составитель И. Бродский) и «Кочевой огонь». Через несколько лет на перестроечной родине книга была названа «Жизнь и судьба Василия Гроссмана»: издательство не хотело, чтобы на переплете книги красовалось имя Сталина. Эту книгу во французском переводе издало «L'âge d'Homme».

Успех, как говорится, окрылил меня. Я подумал: вот ломаю восьмой десяток, а как ценно то, что я в разные годы услышал от Эдуарда Багрицкого, Николая Клюева, Георгия Шенгели, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Максимилиана Волошина, Николая Бухарина. Как необходимо (прежде всего – мне) рассказать о друге моей молодости Аркадии Штейнберге, оригинальном, сильном поэте, который умер, так и не дождавшись выхода в свет книги своих чудных стихов (переводные печатались). И тогда я стал со страстью писать воспоминания.

Последняя работа (лишь отчасти мемуарная) опубликована в «Знамени» к 100-летию со дня рождения Валентина Катаева, с которым познакомился еще в Одессе. Статья так и называется «Катаев и Одесса». В ней впервые рассказывается о мне известных (увы, наверно, теперь только мне) прототипах одесских персонажей в рассказах и повестях небезгрешного, но первоклассного русского писателя.

Сейчас, на 87-м году жизни, память моя сильно ослабела. А была она у меня недурной, никогда ничего не записывал. Вот и наказан судьбой. Хотелось побольше рассказать об Андрее Платонове (персонаже моих воспоминаний о Гроссмани). Я помню, что говорил Платонов, но забыл, как он говорил, а исказить его речь не позволяет совесть художника. В литературе, в искусстве необходимо, чтобы «что» слилось с «как», а «как» превратилось в «что».

Публикуется по изд.: Вопросы литературы. 1999. № 1.

ДУХ ГИТЛЕРА ОДОЛЕЛ ДУХ СТАЛИНА. РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДНЕ ПОБЕДЫ

День Победы я встретил в Москве. За несколько месяцев до окончания войны был демобилизован по ходатайству татарских властей: мне поручено было закончить перевод татарского эпоса «Идегей», начатый мною накануне войны.

Победа многонационального, многоязыкого Советского Союза над одноязыкой Германией была прежде всего победой русского народа, вдохновившего силой духа другие народы нашей страны. Не говоря уже о союзных республиках, особенно хорошо воевали, как я слышал от командиров, татары, башкиры, якуты, кавказские горцы, калмыки. Эта была победа армии, обесиленной сталинскими расстрелами военачальников, и все же мы сокрушили отлично организованную, мощную немецкую армию. Почему незадолго до величайшей войны мы не сумели победить маленькую армию Финляндии? Не потому ли, что нашей армией тогда командовали полководцы типа Ворошилова и Буденного, а финской – образованный русский генерал Маннергейм? Или потому, что для Гражданской войны весьма пригодилась классовая идея – «кто был никем, тот станет всем», «грабь награбленное», а для победы над внешним врагом необходима, как показала жизнь, идея национальная?

Поразмыслим: почему фашистская армия, захватившая большие и малые европейские страны, дойдя до Москвы, Москву не взяла? Почему наши враги, достигнув Волги, Северного Кавказа, театрально установив свой флаг на Эльбрусе, все же потерпели поражение?

Сталин первым из большевиков понял, что для войны с могущественным внешним врагом коммунистическая идея бессильна, нужна идея национальная, русская. Немцам-то хорошо, их в Германии подавляющее большинство, но как быть с многонациональной советской страной? Конечно, и другие наши народы отважно воевали, но как нам быть: сегодня они с русскими, а завтра...

Сталин уничтожил плоть Гитлера, но дух Гитлера одержал победу над духом Сталина. «Вождь народов» хитро решил, что советское надо представить как русское.

Если раньше большевики преследовали дворян, купцов, так называемых кулаков, потом партийцев – врагов народа, то во время войны стали выселять из разных мест в назидание другим, не по классовому принципу, балкарцев, калмыков, карачаевцев, крымских татар, чеченцев, ингушей. Многие парни были участниками войны, кто без руки, кто без обеих ног, орденосцы.

Рухнула идея пролетарского интернационализма, когда Сталин выслал в Среднюю Азию и в Казахстан всех волжских этнических немцев – рабочих, крестьян, коммунистов, комсомольцев, пионеров. В каждом высланном народе погибала в пути треть, а то и половина депортированных. Сталин лелеял такую же мечту для евреев – не успел, умер.

Преследованиям подверглись не только люди, но и древние, всегда насыщенные национальной идеей, эпические поэмы мусульман и буддистов, и первой жертвой был татарский «Идегей».

А как Сталин, коммунистическая партия обошлись с русскими победителями немецкого фашизма? Тех, которые оказались в плену, – на каторгу, а миллионы победителей были обречены на полуголод, на нищету. Как горько было знать, что побежденные живут лучше нас, победителей, не только в буржуазной Западной, но и в подсоветской Восточной Германии.

Распад Советского Союза и то, что сейчас происходит в Чечне, – это результат сталинского человеконенавистничества. Наш День Победы прекрасен и значителен потому, что это – День Победы многострадального, измученного народа над фашизмом. День Победы – это начало долгого и трудного освобождения народов России от фашистского и коммунистического зла.

Публикуется по изд.: Сто дней одного века. М.: АНО РИА «Общая газета», 2000. С. 182–183. (Материалы рубрики, которую «Общая газета» вела на протяжении двух лет.)

КОГДА Я ОТДЫХАЛ В МАЛЕЕВКЕ

Союз писателей возник в 1934 г., когда Малеевка уже существовала. Попал я туда впервые, если мне не изменяет память, в 1932 г. Точно не помню. В то время на месте нынешнего Дома творчества стоял деревянный домик, в котором жила вдова Вукола Лаврова.

Это была очень гостеприимная женщина. Конечно, я мало что запомнил, но на всю жизнь в памяти осталась та радость, с которой она встречала каждого. Истосковавшись по общению, она очень много рассказывала о тех, кто бывал в доме В. Лаврова в прежние годы. Вспоминалось ей также, что вроде бы даже свадьба А. Чехова была где-то недалеко от Малеевки, в одной из деревень. Кроме того, у нее была потрясающая библиотека, в которой сохранились журналы прежних лет – «Русская мысль»,

«Русское богатство», «Мир Божий». Время было такое, что книг у нас не было, а в обычной библиотеке выдавалось не все. Например, М. Горького выдавали, а И. Бунина нет.

Но чем мне особенно запомнилось то время, так это проводившимися в Малеевке творческими семинарами. В то время существовала такая организация – РАПП. Именно она и устраивала эти кружки, или семинары, на которых присутствовали, как они тогда назывались, «пишущие ударники».

Конечно, я не был таким ударником, но руководил одним из семинаров И.С. Рахилло, мой приятель. Это был представительный мужчина атлетического сложения и высокого роста. Он позвал меня, и было неудобно отказываться. И почему-то мне запомнился один из вопросов молодых писателей. В то время были широко известны очерки Бориса Лапина – писателя, женатого на дочери И. Эренбурга. Дальнейшая судьба его сложилась трагически, но в те годы это имя было известно всем. Теперь, правда, его мало кто знает. И когда задали вопрос, что И. Рахилло думает об очерках Лапина, то получили ответ:

– Вы знаете, он такого небольшого роста.

Неподалеку от Малеевки на месте теперешнего Дома творчества ВТО был Дом учителей, подавляющее большинство отдыхающих которого составляли женщины. Помню, многие писатели частенько туда хаживали.

Конечно, время было суровое, голодное. Я был студентом. Но в Малеевке кормили немножко лучше, чем в студенческой столовой. Зато условия жизни были; как нам тогда казалось, царские.

Постоянно я стал посещать Малеевку с 1934 г. Мне как молодому автору частенько давали бесплатные путевки. Правда, я уже забыл, с кем я тогда общался там. Помню только С. Михалкова. Он тогда только начинал свою писательскую карьеру, как мы все, был молод и беден и сам стирал свое белье, которое, как и у нас, знавало лучшие времена. Запомнился его искрометный юмор и шутки, которыми он непрестанно сыпал, всячески обыгрывая свое заикание.

Шестидесятые годы я помню лучше. В то время там отдыхали не только писатели. Бывали и другие известные люди. Например, Б.Е. Вотчал, капли которого лечат людей до сих пор, знаменитые физики Е. Файнберг, И. Шкловский. Моя компания состояла в основном не из ровесников. В нее входили С. Рассадин, Л. Лазарев, Б. Сарнов. (Году в 1960 с чем-то мы вместе с Рассадиным ездили в Голландию, тогда и подружился.) Именно им я и читал свои вещи. Печатать тогда их было нельзя, их напечатали только в 1980-е годы.

Там же, в Малеевке, я познакомился с Инной Львовной Лиснянской, ставшей моей женой. Это было в 1967 г. Мы очень много гуляли, беседовали на малеевских дорожках, а время было зимнее, и мое признание в любви выражалось в том, что я постоянно выводил палкой на снегу ее имя.

Когда я отдыхал в Малеевке в 1970-е годы, круг общения уже сложился и был, за некоторым исключением, тем же. По вечерам показывали кино, играли на бильярде и стучали костями домино.

Вспоминается курьезный случай. Я сам из Одессы, и в годы юности у меня был товарищ, который писал стихи по-украински. В один из приездов в Малеевку я с радостью обнаружил его имя среди отдыхающих. Но оказалось, что вместо него приехала его жена, на наших глазах разворачивался ее роман с известным тогда писателем. И мне было так больно за друга.

Потом Дом творчества перестроили, достроили многоэтажные дома, а гораздо позже номера стали двухкомнатными. Я жил в старом, в главном, корпусе, там же отдыхали писатели из союзных республик – М. Карим, Турсун-Заде и другие. Но в новых домах было даже лучше. Сложность проживания в многоэтажке – что надо было выходить на улицу, чтобы попасть в столовую. Но пройти по малеевским дорожкам – одно удовольствие. А порядки тогда были такие – не мешать работе! Но мало кто обращал на это внимание. Время творчества у каждого писателя различно, и многие из проживающих на первом этаже страдали, когда мимо них шумно шли в столовую и возвращались обратно. Особенно нервные из писателей выбегали, сердились на шумных соседей.

Кто был библиотекарем в то время, я не помню, а ведь я знал тогдашний фонд как свои пять пальцев. В основном в Малеевке я работал, писал, переводил, там удивительно хорошо работалось. В Малеевке я перевел многие главы из индийского эпоса «Махабхарата», впоследствии напечатанные в серии «Всемирная литература». Писал стихи. Мы с Инной Львовной отдыхали там только зимой, и в моих зимних стихах – как правило, малеевские пейзажи. Там же в 1961–1963 гг. я написал поэму о войне «Техник-интендант» – о том, как наша часть оказалась на территории, захваченной немцами. И вспоминается, что читывал я ее своим друзьям в Малеевке – Шкловскому, Сарнову, Рассадину и Лазареву. Им понравилось.

Живал там Борис Слуцкий, и именно в Малеевке умирала его жена. Мы дружили семьями. Вчетвером гуляли, когда ей становилось лучше. Очень красивая была женщина, умирала она от рака крови.

Помнится, встречался я там и со Щипачевым. Он как-то позвал меня к себе, читал стихи... Я похвалил. Мой грех.

Там же частенько отдыхал и мой сосед по московской квартире – Галич. Это был широко образованный человек, знал два языка – немецкий и французский, свободно говорил на них и читал. Вспоминается, что он всегда переживал тот факт, что у него нет официального признания. Помню, как-то раз именно в Малеевке, а не в Москве (наши квартиры соединялись по кухне), он подходит ко мне и с восхищением протягивает сборник стихов поэтессы С., жившей в ту зиму в Малеевке, – мол, посмотрите, как хорошо пишет! Возвращая ему книгу, я сказал:

– Как Вам не стыдно! Это же полная ерунда!

Для чего я это рассказываю? Да потому, что сам Галич всегда говорил:

– Почти каждый, кто издает книжку стихов, вызывает во мне восторженную зависть. У меня же ничего не издается, только пою свои песни по квартирам и вот так странно завидую каждому, у кого издаются книги.

Кроме того, Галич был замечателен тем, что, когда он входил в магазин, – а при деньгах он любил ходить по магазинам, – мгновенно угадывал, что здесь хорошего и что нужно купить. Он всегда одевался с большим вкусом. Бывали и курьезные истории. Как-то, находясь на своей кухне, я услышал за стеной «народную» ругань, произносимую милым женским голосом. Встретив жену Галича на улице, я намекнул, что слышал что-то у них на кухне. Помню, она спросила:

– Плохое?

– Ну как сказать. Антисоветское.

– Только-то, и слава Богу.

Галич все свои знаменитые песни неоднократно пел в нашем доме. Вспоминается еще один фрагмент из прошлого. Помню, как-то мы сидели у него в квартире – я, писатель Войнович и Галич, других не запомнил – и ждали В. Некрасова, который должен был прибыть самолетом из Киева к 7 вечера. И представьте себе, идет час за часом, а Некрасова нет как нет. Позвонили в аэропорт – прилетел ли самолет. Отвечают, что уже два часа тому назад прилетел. Вот тогда-то Войнович, кажется, на чужой машине, поехал туда. Оказалось, что Некрасова задержали. Не помню, за что. Его долго допрашивали и наконец отпустили. Так что Войнович привез его только к полуночи.

Именно в доме Галича я познакомился с академиком А. Сахаровым. И когда вышла книга к 60-летию А. Сахарова (он тогда был в ссылке), там были мои стихи и стихи Инны Львовны.

Я прошел войну, знал голод и холод, но самое тяжелое в моей жизни – это наше участие в альманахе «Метрополь».

Это было хорошее дело. У нас была редколлегия, составители альманаха – В. Аксенов, А. Битов, Ф. Искандер и молодые писатели В. Ерофеев и Е. Попов. Молодые делали всю, так сказать, механику.

А ведь я был знаком с отцом и матерью В. Аксенова. Евгения Гинзбург отдыхала в Малеевке. Отец Василия когда-то был, как теперь говорят, мэром Казани, его посадили в тюрьму, затем и его жену. Она была умной женщиной, любившей жизнь. Но, что характерно, хоть и написала «Крутой маршрут», никогда не рассказывала о том мрачном времени. Вспоминала только хорошее – как отдыхала с семьей в Крыму, какие тогда пелись песни. Хорошо знала и любила поэзию. Ей очень понравились стихи Инны Львовны, особенно стихотворение «Судил меня Бог и шадил меня Бог». Это мне запомнилось потому, что Евгения Семеновна назвала их католическими и сказала, что сама – католичка.

И вот когда из-за альманаха разразился скандал, мы с Аксеновым вышли из Союза писателей. Мы договаривались во времена альманаха, что если кого-нибудь из составителей исключат, то все остальные составители выйдут из Союза писателей. А если и другие участники так поступят, то будет хорошо. Мы с Лиснянской и были участниками.

В. Аксенов уехал в Америку, а нас с Инной Львовной немало помучили, и дом переворачивали вверх дном, и вызывали, заявляли, что мы срываем договор ОСВ-2. Не правда ли, забавно?

В 1988 г. мы с Инной Львовной впервые после восьмилетнего перерыва поехали в Малеевку. Условия стали лучше, двухкомнатные номера с ванной и уборной. Но почему-то прежних друзей там не было.

6 мая 2000 г. Переделкино.

Записали Н.В. Бабочкина, И.С. Борисов.

Публикуется по изд.: Милая сердцу Малеевка: Сб. /

Сост. Н.В. Бабочкина, И.С. Борисов. М., 2001.

ОДНАЖДЫ В «ЗНАМЕНИ»...

«Знамя» (прежнее название «Локаф» – Литературное объединение Красной армии и флота) – было всегда журналом престижным. В нем печатались популярные произведения Эренбурга, Леонова, Ильфа и Петрова, Фадеева, Гроссмана, Твардовского.

Из иностранных писателей – Хемингуэя. Редакция помещалась то в Леонтьевском переулке, то на Тверском бульваре, в двухэтажном здании, примыкавшем к Дому Герцена.

Мои вещи в журнале печатались редко, главным образом переводы.

Хочу рассказать не о себе, а о Гроссмане. Почему Гроссман решил отдать свой последний и впоследствии самый знаменитый роман – «Жизнь и судьба» – именно в «Знамя»? Прежде всего, конечно, причина – воспаленная обида на Твардовского, который вынужден был каяться в том, что поместил в «Новом мире» роман Гроссмана «За правое дело», подвергшийся жестокой, озлобленной партийной критике.

Бессмысленно предполагать, что «Новый мир» напечатал бы «Жизнь и судьбу», но могу поручиться, что роман не был бы арестован, если бы рукопись была сдана автором в «Новый мир». Гроссман, понятно, не хотел иметь дело с отрекшимся от него редактором. Это была не только обида автора, но и бывшего близкого друга.

Другая причина заключалась в том, что Гроссманом овладела странная мысль, будто бы наши писатели-редакторы, считавшиеся прогрессивными, трусливей казенных ретроградов. У последних, мол, есть и сила, и размах, и смелость бандитов.

Именно тогда, когда нервы Гроссмана были так напряжены, редактор «Знамени» В.М. Кожевников предложил ему отдать роман в «Знамя». Гроссман сидел без копейки, и Кожевников, имея, возможно, об этом сведения, обещал ему солидный аванс – под произведение, которое не читал. Гроссман согласился не сразу, пробовал испытать Кожевникова, предложил ему рассказ «Тиргартен», в свое время отвергнутый либеральным альманахом «Литературная Москва», редактируемым Э.Г. Казакевичем. «Знамя» пожелало рассказ напечатать. Кожевников довел его до верстки, но цензура запретила рассказ. Кожевников тут ни при чем, он не хитрил, он и впрямь хотел рассказ напечатать, сумел в этом убедить Гроссмана. И Гроссман окончательно решил связать судьбу романа со «Знаменем». 30 июля 1960 г. Гроссман мне писал: «“Знамя” наседает, торопит, просит уточнить дату сдачи рукописи».

Вскоре Гроссман окончательно завершил работу над романом. Перед тем как отдать рукопись в редакцию, Гроссман попросил меня прочесть весь роман снова и ответить ему на два вопроса. 1. Считаю ли я, что после неизбежных купюр, вставок, тяжелых и легких ранений есть все же реальная возможность того, что роман будет опубликован? 2. Какие места, по-моему, следует снять заранее, – такие, что даже показывать нельзя?

И вот я прочел «Жизнь и судьбу» в третий раз и, как нередко бывает, нашел много прекрасного, раньше мною не замеченного, со всей силой почувствовал свое приобщение к художественному познанию человека в мире и мира в человеке. Окончив чтение, я отвез две тяжелые папки на Беговую. На первый вопрос я ответил Гроссману так: нет никакой возможности, что роман опубликуют. Я умолял Гроссмана не отдавать роман Кожевникову, облик которого был литераторам достаточно известен. На лице Гроссмана появилось злое выражение: «Что же, – спросил он, – ты считаешь, что, когда они прочтут, меня посадят?» – «Есть такая опасность», – сказал я. – «И нет никакой возможности напечатать, даже оскотив книгу?» – «Нет никакой возможности. Не то что Кожевников, – Твардовский не напечатает. Но ему показать можно. Он не только талант, но и порядочный человек».

Гроссман взглянул на меня с гневом, губы его дрожали: «Я не буду таким трусом, как ты, я не намерен четверть столетия прятать свои рукописи в стол. А ты, пока Платонов прал против рожна, пока меня били и топтали, спокойно переводил своих восточных клиентов, предаваясь холе и неге».

Я подумал, что Гроссман ко мне несправедлив. Я делал при Сталине попытки печататься, Гроссман мне сам говорил, что попытки эти напрасны. В конце разговора я сказал:

– Вася, у тебя дико расставлены знаки препинания. Я попытался выправить, надо перенести правку в другие экземпляры.

Гроссман обозлился, вспылил: «Ты, кроме знаков препинания, ничего в романе не заметил».

Встретившись с моим изумленным взглядом, он быстро обнял меня, слезы стояли в его глазах.

Роман был сдан в «Знамя». Шли за неделей неделя, за месяцем месяц, от «Знамени» – ни звука. Вконец измученный, Гроссман надумал вот что. В это время сильно пошел в литературно-бюрократическую гору Николай Чуковский. Он стал членом редколлегии «Знамени». Гроссман и я с ним дружили, потом разошлись. Я продолжал с ним встречаться только на переводческих заседаниях. Гроссман поручил мне порасспросить нашего бывшего приятеля. Коля охотно откликнулся на мой вопрос:

– Я не читал роман Василия Семеновича. Насколько я знаю, не читали и другие беспартийные члены редколлегии. В редакции говорят, что роман прячут от всех Кожевников, Кривицкий и Скорино. На прошлой неделе мы поехали на читательскую конференцию в Ленинград. Я был в одном купе с Кожевниковым, спросил его о романе Гроссмана. Он буркнул: «Подвел нас Гроссман» и перевел разговор на другую тему.

Наконец Гроссмана вызвали на заседание редколлегии. Он не пошел. Ему прислали стенограмму. Все выступавшие, среди которых малюты скуратовы чередовались с тартюфами, единодушно отвергли роман как произведение антисоветское, очернительное. Николай Чуковский в заседании не участвовал.

В феврале 1961 г. роман был арестован. После ареста, в тот же день, Гроссман меня позвал к себе и подробно рассказал, как происходил арест. Не буду на этом останавливаться, так как об аресте написал в книге «Жизнь и судьба Василия Гроссмана», впервые опубликованной в Америке. Хочу только сообщить вот что. За несколько месяцев до ареста романа Гроссман помирился с Твардовским. Александр Трифонович сказал: «Дай мне роман почитать, просто почитать». И Гроссман отвез ему роман в редакцию «Нового мира», видимо, с некой тайной надеждой. После ареста романа (изъяли экземпляр и в «Новом мире») к Гроссману чуть ли не в полночь приехал Твардовский. Он сказал, что роман гениальный. Потом, выпив, плакал: «Нельзя у нас правду писать, нет свободы». Говорил: «Напрасно ты отдал бездарному Кожевникову. Ему до рубля девяти с половиной гривен не хватает. Я бы тоже не напечатал, разве что батальные сцены. Но не сделал бы такой подлости, ты меня знаешь». По словам Твардовского, рукопись романа была передана «куда надо» Кожевниковым. Через три года после ареста романа Гроссман скончался в 1-й Градской больнице.

По решению руководства Московского отделения Союза писателей была создана комиссия по литературному наследию Гроссмана в таком составе: Березко (председатель), Твардовский, Письменный, Галин, Козлова (ЦГАЛИ), Ольга Михайловна и я. Председательское место сначала предложили Твардовскому, мы этого желали, но Твардовский от председательства отказался, сославшись на свою занятость в качестве редактора «Нового мира». Мне поручили сообщать Твардовскому о заседаниях нашей комиссии. Однажды, после моего очередного сообщения, Твардовский сказал: «Гроссман был человеком честным, порядочным, но писателем средним». Эти слова меня поразили. Раньше Твардовский так не думал и не говорил. Возможно, в его понимании великого таланта Гроссман был вытеснен Солженицыным.

«Жизнь и судьба», слава Богу, был напечатан не только за границей, но и в России, в которой многое изменилось. Я знаком сейчас с тремя журналами. Если «Новый мир» фундаментален, «Дружба народов» ярка, то «Знамя» жизнелюбиво и, несмотря на свои 70 лет, молодо и свежо.

Публикуется по изд.: Знамя. 2001. № 1.

<О КАВЕРИНЕ. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ>

С Кавериным я познакомился вскоре после войны, мы были некоторое время соседями на Беговой улице, в двухэтажных домах, только что отстроенных пленными немцами. В 1948 г. рядом с нами поселились Заболоцкий и Гроссман, наши отношения окрепли.

Но по-настоящему и тесно я подружился с Кавериным, когда мы с Инной Лиснянской вышли из Союза писателей и по совету Каверина недорого сняли две комнаты на даче у вдовы литературоведа Степанова, его близкого друга. Дача была напротив каверинской, и мы с Вениамином Александровичем, очень любящим длинные прогулки, почти ежедневно подолгу гуляли. Дорогой беседовали на политические, но чаще на литературные темы.

Меня удивляла одна его черта: знаменитый писатель, он сомневался в себе. Давал читать свои вещи и с волнением выслушивал мнение, советы. Часто соглашался с замечаниями. Принимал их не только к сведению, но и делал изменения в рукописи. А ведь был так широко известен, его роман «Два капитана» и другие вещи запоем читали люди всех возрастов. Когда он, молодым, начал печататься, всевластный в ту пору РАПП обвинял его в формализме, в те времена серьезная опасность. Сюжеты его романов сложные, порой почти детективные, таковы его популярные романы об ученых – «Исполнение желаний», «Открытая книга». Поэтому удивляло то, с каким радостным удивлением выслушивал Каверин похвалы от своих более молодых коллег, выслушивал как начинающий.

Много доброго делал Каверин для писателей, которых ценил. Он занимался наследием Тынянова, в тяжелые для Зощенко годы в связи с известным ждановским постановлением всячески, насколько я знаю, помогал Зощенко материально. Из своих современников высоко ценил Василия Гроссмана, Анатолия Рыбакова. Когда после часу дня мы с ним гуляли по Переделкину, часто доходили до дачи Рыбакова, видели его в окне, и Каверин с любовью говорил: «Работает лысый!» Очень высоко ставил Солженицына и сокрушался, что его выслали: как не хватает великого писателя именно здесь и сейчас. Из более тогда молодых Каверин в разговорах особенно отмечал прозу Войновича и Георгия Владимова. И когда Владимов перед вынужденной эмиграцией попросил меня познакомить его с Кавериним, Вениамин Александрович чрезвычайно тепло и широко принял нас с Владимовым. А ведь мы были людьми «опасными» – слежка шла по пятам.

Из поэтов высоко ценил Пастернака, Ахматову, Мандельштама, из следующего поколения – Заболоцкого и Арсения Тарковского, а еще из более следующего Лиснянскую и Ахмадулину.

И если вернуться к тому, как мы с Инной и Кавериным гуляли по Переделкину, то невозможно не вспомнить, как мы молчком продвигались, когда навстречу шел Катаев. Каверин и Катаев не только не разговаривали друг с другом, даже не раскланивались. Естественно, мы с Инной Львовной испытывали некоторое замешательство, ибо с Катаевым и здоровались и частенько общались, чего, естественно, не скрывали от Каверина. Однажды, после очередного замешательства, я, чтобы скрыть неловкость, напомнил одну историю, связанную с сыном Каверина Колей, ныне профессором, и мы развеселились. А история такова: Коля, еще ученик младших классов, прибежал из школы домой с вопросом: «Папа, кто такие евреи?» – «Нация. Вот мы, например, евреи». «Мы евреи?» – с огромным удивлением переспросил мальчик.

Когда Пастернака исключали из Союза писателей, Каверин один из немногих не пошел на собрание. Таких соответствующие органы сразу брали на заметку. А когда запретили печатание повести Солженицына «Раковый корпус», Каверин на собрании дал бой запретителям. По этому поводу он выступил с «открытым письмом» к Федину, с письмом, прогремевшим на весь мир. А за два года до своего открытого письма, в 1966 г., Каверин поддержал письмо Солженицына, направленное против цензуры и адресованное Четвертому съезду писателей. Каверину исполнилось 100 лет со дня рождения, писателю суждена более долгая жизнь.

<2002>

Публикуется впервые по рукописи из семейного архива.

Публикация И.Л. Лиснянской.

Я СЧАСТЬЕ ОТРАБОТАЛ НЕ ТОЛЬКО СТИХАМИ Последнее выступление Семена Липкина

Я хочу вам прочесть страничку, которую я назвал «Ответственность текста».

В эти дни в основе нашего внимания творчество молодых русских поэтов, прозаиков и критиков, чей возраст от 20 до 45 лет. Может быть, вас удивляет, что я говорю о поэтах – поэтов приехало мало. Но прозаик – он тот же поэт. Разве «Мертвые души» не поэтическое произведение?

Особенно радует молодость критиков. Есть надежда, что они свежее поймут творчество своих сверстников. Мы имеем дело с одной из самых молодых литератур Европы. Итальянец Петрарка возник в XIII в., француз Рабле в XV в., Шекспир в XV, Сервантес в XVI. В XVII в. появился первый российский поэт Симеон Полоцкий, использовавший польско-украинский силлабический стих, но почти в том же веке в семье северного некрепостного крестьянина родился великий создатель российской поэзии Михаил Васильевич Ломоносов. Он окончил Славяно-греко-латинскую академию и создал тот стих, которым мы пишем в наши дни. Без этого великана не мог бы возникнуть другой великий – Державин. Вспомним его чудо – стихи на смерть полководца Суворова. Кто из нас не позавидует гениальной музыке этой строки «Флейте подобно милый снегирь». Стихи Державина были началом великой поэзии и прозы Пушкина, Баратынского, Гоголя, Лермонтова, Тютчева, Достоевского, Чехова, Солженицына. Они явили нам ответственность текста, т. е. чтобы в литературном произведении была мысль, музыка, живопись, страсть и ничего лишнего. Ответственность текста и есть талант. Не забудем старую истину: талант – большая редкость. Если в эти нужные дни среди молодых пишущих мы обретем пять талантов – всего пять талантов – это будет большой успех, большая радость России. Откровенно говоря, особенно радостно будет мне, в мой 91-й год жизни. То, что я нахожусь среди вас – подарок жизни. И я хочу прочесть вам три стихотворения, если вы не против. Но если вы меня пригласили, не думаю, что кто-то будет против.

<С.Л. читает стихотворения «Имена», «На Тянь-Шане»>

Я последнее стихотворение прочту, чтобы дать вам возможность работать.

< С.Л. читает стихотворение «Молдавский язык»>

Спасибо за то, что вы меня слушали.

Я вам желаю, прежде всего, хорошо писать. Если бы вы знали, как это трудно, вы, молодые. Это необходимо. В России великая проза, и мы должны служить России. Спасибо вам.

Вопрос. Скажите, пожалуйста, Вы всю жизнь прожили в литературе, и когда Вы вспоминаете вашу долгую жизнь в литературе, какой момент был самым главным, самым трудным, самым ответственным?

Ответ. Я писал не то, что было нужно советской власти, поэтому самым трудным и ответственным моментом моей жизни была вся моя жизнь. Я первую свою книгу стихов издал, когда мне было уже 56 лет. До этого я не мог издавать. Единственный редактор, который меня издавал, был Твардовский в «Новом

мире». Но стоило ему напечатать одно мое совершенно не страшное, как говорится, стихотворение, как в «Известиях» были нападки на это стихотворение. Твардовский вызвал меня и сказал: «Отвечать не будем, печатать будем». Но когда я принес, отказал. Правда, вскоре опять пошло. Ну, а то, что я написал, полностью печаталось уже после того, как исчезла советская власть, в журналах. Все, кроме прозы, напечатано в книге «Семь десятилетий» в издательстве «Возвращение» – все это на самом деле писалось в течение 70 лет. Вот все, что я могу вам сказать.

Вопрос. Как известно, Ваша книга вышла с предисловием Иосифа Бродского¹, где он в чрезвычайно превосходных выражениях говорит о вашей поэзии. Что Вы можете сказать о стихах Бродского и его месте в русской поэзии?

Ответ. Я вас немного рассмешу. У меня есть детская привычка. Я считаю, кто в XX в. есть великие поэты, называю по алфавиту: Анненский, Ахматова, Белый, Блок, Бунин, Мандельштам, Пастернак, Ходасевич, Цветаева. Потом идет другая группа, которую я называю просто прекрасной – здесь Бродский на первом месте – по алфавиту. Бродский очень большой поэт, оригинальный, новый, смелый. Мы с ним не были знакомы, я его никогда не видел. Однажды я пришел навестить в больницу моего друга Анну Андреевну Ахматову. Оказалось, что она в палате, где восемь или двенадцать человек, и мне велели подождать. У нее кто-то сидел. Это был мальчик, рыжий. И я думаю, не был ли это Бродский. Потому что и мальчик, и рыжий. Насколько это верно, не знаю.

Вопрос. Трудно ли Вам было работать над эпосами различных народов, углубляться в историю этих народов?

Ответ. Я изучил персидский язык. Или таджикский – это один язык. Потому что мне поручили переводить Фирдоуси, и я решил изучить этот язык. Сейчас, когда мне пошел 91 год, я много слов забыл. Гуляя в доме творчества, я встретил молодых. Один из них меня узнал, заговорил по-таджикски. Я ему ответил. Теперь мне было бы уже трудно. Другие вещи в таджикском языке я переводил уже по подстрочнику. Подстрочник был научный. Очень много я перевел Махабхараты – индийского эпоса. Я приехал в Индию и был хорошо встречен – считалось, что я хорошо перевожу. Но я изучал грамматику. Мне трудно было изучать целый язык, но много слов я знал. Ведь первая моя работа была переводом калмыцкого эпоса, который был потом переведен на многие языки. Я тогда много слов изучил. Теперь забыл. Честно скажу, забыл.

Вопрос. Поддерживаете ли связь с Калмыкией?

Ответ. С Калмыкией я поддерживаю связь и они поддерживают связь. Мне присудили звание героя Калмыкии. Руководство приходило ко мне, мой ученик Кугульгинов стал теперь

первым поэтом Калмыкии. Вообще для меня Калмыкия – это молодость, моя первая работа, которая вызвала большой интерес в России. Когда праздновали юбилей 500-летний [эпоса «Джангар»; отмечали в 1940 г. – *Примеч. ред.*], приехали крупнейшие писатели – те, кто тогда считались крупнейшими писателями. Конечно, Фадеев как главный в Союзе писателей и другие. Это моя молодость и даже мое счастье. Я добавлю, что я это счастье отработал не только стихами. Когда началась война, я служил моряком на Балтике, но потом создали дивизию и меня вызвали. Я вступил в калмыцкую дивизию. Это было трудное время. Нас разбили. Мы попали в окружение. Об этом рассказывать тяжело, но мы вышли. Воюя, хитря, вышли. <...>

Выступление в октябре 2002 г. на открытии семинара молодых писателей «Ответственность текста» в Звенигороде. Публикуется по изд.: Полит.ру. Вып. от 2.4.2003, <http://www.polit.ru/country/2003/04/02/613674.html>.

¹ Книга С.И. Липкина «Воля» была подготовлена к печати И.А. Бродским, но предисловия не имела. На последней странице обложки были приведены фрагмент о С.И. Липкине из «Записок об Анне Ахматовой» Л. Чуковской, отзыв В. Аксенова и издательская аннотация.

Я ТАНЦЕВАЛ ЛЕЗГИНКУ «Ответ на вопрос редакции «Полит.ру» о дне смерти Сталина»

Мы жили с Василием Гроссманом у меня на даче в Ильинке. У Гроссмана дела тогда были плохи (его роман «За правое дело» был подвергнут разгромной критике). У нас в доме была женщина, которая топила печку. Вдруг она сказала, что слышала о болезни Сталина. Мы не поверили этому счастью, пошли на станцию, чтобы посмотреть, написано ли в газете, что он заболел. Когда убедились в этом, купили бутылку вина и тут же распили ее. Мы чувствовали себя абсолютно счастливыми. Значит, уже сдох! В тот день я первый и последний раз в жизни танцевал лезгинку. Вообще-то я не танцую.

28 февраля 2003 г.

Публикуется по изд.: Полит.ру. Вып. от 28.02.2003,
<http://www.polit.ru/country/2003/02/28/607258.html>

ЗАМЕТКИ ИЗ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ

Март 2001

Вечер. Подмосковное, необычайно звездное первобытное небо грозно освещает березы и сосны и, наверно, широкую ель у входа в дом. Утром, проснувшись, открыл занавеску окна. Падал мелкий, но настойчивый снег. Так длилось до полудня. Снег затих, стал белым покрывалом дачной земли. Деревья задумались. О чем? Может быть, о том, что они ближе к небу, чем этот многочасовой, с неба упавший снег.

В 1928 г., когда родилась Инна, я, 17-летний, закончил художественную профшколу. Решил, что через год, как мне советовал Багрицкий, поеду учиться в Москву. Чем я был занят весь этот год? Каждый день писал стихи, по субботам посещал литературный кружок «Станок» при газете «Одесские известия», был принят в «Южнорусское общество писателей», чем гордился.

С утра подметал мастерскую, часто приходилось стоять в длинной очереди в Финотдел, платил налоги, иногда относил сшитую отцом одежду заказчикам, читал сказки семилетней Klаре и пятилетнему Мише. Вторая половина дня целиком принадлежала мне. Это время я проводил в нашей замечательной публичной библиотеке на Херсонской улице. Читал много, больше всего любил книги по истории – Ключевского, Соловьева, по философии – Канта, Шпенглера и, конечно, стихи, начиная с Ломоносова и Державина и кончая русским XX веком. Выдавала книги пожилая женщина (потом узнал, что ей еще не было пятидесяти) восточного типа. Еврейка? Армянка? Ко мне относилась хорошо, видимо одобряя мою страсть к книге. Однажды я попросил у нее бунинского «Господина из Сан-Франциско». Она на меня странно посмотрела:

- Вы знаете, что Бунин в эмиграции?
- Поэтому его книги не выдаются?
- Не всем. Хорошо, я вам выдам.

Случилось так, что, когда я вернул прочитанную книгу, одна из библиотекарейш позвала ее:

- Цакни, тебя к телефону.

На другой день я ей сказал:

- У вас необычная фамилия.
- Я гречанка. Разве вы не знаете, что я была женой Бунина?

Я обомлел. Мне, конечно, хотелось спросить о писателе, обожаемом мною, но я стеснялся, моя ошибка. Она всегда встречала меня с улыбкой, выдавала ценные книги. Она держалась просто, думаю, что охотно ответила бы на мои вопросы, но я был

глуп, ограничивался только обыкновенными словами, связанными с выдачей книг.

Апрель 2001

Одесса была многонациональна. Русские (многие с украинскими фамилиями), евреи, армяне, греки (многие, такие как Цакни, со смешанной кровью), поляки, малочисленные французы, караимы, турки. Отдельной жизнью от русских жили, может быть, наиболее русские – старообрядцы, все, как правило, зажиточные. У каждой нации были свои храмы, разумеется, наиболее большие – у православных, у которых была главная церковь – собор, сразу же разрушенный большевиками, когда они взяли город. Даже у немногочисленных французов был свой храм – Святого Петра в конце Гаванной, за этим храмом начинался спуск в порт. Гаванная была улицей богатой, перпендикулярной Дерибасовской, наискосок от французского храма, напротив него была на втором этаже портновская мастерская Корчина, отца поэта Семена Кирсанова.

В раннем детстве я любил посещать этот храм, знал их праздничные дни, входил с благоговением, которое я не мог бы объяснить. Верующие ко мне относились спокойно, даже хорошо, только из караимской кинессы, казалось бы, наиболее близкой евреям, меня сердито прогоняли.

Больше всех мне нравилась греческая церковь на Екатерининской, если не ошибаюсь, между Троицкой и Успенской, на стенах были нарисованы розовые цветы. Когда, приехав в Одессу, я привел в греческую церковь Инну, она вспомнила, что такие же розовые цветы были нарисованы на стенах в ее родном доме в Баку.

В середине 80-х годов я прочел древнюю книгу о Гильгамеше. Написал ее известный ученый И.М. Дьяконов, между прочим, брат моего приятеля М.М. Дьяконова, профессора-ираниста. Книга строго научная, разделенная на таблицы, текст сливается с примечаниями, порой обширными, всегда очень нужными. Большое событие в области востоковедения.

Переведена книга Дьяконова с аккадского, одного из древних семитских языков. Среди множества богов – трое главных: Шамаш – бог Солнца, Эллиль – бог воздуха и населенной Земли, мудрый воитель, и Ану – прародитель богов.

Меня заинтересовал Эллиль – герой между богами, умнейший и наиболее жестокий из богов. Это он задумал потоп. Его имя близко к иудейскому Элохим, Элох, к арабскому Аллах (тоже два «л»). Описание потопы очень близко к описанию

в Ветхом Завете. Да и имя бога Солнца Шамаш переключается с ивритским словом шамш – Солнце.

В аккадском эпосе нет имени Ноя, которому Бог сказал: «Собери говорящих, парящих и рычащих, мычащих...» Ной погрузил в ковчег скот домашний и дикий, мастеров именитых. Как и в библейском сказании, семь ночей и семь дней бушевал ветер, описание потопа полностью сходно с библейским.

Глава ковчега выпускает ворона. Тот быстро вернулся, испугавшись потопа. Был выпущен и голубь, но и тот в испуге вернулся в ковчег. Во рту у него был свежий масличный лист. Через семь дней голубь был выпущен снова, но не вернулся. Как в Библии, потоп окончился на восьмой день.

Меня поразило не только сходство описания потопа в аккадском эпосе с Библией, но и то, что потоп задумал Эллиль, чье имя так похоже на иудейское Элохим. Кстати, суффикс «им» означает множественное число, следовательно, у евреев было многобожие. Вспомним, что отец Авраама был изготовителем идолов.

Книга замечательного ученого меня потрясла. Некоторые строки были представлены латинскими буквами, и мне показалось, что я сумел бы найти метр и ритм подлинника на русском языке.

Чтение аккадского эпоса проходило в наше с Инной тяжелое время: мы вышли из Союза писателей – страшный грех для советского человека. Разумеется, нас перестали печатать. Мои переводы восточной классики были запрещены, некоторые вещи быстро, без любви и знания, переводились заново. Но «Гильгамеш» так очаровал, околдовал меня, что я без надежды на публикацию решил изложить русскими стихами аккадский эпос.

Работал страстно, с наслаждением, переложил около четырех песен из 12 таблиц (как назвал их И.М. Дьяконов), когда Инна отвезла меня в больницу к профессору Б.Б. Александрову: мне предстояла тяжелая и, по мнению Александрова, малонадежная онкологическая операция. Соседям по палате, в которой меня готовили к операции, я сказал, что служу в издательстве. Этим я объяснял посещение Ахмадулиной, вызвавшей шум и восторг в больнице. Еще больший шум вызвал посетивший меня некогда мой студент Расул Гамзатов.

Меня спасли не только врачи, но и Инна, не отходившая от меня днем и ночью (с разрешения Александрова). После двух операций я провел некоторое время дома, перед тем как лечь на третью операцию к профессору Кану в другую больницу. Одним ранним утром к нам внезапно пришел С. Михалков с предложением написать заявление о восстановлении меня в Союзе писате-

лей. У меня, изрезанного, не было сил написать или напечатать заявление, за наш письменный стол сел Михалков и под мою диктовку отстукал все нужное на машинке. Текст одобрил. На другой день, опять рано утром (он ночевал в одной из квартир в нашем доме), Михалков пришел снова и предложил заявление перепечатать. Я сказал: «Ты же вчера его одобрил». Он ответил: «Это было вчера». Оказалось, что я должен указать мои заслуги военные и гражданские, назвать ордена и медали, отметить таджикское лауреатское звание, титул Народного поэта Калмыкии. Не помню, был ли я уже снова членом Союза писателей, когда меня положили в третий раз в больницу, все кончилось благополучно. Наступил 1987 год. <...>

Выздоровев, я начал печатать свои стихи и прозу, вышедшие раньше в Америке, в Германии, целиком погрузился в новые стихи. Работа над переводом «Гильгамеша» прервалась на много лет.

В 1998 г. меня, старика, вновь охватила очарованность аккадским эпосом, охватила с новой силой, и я закончил перевод всех 12 песен (так я назвал таблицы) «Гильгамеша», предложив свою строфику и размер, как мне кажется, по духу близкие к подлиннику. И вот книга вышла в Петербурге с весьма для меня лестным послесловием великого ученого Вяч. Вс. Иванова, в издательстве «Пушкинский Фонд».

Октябрь 2002

МНЕНИЕ

Стихотворения Инны Лиснянской

Второе стихотворение «Сосед» посвящено поэту Олегу Чухонцеву. Черты пейзажа служат портрету соседа. Дачка затворника. Первая зелень срослась в сияющий купол. Задником (так неожиданно!) становится беглая вязь облачной кириллицы. Эпитет вязи, и особенно кириллицы, точны при всей своей неожиданности. В этой картине внезапно возникает жаба. Хозяин обходит ее граблями, как рыбу в реке веслом. При этом он толкует с закадычными друзьями – скворцами и синицами, он напоминает им даже, о чем забывает апрель, но помнит художник – о слоге внутри словаря, о том, что гордое дерево в действительности полно тайной робости, и даже то, что весьма некрасивая жаба прекрасна, потому что несет на своем горбе жабенка. Хозяин не потому

поэт, что пишет стихи, а потому, что видит красоту даже в жабе. Стихотворение редкой, огромной силы, в нем живут мысль, музыка и живопись.

Если вернуться к первому стихотворению «Мгновенное», то оно мне не кажется удачным. Автору нравится дыхание ветра, но чуждо дыханье молвы. Однако и молва бывает разная, бывает и необходимая, бывает и трагическая. Автору внушает радость – и это хорошо – ветер, как может ее внушать свежеиспеченный хлеб, но, нужный как хлеб, он одинаково равнодушен и к прошлому и к будущему.

Третье стихотворение одически воспеваает поэтессу Беллу Ахмадулину, известную всему миру, увы, мне чуждую. Но сама ода прекрасна. Голос воспеваемой из пуха и выдоха летних деревьев, из галактических нитей и ангельских перьев, и само стихотворение просто, «как уличное просторечье». Как свежо и нежно сказано!

Вслед за одой возникает «Вербный день». Мы узнаем, что удивительная красавица Лилит создана Богом внутри адамовых везд, и это сон, и он свеж, как измена супруге. Но любимый никогда не вспоминает Лилит, он любит ту, для которой сберег кусты прозорливой вербы, потому что говорит та, кто написала эти стихи: «Жена я твоя, Россия твоя». И не о Лилит поет на вербе маленькая птичка, а о том, что Христос воскреснет и к нам придет, и рассеянный народ соберет в одно целое. Я не помню, чтобы так просто и глубоко писали современники наши о любви. «Вербный день» будет жить долго, не один день. Вечная старая тема осталась вечной, но стала молодой.

В стихотворении «Гиацинт», которое начинается с неумелой, невозможной рифмы «везет – аэропорт», поэт говорит о важном и большом – о распаде советской империи. Казалось бы, случилось то, что давно должно было случиться в разноязычной стране, с большей близостью, скажем, с Турцией или Персией, чем с Россией, но можем ли мы забыть, что поэтесса там родилась, там в военные годы бинтовала раненых, там, где была кровь привычной школьных чернил и земля становилась красной, как гиацинт.

Я эту боль чувствую всем сердцем, русский труженик письма, я, оказалось, родился за границей, в Одессе, где родились многие знаменитые русские ученые, писатели, музыканты, актеры. Я понимаю боль Лиснянской, родившейся в заграничном ныне Баку, но она тоньше меня, не великих деятелей вспоминает, а просто гиацинт. Боже, как тяжело сложилась наша жизнь.

В стихотворении «Во чреве полночи» все обычно. Четыре строфы, в которых мужские окончания чередуются с женскими,

глагольные, бедные рифмы (вопрошает-выбирает, держась-родясь), тема взята из Ветхого Завета, мне знакомого с детства. Начинаются стихи с известного, но уже волнующего факта: «Исав выбирает плоть, Иаков дух выбирает». Но вот фраза, которая никогда не приходила мне в голову: «Неужто уже во чреве, еще не родясь, / Праведник-брат слабее, чем брат-убийца». Эти две строки поразили меня: неужели всегда праведник слабее грешника? И все же поэт выбирает не плоть, а дух, хотя и ищет в утробе ночи телесную опору. В этом выборе – величие Божьего создания. Просто, без высоких фраз, без мнимого новаторства, поэт говорит то, что всегда будет жить, всегда будет ново.

Стихотворение «Четыре руки», к стыду моему, мне не всегда понятно. Мне неизвестен древний миф, в котором четыре руки протянуты через лето, а четыре реки протекают по саду Света (Свет с большой буквы). Автор, видимо, в этом не виноват, виноват я, читатель. И все же неизвестный мне миф прекрасно разворачивается. Оказывается, у четырех рек есть могучая стража – 300 ангелов, здесь для скромного есть приют «и нет лазейки проныре». Читаю дальше. Строфы хорошо написаны, но в них истины давно известные. Может быть, в самом начале, в первой строфе, должна была существовать ясность, доступная каждому.

Последнее стихотворение в журнальной публикации великолепно. Оно умно, музыкально и ясно. Остро и глубоко замечено: «Меж смертных не бывает равенств, / Но путь у всех один». Неожиданное (потому что талантливо) обращение к близкому другу: «И если сравнивать с монетой, / Я – решка, ты – орел». Хочется целиком (потому что великолепно) процитировать последнюю строфу:

Срок думать об иной монете...
Чет-нечет, нечет-чет...
Но если мы потонем в Лете,
То Лета петь начнет.

Какая смелая мысль: если поэт канет в Лету, то Лета запоет, как поэт. В коротких строках – огромная сила человека.

Публикуются впервые по рукописи из архива поэта. Запись, помеченная октябрём 2002 г., – отзыв на подборку Инны Лиснянской в журнале «Знамя» (2002. № 9), в которую вошли стихотворения: «Мгновенное», «Сосед», «Ода голосу», «Вербный день», «Во чреве полночи», «Гиацинт», «Четыре руки», «На берегу Леты».

Публикация И.Л. Лиснянской, подготовка текста Д.В. Полищука.

«ИСТИННАЯ СИЛА – ДОБРОТА»
(Два письма Василия Гроссмана)

Роясь в своем архиве, я неожиданно нашел два письма Гроссмана, которые теперь решил впервые опубликовать.

В письме, отправленном мне в марте 1958 г. в Ташкент, есть крайне отрицательная оценка Гроссманом романа «Доктор Живаго». Я с этой оценкой не согласен. Не думаю, что пастернаковская проповедь христианства «далека от истинного христианства». Не думал так и Борис Зайцев, приветствовавший роман Пастернака как художник и христианин.

Впрочем, Анна Ахматова, восхищаясь стихами в «Докторе Живаго», отозвалась о романе так: «Не умеет рисовать людей» (фразу цитирую по памяти).

В то же время мне близки и дороги (поэтому и публикую их) слова Гроссмана, вслед за Толстым и Чеховым горевавшего о «пришествии декадентства в самую великую из литератур, самую добрую, самую человеческую». Мысль о доброте и человечности, о жалости к падшим, виновным Гроссман повторяет и в другом письме, отправленном мне в октябре того же года из крымского поселка недалеко от Коктебеля. Здесь лестная для меня – хотя и не без шипов – оценка переложения одного из эпизодов индийского эпоса «Махабхарата».

Упоминание о Гослите и директоре издательства Владыки не связано с проектом (неосуществленным) издания сочинений Гроссмана. Слова: «Зайдешь в помещение, Бенья...» – цитата из Бабеля. Горик – мой младший сын Георгий, теперь врач. Не помню, в связи с чем Гроссман его упоминает. Упоминаемые в письмах Ольга Михайловна и Екатерина Васильевна – это О.М. Губер, жена Гроссмана, и Е.В. Заболоцкая.

Здравствуй, дорогой Сема, наконец получил твое письмо, тоже уже волновался, что долго не отвечаешь. Объяснял твое молчание тем, что ты переживаешь описанную тобой ситуацию, но не предвидел, что у тебя ячмень. Поэтому и волновался, – за твое здоровье, конечно.

Я сейчас много работаю, без выходных. Спешу!

Редакция «Знамени» стала просить меня, чтобы я дал им рассказы, которые не пошли в «Лит[ературную] Москву». Я дал им читать «Тиргартен», «Лось», «Старая и молодая». Обещали на днях сообщить мне свое решение. Просили очень настойчиво, поделовому. Говорили, что кто-то, кажется Казакевич, им говорил об этих рассказах. Жду ответа.

В Гослите пока движения нет, им, правда, сейчас не до меня – у Владыкина были неприятности крупные за издание некоторых западных книг, – он, говорят, даже заболел. По такой же части были неприятности и у Чаковского.

Прочел первый том и часть второго тома романа Пастернака. Приедешь, я подробно расскажу тебе свое впечатление.

Оценка моя лежит не в сфере наших современных литературных дел и отношений. Как правильно говорили Толстой, Чехов о пришествии декадентства в самую великую из литератур, самую добрую, самую человечную. Как далека от истинного христианства эта пастернаковская проповедь христианства. Христианство лишь средство утверждения его особенной, талантливой, живаговской личности. Какая нищета таланта, равнодушного ко всему на свете, кроме самого себя, таланта, который не горюет о людях, не восхищается ими, не жалеет их, не любит их, а любит лишь себя, восхищен «самосозерцанием духа своего». Худо нашей литературе! И не только потому, что на свете есть Софроновы, Панферовы, Грибачевы.

И это худо предвидел Лев Толстой. Но Лев Толстой не предвидел декадентства в терновом венке, декадента в короленьковской ситуации. Это не шуточное зрелище, есть над чем подумать.

Приедешь, поговорим об этом.

Когда-то Гете сказал: «Если в душе великого человека есть темнота, то уж и темно там!»

Можно прибавить: «Если в душе таланта есть пустота, то уж и пусто там!»

Читаю сейчас шеститомные мемуары Черчилля, прочел первые два тома. Много интересного, но есть и неинтересное. Интересен он сам – бульдог от демократии с примесью Стивы

Облонского. В этой страшной буре он чувствовал себя в своей тарелке. Ладно уж, ты понимаешь, что об этом можно писать так длинно, что нет смысла писать. Зайдешь в помещение, Беня, – поговорим.

В общем, все соображения, Семушка, клонятся к тому, что пора уж расстаться с Ташкентом и приехать в Москву.

Кого ты назвал чемпионом слалома? Я ломал голову, не мог понять.

Звонил я вчера Фраерманам, старик здоров, – очень зовут к себе.

Целую тебя.

Вася.

Привет от Ек. Вас.

29.III.58 г.

Напиши, сообщи, когда приедешь.

<2>

Дорогой Сема, хочу написать тебе несколько слов по поводу книги Махабхараты – «Сожжение змей».

Во-первых, спасибо, что прислал ее.

Я прочел ее внимательно, некоторые главы читал вслух Ольге Михайловне.

С твоей легкой руки я знаком с Манасом, Джангаром, Нартами. Случилось мне прочесть Илиаду и Одиссею.

Сразу бросается в глаза внутреннее глубокое различие (так у Гроссмана. – С. Л.) «Сожжения змей» от этих древних легенд. Оно – в человечности. Человечность – не только в ситуациях и положениях и в основных первичных понятиях, таких как понятие силы, справедливости, права. Истинная сила – доброта. Справедливость – в человечности. Жалость к падшим, к слабым, виновным. А ведь древние эпосы совершенно безжалостны, написаны тиграми. Драма сожжения змей вне государства, вне национального, вне народного величия, вне военной силы. Это драма человеческой души, плохого в ней и хорошего.

Думаю, что самый серьезный и главный успех твой в работе над переводом «Сожжения змей» в том, что ты остро ощутил эту особенность индийского эпоса и смело, резко подчеркнул ее определяющее значение.

Этот твой успех главный – потому что он выше стихотворческого и переводческого твоего умения, он – твой человеческий успех.

Перевод, мне кажется, выполнен превосходно. Особенно хороши две последние главы – музыкальны, плавны, торжественны. А главное – в них подтекст, который всегда воспринимается внутренним, неясным ощущением, приобретает почти такую же силу, как текст, обретает форму, ритм, мелодию.

Чтоб уберечь тебя от гордыни, к которой ты так склонен, напомним тебе, что и на солнце есть блохи. Две из них приведу тебе.

На стр. 52 написано:

...но в темной глуши не нашел антилопы.
Еще не бывало, чтоб грозный и дикий,
Чтоб раненый зверь ускользал от владыки.

Получается, что антилопа грозный и дикий зверь. А она ведь сама кротость, символ беспомощности и робости. Да и вообще рифмовать антилопу в силу ее некоторых особенностей рискованно. Горик знает об этом.

На стр. 132 написано: «Явились прислужники с маслом топленным».

Речь идет о том, чтобы лить масло в огонь. Но ведь топленое масло материя твердая. Лить в огонь можно горячее, кипящее, жидкое, растопленное масло.

Ну вот, дорогой мой, дело не в блохах, а в том, что есть хорошая книга. Хлеб... (так у Гроссмана. – С. Л.) главу Махабхараты кончим на этом.

Целует тебя крепко недобрый змей
Вася.

29 октября 1958 г.

Напиши ответ, я его успею получить здесь.

Публикуется по изд.: Вопросы литературы. 1997. № 1. С. 270–273.
Вступительная заметка и публикация С. Липкина.

ПИСЬМА С.И. ЛИПКИНА Л.К. ЧУКОВСКОЙ

С.И. Липкин – Л.К. Чуковской

Дорогая Лидия Корнеевна, спасибо Вам за книгу. Эти же слова скажут Вам и те, кто будет жить после нас. Читая Ваши Записи (записи? Или большой роман в жанре записей?),

я и восхищался, и волновался, и думал, и даже иногда плакал, и даже не тогда, когда говорилось о тяжком. Очень нужными оказались предисловие и послесловие, они обозначили суть дела, а дело – непростое. Я не хочу сравнивать Вашу собеседницу с Гёте, а Вас – с Эккерманом, но обязан сказать, что оба новых собеседника выше прославленных старых, потому что время, в котором жил великий Олимпиец, не идет ни в какое сравнение с нашим временем. Кое-кто из читавших до меня (Вам не знакомые) сказали мне: «Как хорошо, что ее (т. е. Вас) почти не видно». Это неверно. Вы видны, и очень отчетливо, и это хорошо. Спасибо.

23.6.1977 г.

Публикуется по изд.: Знамя. 2005. № 8. «Сколько людей! – И все живые». Отзывы читателей о «Записках об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской. Предисловие, примечания и публикация Е.Ц. Чуковской.

С.И. Липкин – Л.К. Чуковской

Милая Лидия Корнеевна, для Инны и для меня Ваше письмо явилось неожиданной радостью. Как хорошо, что библиографическое любопытство прислало нам весточку от Вас. Отвечаю на вопросы по пунктам.

1. В КЛЭ кое-что напутано. Главными своими переводческими работами я считаю переложения народного эпоса – калмыцкого «Джангар» (об этом переводе первое доброе слово сказал в «Правде» Корней Иванович), киргизского – «Манас», кабардинского – «Нарты», индийского – «Махабхарата», переводы «Шахнаме» Фирдоуси, поэм Джами, Навои, Калидасы.

2. В каталоге библиотеки им. Ленина пропусков нет, все правильно.

3. С Анной Андреевной я познакомился дважды. В первый раз в мае 1943 г., когда я после Сталинградской победы получил отпуск на пять дней для свидания с матерью и ныне покойной сестрой, живших в Ташкенте. Нас познакомил, если не ошибаюсь, композитор Козловский. О моих литературных занятиях Анна Андреевна понятия не имела, да и я ей не говорил, но ее интересовало то, что я прибыл со Сталинградского фронта, что на мне форма морского офицера. Она показалась мне очень красивой, лучше, чем на известных мне портретах. Во второй раз (без воспоминания о первом) нас познакомила М.С. Петровых, на Беговой, в 1949 г.

4. В «Вопросах литературы» (года и месяца не помню, у меня в Москве этот номер есть) опубликована беседа с Анной Андреевной, в которой она перечисляет шесть-семь поэтов, ей нравящихся, среди них – Петровых, Тарковский, я. По радио я услышал, что такое же мнение она высказала и во время своей заграничной поездки (выступал Адамович).

В издательстве «Художественная литература» вышла книга избранных переводов Анны Андреевны с моим предисловием. В рецензии на мой сборник «Очевидец» в «Литер. газете» (1968 г.?) было написано, что Анна Андреевна присутствовала на моем вечере в ВТО. Я умолял ее не приходить, говорили, что там лифт не работает, но она с известным Вам упорством сказала, что должна прийти и придет. До сих пор сотрудники ВТО гордятся ее посещением.

5. У меня есть стихотворение, навеянное образом Анны Андреевны. Оно не опубликовано.

6. Я не помню, какие свои стихотворения я успел прочесть Анне Андреевне. Может быть, Вам интересно будет узнать следующее. На квартире у Нины Леонтьевны Шенгели я читал поэму «Техник-интендант». Анна Андреевна плакала. У меня есть ее книга с надписью: «Такому-то, чьи стихи я ценю (кажется, так), а один раз плакала».

Я прошу извинения у Вас за тот странный разговор, который был у Вас по телефону. Это не первый случай. Конечно, в этом виновен и я, моя неправильная, нескладная жизнь. Я вспоминаю, как мы с Вами гуляли по Малеевке, Вы мне сказали, что я похож на Вашего брата, и так как я тогда был сердит на Н.К., то я глупо спросил: «Какого брата?» Вы на ходу читали Фета – «В каждый гвоздик душистой сирени...» Инна, к сожалению, не пишет и, к еще большему сожалению, переводит. Она Вам сердечно кланяется.

24.1.1979 г.

Публикуется впервые по автографу из архива поэта. Черновик письма. Машинопись с авторской правкой. Письмо с вопросами Л.К. Чуковской не найдено.

Публикация И.Л. Лиснянской. Подготовка текста Д. Полищука.

С.И. ЛИПКИН И А.А. АХМАТОВА.
ИЗ ИСТОРИИ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Письма

1. А.А. Ахматова – С.И. Липкину

Дорогой Семен Израилевич!

Посылаю Вам рукопись, в которой поправки, сделанные мною, отмечены красным карандашом, и книжку Ивана Франко.

Очень прошу Вас, посмотрите опытным глазом и отдайте, пожалуйста, перепечатать, а затем передайте тов. ДОРОНЯНУ.

Простите, что Вас беспокою, Вам скажут, как я заболела.

P.[S.] Все это, к сожалению, страшно спешно, т. к. я получила телеграмму от Турганова о том, что пришла верстка и они очень торопят.

Ахм.

[04.06.1958 г.]

2. С.И. Липкин – А.А. Ахматовой

Дорогая Анна Андреевна, поскорее выздоравливайте, – что Вам стоит? А между тем не только Вам, но и нам стало бы от этого хорошо. Я надеюсь, что скоро увижу Вас в Москве.

Все исправления Франко я перепечатал, посылаю Вам оригиналы, – [а] вдруг пригодятся. [Всю] рукопись я передал моему опасному соседу – Турганову. Книжечку Франко оставил у себя.

Ради бога, [выздоровливайте]

Станьте вновь здоровой и веселой.

3. А.А. Ахматова – С.И. Липкину

ПИСЬМО ПОЛУЧИЛА БЛАГОДАРИЮ ЗА ВСЕ НАЧИНАЮ
ОЖИВАТЬ ПОЗВОНЮ = АХМАТОВА =

4. А.А. Ахматова – С.И. Липкину

Дорогой Друг,
с ужасом узнала о постигшем Вас горе. По своему опыту
знаю, что при этом не может быть никаких утешений, кроме
одного: Слава Богу, что я пережил свою мать, а не она – меня.
Часто думаю о Вас. Берегите себя для детей и для Музы.
Приеду – позвоню.

Анна Ахматова

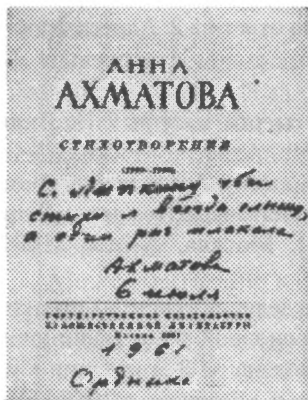
18 сентября 1964
Ленинград

Надписи на книгах

5. А.А. Ахматова С.И. Липкину. На книге «Из шести книг»
(Л., 1940).

С. Липкину / поэту и другу / Ахматова / 8 ноября / 1957 /
Москва

6. А.А. Ахматова С.И. Липкину. На книге «Стихотворения»
(М., 1961).



С. Липкину, чьи / стихи
я всегда слышу, / а один раз
плакала / Ахматова / 6 июля /
1961 / Ордынка

7. А.А. Ахматова С.И. Липкину. На книге «Бег времени» (М.; Л.,
1965).

С. Липкину / Поэту, который знает, что / такое стихи / дру-
жески / в долготу дней / 10 января 1966 / Москва

Надпись на книге «Манас Великодушный»

Быть может, на улице Конницы,
В спокойствии позднего часа,
Вы, средство ища от бессонницы,
Загляните в юрту Манаса.
И жизни оседлой коллизии
Развеются, пусть на мгновение,
Кочующим ветром Киргизии,
В котором песок и забвение.

Публикуется впервые по автографам из архива поэта. Сохранена орфография и пунктуация оригиналов. 1–3 относятся к работе А.А. Ахматовой над ее переводами для седьмого, стихотворного, тома собрания сочинений Ивана Франко, вышедшего в «Гослитиздате» в 1958 г. под ред. и с примеч. Б.А. Турганова.

1. Машинопись, подпись от руки. Датируется по штемпелю на конверте. Адрес: Москва, 2-ая Аэропортовская, д. 7/15, кв. 36. Семену Израилевичу Липкину. тел. № Д-7-18-72. От А.А. Ахматовой. Штемпель: Москва, Д-167, 4658-0 [04.06.1958].
2. Рукописный черновик. Без даты. В квадратных скобках приведены зачеркнутые места.
3. Телеграмма. Без даты. Предположительно ответ на 2. Адреса: Москва, Вторая Аэропортовская, 7/15, кв. 36. Семену Израилевичу Липкину; Комарово ЛНГ 7 18 1717.
4. Заказное письмо. От руки. По поводу смерти матери С.И. Липкина, Розалии Моисеевны Липкиной. Адреса: Москва, Д-319, 2-ая Аэропортовская, д. 7/15, кв. 36. Семену Израилевичу Липкину; П-136, ул. Ленина, 34, кв. 23. Ахматова. Штемпели: Ленинград, П-136, 3096418 [30.09.1964], Москва, А-319, 1106419 [01.10.1964].
- 5–7. Косой чертой обозначено графическое деление текста на строки.
8. На отдельном листе. Заглавие от руки, основной текст машинопись. Предположительно надпись была сделана на 3-м издании книги «Манас Великодушный», вышедшем в «Детгизе» в 1958 г., но в любом случае между 1952–1961 гг., когда А.А. Ахматова проживала в Ленинграде на улице Красной Конницы (Кавалергардская).

Публикация И.Л. Лиснянской. Подготовка текста и примечания Д. Полищука.

ОБРАЗ И ДАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Открытое письмо

Секретарям Союза писателей СССР

Секретарям Союза писателей РСФСР

Секретарям московской писательской организации

Членам редакционной коллегии «Литературной газеты»

Членам редакционной коллегии «Литературной России»

Членам редакционной коллегии «Московского литератора»

Глубокоуважаемые товарищи!

Видные писатели и сотрудники аппарата, выполняя порученное им задание, проводили со мной долгие беседы об альманахе «Метрополь». Я не мог им ответить с достаточной обстоятельностью, так как, не будучи составителем «Метрополя», был знаком только с некоторыми работами альманаха. Из «Московского литератора» я сперва узнал, что произведения четырех писателей, мои в том числе, служат фиговыми листками, прикрывающими литературный срам, а затем та же газета опубликовала подборку отрицательных отзывов об альманахе почти 30 членов Союза писателей. Работая в советской литературе 50 лет, я, конечно, научился разбираться в механизме такого рода подборок, но меня смущало то, что среди осудителей было несколько людей одаренных. Мое смущение усугублялось тем, что не все участники альманаха были мне близки как художники. Бо мне поселилась тревога.

Но вот последовали дни и недели, в течение которых кое-кто из осудителей стал заявлять знакомым и составителям устно, а один письменно, что их отзывы газетой искажены, что не нравятся отдельные произведения, а в целом альманах хороший или даже очень хороший. Наконец я прочел весь альманах и, положив руку на сердце, могу теперь сказать: альманах действительно очень хороший.

Может быть, мне как участнику альманаха или, пуще того, как рядовому члену союза писателей не пристало высказывать свои суждения руководителям Союза, но отвечу я: во-первых, мои настойчивые собеседники требовали от меня, чтобы я высказался, а во-вторых, некоторую надежду придает мне то, что к моему мнению, не всегда с ним соглашаясь, прислушались Мандельштам и Ахматова, Василий Гроссман и Платонов. А вдруг прислушаетесь и вы?

В альманахе есть то, что Шекспир называл «образом и давлением времени». Огромное художественное наслаждение доста-

вили мне рассказы молодого писателя Евгения Попова, который вошел в литературу, напутствуемый Василием Шукшиным. Ткань этих сибирских рассказов насыщена прочными, яркими красками, из слов рождаются не заводные куклы, а люди, тепловая энергия жизни. В отличие от несравненного Зощенко, который своих героев не любил (Попов, как и Зощенко, продолжает линию сказа), молодой писатель любит своих незадачливых героев, а известно, что искусство возникает тогда, когда сочувствие к людям сочетается с артистизмом чувства.

Мне думается, что Фридрих Горенштейн¹ (имя мне доселе незнакомое) – серьезный писатель. Его Юрий Дмитриевич, Зина, слепорожденный Аким Борисыч, считающий себя выше и счастливее ослепших, – это характеры «капитальные», как любил выражаться Достоевский, характеры, обнаруженные автором «Ступеней». Учительский дух нашей отечественной литературы стал источником ее бессмертия, и Фридрих Горенштейн мучительно-страстно развивает проповедническую сущность русской художественной мысли,

Тридцатилетний Виктор Ерофеев обратил на себя мое внимание исследованиями, посвященными необычной личности де Сада, трудам Льва Шестова. В «Метрополе» опубликованы три его рассказа. Первые два я не отнес бы к его удачам, но третий рассказ, «Трехглавое детище», принадлежит к лучшим произведениям альманаха. Мастерски нарисованы престижный дачный поселок, сотрудники и коридоры института, страшная гибель Наденьки и не менее страшная гибель души Игоря. Вяземский как-то сказал о Василии Львовиче, о дяде Пушкина, что этот пожилой поэт годится отроку Александру в племянники. Я знаю иных литературных дядей, которые годятся в племянники Виктору Ерофееву.

Евгения Попова и Виктора Ерофеева исключили из Союза писателей, прибегнув к маскировочной формулировке, – мол, приняли их раньше неправильно, книг у них нет, одни журнальные публикации. Но разве устав Союза не растолковывает ясно, что в Союз принимаются писатели и на основании журнальных публикаций? У нас часто ссылаются на горьковские традиции в работе Союза писателей. Меня в Союз приняла комиссия, возглавленная Горьким, когда число моих лет равнялось 22, а число моих стихотворений, опубликованных в журналах, не достигало и этой цифры, ни одной книги я не успел выпустить. В то же время в приеме в Союз было отказано почтенному писателю, издавшему собрание сочинений. Традиция существует тогда, когда ей следуют, а не тогда, когда ее декларируют.

Конечно, сподручнее руководить пишущими, похожими друг на друга, как узоры на обоях. Но союз писателей по самому своему замыслу должен быть союзом неповторимых.

Наш трудный, долгий опыт показал и доказал, что исключение из Союза не есть исключение из русской литературы. Один из осудителей альманаха подкрепляет свои инвективы цитатой из Пастернака, а сам, небось, голосовал за исключение великого поэта из Союза. Поговаривают, что изгнание двух молодых писателей из нашей среды есть инициатива главы московских литераторов Феликса Кузнецова. Я с ним не знаком, но когда я обдумываю его речи и действия, у меня складывается впечатление, что человек он малосильный, растерявшийся, который хочет казаться волевым и жестоким. Что же, казаться жестоким легче, чем быть рассудительным.

Я хорошо понимаю, что руководить творческой организацией не просто, работы невпроворот, мероприятие набегаёт на мероприятие, и все же нельзя при этом ни на миг забывать о том, что нам досталась в наследство могучая литература, что у каждого из нас так мало вероятных возможностей в ней остаться, и поэтому вряд ли разумно отсекал надежные молодые таланты. На тех авторов «Метрополя», которые постарше, укоренились попрочнее, обрушился обвал экономических санкций, у всех (за одним-двумя, кажется, исключениями, впрочем, легко объяснимыми) задержаны набранные или сданные в типографии книги, рассказы, стихи, переводы, пьесы, принятые театрами, осуществленные киносценарии, а двух молодых, менее защищенных, выгоняют вдобавок из Союза, хотя тот же Феликс Кузнецов провозгласил *urbi et orbi*², что никто не будет подвергнут репрессиям. Совесть не позволит мне оставаться в Союзе и пользоваться его благами, если вы в ближайшее время не исправите свою ошибку и не восстановите в Союзе двух, не по уставу исключенных.

Полагаю, что я должен сказать несколько слов о тех, кто в литературе постарше.

Загадочная вещь – манера письма. Ничто так не привлекает современников, как новая, острая манера письма, и ничто не устаревает так быстро, как манера письма, существующая вне содержания. Я слышал от собратьев по перу, что манера письма Беллы Ахмадулиной мешает им при чтении ее рассказа «Много собак и собака». Но если преодолешь эту преграду, то почувствуешь в прозе знаменитой поэтессы истинную боль, боль, без которой не рождается искусство. Вот и прочтен рассказ, заканчивающийся вопросительным знаком, и нашу мысль продолжают волновать и Шеллапутов – новый, бесприютный Сван,

и фантомная фигура безукоризненного Пыркина, «человека никакого, опасного человека».

«Похороны доктора» Андрея Битова – вещь, которой суждена долгая жизнь. Портрет женщины-врача рисуется на наших глазах в день ее смерти, но в этом, как будто бегло нарисованном, портрете – вся ее жизнь, ее прошлое, ее близкие. Многие строки рассказа хочется прочесть вслух, как стихи.

Влиятельное лицо – Римма Казакова, – утверждая приверженность к целомудренной любви, обвиняет альманах в сексопатологии. Возможно, ее задело название рассказа Фазиля Искандера «Маленький гигант большого секса», рассказа очень смешного и очень грустного. Что касается секса, то он есть только в ироническом названии. Фотограф Марат охотно хвастается своими гигантскими похождениями. Делает он это довольно ловко, так что читателю приходится самому решать, фантазирует Марат или говорит правду. Но когда уличный курортный фотограф рассказывает о своей встрече с одной из наложниц Лаврентия Берия, ни ему, ни нам уже не до шуток. Фазиль Искандер – один из самых популярных советских писателей, и какое счастье, что его популярность сопрягается с тонким, благородным вкусом, с многосодержательностью. Русские читатели с гоголевских или, пожалуй, с фонвизинских времен привыкли к смеху сквозь невидимые миру слезы. Природа смеха Искандера несколько иная. Это смех кавказцев, победоносный смех людей, которые работают весело, а веселятся торжественно, живут трудно, а умирают легко.

Когда появился «Звездный билет» Василия Аксенова, Анна Андреевна Ахматова мне сказала: «Талантливо! Это заговорило новое поколение, – уже не дети, даже не внуки, а правнуки». И радостно добавила: «Половину слов я не понимаю». А Ахматова редко кого хвалила, она принимала далеко не всех литературных ровесников Аксенова.

Как же могло случиться, что один из известнейших писателей, автор таких шедевров, как «На полпути к луне» или «Дикой», не мог на протяжении одиннадцати лет пристроить «Четыре темперамента», пьесу с точки зрения цензуры безобидную? Произведение экспериментальное, оно не всем нравится, но оно есть, и легко предположить, что без этой пьесы личность Аксенова не может существовать, как не существует в нашем сознании Леонид Андреев, автор реалистических «Жили-были» или «Дни нашей жизни», без «Жизни человека».

Поразмыслим об этом.

«Московский литератор» опубликовал заявление Сергея Михалкова, касающееся меня: «Мне не понятна позиция С. Лип-

кина. Представители национальных литератур, эпос которых он перевел и которые еще не вышли из печати (неграмотность фразы, уверен, принадлежит редакции, Михалков отлично владеет русским языком), задумываются над тем, а не следует ли им обождать, пока найдется другой Липкин!»

Действительно, в моей переводческой работе меня больше всего привлекало воссоздание памятников эпической поэзии – «Шахнаме» Фирдоуси, поэм Навои и Джами, эпоса калмыков – «Джангар», киргизов – «Манас», бурят – «Гэсэр», татар – «Едигей» (вещь, которую не могу опубликовать), кавказских «Мартов», пространных эпизодов индийской «Махабхараты». Я благодарен судьбе за то, что эта работа привела меня к изучению истории, быта, языков народов Востока, открыла мне философские прозрения мусульманства, буддизма, индуизма. Я благодарен судьбе за то, что во время войны, в рядах 110-й кавалерийской дивизии, я делил с воинами-калмыками опасность боев и тяжкую горечь нашего временного отступления. Когда в годы сталинского геноцида решили ликвидировать как нации калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, крымских татар, я с ума сходил от невыносимой боли, я плакал по ночам, вспоминая высланных друзей. Эта боль мучает меня и поныне. Трагедии калмыков и чеченцев я посвятил страницы своих поэм, которые до сих пор не напечатаны, хотя я их не раз предлагал различным редакциям.

Мы помним, как сталинские литературоведы и историки указывали народам: пусть они вычеркнут из памяти, втопчут в прах свое национальное достояние – эпические поэмы. К счастью, из этого ничего не вышло. Подумал ли любимец советской детворы, что он невольно продолжает бессмысленное дело варваров, указывая «представителям национальных литератур», как поступить – теперь уже не с подлинником, а с переводом. Задумался ли Михалков над тем, что в наших республиках есть образованные, умные, честные ученые и писатели, которые в указках и подсказках не нуждаются. Да и с чисто литературной точки зрения филиппика Михалкова бессмысленна. Можно назначить председателя Союза писателей, но нельзя назначить писателя, назначить поэта-переводчика. Будут другие переводы восточных эпических поэм, они будут лучше, чем мои, но моих они не заменят – точно так же, как юмор нового детского поэта не заменит михалковского юмора.

Друзья меня спрашивают – жалею ли я о том, что из-за участия в альманахе «Метрополь» я оказался на старости лет в трудном положении. Да, жалею, жалею о том, что представлен в «Метрополе» весьма небольшим количеством стихотворений.

Анатоль Франс рассказал о набожном акробате, который служил Богородице с помощью фокусов: иначе он не умел ей служить. Авторы альманаха – писатели, очень разные по манере письма, по кругу тем, по пониманию основ художественности. Но их сближает (если мне будет позволено применить к делам нашего цеха столь высокий термин) экуменическое начало. Все авторы хотят, каждый по-своему, служить Богу, чье имя – Правда, и не хотят служить дьяволу, чье имя – Ложь.

1979

Публикуется с исправлением опечаток по изд.: Время и мы. 1979. № 47.

¹ Отрывок из повести Фридриха Горенштейна «Искушение» был опубликован в 42-м номере журнала «Время и мы».

² Urbi at orbi (лат.) – городу и миру, т. е. во всеуслышание, к общему сведению.

ПИСЬМО С.И. ЛИПКИНА М.В. ФАВОРСКОЙ

Глубокоуважаемая Мария Владимировна!

Для меня было большой радостью получить Ваше письмо и книги. Я сейчас живу за городом, возьму книги с собой и предвкушаю то наслаждение, которое в особенности доставит мне книга Владимира Андреевича «Об искусстве, о книге, о гравюре».

Многое мне вспоминалось, когда пришло ваше письмо. Вспоминались совместные с Владимиром Алексеевичем поездки по Калмыкии, беседы с ним.

Он – великий русский художник, и величие его сочеталось в нем с величием души и такой подвижнической простотой, что в нем видели необыкновенного человека даже такие далекие от искусства люди, как калмыцкие чабаны или рабочие на укладке шоссейной дороги.

Я никогда не забуду, как, работая, сидели за досками на Мясницкой Владимир Андреевич и Никита, то, глядя на них, вспоминая строки Вячеслава Иванова:

От братии прилежной
Апостола Луки
Икону тайны нежной
Писать – мне испытанье.
Перенесу ль мечтанье
На кипарис?

Спасибо Вам, Мария Владимировна, за добрые слова и за обещание известить меня о выставке к 100-летию со дня рождения Владимира Андреевича.

Жизнь у меня сложилась нелегкая, но в ней есть радости, и одна из них – Ваше письмо.

Будьте здоровы и счастливы!

Ваш С. Липкин

15 мая 1986 г.

Публикуется впервые по автографу в семейном архиве В.А. Фаворского.

ПИСЬМА С.И. ЛИПКИНА Е. МАКАРОВОЙ¹

13.7.1984 г.

Милая Леночка!

Очень мне было приятно получить от тебя персональное письмо, веющее запахом роз, холодного моря и твоей добротой. Одна фраза в письме горьковатая: «Я, естественно, ничего не пишу». Конечно, лучше бы писать, но у писателя настоящего, у художника (ты в этом ряду) литературная работа не прерывается ни на миг, она происходит в его голове, в его душе, и не всегда обязательно, чтобы она воплощалась на бумаге немедленно. А работа у нас примитивная: разгадать загадку человека. Над этой загадкой бьемся со времен Гильгамеша и Гомера. Из твоего письма видно, что ты разочаровалась в людях. Но ведь они прекрасны! Подумай только: обычные животные, начиненные мясом, кишками и прочей дрянью, вдруг (именно – вдруг!) создают модели вселенной, книги, картины, музыку. Мы созданы по образу и подобию Бога, но мы ему не тождественны. Один только раз, если верить известному преданию, был создан человек, тождественный Богу, богочеловек, и как это трагически кончилось. Ветхий Завет, или «Махабхарата», или «Илиада» учат нас не только благочестию, но и художественной правде. Они обожают (в буквальном, первоначальном смысле этого слова) людей со всеми их недостатками и пороками. Между прочим, отсюда следует, что остаются жить только те писатели, которые создают вечные характеры людей, создают из ничего, из слов, душу и плоть Дон Кихота или Чичикова так, что мы таких из слов составленных людей знаем, как будто из чрева рожденных. С другой стороны, писатели, вся суть которых в манере, в словосочетаниях, подчас совершенных, – все эти Шарли Нодье, Теофили

Готье вплоть до Хемингуэя или нашего Ремизова, Пильняка, – тонут в Лете, т. к. не вглядывались в человеческую ипостась двуногого животного, создавая человеческие характеры, прошли мимо сфинкса – загадки человека... <...>

Я временами что-то чиркаю в своих «Картинах и Голосах», но пока основная работа – в голове.

3.8.1984 г.

Милая Леночка, как хорошо ты написала о монастыре. А монастырское варенье мне захотелось у тебя украсть, оно бы мне пригодилось для той вещи, которую я написал, но последние остатки порядочности остановили мою жадную руку... <...>

Ты напрасно называешь своей инфантильностью то, что веришь тому, что говорит человек. Я тоже верю людям, если ложь не нагла, не глупа. Вообще ложь заслуживает того, чтобы ее исследовал художник. Она многоголова. Некоторые считают, что самая страшная ложь – политическая. Это не так. И не очень страшна ложь мужа перед женой, или наоборот. Страшна ложь друга, который лжет, чтобы обмануть сначала себя, а потом тебя, о такой лжи говорит пословица: ржа ест железо, а лжа – душу. Все беды начинаются не с обмана, а с самообмана. Хорошо бы об этом написать рассказ, а уж если стихи, так только гениальные, что не просто. <...>

Мы в пансионате, не знаю, что день грядущий нам готовит, но пока нам хорошо, хотя идут дожди. Мама написала чудесное стихотворение, сейчас за стенкой трудится над другим. В этом году нам не шибко пишется. Я начал воспоминания о Гроссмане, мне не очень-то нравится, – фраза неточная, и в ней я не слышу музыки. Трудность моей прозаической деятельности заключается в том, что я пишу прозу, даже мемуарную, как стихи, и если не слышу в ней музыки, мне хочется бросить писание. Перечитал «За правое дело», не все мне близко, но какая мощь письма. Описание Сталинградского пожара, гибель батальона Филяшкина, встреча майора Березкина с женой принадлежат к лучшим страницам русской прозы. Перечти и ты этот роман.

По некоторым оттенкам твоего письма я чувствую, что в душе твоей происходит нечто значительное, может быть, тебе самой еще неясное, но оно обязательно воплотится в слово. Чехов как-то сказал, что надо писать так, как будто ты пишешь в последний раз в жизни. Совет трудно исполнимый, но точный.

18. 3. 1991 г.

Дорогая Леночка, получили твои письма, они доставили нам большую радость, во-первых, потому, что узнали, что у вас

все в порядке, а во-вторых, нас обрадовало, я бы даже сказал, возвысило твоё отношение к стране, твоё преданность идее, может быть, самой великой из идей, твоё выдержку, и всё это с таким восторгом унаследовала от тебя Маня. Теперь, слава Богу, всё закончилось победой, и победой не только военной, но и добра над злом. Хочется думать, надеяться, что поражение иранского Гитлера есть начало поражения всех сил, враждебных правде, справедливости, миру и Богу.

Что касается нас, то мы здесь долго болели, в сущности, начиная от приезда в Будапешт, сначала одно, потом другое.

Леночка, ты нас награждаешь заслуженным званием козлов. Но пойми и нас. Мы прочно, духовно и биологически, связаны с русской культурой, литературой, без чего нам и жизнь — не в жизнь. Честно говоря, меня волнует твоё самоотсекновение от русской литературы, ведь Бог наградил тебя именно русским талантом. Но то, что может быть понято в твои годы, уже не годится для моих лет, даже для маминых. Конечно, хочется, очень хочется, пожить 2–3 месяца в Израиле, подниматься навстречу вечному былому по холмам Иерусалима, но сделать это хочется не прибегая к помощи страны, у которой и без того много забот.

У меня тут вышла небольшая книжечка, посылаю её вашей мишпахе², а один экземпляр прошу передать Чертоку³.

Целую всех Макаровых, блондинистых, полублондинистых и прелестную черненькую. Конечно, хочется встретиться, увидеться. 21-го переезжаем в город, нас обоих ждут медицинские хлопоты.

Ваш С. Липкин

20. 4. 1991 г.

Дорогая, милая Леночка, это моё кратенькое письмецо не ответ на твоё письмо, по той простой причине, что я его не получил. Я рад за тебя в том смысле, что ты довольно часто едешь по разным странам, это редкое для нашего здешнего брата счастье, а между тем это так обогащает писателя, разрушает его (присущий всякому) провинциализм, делает его глаза шире и пристальней. Завидую тебе в том, что ты можешь читать по-английски, а проза на этом языке, видимо, сейчас наиболее интересна. Мне хотелось бы, чтобы ты больше писала. Конечно, это нелегко, ведь надо думать о хлебе насущном, но это гораздо легче, чем в том случае, если бы ты жила в Химках. Бог дал тебе литературный талант, и мне было бы горько, если бы ты этим пренебрегла, тем более, что он у тебя двухсторонний: и в искусстве, и в книгах, посвященных педагогике.

Я понимаю, как это тебе трудно, ведь у русского писателя истинный читатель только здесь, в России, это нам говорили и пользующиеся «там» успехом Аксенов и Войнович, а между тем в России, а между тем в Москве все тяжело, и бумаги нет, и многим, большинству не до литературы, но минет и эта полоса, надо набраться терпения и писать. Нелегка наша планида, ничего не попишешь, если не напишешь. Я очень прошу тебя сосредоточиться на литературной работе, она твое истинное призвание, и счастлив тот, кто не думает о сиюминутном успехе, а пишет, потому что не может не писать. Эта фраза банальна, но, если вдуматься, на банальностях строится вся жизнь, даже жизнь гения. Заканчиваю приветами Сереже, Феде, Мане, Биллу с его добрыми глазами.

Целую тебя и всех.

С. Л.

15.12.1992 г.

Милая и дорогая Леночка, пишу тебе под впечатлением тех слов, которые ты написала о моей книге. Спасибо тебе за них. Ты замечательно выразила то, что присуще (должно быть присуще) любому художнику: движение от плоскости, от равнинности вверх. В этом основная задача не только зодчего или живописца, но и музыканта и писателя...

Как и каждый нормальный художник (если считать, что художники бывают нормальными), я большую часть своего существования пребываю в уверенности, что все, мною написанное, — ерунда и канет в Лету вместе со мной, но иногда, скажем, в тот день, когда что-нибудь напишу, бывают просветы, бывают просветы и тогда, когда слышу слова одобрения тех, кого я ценю, и вот ты написала мне такие слова.

В твоём письме, рассказывая об изучении статьи Бубера на чужом языке, вообще о своих занятиях, ты вздыхаешь: «Если бы можно было учредить перерыв и сесть в тишине за стол». Занятия философией никогда не мешают писателю (истина банальная), но вот сесть в тишине за стол... Тут ты права, это необходимо. Нельзя разбрасываться. Писатель должен писать. Конечно же, не в советской системе писатель, чтобы прожить, должен как-то зарабатывать, но не трудом околописательским. Мы ведь из породы одержимых.

Твои сомнения в логичности некоторых мест Ветхого Завета понятны. Ницше, наоборот (а его трудно упрекнуть в симпатиях к еврейству), считал, что Ветхий Завет куда лучше построен, чем Новый, потому что Новый Завет, по его мнению, создан людьми низшими, маргинальными, требующими уравнивать всех

перед лицом Бога, а всех уравнивать нельзя, ибо есть сверхлюди, избранные, и вот иудеи, будучи логичными, себя назвали избранным народом, сверхнародом, их Ягве – только их и только для них. Излагал Ницше талантливо, но зыбко. Выход у нас есть один: верить. А если не верить, то шатко все: и неучастие Адама и Евы в споре Авеля и Каина, и чудеса пешего перехода по морю, и неопалимая купина. Ты возразишь: как же можно верить, не стараясь понять? Понять надо, но для этого надо сначала принять условия задачи. Понимаем же мы, что Анна Каренина и семейство Карамазовых суть плод воображения авторов, но мы верим, что эти люди существовали. И разве Дон Кихот, Гамлет, Хлестаков для нас менее явственны, чем Саддам Хусейн и Чаковский? Мы верим в существование тех, кто созданы творцами, почему же нам сомневаться в реальности действий тех, кто был создан Творцом? Впрочем, это вечная тема и она, в конце концов, плодотворна, потому что даже сомнения приближают нас к Богу.

А тебе я желаю, чтобы ты больше и сосредоточенней писала, потому что Бог тебе даровал Талант, а Божий дар – редкий дар.

Не пишу тебе о нашей жизни, об этом, наверное, пишет мама. Происходит катаклизм всемирного значения, рушится империя, начинается иной тип жизни на всей планете, но мы погружены в свои дела, и это естественно...

5. 3. 1994 г.

Здравствуй, милая Леночка!

Сейчас закончил чтение твоего плана (наброска?) будущей книги. Мне кажется, что книга должна получиться значительной, потому что значительны события, привлечшие твое внимание. Конечно, план – это только схема, чертеж, а разве можно судить по чертежу о произведении фигурной живописи? Думаю, что можно, ведь Пушкин сказал, что уже один план Божественной комедии есть создание поэтическое. Уже в твоём плане есть замечательные мазки, например, возглас нашего человека, впервые увидевшего Запад: «Неужели и они умирают!», или «Когда ты совсем один, это невыносимо, когда ты один впятером, – переносится легче», или страшное описание убийства евреев на Украине («действие ультразвуков на людей»), или блестящее описание картин – ангелов Рубенса, святого семейства Фра Филиппо Липпи, крестьян и Христа Берхема. Такого рода талантливые фразы – не единственное, что делает куски плана-чертежа – живописью: сцена смерти Сократа, история с неженатым братом, история шабес-гоя. В «Риме V» возникает Шахья – единственный (или еще Эрна?) законченный (и необыкновенный)

характер в твоих набросках. И дальше – как только появляется Шахья – душа радуется: хорош! Очень рассмешил меня Алексин-Апоплексин⁴. Высказывая свои впечатления от плана, я следую твоему мудрому совету: «Как проверить качество живописи? Переснять ее на черно-белую пленку». Здорово! Это я и делаю.

Мне не нравится твое болезненное, по-моему, стремление следовать за модой: нецензурные слова, отсутствие знаков препинания, заумное повторение слова или группы слов. Писатель никогда не должен следовать за модой, это первый признак бессилия, а ты сильна. На худой конец, можно стать законодателем моды, какими, скажем, у нас были Бальмонт, Андреев, Ремизов, Северянин. Таланты, конечно, но второстепенные, недолговечные. Писатель-прозаик – это тот, кто, как Бог, творит характеры, такие, что мы эти созданные словом характеры воспринимаем как живых людей. Ты сама пользуешься мифами греческими, иудейскими, индийскими, китайскими, шумеро-аккадскими, чтобы зримыми, плотскими стали для нас их персонажи. Такими долгожителями должны стать персонажи твоего будущего романа, иначе – ты проиграла. Использование мата – признак слабости. За исключением Алешковского и Вен. Ерофеева, это ни у кого не получается, ни у несомненного таланта Аксенова, ни у сомнительной Нарбиковой.

Откровенные сцены только тогда художественны, когда они полны веселья, радости, изящества – как у Апулея, у Калидасы, у Мопассана, у Бунина. Твоя цель, чтобы все (или, по крайней мере, два-три) твои персонажи стали нашими современниками, как булгаковский Шариков, Остап Бендер Ильфа и Петрова, шолоховские Аксинья или Нагульнов, гроссмановские Греков, Штрум – я нарочно перечисляю близких нам по времени писателей, а не великих авторов давнего прошлого. Не нравятся мне многочисленные нерусские слова, волапюк. Что такое прополз? Пуберт? Почему напкинс⁵ объясняется: салфетка, а эти слова не объясняются? Лев Толстой в «Войне и мире» целые страницы писал по-французски. Это понятно: все читающее общество тогда говорило по-французски. Джойс в «Улиссе» щедро употребляет кельтские слова, это понятно: ирландцы забыли свой язык, говорят по-английски, со времен Гом Руля это болячка ирландцев, болячка и Джойса, вот им и хочется восстановить словарь ирландских предков. А какова твоя цель? Не понимаю. Как не понимаю, какую роль должны играть в будущем романе вставки в стиле «рюсс», да еще с цитатами из Аввакума? Отсутствие знаков препинания не ново – так написана вся арабская, персидская классика – да и наше «Слово о Полку Игореве». Вообще в литературе ничто техническое не ново. Ново только

одно: характеры. Писатель живет, пока живут созданные им характеры. Конечно, трудно создать Гамлета, Дон Кихота, Рас-тиньяка, Хлестакова, Мышкина, Архиерея. Но к этому надо стремиться, другого выхода нет, все другое – блеф, обман, ерунда.

Прости брюзжание, как ты бы выразилась, «старпера». Да, я раздражаюсь, но раздражаюсь потому, что вижу твой талант, твою силу, которая посильней многих.

Целую тебя. С. Липкин.

Какую роль играют «Приложения»? Чтобы объяснить не совсем понятное, написанное прежде? Но почему сразу не написать понятно? Сила художника не в игре.

Привет мишпахе

С. Л.

1.3. 1995 г.

Милая Леночка, здравствуй!

<...> Бог создал людей и все живое из праха, мы, грешные, потому-то Его подобья, что тоже создаем живое, но нам трудней, мы не из праха, а из слов создаем. И мы только тогда живы, когда живут наши создания – Гамлет, Рейнеке Лис, Чичиков, Каштанка, дуб в «Хаджи Мурате», пассажир в вагоне поезда «Москва–Петушки».

Твое краткое пребывание в Москве было для нас большой радостью. Мама вспоминает каждый миг общения с тобой. Сейчас она второй день читает корректуру в «Знамени». Читает с пристрастием, по любой фразе, которая вызывает в ней хотя бы крохотное сомнение, советуется со мной. Мы обдумываем, и, к счастью, ты всегда (или почти всегда) оказываешься права.

Я поражаюсь твоей энергии. Прилететь с другого материка – и до ночи убирать квартиру, а потом возиться с умалишенными, а потом – шведы, чехи, кино, выставка в Скандинавии, дети в музее, свои дети – в доме. А когда же ты думаешь?

Достоевский как-то признался, что ему больше нравилось обдумывать свои сочинения, чем их писать. Береги, Леночка, свое время и призывай к этому тех, кто рядом с тобой.

Прочел твое краткое и живописное описание весеннего дня в Иерусалиме, и сердце сжалось, потянуло туда.

Что касается документального фильма о твоём покорном слуге, то спасибо тебе за заботы, но мне это не надо, ей-Богу, не надо, и вообще никому, никакому художнику это не нужно. Все придет само собой – или не придет вовсе. Суетиться не следует.

Целую тебя и желаю успеха роману. Обнимаю двух моих коллег и одну самостоятельную красотку.

С. Липкин

[Апрель 1994 г.]

Милая Леночка, не сердись на меня. Я честно тебе написал то, что думаю о твоей вещи, потому что ценю твой сильный талант, а таланту нужна откровенность, иначе нельзя. Тем собратьям, с которыми я в разные годы дружил, я всегда честно говорил и слова восторга, и слова критические – Тарковскому, Штейнбергу, Петровых, Гроссману, Платонову, Заболоцкому, и они платили мне тем же. Врал я только писателям, дарившим мне книги с надписью, плохие, но авторы были люди хорошие, добрые, не всегда счастливые. Конечно, я часто ошибался, но и охотно признавал свои ошибки.

Я прошу тебя поверить мне, что я буду рад, если твоя книга будет опубликована и принесет тебе успех, и я в который раз пойму, что был неправ.

Еще я тебя прошу отправить мое письмецо по адресу, указанному на старом конверте. Мой адресат – израильский житель, через посредство «Нового мира» обратился ко мне – написать о его родственнике, знакомом моей юности, расстрелянном в 1938 г.

Я целую тебя, а также двух близких тебе переводчиков и одну красивую девочку.

Твой С.Л.

9. 5. 1994 г.

Милая Леночка!

Пишу тебе я в День Победы, что бы там ни говорили, а это святой для нас день, разгромили немецкий фашизм, Бог Мести вел нас, бог, а не Сталин и даже не Жуков. Все вспомнилось – окружение, Сталинградская битва... Позвонил мне сюда, в Переделкино, человек, вместе с которым провел Сталинградскую кампанию на борту канонерской лодки «Усыскин», которая погибла, – и сердце дрогнуло.

Прочел твое письмо – и обрадовался.

Инцидент исчерпан. Ты очень правильно и серьезно очерчиваешь свою задачу. Ты права, человек же изменился, изменилось то, что его окружает. Совсем недавно (несколько тысяч лет назад) он жил в раю и не трудился, а потом был изгнан из рая и начал трудиться недалеко от Эдема. Он сначала не знал, а теперь знает, что, и сочиняя прозу, надо быть поэтом. Пушкин считал, что уже один план «Божественной комедии» Данте есть поэзия. Я уверен, что здание романа ты возведешь, ты не обычная, Бог дал тебе талант, только ради Него не спеши, ведь ты создаешь, как и Он, мир из Слова.

О мамином интервью здесь многие говорят, даже из Нальчика пришел отклик.

Поразило меня, что Федя переводит тебя на иврит. Завидую коллеге, привет ему, и Мане, и парижскому Сереже.

Ты права, Яна очень сердечна. Да еще и красива. В голове – туман, хотя и розовый. Она нам нравится. С ее сестрой бесед у нас не было (у меня).

Желаю счастья тебе и роману.

Целую тебя. С.Л.

29.11. 1995 г.

Милая Леночка, передо мной твой Theresienstadt⁶ на двух языках, ни одного я не знаю, но рисунки, картины, названия глав, которые я все-таки, хотя и с большим трудом разбираю, так яркие, так наглядны... Ты создала великую книгу, благодарная память о тебе будет жить в людях, и не только в сердцах евреев, а в каждом, кто – человек. Книга пришла к нам после похорон Миши, и мое горе слилось с горем народа, и я подумал, что все же он, и я, и многие из нас избежали участи жертв фашизма. Мама принесла сумочку с Мишиными орденами, боевыми, и тут же медаль «За отвагу», это редкая медаль, ею награждали, невзирая на отзыв политработника, она – действительно за отвагу в этой страшной войне, она ответ тем, кто кричал, что евреи – все – устроились в Ташкенте, не воевали.

Спасибо тебе еще раз за книгу – подвиг, за письмо, в котором ты так поэтично описала, как читала наши книжечки, а в окне – немецкая природа, гетевские ландшафты.

Спасибо и за фотоснимки – добрые глаза Сережи, пытливо-строгие Феди, слегка лукавые – Мани.

Мама очень устала, постепенно приходит в себя, ведь вся тяжесть болезни легла на ее плечи, – мне трудно передвигаться, у детей своя жизнь. Миша перед смертью, увидев маму в реанимации, сказал ей: «Вы ангел», я раньше от него не слышал подобных слов. Она и мой ангел.

Вспоминаю нашу встречу в Зиггене⁷, как ты неожиданно легко отнеслась к неожиданным трудностям путешествия, я ждал огорчения, а ты смеялась.

Прости за банальность – за твоей хрупкостью жива упрямая, жестоковыйная еврейская сила. Благодаря тысячам таких, как ты, спаслись миллионы, береги себя и цени себя, не задаваясь.

Сердечно приветствую всех твоих (и наших).

Любящий С. Липкин

14.2.1996 г.

Дорогая, милая Леночка!

Приехала мама, конечно, рассказала о тебе, и я понял, что все тяжелое осталось позади... Ты совершаешь такие перелеты, которые утомили бы могучего атлета, а не только хрупкую женщину. Может быть, обдумаешь написать новую вещь?

Достоевский как-то обмолвился, что ему приятней было обдумывать роман, чем его писать. Представь себе, что и я, один из малых сих, испытываю такое же чувство. Смотрю ли я телевизор, беседую ли с гостями, я всегда что-то обдумываю, и так сладко от этого делается, так хорошо получается, а напишешь – и жуткая пакость на бумаге. Но зато счастье и минуты сладкие. А иногда и что-то дельное возникает. ...

Московская литературная жизнь сейчас существует уродливо. Я говорю об этом объективно, нам с мамой не на что жаловаться, охотно нас печатают в журналах, редактора у мамы просят стихи, а ей нечего дать, все опубликовано. Канули в лету года, когда писалось в стол...

<...> У нас теперь настоящая зима, уже неделю, как не выхожу на улицу, когда мороз превышает 10 гр., у меня происходит сжатие сердца, стенокардия проклятая.

Стихи пишутся, а проза не получается, это не совсем понятно, потому что проза та же поэзия, в ней должны быть все четыре элемента поэзии: музыка (своя, а не заемная), мысль, живопись, страсть.

11.6. 1996 г.

Милая, дорогая Леночка! Хочу тебе написать несколько слов о тех золотых россыпях, которые ты назвала фрагментами. Первая россыпь – старый музыкант Франтишек Домажлицкий и его жена Итка. Сразу же, когда появляется старик, который выпятил нижнюю губу и вздернул подбородок, который лыс, но боковые кудри – артистически – до плеч, который был в страшном Терезине, но писал легкую музыку, он становится нам интересен, о нем хочется знать, о нем и об Итке, нужен рассказ, и ты обязательно напишешь этот рассказ. Другая золотая россыпь – наша общая знакомая Шира Горшман. Вдова замечательного еврейского художника (когда художник – еврей, это больше, чем национальность), и сама одаренная писательница, пишет «об убитых на убитом языке». Трагическая формула! О ней, о Шире, нужен рассказ, и ты его напишешь.

Третья золотая россыпь – любовь в Терезине: Вера и Йожка Фантл, Вера и Дольфи. Могут быть два щемящих рассказа, и ты их напишешь.

Одно замечание сверстника Домажлицкого, т. е. мое. Писатель (если он не пишет мемуаров) не должен быть персонажем сам по себе. Персонажи его повествований и составляют его персонаж, его лицо. Дворянин, богатый, любил охоту, написал «Записки охотника», но не о своих охотничьих делах писал он, а о Хоре и Калиныче, о певцах, соревнующихся в деревенском трактире. Все, что ты пишешь о трудностях, связанных с фильмом, бледнеет по сравнению с теми золотыми россыпями, о которых сказано выше.

Американка, собирающая материал о тяжелом положении русских олим, – персонаж очерка, она не стала персонажем художественного произведения.

Пронзительна история еврейского кладбища, где раз в неделю посещают могилы, а в остальные дни там бордель. Об этом можно было бы написать рассказ в 2–3 страницы. И он тоже мог бы стать золотой россыпью.

Леночка, ты на зависть талантлива, у тебя острый глаз, музыкальный слух, умная голова, люби каждое слово, каждую запятую и больше, чем себя, люби своих героев, свои слова, которые творят жизнь.

Целую тебя и радуюсь твоему успеху.

С. Л.

27.10. 1996 г.

Дорогая Леночка, спасибо тебе за рассказы. «Опекун» и «Хорошо, что мы здесь» – истинное искусство. В этих рассказах есть нерв, бьется пульс, а это значит, что они – живые существа. Трагизм сдержан, как бы информативен, и от этого у читателя сжимается сердце.

То, что ты печатаешь рассказы как стихи, т. е. разбиваешь прозаическое повествование на строки, не случайно, в этом есть художественная цель. Отсутствие знаков препинания вещь древняя, без них читаются Ветхий Завет (а там и «Песня песней»), Коран. Но знаки препинания облегчают жизнь читателя, их отсутствие я воспринимаю как дань моде. Впрочем, может быть, я ошибаюсь. Несколько слов о «Собачьей фортуне». Скотоложество – извращение, зафиксированное в древнейших великих религиозных книгах. Но в то же время – не всегда извращение. Некоторые боги и полубоги Ассирии-Вавилонии, Индии, Греции являются плодами соития богов с животными, чаще всего с быками, коровами, слонами. Но в рассказах о таких существах есть чистота, художественная прелесть. Почему в «Собачьей фортуне», в рассказе, хорошо написанном, этой прелести нет? Не потому, что речь идет о скотоложестве, а потому, что ты не вос-

принимая собаку как живое существо, у которого есть свои чувства, как у толстовского Холстомера, у чеховской Каштанки, у бунинского Чанга. Раз уж ты разрешила себе смелость – описать соитие женщины с псом, так не трусь, поведай нам, что испытывает в эти сладкие мгновения пес, уравняй его, как сказители священных книг, с человеком, и тогда возникнет чистота, чистота поэзии и жизни. Не сердись на меня, возможно, что я, старый, сильно отстал от нынешнего понимания красоты, без которой нет искусства.

Женщины Содомы и Гоморры погибли. Жена Лота превратилась в соляной столб. Лот входил ночью к дочерям своим. Это было необходимо, ибо всегда была иудейская забота о необходимости плодиться и размножаться.

То, что в твоём рассказе происходит с братом и сестрой, не есть надежда, как у Лота. Есть отчаяние в лагерях Смерти, и это отчаяние ты воспроизвела как художник.

Пиши рассказы и радуй нас.

Целую тебя. С.Л.

Публикация Е. Макаровой.

¹ Елена Макарова, дочь Инны Лиснянской, – писатель, педагог, историк.

² Мишпах (ивр.) – семья.

³ Семен Черток, журналист, работал на израильском радио «Коль Израэль». С.И. Липкин состоял с ним в постоянной переписке.

⁴ Герой романа.

⁵ Салфетки (англ.).

⁶ Каталог выставки «Культура и варварство», 1995 г., Стокгольм.

⁷ Семен Израилевич с мамой были приглашены на писательскую дачу в городок Зигген, неподалеку от Гамбурга. Там у них возникли какие-то бытовые проблемы, о которых они мне и поведали.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С А.И. СОЛЖЕНИЦЫНЫМ

А.И. Солженицын – С.И. Липкину

Глубокоуважаемый Семен Израилевич!

Благодарю Вас за присылку Вашей последней книги, да еще с такой лестной надписью.

Осмелюсь и я Вам послать фрагменты из моей «Литературной коллекции», относящиеся к Вам – и написанные как общее

впечатление от чтения Ваших стихов в разные годы. Из этих страниц Вы можете видеть, как высоко я Вашу поэзию ставлю. (Впервые Ваше имя я услышал от Л.К. Чуковской в начале 70-х годов. Она сказала, что Вы – выдающийся поэт. Так и оказалось.)

Примите Вы и Инна Львовна от нас с Натальей Дмитриев-ной самые сердечные пожелания.

29.3.1997 г.

С.И. Липкин – А.И. Солженицыну

Глубокоуважаемый и дорогой нам Александр Исаевич!

Ваше письмо, а потом и публикация «Литературной коллекции» в журнале – огромное событие в моей жизни.

Должен признаться, что я, преклоняющийся перед русской литературой, понимаю весьма скромную величину своего дарования, и вот оказывается, что величайший писатель современного мира читает мои стихи и даже хвалит их.

Всю свою сознательную жизнь я перечитываю самых любимых наших писателей – Пушкина, Тютчева, Гоголя, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Чехова, Бунина, перечитываю без всякого плана, – то, что захочется прочесть, еще и еще раз.

Точно так же я перечитываю Вас. Захочется – «Матренин двор», захочется – один из томов «Архипелага Гулага» или «Красного колеса», и каждый раз нахожу нечто новое, то, что и раньше, конечно, полюбил, но вдруг понял глубже. Это относится и к отдельным выражениям, и к портретам персонажей, а порою и ко всей заново прочтенной книге.

Прошлой зимой перечитал три тома «Архипелага». Они потрясли весь мир своим содержанием. Действительно, царская каторга, в которой провел четыре года Достоевский, – сущий рай по сравнению с советским концлагерем. Когда вышли в свет «Записки из мертвого дома», Тургенев, который, что известно, не любил Достоевского как писателя и человека, сравнил эти «записки» с дантовским «Адом».

Не знаю, как обстоит дело в Европе, на Западе. Но не помню, чтобы на родине появилось серьезное исследование чисто художественных особенностей «Архипелага Гулага». А между тем столько здесь чудесно обрисованных лиц, и добрых, и злых, и жалких, и обладающих какой-то, казалось бы, бессмысленной, безнадежной русской удалью. Воистину «вселенная имеет столько центров, сколько в ней живых существ», воистину

«линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека».

Общеизвестно, что одна из драгоценнейших черт художественности заключается в том, что даже воспроизведение тяжестей жизни, ее зла и горя, побуждает в человеке самое лучшее, делает его ближе к Богу. И таков Дантов «Ад», «Записки из мертвого дома», «Архипелаг Гулаг».

Мне известно, что не все Ваши читатели-литераторы будут со мной согласны, – и те, кто оказались в эмиграции, и те, кто остались на родине. Они, будучи политически антисоветскими, в понимании красоты искусства сохранили чисто советские признаки, между прочим, довольно примитивные. Многие из этих литераторов, достаточно образованные, оказались во тьме советской дубиноголовости. Очарованные вечным «Одним днем Ивана Денисовича», эти литераторы ожидали такого Солженицына, который будет похож на них, пусть талантливей, но похож. А он оказался другим.

1998 год – Солженицынский.

Я желаю Вам крепкого здоровья и счастья – и творческого, и просто человеческого.

Прошу Вас передать сердечный привет Наталье Дмитриевне, знакомство с которой доставило мне радость.

<1997 или 1998>

Письмо С.И. Липкина публикуется впервые по копии из архива поэта, письмо А.И. Солженицына – по автографу. К письму А.И. Солженицына прилагался фрагмент из «Литературной коллекции» А.И. Солженицына, посвященный С.И. Липкину.

Публикация И.Л. Лиснянской. Подготовка текста Д.В. Полищука.

Я ХОТЕЛ ПЕРЕДАТЬ МУЗЫКУ КИРГИЗСКОЙ ПОЭЗИИ

Беседа с Валерием Ровинским

Яркий голос популярного в Киргизстане диктора Валерия Ровинского на протяжении двух лет наполняет эфир дыханием героической песни о Манасе. За каждой передачей – многие часы репетиций, мучительных поисков нужной интонации, мелодии, ритма...

В ходе работы над эпосом возникла потребность услышать живую речь автора русского перевода, благодаря которому киргизский эпос энергично шагнул в мировую культуру, снять о нем фильм. Ровинский поехал в Москву к Семену Липкину: встреча, записанная на видеоленту, покоряет не только обаянием разговора двух интеллектуалов, но и передает драматизм нашей эпохи, драматизм борьбы за вечные духовные ценности народа. Вот фрагменты этой беседы с классиком русского поэтического перевода.

– Шестьдесят лет тому назад группа русских переводчиков, пройдя предварительный конкурс, была привлечена к работе над кыргызским эпосом «Манас». Давайте вернемся к тем далеким временам, вспомним, как это начиналось...

– Прежде всего я должен сказать, что я счастлив, что 1000-летний юбилей эпоса «Манас» будет праздноваться так широко и торжественно. Действительно, это произведение равно «Илиаде», «Одиссее» и другим великим памятникам народной эпической поэзии. «Манас» прошел очень тяжелый путь. На этом пути были и преследования, и отрицание, и на долю переводчиков, манасоведов в те далекие сталинские годы выпала трудная задача как-то защитить эпос. Особенно это было трудно потому, что противники были и внутри Киргизии, среди партийных деятелей и, к сожалению, среди некоторых литераторов.

Как происходила переводческая работа? Вначале к этому делу приступили Пеньковский и Тарловский. Потом выяснилось,

что они просто не успеют уложиться в срок, ведь решено было издать перевод к 20-летию Октябрьской революции. Поэтому решили организовать закрытый конкурс. Хотя я был очень молод, но тоже был привлечен к этому конкурсу. К тому времени я уже издал отрывок из калмыцкого эпоса «Джангар», который был хорошо встречен критикой.

Конкурс был закрытым, во главе его стояли Н. Накоряков, старый большевик, агент «Искры», человек хороший, и видный поэт Илья Сельвинский. Победителями стали Пеньковский, Тарловский и я. Нас собрали всех, и три победителя читали кусочки из этого эпоса.

– *Семен Израилевич, Вы работали по отдельности или какие-то фрагменты создавались совместно?*

– Так получилось, что Пеньковский, как самый старший, был нашим «бригадиром». Он взял на себя распределение. Договаривался с Касымом Тыныстановым и с Омуркулом Джакишевым, как распределить между нами отдельные фрагменты, но и мы имели свой голос, каждый мог выбрать по желанию тот или иной отрывок. Все решалось демократически.

– *Скажите, каким-нибудь тюркским языком Вы владеете или все было сделано по подстрочному переводу?*

– Это очень серьезный вопрос. Мы не имели времени, чтобы овладеть киргизским языком в той степени, чтобы читать и говорить. Но мы изучили синтаксис, грамматику киргизского языка, каждый из нас немножко говорил по-киргизски. На бытовом уровне по-киргизски я мог говорить, понимал речь гораздо лучше. Так что мы примерно через полгода, пользуясь подстрочным переводом, все же читали подлинник, чтобы ощутить музыку киргизского стиха.

– *Вы много раз бывали в Киргизии...*

– Да, дело в том, что я был председателем киргизской комиссии Союза советских писателей, так что у меня были постоянные и тесные контакты с киргизскими поэтами и прозаиками уже вне связи с «Манасом».

– *Знаете ли Вы, что переводом «Манаса» занимался еще и Владимир Солоухин?*

– Тут вот такая история. В 1979 г. с поэтессой Инной Лиснянской мы участвовали в альманахе «Метрополь», к которому у властей было однозначно отрицательное отношение. За это участие и еще за то, что мы в знак протеста против исключения из Союза писателей двух наших молодых коллег сами вышли из Союза, наши произведения вплоть до 1987 г. были под запретом – и оригинальные, и переводные. Именно в это время Солоухин занялся этим переводом. Я его перевода не видел.

– Вы встречались неоднократно с нашим знаменитым манасчи Саякбаем Каралаевым. Вы при нем читали свой перевод?

– Конечно, много раз. Во время декады киргизской культуры в 1939 г. мы выступали вместе на вечере в Доме литераторов, в разных местах Подмосковья. Он пел, а потом мы читали. Каралаев был гений, и как все гении, он был наивный, что-то детское в нем было. Я тогда был тоже очень молод. И вот где-то в Подмосковье я начал свой перевод пением под музыку Саякбая. Ему это безумно понравилось, он мне сказал: «Ты тоже мастер!» Он обладал колоссальной памятью, особенно ему нравились батальные сцены. Мне особенно запомнились выступления Каралаева у себя на родине, в юртах перед земляками. Вдохновленный сценами битв, Саякбай, закатав рукава, вскакивал, и вместе с ним вскакивали с мест слушатели, так захватывало всех его исполнение.

– Позвольте мне задать вопрос, который передает Вам наш культуролог, исследователь эпоса Мелис Убукеев: каково место «Манаса» в ряду других тюркско-монгольских памятников эпической культуры, каковы его особенности?

– Самое замечательное в эпосе «Манас» то, что, в отличие от литературы социалистического реализма, в нем нет героев только хороших или только плохих. Каждый из персонажей совершает и благородные, и очень красивые поступки, и в то же время не очень хорошие. Так нарисован Жакып, отец Манаса, так нарисован Сыргак, любимый герой, но который, идя в разведку с Алманбет, все время ему не верит, поскольку Алманбет – китаец. Пожалуй, единственно Алманбет лишен отрицательных черт. Вообще характер Алманбета – величайшее достижение мировой поэзии. Это шекспировский характер. Он покинул родное государство, его считают изменником в китайской империи, и ему не доверяют люди, близкие ему и по религии, и по целям. Вы понимаете, как это трудно человеку. Алманбет жалуется иногда на свою судьбу, и в то же время он верит, что избрал правильный путь. Это колоссальный характер.

Нужно еще сказать, что очень хорошо построен «Манас». Это огромная вещь, она передавалась изустно. Когда человек пишет, он может что-то исправить. Конечно, в «Манасе» встречаются повторения, это естественно, потому что манасчи время от времени должен был напоминать слушателям, что было раньше. Причем он пел не перед писателями, пел перед народом, я в народ включаю и правителей, это тоже был народ, и он должен был им некоторые вещи напомнить. В контексте всего эпоса этот прием создает неповторимую архитектуру грандиозного произведения.

Я не знаю, есть ли исследования в манасоведении, посвященные композиции, есть ли исследования, посвященные рифме, которая очень богата в «Манасе». К сожалению, некоторые поэты в Киргизии иногда пользовались слабой рифмой. Такого в «Манасе» нет, хотя его пели люди, не получившие специального образования. Особенно заметно выделяются места, когда целый фрагмент построен на одной рифме, так называемой анафорической. Это очень трудно, но сделано всегда с большим совершенством.

– *В Национальной академии наук Киргизии есть сектор манасоведения, специалисты этим занимаются. Разрешите мне вручить Вам книгу, которая вышла в этом году. Это повторение того издания «Манаса», которое вышло в 1946 г. Его организовали государственная дирекция «Манас-1000» и научно-пропагандистский деловой проект «Мурас». Тут и приветствие Вам от издателей, и пожелание Вам благополучия, добра.*

– Я очень рад, что вышла такая книга. Долгое время она была под запретом. Было два обвинения: панисламизм и подрыв якобы нашей дружбы с Китаем.

– *Вы имеете в виду ту памятную конференцию в 1952 г.?*

– Не только. Началось это в 1949 г., и тут длинная история...

– *Семен Израилевич, мы знаем, что по мотивам «Манаса» Вы написали повесть «Манас Великодушный», которая переведена и на другие языки.*

– Очень интересен перевод на немецкий язык. Здесь переведен и отрывок из эпоса «Письма Каныкей». Так вот, эту стихотворную часть переводил поэт Эрих Миштер, которому тоже удалось великолепно передать на немецком языке музыку киргизской поэтической речи. Кроме того, повесть была издана на литовском, чешском.

– *Многих в Киргизии интересуют подробности вашей биографии. Где Вы родились? Кто были Ваши родные? Почему Вы стали поэтом? Может быть, расскажете немного и о своей поэзии.*

– Я родился в Одессе в 1911 г., так что уже очень стар, ведь родился еще при царе. Даже видел проезд царя, это было в 1916 г. Родился я в семье ремесленника. Начал сочинять стихи очень рано, чуть ли не пяти-шести лет. Когда учился в художественной профшколе, то решил отнести свои стихи в газету «Одесские новости». Литературным консультантом был знаменитый поэт Эдуард Багрицкий, он был моим первым учителем. Стал писать, стал печататься. В 18 лет меня стали хорошо печатать в Москве. Когда приехал в Москву, ко мне очень хорошо отнесся Осип

Эмильевич Мандельштам. Я бывал у него много раз, и благодаря ему напечатали мое стихотворение в «Новом мире». Тогда напечататься было очень трудно, был нэп. Но после этого я начал широко печататься в московских толстых журналах и газетах. Одно мое стихотворение, напечатанное в «Комсомольской правде», заметил Горький и перепечатал в «Известиях», где он тогда сотрудничал.

Но потом, когда начался страшный период коллективизации, этот «великий перелом», меня, мои оригинальные стихи, перестали печатать. И не печатали 25 лет, т. е. лучшую пору жизни.

– *Но что-то писалось, как говорят, в стол?*

– Все это время я писал, да. Помог наш старший товарищ, Георгий Шенгели, ведавший переводами произведений народов СССР. Он привлек к работе над переводами своих молодых друзей – Марию Петровых, Арсения Тарковского, Аркадия Штейнберга и меня. Все они тоже кое-что переводили с киргизского.

Примерно через год я стал немножко понимать в своем деле и перевел Аалы Токомбаева, с которым познакомился. Кстати, Аалы Токомбаев, Кубанычбек Маликов, Тугельбай Сыдыкбеков были нашими консультантами, как и Касым Тыныстанов. Где-то я читал, что Токомбаев и Тыныстанов были противниками. Такого не было, у них были очень дружеские отношения.

Большую помощь нам оказали Константин Кузьмич Юдахин, тюрколог, Сергей Ефимович Малов и Евгений Дмитриевич Поливанов.

– *Сохранилась ли рукопись перевода «Манаса»?*

– Нет, когда я был на фронте, начал войну на пятый день ее, в Ленинграде, на Военно-морском флоте, ту комнату, которую занимала моя семья, временно заняли другие люди, и они топили голландскую печь рукописями и даже очень хорошими книгами, дорогими мне, вот так получилось.

– *Вы окончили какое-нибудь учебное заведение?*

– Да, я закончил инженерно-технический институт, химический факультет. Тогда считалось, что человек литературным трудом жить не может. Это потом писатели стали привилегированным сословием. А чтобы семью прокормить, надо было быть инженером.

– *Долгое время Вас не печатали. А что было потом?*

– После смерти Сталина я начал печататься в журналах. Первую свою книгу «Очевидец» издал, когда мне было уже 56 лет. А потом началась эта история с «Метрополем», наложили запрет на профессию, и меня опять перестали печатать на восемь лет. За это время у меня вышли книги в Соединенных Штатах Америки. Это большой том стихов «Воля», составленный

Иосифом Бродским, потом вышла тоже довольно солидная книга «Кочевой огонь», там же вышла моя повесть «Декада» о насильственной депортации народов Северного Кавказа. Там же была издана моя книга «Жизнь и судьба Василия Гроссмана». Наконец, в 1991 г. вышел довольно солидный том стихов «Письмена».

– Сейчас, в преддверии 1000-летия эпоса, много читают отрывков из «Манаса» на сцене, разучивают в школах. Что Вы могли бы сказать о культуре чтения, о сохранении мелодии народного стиха. Какие тут существуют особенности? Какой совет нужно давать детям, когда они начинают учить на память стихи «Манаса»?

– Это хороший вопрос. Все эпические поэмы всех народов всегда пелись. Пелась индийская «Махабхарата», пелась «Песня песней» из Ветхого Завета, пелись «Одиссея» и «Илиада». Из этого не следует, конечно, что когда мы читаем книгу, то должны петь. Но мне кажется, что учитель должен об этом рассказать детям, и хорошо, если он может даже исполнить кусочек с напевом или проиграть на пластинке исполнение того же Каралаева и других акынов. Учащиеся с малых лет должны почувствовать величие родной поэзии, ее особенности, не просто так хвалебные слова говорить, а рассказать суть дела. Это ребенок запомнит на всю жизнь.

– О чем Вы хотели бы еще рассказать киргизскому читателю, что хотели бы добавить к нашему разговору?

– Я уже говорил, что нападки на «Манас» начались с самого начала нашей работы над этим эпосом. Несколько раз мы приезжали в Киргизию для того, чтобы тогдашний обком утвердил это начинание. Все затягивалось. А в 1949 г., когда Сталин начал борьбу с так называемым панисламизмом, буржуазным национализмом, «Манасу» предъявили обвинения, что это байско-феодальный эпос. Были писатели и ученые, которые осмеливались с этим спорить. Если говорить о русских ученых, это знаменитый тюрколог Боровков, академик Жирмунский. Мы, переводчики, тоже, насколько нам позволяла наша небольшая эрудиция, защищали. Напал человек по фамилии Климович. На «Манас» даже написали пародию, строк на 500–600 с нецензурными словами, ну вроде наших гимназических пародий на «Евгения Онегина». Так вот, этот Климович говорил, что это и есть народное, а то, что мы предлагаем русскому читателю, это антинародное. Собрания были и в Институте востоковедения, против «Манаса» выступали крупные востоковеды.

Один раз меня вызвали на Лубянку, беседовал со мной человек с фамилией либо татарской, либо башкирской. Я чувство-

вал, что ему не нравится все это дело. Он от меня потребовал, чтобы я написал свое мнение. Я написал, что это не байско-феодалный, а народный эпос. А там, где в эпосе были такие эпизоды, как борьба с русскими, я утверждал, что это не является органической частью эпоса. Потом мне сказали, что в сравнении со всеми другими показаниями мое было самым смелым в защиту «Манаса».

Потом поняли идеологи, что отнять «Манас» у киргиза – все равно, что отнять Пушкина у русских, что так не пройдет. С «Манасом» все же нашли какой-то выход: победил народ. Я думаю, учли, что это чревато чем-то дурным.

– *Какие эпосы Вы переводили, кроме «Манаса»?*

– Я перевел калмыцкий эпос «Джангар», казахский эпос «Кобланды батыр», бурятский эпос «Гэсэр» и северокавказский эпос «Нарты». Это очень тяжелый труд, если относиться к нему серьезно, т. е. изучать историю народа, основы его языка, даже географию. Все это требовало колоссальной работы. Когда не печатали моих собственных стихов, это была моя единственная радость, мое счастье.

<1995>

Публикуется с исправлением опечаток по изд.: Эпос «Манас» как фактор культурной интеграции XX века: Материалы юбилейных чтений, посвященных 90-летию поэта и переводчика С.И. Липкина и 55-летию выхода книги «Манас, Великий поход» / Отв. ред.-сост.: А. Какаев, И. Исамдинов, В. Шаповалов. Бишкек: КГНУ, 2002. Впервые опубликовано: Слово Кыргызстана. 1995. 21 янв.

«СТИХИ ПИШУТСЯ САМИ...»

Беседу вел Дмитрий Полищук

Прилагаемое интервью было записано мною в Доме творчества писателей в Переделкине в августе 1996 г. Оно предназначалось для «Книжного обозрения», но по каким-то причинам так и осталось неопубликованным. Текст был согласован тогда же с самим Семеном Израилевичем, но для настоящей публикации, после обсуждения с Инной Львовной Лиснянской, в текст внесен ряд примечательных добавлений из полной расшифровки.

После этой встречи у меня было еще много бесед с С.И. Иногда в них всплывали вещи весьма значимые. К примеру, однажды (в 2002 г.), когда в разговоре речь зашла об Ахматовой, С.И. сказал, что составил

«Реквием»: «Она мне дала стихи, а я составил цикл». На мое удивление, почему об этом нигде не упомянуто, С.И. ответил, что сама А.А. нигде об этом не написала, вот и он не считал возможным говорить.

– *Семен Израилевич, в жизни каждого писателя книги занимают особое место. Как складывались Ваши взаимоотношения с книгами, какие из них оказались самыми главными?*

– Я рано научился читать. По-моему, четырех или пяти лет, и начал со сказок Пушкина и вообще с поэзии. Сильное впечатление на меня произвел Никитин, быть может, по доступности стиха. Дети соседей, гимназисты, давали мне свои книги, но тогдашняя литература для детей мне большей частью не нравилась. Помню, что читал книги Чарской, Гектора Мало «Без семьи», знаменитого тогда «Маленького лорда Фаунтлероя». Мне не очень нравился Жюль Верн, хотя он был очень знаменит, но больше нравился Майн Рид. Зато я очень любил книги по истории, но не романы, за исключением, пожалуй, Вальтера Скотта, а учебники и русскую классику. Лет восьми-девяти прочел «Тараса Бульбу» Гоголя и «Капитанскую дочку» Пушкина. Пушкин до сих пор для меня целый мир, – другого мира я, в сущности, и не знаю. Из поэзии, кроме Пушкина, хорошо знал Лермонтова, Боратынского, Тютчева, Некрасова, Фета...

Потом, хотя мой отец был ремесленник и образования не получил, но так как он был социал-демократом, меньшевиком, то выписывал легально выходявшие при царе журналы революционного характера. Они оставались в нашем доме. Это были «Мир Божий», журнал социал-демократического направления, и «Русское богатство», где редактором был Короленко, – народнического, эсеровского, что ли, направления, но это я узнал уже потом, поскольку в нем не было такого, чтобы чувствовалась партия. Я не помню тех стихотворцев, которые там печатались, но я помню свое впечатление, что стихи были плохие. Но проза для меня, которая там печаталась, была трудна, так что я уже более взрослым все это перечитывал. Там иногда был Горький и очень часто Короленко. На меня сильное впечатление произвели его вещи «В дурном обществе» и «Без языка». Стихи же я больше не читал, поскольку в первый раз они показались мне такими мало интересными. Я не знаю, как бы я отнесся к ним сейчас, если б перечитал. Но никакого другого направления того времени я не знал, скажем, с символистами, я познакомился очень поздно – с помощью Багрицкого, когда мне уже шел 16-й год.

Мне шел девятый год, когда большевики вступили в Одесу. Они занимали наш город несколько раз, и я думал: вот пришли большевики и уйдут, как всегда уходили, и так все думали,

и взрослые, но оказалось, что пришли на 70 лет. Последнюю их долгую победу я запомнил потому, что сразу начался голод. Закрылись книжные магазины и библиотеки, потому что не было отопления. Но когда годика через два-три библиотеки открылись, я абонировался сразу в двух детских, что приходилось скрывать, потому что в то время это почему-то было противозаконно. Тогда четыре книги вошли в мою жизнь: Пушкин, Библия, «Илиада» и «Одиссея». Электричества не было, а было блюдо, в которое наливали масло, вставляли ваточку и зажигали. Родители очень сердились, что я при таком маленьком свете читаю, но эти книги я читал и перечитывал. Тут даже, возможно, было какое-то болезненное явление: вот я кончу читать, и опять начинаю это же.

Позднее, в мои взрослые годы, был период, примерно между 27-м и 30-м годом, когда в библиотеке можно было взять книги, ставшие потом запретными: Бунина, изданного за границей, Шмелева, Зайцева, Ходасевича, Бердяева, Франка – всех участников «Вех» и сами «Вехи», Ницше. Тогда это выдавалось и в Одесской публичной библиотеке, и в Москве в Румянцевской. Я был постоянным читателем и особенно любил философию. Самое большое впечатление на меня произвел «Закат Европы» Шпенглера.

Произведения некоторых моих знакомых, например, Платонова и Гроссмана, и своих близких друзей: Тарковского, Штейнберга и Петровых я знал до их публикации... Багрицкий мне читал «Думу про Опанаса», когда она еще не была напечатана. Поэма была более антибольшевистская, там не было, скажем, таких строк: «Так пускай и я погибну у Попова Лога / Той же самую кончиной, что Иосиф Коган». Потом он это исправил под нажимом редакторов. Но Багрицкий читал мне больше не свои стихи, а Случевского, Анненского, Блока, Гумилева, Клюева...

А сейчас я опять вернулся к философии. Перечитываю Шпенглера и Канта уже новыми глазами, глазами старого человека. И конечно, я каждый день обращаюсь к Библии, которую люблю читать с той страницы, на какой открою, и Новый Завет, и Ветхий.

– А когда Вы сами начали писать?

– Мне нравились стихи, и писать я начал в детстве, видимо, под влиянием тех поэтов, которых тогда читал. Я рано почувствовал метр, и когда я сочинял свои детские ерундовые стишки, то всегда метр в них был правильный. У меня был товарищ, который учился играть на скрипке, и у него был замечательный музыкальный слух. Он и стихи писал, но у него на стихи не было слуха, и размер в них был не выдержан, а я ему никак не мог это

объяснить, так как не знал еще таких понятий, как ямб или хорей. Скажем, была у него рифма «бегом» и «богом» – неправильная для читателя классической поэзии. Он говорит: «Как? У меня разница в одной букве!», а я только мог возразить: «Так не получается».

В 1926 г., когда мне было 15 лет, я принес свои стихи в газету «Одесские известия». Багрицкий там был консультантом, и мы познакомились. Что-то он во мне увидел и напечатал. Тогда же я стал посещать литературные кружки при одесских газетах. Я читал, меня часто ругали, реже хвалили.

– *Вы уже понимали тогда, что поэзия – Ваше призвание?*

– Нет, я, конечно, не знал тогда, что буду профессиональным стихотворцем. Это случилось в 29-м году, когда я приехал в Москву учиться. Сразу поступить в институт я не смог, так как был сыном кустика, и, хотя выдержал все экзамены, меня не приняли. Зато напечатали во всех главных журналах: в «Новом мире», в «Октябре», в «Молодой гвардии», в альманахе «Земля и Фабрика». Все пошло у меня хорошо, я стал членом Литературного фонда (Союза писателей еще не было). Но так длилось года два, а потом меня перестали печатать.

– *С чем это было тогда связано?*

– Я еще не завоевал такого признания, чтобы мне позволили писать так, как я хочу, а направление издательской политики сделалось крайне коммунистическим. И мои стихи стали отвергаться в тех же самых журналах. Но я писал и даже составлял книги, хотя не видел возможности их издать. Только после смерти Сталина мои стихи опять стали появляться в печати. Главным образом их публиковал Твардовский в «Новом мире». Тогда я подготовил большой сборник, в котором было несколько моих поэм и лирика, и предложил его издательству «Советский писатель». Года два тянулось решение: отдавали на рецензию разным людям, но рукопись мне не возвращали. И наконец, мне показали рецензию поэтессы Адалис, чрезвычайно хвалебную, что меня удивило, потому что личные отношения у меня с ней были неважные. Но Адалис была человеком образованным, знающим, свое мнение изложила убедительно, и книгу решили издать. Меня вызвал заместитель главного редактора, ведавший стихами, Борис Соловьев. Он велел выбросить обе поэмы: о чеченце, который остался в горах, когда его народ депортировали, и другую, в которой рассказывалось о преследовании абхазского большевика Нестора Лакобы, арестованного при Сталине. И вообще, все, что резко противоречило тогдашнему политическому направлению, хотя и послесталинскому, редактор предложил снять. Я с ним начал бороться, не всегда следовал его указаниям.

И вот в 1967 г., когда мне было 56 лет, вышла книга «Очевидец». Прессой она была встречена сочувственно. А потом со мной произошла неприятность.

– *Последовал новый перерыв?*

– Да. Тогда в связи с моей переводческой работой я читал книгу по фольклору Южного Китая. Там меня поразило, что есть народ, чье имя в одном только звуке «И». Я написал стихотворение об этом народе, которое кончается так: «Человечество быть не сумеет без народа по имени И». То есть каждый народ ценен как часть человечества. Пресса восприняла это стихотворение как воспевание Израиля, поскольку название этой страны тоже начинается на букву «И». И хотя ясно, что речь идет не об Израиле, ведь там говорится, что этот народ молится в кумирне, значит, идолам поклоняется, а евреи – монотеисты, но на это не обратили внимания. Появилась статья «Фашизм под голубой звездой» и ей подобные, в общем, меня бичевали. Потом востоковеды написали в журнале «Азия и Африка», что народ «И» действительно существует в Китае и что Мао Цзе Дун его преследует, но это не помогло делу. Я был взят на подозрение, и меня перестали печатать опять.

Эта вакханалия началась в 1968 г., и восемь лет прошло, прежде чем издали мою новую книжечку, именно книжечку, «Вечный день». И в журналах печатали меня с трудом. Но меня тогда поддержали на периферии: в Таджикистане вышел сборник «Тетрадь бытия», названный по фразе из Рудаки. Половина стихов моих, а половина – переводы из таджико-персидской поэзии. А в Элисте переиздали книгу «Очевидец», потому что мне там присвоили звание Народного поэта Калмыкии.

– *За перевод «Джангара»?*

– Да, но была, вероятно, не только литературная причина. Дело в том, что в войну я служил в составе Калмыцкой 110-й кавдивизии. И еще: у калмыков первым Героем Советского Союза стал солдат Эрдни Деликов. Он погиб на моих глазах, и я сообщил о нем и о его подвиге. Думаю, что все это тоже сыграло свою роль, и вскоре после того как калмыки возвратились из депортации, мне присудили звание Народного. Калмыкия – это моя первая любовь.

– *А как начиналась Ваша переводческая деятельность, ведь для многих поэтов в то время это было занятием вынужденным?*

– У Тарковского есть строчки: «Ах, восточные переводы, как болит от вас голова». У меня такого чувства не было, я переводил с удовольствием. Первые пробы были по рекомендации Багрицкого. Я поселился около него в Кунцеве и почти каждый день у него бывал. Я не был под его влиянием литературным,

в том смысле, чтобы я ему подражал как поэту, но находился тогда под влиянием его взглядов на поэзию. Хотя потом мы неоднократно ссорились, особенно когда он написал «Смерть пионерки», которая мне не понравилась. Я по неопытности ему прямо говорил, что думаю, но Багрицкий ко мне относился не сказать, что по-отцовски, но как старший брат. Я даже его называл не Эдуард Георгиевич, а Эдя, как он сам меня попросил к нему обращаться. И вот он переводил одного поэта, и ему это надоело. И хотя он жил материально очень неважно, снимал половину избы без удобств, писал мало, поэтому и денег мало было, но ему надоело, и он попросил меня перевести под его именем ту часть, что не успел. Я это сделал, Багрицкий посмотрел, сказал, что все хорошо. И я получил большой гонорар, потому что он был на его имя.

И так постепенно по его рекомендации стал кое-что переводить. Но я уже тогда учился в Московском инженерно-экономическом институте имени Орджоникидзе, делал это мало, редко – и стал переводить профессионально только году в 32–33-м, когда заведующим отделом переводов народов СССР был назначен Шенгели. Начал я с советской поэзии. Это была чисто ремесленная работа, с подстрочников, но я относился к ней серьезно, погружался в изучение истории тех народов, поэтов которых переводил. Особенно мне нравилась их старая поэзия, но напечатать ее было трудно. И вот однажды мой сотоварищ по инженерно-экономическому институту калмык Петр Кирбасов рассказал мне о «Джангаре» и пропел целую главу. Я перевел ее довольно далеко по содержанию, но очень близко по форме. Состоялась и публикация, которую прочел Корней Иванович Чуковский, очень лестно отозвался обо мне в «Правде» и как бы поставил в ряд мастеров. С тех пор я получил возможность заниматься тем, что больше всего любил, – народно-эпической поэзией. Но «Джангар» я тем не менее переводил как бы для себя, без договора, параллельно с заказными работами. Потом были киргизский «Манас», бурятский «Гэсэр», кабардинские, балкарские и абхазские «Нарты», казахский «Кобланды-батыр»...

Я уже был в годах, когда мне предложили перевести Фирдоуси, и я стал изучать язык фарси, так что постепенно смог со словарем читать подлинник. Вообще у меня как переводчика есть масса сопоставлений Фирдоуси с мировой европейской и русской литературой. Например, в его поэме «Вахрам Чубин», Вахрам Чубин – полководец, не шах. И он встречает в лесу ведьму, которая ему предсказывает, что он станет шахом. Что вам это напоминает? Макбета. Тоже ведьма, тоже в лесу. Я проверял, мог ли знать Шекспир эту легенду через Фирдоуси. Нет, не мог, ученые

говорят, что в Италии была издана прозой какая-то глава Фирдоуси, но не эта. Но интересно совпадение: два претендента на престол, оба полководцы, оба с помощью убийства становятся владыками империи, королевства. Потом у него есть поэма о другом Вахраме, «Вахрам Гур». Там есть такая история: Вахрам Гур, скрывая то, что он шах, объезжает свою державу. Попадает он в деревню, очень запущенную, и встречает там, как ему кажется, женщину и спрашивает: «Как пройти к хозяину твоему?» Та говорит: «Я и есть хозяйин». То же самое, Чичиков Плюшкина сначала принимает за женщину. Далее описывается, какая скупость овладела хозяином, что он довел жителей деревни до нищеты. Конечно, Гоголь не мог этого знать, но что-то гениальное, видимо, связывает писателей разных эпох, разных языков. Я как-нибудь об этом напишу.

В «Шахнаме» свыше 100 тысяч строк, а я успел перевести около 30 тысяч, когда в 1979 г. в связи со скандалом вокруг альманаха «Метрополь» мы с Инной Львовной Лиснянской вышли из Союза писателей. Тогда нам наложили запрет и на эту профессию, а мои переводы стали переделываться заново.

– *И это новое молчание длилось уже до перестройки.*

– В Советском Союзе – да. Но после «Метрополя» много моих вещей оказались на Западе. Они попали в издательство «Ардис», которое передало их Бродскому. Видимо, мои стихи ему пришлись по душе, он составил книгу и назвал ее «Воля». Лучше я бы и сам не назвал. Выбрал он очень хорошо, и несколько раз очень лестно отозвался там в печати и обо мне, и об Инне Лиснянской.

– *Вы были с ним знакомы?*

– Нет, с Бродским я знаком не был. Но с ним у меня связана одна история. Когда надвинулось на него это судилище в Ленинграде, Анна Андреевна Ахматова, с которой мы дружили, в той мере, в какой рядовой поэт может дружить с поэтом великим, попросила меня, чтобы я поговорил с Твардовским о том, чтобы тот вмешался и спас бы Бродского. Я пришел к Твардовскому, рассказал суть дела. Он предложил показать ему какие-нибудь стихи Бродского, объяснив, что иначе не может в это дело включиться. Я вернулся на Ордынку, взял все, что там было: «Шествие» и несколько лирических стихотворений, и отдал их секретарше Твардовского, Софье Ханаановне. Через несколько дней она меня вызвала к редактору. Твардовский сказал, что хотя стихи никуда не годятся, но нельзя так обращаться с мальчиком. Прокофьев – жестокий человек, чекист, но он с ним переговорит. И Твардовский меня не обманул. Как мне рассказывали Гамзатов и Кулиев, разговор с Прокофьевым о Бродском произошел

в номере Гамзатова в гостинице «Москва». Твардовский сказал ему примерно следующее: человек только начал писать стихи, пусть тебе они не нравятся, мне тоже не очень нравятся, но это не форма общения с молодым поэтом, за что его преследовать? Прокофьев ответил: «Ну что ты за этого жиденка заступаешься». После чего между ними был очень крупный разговор (т. е. матом), но не сумел Твардовский защитить Бродского.

– *Но на Западе стали публиковаться не только Ваши стихи. Там Вы впервые заявили себя и как прозаик. Как складывалась судьба этих книг?*

– Повесть «Декада» вышла в США в издательстве «Chalidze publications». Она там имела успех, были рецензии, передачи по «Свободе». Названия народов в ней вымышленные, потому что повесть я начал писать, когда они еще не были возвращены. И я придумал им имена, чтобы мне было больше свободы передать обычаи и историю разных народов, а не только депортированных, т. е. я брал и балкарские, и карачаевские и кабардинские, и дагестанские легенды, потому что считал, что и другие народы могут быть депортированы, если Сталин того пожелает. Затем в издательстве «Ардис» вышла книга «Сталинград» Василия Гроссмана. Здесь ее переиздали под именем «Жизнь и судьба», поскольку нашим издателям не хотелось, чтобы было слово «Сталинград». Но у меня была в этом заглавии определенная мысль: так же как немцы подошли к Сталинграду, уже покорив огромную часть России от Бреста до Эльбруса, и потерпели поражение, так и враги Гроссмана, и преследуя его, и доведя его до могилы, были им все-таки побеждены.

– *У нас Ваши книги стали вновь появляться с 1989 г., когда в приложении к «Огоньку» вышел тоненький сборник «Лира», потом были «Лунный свет», «Письмена», книги прозы и воспоминаний, а где-то с 1991 по 1995 г. образовался новый перерыв. Это, видимо, связано с нынешней издательской ситуацией?*

– Да, когда в 92-м году повесть «Записки жильца» была напечатана в «Новом мире», ко мне приехал некто Каминский, хозяин издательства «Олимп», и заключил со мной договор на издание двух моих повестей «Декада» и «Записки жильца» и книги воспоминаний «Вторая дорога». Но тогда он не издал ни того, ни другого. И только в прошлом году, когда я получил гамбургскую Пушкинскую премию, он в нарушение договора быстро и неаккуратно напечатал только мои воспоминания, причем вместо гонорара дал мне около 500 книг от неуказанного тиража. В общем, я попал в лапы мошенника. Потом ко мне обратилось издательство «Полярис», и со мной заключили договор о переиздании пяти моих переложений народного эпоса для

детей, среди которых «Манас Великодушный» и «Приключения богатыря Шавшура» получили в свое время премии конкурса на лучшую детскую книгу. Даже мне за «Манас Великодушный» они дали аванс. Но с тех пор они пропали, и я не знаю, существует ли это издательство или оно лопнуло? А недавно в связи с 1000-летием эпоса «Манас» я получил сердечное поздравление президента Кыргызстана Акаева, в котором он между прочим пишет о том, что название моей повести «Манас Великодушный» стало народным присловьем и что он прочел эту повесть в новом издании. Так вот, я не знаю, что это за издание, а если – «Поляриса», то почему я его не видел и не имею?

И только в прошлом году в издательстве «Третья волна» вышла книга моих новых стихов «Перед заходом солнца». Сейчас нашелся один крупный предприниматель, который решил переиздать мой перевод таджико-персидской поэмы XII в. «Вис и Рамин» Гургани, – куртуазная вещь с эротическими картинками.

– *Ваши книги выходили редко и трудно, а многое ли осталось в столе, и есть ли у вас новые произведения, которые бы вы могли предложить издательствам?*

– Примерно 70 процентов того, что я считаю более или менее приличным, уже напечатано. Самые мне дорогие книги это «Воля» и «Письмена»: в них наиболее полно представлено то, что я хотел предложить читателю. И сейчас я бы мог издать небольшую книгу новых стихов, такую же по объему, как прошлогодняя. Еще есть незаконченные вещи и то, что мне по разным причинам не хочется сейчас публиковать, уж после смерти, может быть, напечатают. Но я мало кого вижу. Надо честно сказать, что ко мне издатели редко обращаются, а в мои годы неудобно быть просителем. Впрочем, один издатель нашелся, он сам талантливый писатель, но у него денежные затруднения.

– *Что Вы пишете сейчас, есть ли какие-то творческие планы?*

– Прозу я не пишу, а стихи пишутся сами.

1996

Публикация Д. Полищука.

НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ЛИТЕРАТУРЕ. ЭТО ХОРОШО

Беседу вела Ирина Тосунян

Когда, закончив беседу, я собралась уходить, Липкин достал с полки последнюю свою книжку стихов «Перед заходом солнца», надписал и протянул мне. Я, испытывая чувство неловкости, тем не менее тут же в нее влезла и прочитала надпись. «Это вы очень правильно делаете, – сказал поэт. – Когда-то вот так же свою книгу мне подарила Ахматова. Я взял и, не раскрывая, не читая, поблагодарил. Анна Андреевна заметила: “Две вещи нужно знать: не надписывать косо, а если вам надписывают книжку, – тут же надпись прочесть”. На мой растерянный вопрос, отчего же нельзя надписывать косо, ответил: “Не знаю, Ахматова, видимо, считала это дурным тоном”».

В прошлом году на вручении Липкину немецкой Пушкинской премии за вклад в русскую литературу он произнес речь, в которой были такие слова: «Один американский писатель, кажется, Генри Миллер, посетивший Россию, удивился тому, что для русских писатель Пушкин – все равно, что для американцев политик Вашингтон. Это действительно так. Александр Первый, Николай Первый, Александр Второй Освободитель – люди значительные, но для нас они императоры, жившие при Пушкине, Тютчеве, Гоголе, Толстом, Достоевском. Я думаю, что наши потомки будут знать о Хрущеве, Брежнев, Андропове и других черненко, что они были современниками Солженицына и Бродского. Уж такова Россия».

Летом 1961 г. Анна Андреевна Ахматова подарила Липкину свою «маленькую книжицу в черном переплете», вышедшую в серии «Библиотека советской поэзии», и ровно, не скашивая, надписала: «С. Липкину, чьи стихи я всегда слышу, а один раз плакала».

– Семен Израилевич, я знаю, что практически все нынешнее лето Вы провели в Доме творчества писателей в Переделкине и, наверное, там не только отдыхали, но и работали?

– Не очень интенсивно, но работал. Писал стихи.

– А можно читателям «Литературной газеты» стать первыми читателями какого-нибудь из написанных вами последних стихотворений?

*– Доныне движутся во мне
Блестящих брызг морские звуки
И параллельные волне
Твои смеющиеся руки.
Не рядом, за тобой плыву*

К вдали сияющему раю
И двух просторов синеву
В себя восторженно вбираю.
Как долго без тебя живу.
Но знаю: наконец прерву
Оцепенение тупое
И вновь с восторгом поплыву
Вслед за тобою, за тобою.

– *Знаете, когда Вы читали эти строки, я думала о том, что Заболоцкий (это свидетельство из Вашей книги воспоминаний «Вторая дорога») обозначал гармонию аббревиатурой МОМ: мысль, образ, музыка. А каково Ваше определение?*

– Близкое к формуле Заболоцкого. Я считаю, что в стихотворении самое главное – музыка. Недаром мы говорим: лирика. Стихи вышли из музыки, из лиры, из арфы. И одного стихотворца от другого можно отличить только с помощью музыки. Потому что часто идеи повторяются, но вот музыка неповторимая. Поэт прежде всего тот, чья музыка только его и принадлежит только ему. При чем это относится и к поэзии, и к прозе. Музыка Гоголя не похожа на музыку Толстого, музыка Толстого – на музыку Тургенева, музыка Тургенева – на музыку Булгакова. Я нарочно вспоминаю прозаиков, а не поэтов, потому что между прозой и стихотворной литературой нет принципиальной разницы.

Затем очень важна мысль. Не терплю зауми, мне кажется, что это выражение бессилия. Но не терплю и глупости.

– *А что Вы имеете в виду под словом «заумь»?*

– Как-то Анна Андреевна рассказывала, что ее познакомили с поэзией Константина Вагинова, даровитого поэта, довольно известного в начале советского периода русской литературы. Ахматова отнеслась к его стихам отрицательно, сказала: «Я не понимаю его. А ведь я пишу для читателя, я хочу, чтобы читатель понял!» Конечно, это не значит, что все нужно сводить к простоте Лебедева-Кумача, но к простоте Тютчева хорошо бы свести.

– *И, наконец, третье в Вашем определении гармонии?*

– Третье – это живопись.

– *То есть образ?*

– Это и образ, и рисунок, и зоркость в области природы, и зоркость в воспроизведении черт человека – все то, что является главным для живописца.

– *Что же Вы видели в Переделкине, когда сочиняли строчки о водной стихии?*

– Просто вспомнил событие из своей жизни. Когда годы идут к концу, часто вспоминаешь начало.

– Как известно, путь Ваш с самого начала не был усыпан розами, скорее в нем было больше колючек и «восточных пере-водков». Однако сегодня все изменилось. Вот и немецкая премия за... вклад в русскую литературу...

– Я настолько остолбенел, когда мне сообщили об этом, что не нашел слов в ответ. Не спал почти всю ночь. Сочинял стихотворение. Когда проснулся, оказалось, что я его забыл. Но напряг всю свою волю и вспомнил. Правда, не оставляло ощущение, что ночные стихи были лучше. Я назвал стихотворение «Квадрига». Это о друзьях моей молодости – Арсении Тарковском, Аркадии Штейнберге, Марии Петровых и обо мне, грешном. Нас было четверо безвестных поэтов, как тогда говорилось, далеких от современности. Тарковский увидел свою первую книгу напечатанной, когда ему было 52 года, я – в 56. Аркадий Штейнберг, чудный поэт, так и умер, не издав книги (ее сейчас готовит одно издательство). А у Марии Петровых, Маруси, как мы ее ласково называли, при жизни вышло (в Армении) только полкниги, потому что вторая половина – переводы.

– Может, нужно утешаться тем, что между художником и властью никогда не бывает гармонии? И чем активнее власть не приемлет писателя, тем крупнее он в итоге оказывается. Правда, сейчас как бы наступило некое подобие перемирия...

– Вынужден возразить. Не всегда власть отталкивала поэта. Тютчева, например, не отталкивала, Баратынского – как поэта – не отталкивала, я не говорю о его неблагоприятном поступке, совершенном в молодости, да и Фета, у которого были свои социальные трудности, тоже. Можем ли мы вспомнить, кого царская власть отталкивала, чьи произведения запрещала? Это происходило с теми, кто сам отталкивал власть от себя. Скажем, герценовские ранние произведения были напечатаны, Тургенева никогда власть не преследовала за его романы и рассказы, Щедрина, уж на что был критик режима, не трогала, Некрасова тоже.

– То есть мирное сосуществование вполне возможно?

– Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно проанализировать, почему советская власть преследовала писателей. Ведь не было же у нее мысли: ах, дай-ка я начну их преследовать! Просто советская власть зависела от литературы. Объявляя белым то, что черно, и черным то, что бело, она требовала, чтобы литература подтверждала этот обман. Уничтожали крестьянство – надо было писать о расцвете колхозной жизни, уничтожали интеллигенцию – надо было писать о развитии нашей научной мысли. Советская власть нуждалась в обмане, и слабые люди по слабости своей этот обман совершали, иные – преследовались.

Нынешняя власть не заинтересована в литературе. Это хорошо.

– *Почему хорошо?*

– Потому что литератор теперь независим, он может писать все, что угодно. Но наша литература не была подготовлена к такой свободе, и свобода превращается часто в бессмыслицу, часто – в цензурность в прямом смысле этого слова. Все это пройдет, все будет в порядке. Надо только не торопиться, понимать, что русская литература – это великая литература, она была такой и будет такой.

– *Я прочитала Ваше эссе «Карьера Затычкина», такую молодую, такую искрометную прозу...*

– Спасибо за лестный отзыв.

– *Но у меня есть и вопрос. Вы пишете о советских поэтах, разделяя большую их часть на «пролетарских» и «комсомольских». «Пролетарских», более для Вас предпочтительных и по уровню образования, и по душевному настрою, тех, кто, как Вы считаете, «представляли собою определенный, хотя и непрочный пласт цивилизации», уж нет больше. Остались «комсомольские», чья характерная черта, по Вашему же определению, «безликость, массовость лица»...*

– Остались ли? У меня ведь есть и продолжение: «Поэтому они всегда, из поколения в поколение, у нас процветают, пока это нужно Государству».

– *Но Вы причисляете к ним не только поэтов от Маяковского до Жарова, Безыменского и Светлова, но и в какой-то мере относите к ним и Вознесенского, и Евтушенко...*

– Вот именно, в какой-то мере. Я пишу, что даже у Евтушенко и Вознесенского есть черты комсомольских поэтов. Потом учтите, эссе написано более десяти лет тому назад.

– *Что ж, значит, они исправились. А у нынешних молодых Вы таких черт не видите? И потому говорите, что «все пройдет, все будет хорошо»?*

– Такие черты уже не нужны. Если были бы нужны, нашлись бы и новые «комсомольские поэты», беспринципных людей много.

– *После публикации «Карьеры Затычкина» на Вас никто не обиделся?*

– Я мало с кем встречаюсь, не знаю, может, кто и обиделся. В книгу вошли и другие мои воспоминания, которые я написал до тягостных для меня событий. Это книга о Гроссмане, довольно большие по объему воспоминания о Мандельштаме, которые я долго не мог напечатать, хотя и предлагал разным журналам. О Гроссмане вышло за границей.

– *Мандельштаму, как Вы вспоминаете, «очень нужен был слушатель, заменяющий станок Гутенберга». Он был одинок. А Вы? Случалось читать свои стихи юному дарованию, забредшему к Вам в поисках одобрения своего рифмованного творчества? Хотелось ли Вам тоже связи с временем?*

– Трудный вопрос. Во-первых, я не люблю читать свои стихи и делаю это только в присутствии тех людей, о которых заранее знаю, что им будет интересно меня слушать. Не важно, понравятся стихи или нет. В прежние годы я читал только самым своим близким друзьям. Читал Ахматовой, Мандельштаму, Платонову, Гроссману.

– *Начиная с Багрицкого.*

– Да, начиная с Багрицкого. Но тут уж я не читал, а просто приносил как гимназист учителю. Надо сказать, что и время было другое. Или я был другим? Сейчас молодые поэты просто приходят и читают мне стихи. Я их об этом не прошу, а они – читают. Раньше так не делалось.

– *Вы хотите сказать, что молодому дарованию «путевку в жизнь» должна давать сама жизнь, но не поэт более старшего поколения? А как же тогда преемственность, наставничество, а как же: «Старик Державин нас заметил...»? И если бы Вы сами, еще гимназистом, не пришли к Багрицкому, и если бы Вами не занимался Мандельштам?..*

– Я бы все равно писал. Может быть, не стал бы профессиональным стихотворцем, но писал бы. К Мандельштаму я пришел только потому, что он написал мне открытку. Очень хотелось прочитать стихи Андрею Белому. Мы были соседями, я жил в Неопалимовском переулке, а он – в Долгом. Иногда гуляли по переулкам, говорили больше о математике, но, конечно, и о литературе. Я очень хотел узнать мнение этого огромного поэта о своих стихах. Но он не предложил мне их прочесть, а я не попросил. Так же было и с Пастернаком, который как-то сказал мне: «Маруся Петровых говорит, что вы пишете хорошие стихи». Но даже в этот момент мне показалась некрасивой, назойливой моя возможная просьба разрешить прочитать стихи. Так я никогда и не читал ему.

– *О Вас говорят, что Вы перевели «практически все (!) эпосы азиатских народов бывшего СССР». У Вас от восточных переводов никогда не «болела голова»?*

– Никогда. Я очень любил переводить и классическую поэзию, и народно-поэтическую. И делал это с удовольствием. Когда издательство «Ардис» выпустило мою книгу «Воля», которую составил Бродский, по радио «Свобода» я услышал передачу о себе, где говорилось, что я, мол, долгие годы вынужден был

заниматься не своим делом – переводами. Если бы я тогда имел возможность поговорить с Карлом Проффером – выступал именно он, – я сказал бы, как он неправ. Действительно, я начал переводить ради хлеба насущного, но увлекся. Много читал книг по истории народа, эпос которого переводил, кое-как выучил язык фарси и работал с подлинниками...

– *С эпосом все ясно. А Ваши переводы стихов, славящих «вождя всех народов»? Хотелось бы Вам, чтобы они исчезли, канули в небытие?*

– Да, я вспоминаю об этом с чувством стыда. Но, может быть, вам первой признаюсь, что и эти вещи переводил с удовольствием. Потому что любил тот народ и тех поэтов, с языка которых переводил.

– *После Вашего вполне безобидного участия в альманахе «Метрополь» начались гонения, которые перекрыли все даже предполагаемые неприятности. Я знаю, что авторы альманаха условились в знак протеста подать заявление о выходе из Союза писателей (те, конечно, кто к тому времени в нем состоял). Сделали это только Вы с Инной Львовной Лиснянской, Вашей женой.*

– И еще Аксенов.

– *Получается, что Вас тогда фактически предали? Не пора ли назвать все своими именами? Возможно, всех вместе не стали бы так строго судить и преследовать?*

– Писателя, художника судят по тому, что он написал, а не по его поступкам. Я никого не хочу судить. В альманахе «Метрополь» участвовали крупные талантливые писатели, много сделавшие для русской словесности. Дай Бог им долгой жизни. Жалко, что умер Юрий Карабчиевский. Нам с Инной Львовной он очень нравился.

– *Но у Карабчиевского и положение было особое. Характеризуя метропольские времена, он говорил: «Я считаю, что в итоге никто ничего не потерял. А мне и вообще терять было нечего: я был рабочим, чинил всякие электронные приборы. Так что и пасть было некуда, и терять нечего. Я только приобретал: литературный круг, друзей, наконец – легальное положение».*

– Вообще-то время было хорошее.

– ?

– *Что вы так удивляетесь? Мы были несколько моложе, много писали, так как уже не надо было заниматься переводами. Я, например, написал столько, сколько не написал за всю свою прежнюю жизнь.*

– *Решиться на такой поступок было тяжело?*

– Нелегко. Мы с Инной Львовной продумывали, что может быть? Могли быть арест и концлагерь, могли быть арест и ссыл-

ка, могли выслать за рубеж. Правда, когда нас вызвали, пугали высылкой. Инна Львовна заявила: «Выеду только в наручниках». Я же, когда, уже в 1985 г., допрашивающий сказал, что жителям Фрунзенского района не хочется, чтобы среди них жили такие люди, ответил, как мне тогда показалось, весьма остроумно: «Не все жители. Например, один видный житель Фрунзенского района пожелал мне счастья, здоровья и творческих успехов». Последовал быстрый вопрос: «Кто?» Я сказал: «Военный комиссар района, который к 40-летию Победы вручил мне орден “Отечественной войны”». Но никто не улыбнулся.

– *Как-то Вы сказали, что хотели бы написать об Ахматовой, которую хорошо знали, но после книги Лидии Корнеевны Чуковской это сделать очень трудно. Почему?*

– Лидия Корнеевна, как известно, вела дневник, все записывала. Я, к стыду своему, этого не делал.

– *Значит, все Ваши статьи – о Мандельштаме, Цветаевой, Шенгели, Гроссмане, Заболоцком Вы писали по памяти?*

– Все по памяти. Мне не приходило в голову, что нужно вести дневник.

– *Поэтому и обозначили небольшую статью об Ахматовой в книге «Вторая дорога» как «Разрозненные воспоминания»?*

– Я иногда вспоминаю то, что не вошло в мои коротенькие «Беседы с Ахматовой», ее слова по тому или иному поводу, различные жизненные ситуации. Может быть, дополню. Но дело в том, что, вспомнив ту или иную фразу Ахматовой, я нахожу ее уже воспроизведенной в «Записках» Лидии Корнеевны.

– *А о ком из близких Вам людей Вы еще не написали, но хотели бы написать?*

– Хотел бы больше написать об Андрее Платонове, о его творчестве, о его жизни, о его слабостях... Но вряд ли мне это удастся, нет времени, да и память уже не та.

– *У Вас часто бывают такие определения: маленький, но даровитый писатель, небольшой, но крепкий талант. Из чего Вы исходите в своей классификации?*

– У нас сейчас девальвировалось слово «великий». Скажем, какая-нибудь эстрадная певица, которая хорошо поет, является великой. А ей еще очень далеко до этого определения. Конечно, и литература, и искусство не состоят только из гениев или талантов. Есть просто небольшие дарования, но которые ценятся. Например, мы Батюшкова не называем великим. Как-то не принято. Он родился лет 200 назад, а до сих пор читаешь его и восхищаешься. Но какая-то градация все же необходима. Представьте себе, что вам дают три золотиносные породы. В первой – один процент золота, во второй – пять процентов, в третьей – девяно-

сто. Так к чему ближе порода с одним процентом золота: к нулю или к девяноста? Я считаю, что – к последнему. Потому что, отбрось ненужные 99 – и что-то останется.

– *Значит, можно это распространить и на опыт советской литературы, где существовала четкая градация, но в зависимости от занимаемой тем или иным писателем должности?*

– Мы уже договорились, что советская литература нужна была советской власти. Поэтому титулы, которые давала советская власть, не были случайными. Это зависело от того, насколько тот или иной писатель был ей нужен и насколько хорошо он ей служил. Но, бесспорно, в советское время были и великие писатели, и крупные дарования. Скажем, Бабель, Булгаков, Гроссман, Платонов, Зощенко, Заболоцкий... Но были и просто хорошие писатели. Ведь хорошим был писатель Григорович, хотя и не великим.

– *Сошлюсь опять-таки на Ваше выступление на вручении Вам Фондом Альфреда Тёпфера Пушкинской премии: «В искусстве, в литературе нет прогресса. Далеко не каждый современный писатель, живописец, скульптор, композитор, даже если он удачлив, разбирается в своем деле лучше предшественников, даже самых древних. Слепой Гомер не знал грамоты, посещал, гласит предание, семь городов верхом на ослике, а Лимонов читает, вероятно, на двух языках, летает с материка на материк в самолете, но он не только по таланту, он по уму и образованности дикарь по сравнению с Гомером, а самое главное – по высоте и глубине понимания человека отстает от Гомера на много веков. В сущности, то же самое может сказать о себе ваш покорный слуга». Следовательно, вслед за Золотым и Серебряным веками литературы не обязательно наступит Бронзовый, а то и Бриллиантовый?*

– Почему мы называем Серебряным век, который длился примерно 20 лет? Почему не Золотым? Ведь в то время жили великие писатели! Я исключаю Толстого и Чехова: первый прожил в Серебряном веке десять лет, второй четыре года. В Серебряном веке, повторюсь, жили великие писатели. Но не было гениев. Если говорить о поэтах, у нас в России три гения: это Пушкин, Лермонтов и Тютчев. Если называть прозаиков – Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов. Я, конечно, высказываю свое мнение. Что будет дальше, я не знаю, мы с вами не можем определить. Но, исходя из величия русской литературы, надеюсь, что все станет на свое место. Ведь возник в самое тяжелое время великий писатель Солженицын. Почему этого не может произойти снова?

Публикуется по изд.: Литературная газета.
30.10.1996. № 44 (5626).

ПОКУРИМ, СЕМЕН ИЗРАИЛЕВИЧ?

Беседу вела Юнна Чуприна

С этого вопроса начался роман поэтов Семена Липкина и Инны Лиснянской, которые вместе уже 30 лет и в этом году сыграли свадьбу. По знаку судьбы, в литературной энциклопедии эти фамилии идут одна за другой. Семен Израилевич ЛИПКИН – прекрасный поэт и блестящий переводчик классической поэзии и народных сказаний с таджикского, калмыцкого, узбекского, кабардинского, киргизского языков. Лауреат гамбургской Пушкинской премии. Инна Львовна ЛИСНЯНСКАЯ – тонкий лирик, автор нескольких поэтических книг. Об их творческой жизни известно предостаточно. А вот о жизни совместной – а точнее, об известном им одним секрете «уживания» – знают гораздо меньше.

Инна Львовна: Некоторые думают, что мы с Семеном Израилевичем пишем в одной традиции. И жестоко ошибаются. Может быть, это покажется вам банальным, но мы с ним – абсолютные противоположности. А противоположностям суждено сходиться.

Инна Львовна и Семен Израилевич, Он и Она, встретились в Доме творчества писателей в Малеевке. Встретились – познакомились. Все началось с невинной вредной привычки: в том далеком январе 1967 г. оба курили. Инна Львовна частенько говорила: «Покурим, Семен Израилевич?» Эта фраза и стала залогом их будущего союза. Семен Израилевич давно бросил курить, Инна Львовна, к его неудовольствию, и сегодня «бешено» курит. Но если необходимо обсудить что-то серьезное, оба вспоминают: «Покурим, Семен Израилевич?» Усаживаются и начинают разговаривать.

Она: В свое время я часто раздумывала – почему мы встретились, почему полюбили. Ведь у каждого в то время были свои семьи и своя устоявшаяся жизнь.

Семен Израилевич был очень хитрый ухажер: все время мне внушал, что я некрасива. Это меня удивляло и даже возмущало. Все время вспоминала строчки из Ахматовой: «Если ты у ног моих положен, ласковый, лежи». И думала: подожди, придет время, и ты будешь у моих ног. (*Смеется.*)

Он: Сам не знаю, как я мог быть так груб. Скорее всего, оборонялся от зарождающегося чувства. Я ведь старше Инны Львовны на целых 17 лет. Когда мы познакомились, не понимал, что меня к ней потянуло. Я как раз пережил некоторое личное разочарование и почему-то сразу доверил Инне Львовне, малоизвестному человеку, свои переживания.

Она: Меня же в первую очередь поразил ум Семена Израилевича. По мне, так глупость убивает всякую любовь, самую страстную. И только ум ее поддерживает и освящает.

Мы на самом деле совершенно противоположные натуры. Семен Израилевич педантичен и аккуратен, я, к сожалению, совершенно разбросанна. Но мы идем друг другу навстречу: за те 30 лет, что мы вместе, я, например, стала аккуратней и в доме, и во времени, и в стихах.

Он: Ты исчерпала тему. (*Смеется.*) Конечно, у нас, как и у всяких людей, бывают споры. Но никогда не бывает бытовых разладов. Инна Львовна более тверда в своих убеждениях, я более либерален. Нельзя забывать: помимо того что мы муж и жена, мы еще и литераторы. Не скажу – поэты, именно литераторы. Которые не только уважают, но и ценят друг друга.

О Семене Израилевиче и Инне Львовне ходят разнообразные симпатичные слухи. Например, рассказывают, что когда у кого-то из них выходит новая книжка стихов, они дарят ее друг другу с трогательными надписями. Оказалось, так и есть. Более того, прочтя сборник Инны Львовны «Из первых уст», Семен Израилевич сочинил резюмирующую надпись: «Книгу прочел... Что живее отрад, в чем пониманье обоих заветов? Все! Закрываю тебя в первый ряд нынешних русских поэтов».

Она: Он не только свои впечатления оставляет. Иногда прямо на полях выставляет отметки: это стихотворение или даже строчка – пять, это – три с минусом. Причем не только мне.

Он: Стихи сыграли большую роль еще при нашем сближении. А началось все с того, что стихи, которые Инна Львовна показала, мне не понравились. Хотя по отдельным строкам я решил, что она гораздо талантливее меня, просто гораздо меньше знает.

Она: А знаете, как интересно получилось с этими стихами? В одном из издательств мне сказали: ничего из того, что вы принесли, мы печатать не будем. Это слишком далеко от народа и чересчур религиозно. Нам не нужны вторые Ахматовы и Цветаевы. А я на это: «Вам и первые не нужны». Но они все же предложили: «Вы много пишете, вот и принесите что-нибудь похуже, а еще лучше – самое плохое, что у вас есть, – тогда напечатаем». В той книжке, по которой Семен Израилевич меня судил, были собраны самые неудачные стихи.

Зато я знала стихи Семена Израилевича еще до нашего знакомства. В те времена его не печатали, но в 62-м году я попала на один вечер в Дом литераторов. Там выступали Арсений

Тарковский, Слуцкий, Глазков – главным образом переводчики, коллеги Семена Израилевича. И помню, как меня поразила поэма Липкина «Техник-интендант». Это замечательное произведение с новым взглядом на войну, новым ее ощущением, о чем впоследствии говорил Иосиф Бродский.

С того времени, как мы стали жить вместе, я всегда – первый читатель Семена Израилевича. В отличие от Липкина: ведь он может так резко выразиться, что я пугаюсь. В моей жизни был период – года два, – когда я совсем ничего ему не показывала, только уже вышедшие журналы.

Он: Неужели так было целых два года?

Она: Вы читали записные книжки Ахматовой? Читаешь и понимаешь, что ей было просто невозможно продолжать жить с Гумилевым. Она боялась, что ее будут считать его ученицей. Ничего удивительного, ведь Ахматова – характер, великий поэт, и в своем эгоцентризме, и в построении своей биографии. Кроме того, когда она боялась прослыть ученицей, она была молода, чего не скажешь обо мне. Да и кто такая я?

Это случилось уже в феврале 1997 г. В квартиру Липкина и Лиснянской позвонила Белла Ахмадулина. На вопрос о том, где хозяйева, женщина, которая помогает поэтам по дому, ответила: «А их нет. Ведь у нас такое событие, такое событие». Ахмадулина перезвонила позже. «Что случилось?» – «У нас радостное событие». – «Премия, что ли?» – начала гадать Белла Ахатовна. Да так и не угадала. Дело в том, что после 30 лет совместной жизни Инна Львовна и Семен Израилевич официально зарегистрировались. Свадьбу играли три дня. Один из гостей, писатель и старый друг семьи Евгений Попов, упомянул о ней в колонке светских новостей и тем самым превратил событие семейной жизни в факт светской хроники.

Он: На самом деле мы стали жить как муж и жена в 67-м году. Но в прежней семье у меня было четверо детей, и я не сразу смог их оставить. Более того, я дал слово жене, что никогда с ней не разведусь. И слово держал, хотя уже понимал, что это ошибка. В 78-м я ушел к Инне Львовне окончательно. Но тут началась история, связанная с альманахом «Метрополь», нас преследовали. И я, честно говоря, боялся, что если начну дело о разводе, это повредит всем.

Сегодня мне уже много лет. Помните, как мужики говорили о Льве Толстом: «Там его давно ждут». Я, конечно, не равняюсь с Толстым, но меня тоже уже ждут. Я решил, что настала пора завершить затянувшееся дело. И первым делом купил Инночке кольцо.

Она: Теперь, когда у Семена Израилевича плохое настроение или он на меня рассердится, я всегда показываю палец и колечко, и мы начинаем смеяться.

Вначале я очень переживала, что наши отношения не были узаконены. Но вскоре привыкла: мы живем под одной крышей, и слава Богу. Даже отговаривала Семена Израилевича от этой затеи, вроде мы уже стары для этого. Но когда наконец обратилась в официальную жену, то почувствовала какое-то облегчение. И радость. Да и Семен Израилевич – он во всем любит порядок – стал поспокойней.

Сама я смогла оставить прежнюю семью гораздо быстрее. Хотя моя дочь, ныне писательница Елена Макарова, была моложе детей Семена Израилевича, ей было всего 16. Но жить во лжи для меня всегда было невозможно. Да и вообще я прытче.

Он: Еще молода дэтына. (*Смеется.*)

Как-то утром, много лет назад, Семен Израилевич вышел из дому. У него тогда только начиналась так называемая грудная жаба, и на свежем осеннем воздухе сразу сжалось сердце. Прежде чем пойти куда-то по делам, Семен Израилевич постоял минутку-другую на ступеньках у парадного. Вдруг проходит мимо него человек огромного роста. И говорит, показывая на Семена Израилевича пальцем: «У вас есть поэмы, у меня есть поэмы. Вы великий поэт, я великий поэт. Меня зовут Рейн». Так Семен Израилевич «познакомился» с поэтом Евгением Рейном.

Он: Спустя много лет Рейн пригласил меня участвовать в литературном и абсолютно аполитичном альманахе. Он назывался «Метрополь». С еще одним «метропольцем», Василием Аксеновым, я тогда почти не был знаком, знал его как сына Евгении Семеновны Гинзбург. В ее однокомнатной квартире, в то время принадлежавшей Аксенову, все и производилось.

«Метропольцы» были гораздо моложе меня. Инна Львовна, хотя и старше, скажем, Ахмадулиной, но они принадлежат к одному литературному поколению. Другое дело – я. Не случайно Аксенов потом вывел меня в одном из романов как «грузина», единственного старика в компании.

Она: А меня этот альманах в первую очередь привлек заверениями в том, что не будет никакой цензуры, никто не будет ничего вычеркивать. Для меня как для идеалиста это казалось самым важным.

И в таком разговоре – о любви – надо различать два понятия: идеализм и цинизм, два типа людей – идеалистов и циников. «Кто был ни с чем, тот станет всем» – это присутствует уже в Библии. Тот, кто слушает Господа Бога, пусть он нищ, возвысится.

Тот, кто не внимает Богу, унизится. В нашем обществе этот постулат восприняли атеистически: «Кто был ничем, тот станет всем».

Это, безусловно, не значит, что если какой-то человек живет богато, он обязательно циник. Даже при том расслоении жизни, какое сегодня происходит, мы живем нормально, мы не нищие. И наш разговор с большинством враз разбогатевших – это не разговор нищего с богатым, а разговор идеалистов с циниками.

Он: Любовь – это не только отношение мужчины к женщине и детей к родителям. Самое главное, это понимание того, что любовь есть Бог, а Бог есть любовь. Надо просто любить Бога и его создания.

Циник не может любить никого, кроме себя. И жену, и близких он любит только как приложение к себе, как услугу своей любви. Именно из любви к себе рождается тоталитаризм и национал-социализм. Такие люди встречались всегда. Но, как мне кажется, сегодня их особенно много.

Мы как будто завоевали абсолютную свободу, но при этом утеряти чувство любви к человеку. В первую очередь благодаря атеизму. И главным образом – атеизму воинствующему. Когда я был ребенком, я сам видел, как грабят церкви, выносят оклады, какой это разврат для человека. Это был конец любви. Поэтому сегодня только любовь спасет нас.

Она: А никакая не красота. Вот посмотрите на Окуджаву, он был моим другом почти 40 лет. Он все время повторял: «Я атеист, я не верую». Но если бы он действительно не веровал, откуда бы возник «Надежды маленький оркестрик под управлением любви»?

На следующий день после похорон Булата Ольга, его вдова, пришла к нам в Переделкино. Я вспоминала наши первые встречи. Ей было интересно, ведь мало кто знал Булата так же долго, как я, с 1957 г. Мы обсуждали планы открытия музея Окуджавы. По всей видимости, им станет дом в Переделкине.

В 1979 г., после выхода альманаха «Метрополь», на головы его составителей посыпались обвинения. Двух самых незащищенных – Виктора Ерофеева и Евгения Попова – исключили из Союза писателей. Липкин и Лиснянская вышли из Союза в знак протеста. И тем самым Семен Израилевич ни много ни мало подорвал дружбу братских советских народов. Его, одного из крупнейших переводчиков республиканской литературы, запретили публиковать. Говорят, что в ответ на все «ахи» и «охи» по этому поводу тогдашний литературный начальник Сергей Михалков резюмировал: «Не надо паники. Мы найдем другого Липкина». Да так и не нашел.

Он: Наибольшим преследованиям подверглась Инна Львовна. Наверное, из-за того, что я – старше, что участник войны, что как переводчик был в своем деле довольно известен, даже награжден всякими почетными званиями. Самое страшное, чего я боялся, – что ее вышлют, а меня оставят. Что нас разлучат.

Она: А мне сегодня вспоминается только смешное...

Он: Например, мне сообщили, что жители Фрунзенского района, возмущенные тем, что мы живем с ними рядом, потребовали нашей высылки. Это было уже в 1986 г. Я отвечаю: «Не все жители возмущены. Есть один видный житель, который не только не возмущен, но и желает мне здоровья и творческих успехов». Они встрепнулись: «Кто?» – «Военком Фрунзенского района. Именно он вручал мне орден Отечественной войны в годовщину Победы».

Но никакого впечатления мой ответ не произвел. Я надеялся на смущение, хотя бы на улыбку, но они продолжали смотреть жестко.

А вскоре после этого я перенес операцию. Инна Львовна, а она неотрывно находилась в больнице, должна была поехать домой, чтобы подготовить нашу небольшую квартиру к моему «лежанию»: зашить меня собирались только через несколько месяцев. Не успела она открыть дверь, раздался телефонный звонок: «О вас опять говорила “Свобода”». А Инна Львовна в ответ: «О Горбачеве “Свобода” говорит целый день, а вы его не трогаете».

Она: Это был последний разговор. Я пригрозила, что дам телеграмму Горбачеву: «Уважаемый Михаил Сергеевич, почему о вас можно говорить по “Свободе” круглосуточно, а обо мне никогда?» И звонить действительно перестали. Это был март 87-го года.

Если честно, я вспоминаю это время как благословенное, мы много писали, хотя и без надежды на публикацию. Они придирались, издевались, хотели обидеть. Например, как вам такой пассаж? Вот, говорят, вышел сахаровский сборник. И в нем – ваши произведения. И еще, между прочим, творения «вашего друга, мужа, непонятно кого, этого, как его, в общем, Липкина».

Он: Кроме того, в то время специально распространялись слухи, что мы вышли из Союза не в знак протеста против исключения Попова и Ерофеева, а чтобы облегчить себе выезд за границу. А мы вообще не собирались уезжать.

Она: Я, наверное, очень хитрая. Уже на первом допросе мне удалось – правда, нечаянно – выбить из-под них табуретку. Я сразу поняла, что они будут настаивать на нашем отъезде. Потому что не понимали, не думали, не представляли себе, что такое

настоящие идеалисты. Потому что считали, что все должно быть материально оправданно и обоснованно.

Он: Забавно, но их надежды на наш отъезд даже сыграли нам на руку. Мы тогда жили только на две пенсии: Инны Львовны по инвалидности и мою по возрасту. Но незадолго до этого я перевел огромный бурятский эпос. Выплаченные 60 процентов гонорара оставил в прежней семье. И во время гонений мы получили остальные 40 процентов: они просто испугались, что мы уедем и потребуем эту сумму уже в валюте.

Она: Они говорили: «Там, на Западе, уже есть один, которым гордятся (имея в виду Бродского). Но вы здесь, и мы не позволим, чтобы гордились вами». А я отвечала: «Кто вам мешает, публикуйте меня и гордитесь мною здесь».

Как и прежде аполитичные, Семен Израилевич и Инна Львовна недавно попали на страницы газеты «Завтра». С самыми лестными для себя эпитетами: газета напечатала сообщение о том, что «наши прекрасные поэты Семен Липкин и Инна Лиснянская» обвенчались. И прокомментировала: да как же они, столько лет писавшие все больше о Христе, жили необвенчанными, попросту говоря, в блуде? Но газета в который раз обманулась: никакого венчания не было и быть не могло. Семен Израилевич и Инна Львовна принадлежат к разным религиозным конфессиям.

Она: Мне кажется, что вопрос о Боге – это самый щекотливый вопрос в любви. Ведь эти отношения еще более интимны, чем отношения между мужчиной и женщиной. Я не ортодоксально верующий человек. Мать была армянкой, бабушка и няня крестили меня втайне от комсомольцев-родителей. Сегодня, когда всех по разным причинам потянуло в церковь, я хожу туда все реже. В своей комнате держу икону, зажигаю лампадку. Когда хочу, молюсь. Во мне никогда не было обязательной церковности. Никакого агрессивного отношения, как у некоторых сегодняшних неофитов. Может, я не права и говорю нечто антицерковное, но ведь верно было сказано: не человек для субботы, а суббота для человека.

Он: Я верующий иудей. В прежние времена, когда был здоровее, я пытался следовать некоторым обрядам. Всегда постился. Однажды во время войны, когда служил в Кронштадте, пропустил пост: мы тонули, и я даже не знал, в какой день его следует соблюдать. Это мой грех.

Но я люблю Христа. Я считаю, что Нагорная проповедь, хотя она во многом повторяет слова иудейского пророка Исаяи, есть величайшее творение человеческого разума. Я не могу

принять святую Троицу. Но это не значит, что православный человек мне чужд. Я люблю Инну Львовну, люблю все, что ей дорого. И ее крестик кажется мне таким трогательным...

Публикуется по изд.: Общая газета.
1997. 18–24 сент. № 37 (216).

ИСКУССТВО НЕ ЗНАЕТ СТАРОСТИ

Беседу вела Ольга Постникова

Я не знаю, возможно ли Царство Божие на земле, но твердо знаю, что Царство Божие есть в нас. Поэтому мы сильнее зла, Россия сильнее зла.
Семен Липкин. Жизнь и судьба Василия Гроссмана

– *Семен Израилевич, многие хотели бы задать Вам вопросы о Вашем творчестве и Вашей жизни, узнать ваш взгляд на судьбу литературы в XX в. и русской литературы в постимперское время.*

Поручив мне вести с Вами беседу на литературные темы, журнал «Вопросы литературы» предстает, по сути, тремя вопрошающими: главный редактор Лазарь Ильич Лазарев, Татьяна Бек и я. У каждого из названных свои вопросы, а задавать их буду я.

В интервью газете «Русская мысль» от 3 февраля 1983 г. Иосиф Бродский говорит: «...Меня всегда поражало, как это получилось, что в России, на долю которой выпал такой уникальный, катастрофический во многих отношениях опыт, опыт приближения человека к самым экзистенциальным основам: годы коллективизации, война, не говоря уже о терроре... как получилось, что это не нашло почти никакого отражения в поэзии.

И вот я читаю Липкина... Липкин – поэт замечательный во многих отношениях, хотя, я думаю, его поэтика пострадала от того, что ему пришлось заниматься всю жизнь переводами. И даже поразительно, как Липкин все-таки остался достаточно независим... Совершенно ошеломляет, когда, скажем, в поэтике позднего романтизма рассказывается об отступлении огромной группы войск, это что-то совершенно уникальное, это действительно эпос».

Бродский был, как известно, составителем Вашей первой большой книги «Воля», собрав тексты из попавшего на Запад «самиздата». Как создавались поэмы, вошедшие в нее?

– Вопрос о том, как составлялись мои поэмы, опубликованные в книге «Воля» под общим названием «Вождь и племя», заставил меня крепко задуматься. Необходимо начать с того, что мне, вышедшему в январе 1980 г. из Союза писателей, жившему в родной стране под запретом на профессию, было, конечно, известно, что в американском издательстве «Ардис» должна выйти книга моих стихов, но я не мог предположить, что книга будет издана в таком большом объеме, что ее составит такой крупный поэт, как Иосиф Бродский, с которым я не был знаком.

С первых своих сознательных лет я начал задумываться над единством Бога и нации. Как объяснить это единство? Оно естественно для евреев: разбросанное по всему миру, лишенное 20 веков назад государственности, еврейство находило себя как нацию только в Боге. Окруженное со всех сторон идолопоклонниками, среди всемирного язычества еврейство начало существовать и продолжало существовать только потому, что верило в единого Бога.

Христианство, могучее и революционное наследие иудаизма, родилось как религия всего человечества. Разделенная впоследствии на несколько конфессий, христианская вера никогда не дробилась на нации. Ставший у нас печально известным «пятый пункт» отсутствовал в паспортах царской России: указывалось только вероисповедание. Ганнибал был завидным женихом: никакого значения не имело, что он негр. Важно было, что он православный и, конечно, любимец Петра.

В то же время в самом православии многое связано с исповедующей его нацией, с ее историей, с природой обитания, с дохристианскими языческими обычаями, с пониманием нацией своего места на земле. Например, у православных русских есть понятие «Святая Русь», в то время как у православных румын понятия «Святая Румыния» нет. Бог и нация неотделимы. Ленин этого не понял, Сталин, родившийся в котле наций, пусть не сразу, уловил это кавказским чутьем.

Равенство наций, больших и малых, прекрасно и благородно. Оно рождено христианством. Интернационализм противоречит самому естеству послевавилонского человека.

Октябрьский переворот отравил ядом воинствующего атеизма многих русских людей – рабочих, крестьян, ремесленников. В деревнях грабили и жгли не только дворянские усадьбы, но и церкви, а так называемая передовая интеллигенция в большинстве своем жила вне Бога.

Должен сказать, что мусульманское население, покорно взирая на закрытие медресе и мечетей, само не участвовало в их уничтожении. Мусульманские коммунисты, чтобы понравиться

советским властям, охотно ругали свое духовенство, но я не припоминаю их антирелигиозных высказываний, их участия в уничтожении религиозных зданий. Это понятно: для них Аллах оставался символом нации.

Начавшееся в 1930-х поголовное истребление миллионов работающих крестьян, русских и нерусских, явилось продолжением воинствующего атеизма. Еще Ленин знал: чтобы убить земную плоть, надо сначала уничтожить божественную душу. Сталин, единственный среди большевиков верный ученик Ленина, стал действовать как вождь дикого африканского племени: на пепельницы – черепа. До войны с вождем немецкого племени Сталин видел в своих рабах только врагов личных, внутренних и классовых. Победивший фюрера, но очарованный им, Сталин уразумел, что большевизму надо нацелить подвластное население на ненависть к врагам расовым. Это было нелегко осуществить в многонациональном государстве, но нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. Сталин, гений практического злодейства, облегчив свою задачу, начал с преследования малых народов. А ведь недавно, когда власть большевиков еще не окрепла, заискивал перед кавказскими горцами, в ноябре 1920 г. торжественно обещал дагестанцам сохранить у них законы шариата.

– Я знаю, как много писателей было очаровано советской властью и коммунистическими идеями. Когда-то я хотела спросить Вас, каково было Ваше отношение к этому на протяжении жизни, но Ваши книги «Вторая дорога» и «Квадрига» дали ответ на такой вопрос.

– Должен признаться, мне, рано понявшему дьявольскую сущность большевизма, в голову не приходило, что он, большевизм, станет истреблять целые нации, истреблять вместе с преданными ему коммунистами, с комсомольцами, с пионерами, с зародышами в чреве матерей. Опыт немецкого фашизма вдохновлял Сталина.

В самом начале войны была ликвидирована Республика немцев Поволжья. Немцев, всех до единого, выслали в Среднюю Азию и в Сибирь. Наше население отнеслось к этому либо безразлично, либо одобрительно: так немцам и надо. Затем высылке подверглись другие нации. Половина их погибала по пути в скотских вагонах. Это была не только жестокость. Впервые большевики (еще раз отдадим должное Сталину) признали, что класс, коммунистические убеждения – это ничто, для власти важна раса, важно не классовое, а национальное самосознание. Так возник нынешний национал-большевизм.

Огромным горем для меня была поголовная высылка калмыков: еще на студенческой скамье я с помощью калмыка-одно-

курсника Петра Кирбасова начал переводить их древний буддийский эпос «Джангар», калмыки – моя первая любовь. Выслали и чеченцев, и ингушей, чьих поэтов-сказителей я переводил еще до войны.

Как переводчик киргизского эпоса «Манас» я вскоре после войны, в 1946 г., приехал во Фрунзе (теперь Бишкек) и нашел там своих друзей-поэтов, спецпереселенцев – балкарца Кайсына Кулиева, раненного на войне, и ингуша Джемалдина Яндиева. Нашел и несколько высланных калмыцких семейств.

Сердце мое обливалось кровью. Тяжким горем я поделился со своим другом, участником войны, добрым и умным человеком. Слушая меня, он выражал сочувствие мне, а не высланным. Сказал: «Может быть, это диктовалось военными обстоятельствами?» Я рассердился: «Что вы запоете, когда такая же участь постигнет евреев?» Он посмотрел на меня как на глупца. Через три года, когда в «Правде» появилась первая антисемитская статья, предвестница дела «врачей-убийц», он повинно вспомнил наш давний разговор.

Летом 1951 г. я с дружественной кабардинской семьей поехал высоко в горы. В машине – провизия, виноградная водка. Остановились в одной из опустевших балкарских саклей. Увидели очаг, кучки серой золы возле него, стол, две скамьи, на ободранной стене семейный портрет. А где семья?

Не помню (может быть, из-за выпитой водки), как в сакле появился человек в военной форме, но без погон. Видимо, знакомый моих друзей. Он рассказал, что участвует в поисках чеченца. Все чеченцы высланы, а тот один прячется высоко в одном из ущелий. Никак не удастся его изловить.

Так я написал свою первую поэму «Туман в горах». В книгу, составленную Бродским, она не вошла. Выдумывать я не умею, героя поэмы я срисовал со знакомого мне ингуша, инженера-нефтяника, моего ровесника, учившегося в Москве.

После смерти Сталина я предложил эту поэму «Новому миру». Твардовский ее вернул без всяких объяснений. На рукописи была только одна его пометка: большой вопросительный знак перед строками «Нет, одиноким не был он в горах, / Он был народом, он остался дома».

Вторая поэма из цикла «Вождь и племя» тоже не вошла в «Волю». Называется она «Поездка в Ясную Поляну». Меня поразило, что недалеко от усадьбы Толстого, от могилы вегетарианца, происходит кипучая торговля мясом, на столах – огузок, оковалок, топор, головы коров, а глаза у коров показались мне похожими на мои глаза, это моя отрубленная голова глядит «на жадных жен районного начальства».

Поехали дальше, вот заправочная, рядом буфет, «бензин и пиво надобно купить. / Тут крикнул некто в кителе брезгливо: / «Зачем евреям отпускаешь пиво?»». Далее следует разговор с Толстым. Поэма, как и предыдущая, опубликована в книге «Письмена» (1991).

Я перевел стихотворную часть абхазского народного эпоса «Нарты». Мне надо было поехать в Сухуми, прояснить некоторые места с помощью фольклористов, историков. Предложил Василию Гроссману поехать со мной. Однажды, когда мы с ним завтракали в гостиничном ресторане, к нам подсел абхазец среднего роста, полуседой, с изможденным лицом. Он недавно вернулся в родной город, отбыв много лет в концлагере. Оказалось, он родственник поныне любимого в Абхазии расстрелянного по приказу Сталина руководителя республики Нестора Лакобы, брат его жены Сарии. Восхищался мужеством сестры: она терпела страшные пытки, ей выкололи глаза, но она не сдавалась, утверждала, что муж ее ни в чем не виноват. Наш собеседник признался, что он, мужчина, такой стойкости не проявил. Рассказывая, он все время смотрел на Гроссмана, и, когда через несколько месяцев я прочел Гроссману свою поэму, тот произнес с некоторой укоризной: «Рассказывал он мне, а написал ты».

Я замыслил так, что название поэмы «Нестор и Сария» должно было утвердить ее связь с классическими поэмами Востока типа «Лейли и Меджнун», «Фархад и Ширин». Это поэма о преследуемых не родителями, не феодальным обществом, а человеконенавистнической политикой коммунистического диктатора. Если «Туман в горах» написан белым стихом, «Поездка в Ясную Поляну» – обычным рифмованным, то в «Несторе и Сарии» я попытался предложить новую в русской поэзии строфику, что должно было еще глубже подчеркнуть связь этой вещи со строфическим многообразием поэтики Востока. Многие в поэме внушено моим переводом «Нартов», наблюдениями над бытом абхазских крестьян – и православных, и исповедующих ислам.

Я предложил «Нестора и Сарию» журналам, которые охотно печатали мои переводы, а изредка оригинальные стихи, – «Новому миру» и «Дружбе народов», но получил отказ. Предложил поэму газете «Литература и жизнь», вещь понравилась редактору Поздняеву, отцу ныне известного поэта Михаила Поздняева, он собирался после нескольких исправлений ее напечатать, но тут произошла известная «манежная» история грубых нападок Хрущева на художников, и поэма была мне возвращена.

– А «Техник-интендант»? В какой степени автобиографичен «Техник-интендант»? В этой поэме множество прозаических ходов, сюжеты отдельных судеб... Строфика выявлена

графически, а не повторением стихотворных приемов. В ритмике – интонация народного сказания при современном словаре. Как Вы сами определяете особенности этого произведения?

– Самая большая из поэм – «Техник-интендант» (название принадлежит Гроссману, я сперва назвал ее «Бегство») – лишена не только строфики, но и рифмы и метра. Она написана свободным стихом, основой которого, как известно, является музыка ритма. Так как мне задан вопрос: насколько автобиографична моя поэма, то я, перед тем как сделать небольшое отступление, хочу напомнить, что вся художественная литература в большей или меньшей степени автобиографична. Напомню затасканное изречение автора «Мадам Бовари»: «Эмма – это я».

С первых дней войны я начал служить на Балтике, в Кронштадте, в одной из флотских многотиражек. Звание – техник-интендант 1-го ранга, что соответствовало старшему лейтенанту. Когда нас вытеснили из прибалтийских портов, почти всех военных литераторов сосредоточили в Ленинграде при Пубалте (Политуправление Балтийского флота). Испытал немало: тонул, перенес первые месяцы блокады.

В январе 1942 г. по приказу командарма 2-го ранга Оки Городовикова был направлен в 110-ю калмыцкую кавалерийскую дивизию. Должность – писатель при политотделе дивизии. Моряк переоделся в кавалериста. Формировалась дивизия в Малодербетовском улусе. Меня поселили в хорошем деревенском доме, хозяева, как все калмыки, были гостеприимны, а ко мне, переводчику священного эпоса, относились с особенной приязнью. Однажды я застал в доме пожилую женщину, видимо, приятельницу хозяев. Оказалось, что она немка, жительница Сарепты. И вот ее, старую коммунистку, председательницу колхоза, выселяют вместе со всеми сарептскими немцами. Она тихо плакала, хозяева ей сочувствовали. Могли ли они знать, мог ли я знать, что их ожидает такая же участь?

Весной сформировавшаяся дивизия двинулась верхами к месту боевых действий, на Дон, расположилась недалеко от станции Мечетинская, штаб – в хуторе Ажинове. По правилам, кавалерийской дивизии для обороны отводится три километра. Нам пришлось растянуться на донском берегу длиной почти в 20 километров: большая часть отступившей армии была уничтожена немцами.

Бои были тяжелые. В нескольких шагах от меня был убит командир эскадрона Эрдни Деликов, молодой, хорошо говоривший по-русски, красивый монгольской красотой. Я знал его. Написал о нем стихи, они были напечатаны в «Правде» (или в «Красной звезде», теперь не помню). Деликову было присвоено

посмертно звание Героя Советского Союза. В поэме он выведен под именем Церена Пюрбеева.

Мы попали в окружение. Пришлось разрозненными отрядами по ночам пробираться по захваченным немцами степям. Блуждали целый месяц. К своим вышли в Моздоке.

«Техник-интендант», насколько мне известно, одно из первых сочинений об окружении, в которое, особенно в начале войны, попадали не то что полки, а целые дивизии, даже армии, даже фронты. Явление прежде неслыханное, многие считают это следствием уничтожения Сталиным талантливых полководцев. Думаю, что причины более глубокие, причины – в самом советском строе, антинародном. Впрочем, я слабо разбираюсь в военной науке. Поскольку у меня речь идет о дивизии национальной, калмыцкой, то трагедия окружения сливается в поэме с трагедией геноцида.

Опять признаюсь, что не только Церен Пюрбеев, но и его сестра Нина, и майор Заднепрук, и особист Обносков, и шофер Помазан, и его отец, и Тегряш Бимбаева, и интернированный польский адвокат – все они списаны с натуры, их внешность, характер, словарь. Возможно, что это признание вызовет неодобрение, даже насмешку, но ничего не поделаешь. Правда прежде всего.

– Впервые о «Технике-интенданте» как о совершенно уникальном явлении я услышала за несколько лет до ее публикации в доме Н.В. Панченко. И когда прочла поэму в книге «Декада», была удивлена, что поэтический текст такого большого объема написан верлибром. Тогда мне казалось, что свободный стих – для малых форм.

– Почему я, может быть подсознательно, выбрал для этой вещи свободный стих? Не потому ли, что на тему окружения я еще во время войны, в Сталинграде, написал в той же форме стихотворение «Воля» (давшее впоследствии название всей книге)? А скорее всего не потому ли, что беспорядочное бегство разрозненных отрядов среди бескрайних степей не следовало укладывать в стройный стих, это бегство должно было дышать свободой ритма?

Сейчас свободный стих в моде. У нас в России некоторые авторы объявляют его новаторским. Это вздор. Свободным стихом задолго до нашей эры написаны псалмы царя Давида, «Песнь песней» («Шир Га-ширим») царя Соломона, тем же стихом написано наше «Слово о полку Игореве».

Почему в начале нашего века первыми к свободному стиху обратились французы? Потому что их язык жестко организован, все ударения в словах падают на последний слог, строки могут

отличаться только своей длиной или расположением в строфе. Язык так упорядочен, что слова могут рифмоваться еще до того, как стать стихом, например: Liberté, Egalité, Fraternité, а у нас Свобода, Равенство, Братство, – ничего не рифмуется. Естественно, что французским поэтам захотелось вырваться из языковой клетки к свободе стиха. Эта свобода стала символом, знаком новизны, вслед за французами пошли подражатели. Когда я как-то спросил Назыма Хикмета, почему он, восточный поэт, пишет свободным стихом, услышал ответ: «Мы, турки, тоже европейцы, тоже живем в XX веке».

– *Огромное впечатление на меня произвела поэма «Соликамск в августе 1962 года», тоже входящая в цикл «Вождь и племя»:*

*...И зону с вышками я вижу с вышины,
И лампы, что и днем зачем-то зажжены.
Вот так средь города, средь школ и гастрономов,
Аптек и ателье, читален и райкомов
Есть лагерь и тайга, лежневка и конвой...
Что человечества весь опыт вековой...
Один лишь поворот, один лишь краткий миг, –
Летят ко всем чертям законы умных книг,
И вновь закон – тайга: канон лесоповалов,
Евангелье волков, симпозиум шакалов...
Я биться не хочу о стенку головою,
Я лучше в лес уйду, я лучше волком взвою,
Назад, назад, во мглу, в пещеру, в мезолит,
Где дротик дикаря мне сердце исцелит!..*

Но я хочу спросить и о другом. В Ваших собственных стихах Восток занимает немалое место. Выскажитесь, пожалуйста, о взаимопроникновении словесных культур разных народов.

– Русский язык создан для поэзии. Это заметил еще Ломоносов. Славянская речь стала основой для слов, заимствованных у татар, монголов, персов, арабов (все через татар), немцев, французов, но смело, талантливо пересозданных так, что звучат они совершенно по-русски. Кому теперь придет в голову, что наш «Арбат» при Золотой Орде был «Арабатом» или «Рабатом», по-арабски – стоянка для каравана в пустыне, – там, где есть вода; что простецкий «балкон» происходит от персидского «балахона» (верхняя комната без окна), что Восток нам подарил и «сахар», и «арбуз», и, казалось бы, сугубо русского «ямщика» («ям» – по-татарски селенье, откуда на лошадях перевозилась почта), и другое чисто русское слово «атаман» подарили нам немцы

(Hauptmann – глава), что «влияние» или «общественность» суть предложенная Карамзиным калька немецких и французских слов? Если русскому поэту нужна рифма, кончающаяся на «ак» или «аг», бывают случаи, когда годится одно из самых распространенных русских слов – «кабак». Откуда оно? В Средней Азии, где торговля вином не поощрялась, она происходила внутри двора, за сплошной стеной без окон и дверей – дувалом. На такой стене торговцы вывешивали половину тыквы: она служила сосудом для вина. «Тыква» по-тюркски – кабак.

Русский язык есть удивительно мощное, неисчерпаемое, грандиозное (опять слово чужеземного происхождения) богатство для поэтов. Наша версификация не нуждается в изобретениях, только бы получше знать русский язык.

Тут необходимо сказать, что многообразие, а значит, и волшебное разнозвучие нашего словаря часто является препятствием для новой, свежей рифмы. Отсюда возникновение у нас ассонансов. Еще Пушкин жаловался на то, что «кровь» непременно ведет за собой «любовь», «радость» – «младость» и т. д. Пушкин был прав, но он не мог предугадать, как расширится словарь поэзии за счет слов, в его пору считавшихся непоэтическими или тогда неизвестными, например, та же «любовь» теперь может рифмоваться со «свекровью», «морковью», «лиловью». Я уже не говорю о том (осмеливаюсь возразить Пушкину), что избитая рифма «любовь – кровь» звучит по-разному и, значит, нова у поэтов, по-разному чувствующих это слово. Примеры:

Пушкин (в «Кавказском пленнике»):

...Сражались, гибли вы ужасно;
Но не спасла вас наша кровь,
Ни очарованные брони,
Ни горы, ни лихие кони,
Ни дикой вольности любовь!

Здесь все звучит по-новому: кровь русских, которая будто бы может спасти кавказского горца, пролившего эту кровь, эпитет оружия «очарованное», любовь, принадлежащая дикой вольности. Старая рифма обрела молодость.

Тютчев:

И кто в порыве ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений,
Самоубийство и любовь!

Все здесь ново, все обновляет привычную рифму: и прозаическое «ощущений», и соединение любви с самоубийством, которое, по Тютчеву, ведали все. А ведал ли Пушкин? Не думаю.

Фет:

Но есть и дни, когда в крови
Золотолиственных уборов
Горящих осень ищет взоров
И знойных прихотей любви.

Оказывается, не мы ищем горящих взоров любви и ее прихотей знойных, а осень. Вряд ли Пушкин или Тютчев назвали бы прихоти знойными. Рифма зазвучала по-новому.

А вот современный поэт И. Лиснянская просит Бога:

Останови мою кровь
Хотя бы за то, что его люблю
Сильней, чем твою любовь.

Верующая решила во имя любви к мужчине на кощунство, и оно тоже по-новому заставило зазвучать избитую рифму.

Кто спорит, сами по себе, вне текста, существуют рифмы избитые и свежие, богатые и бедные. В тексте от них требуется только одно: их художественная необходимость.

Поэзия рождается так же естественно, так же обычно, как человек, как любая тварь, как растение. Здесь не поможет ни преданность государству, ни сопротивление ему, ни заумь, ни нецензурная речь, ни фокус. Истина элементарная, но вечная. Вот основные признаки поэзии (в стихах и в прозе): своя, а не заемная музыка; своя, а не заемная мысль; свой, а не заемный словарь; своя, а не заемная страсть.

Потому-то среди стихотворцев так редки поэты. Потому-то в прежние времена поэтами назывались не только авторы стихов, но и прозаики.

Если найти в себе смелость сравнить ход развития русской литературы с ходом развития железнодорожного транспорта, то как в России по царской воле возникла только одна железная дорога Петербург–Москва, так до Пушкина в русской литературе, после письменной церковно-славянской и изустной, была только одна дорога с большими станциями – Ломоносов, Державин, Фонвизин, Карамзин, Крылов, Батюшков, Жуковский. Гений Пушкин – начальная станция огромной сети дорог, имевших названия – Баратынский, Грибоедов, Тютчев, Гоголь, Лер-

монтов, Тургенев, Гончаров, Некрасов, Фет, Толстой, Достоевский, Островский, Чехов – и так от золотого века до Серебряного, до наших дней, до Платонова, Солженицына, Бродского.

– В поэтической практике нашего века отмечена тенденция ломки стихового лада, органичной и намеренной, отрицания регулярного стиха. Это есть и в опыте Цветаевой, Маяковского, Бродского. По моим наблюдениям, показательно пристрастие современного любителя поэзии к стихам, ритмически, интонационно неоднородным, чтение которых затруднено. Может быть, цель такой трансформации стиха – преодолеть автоматизм стихотворчества. Ведь и у Пушкина, в «Евгении Онегине» например, в некоторых местах строфы неполны, отточия вместо строк. По Тынянову, это не по соображениям цензуры и вовсе не недописанные фрагменты, а намеренные пропуски: «неотделанность становится здесь эстетическим фактом», побеждающим автоматизм чтения.

Анжанбеманы, усложненные инверсии, ассонансы, вдруг обманывающие рифменные ожидания, как бы бодрят восприятие, компенсируя, на мой взгляд, и некоторую интонационную монотонность стихов Бродского, взрывают его скепсис.

Так мне кажется. Ваша поэзия – гармония строгих размеров, точных рифм. И вместе с тем в ней есть прецеденты большой творческой дерзости и отказа от традиционных для русской поэзии форм, – «Техник-интендант», например, о котором мы говорили.

– Мне задан вопрос: как я отношусь к нынешней ломке стихотворного лада, к отрицанию старых размеров, к анжанбеманам, инверсиям, ассонансам? Стихотворный лад рожден языком, все попытки его ломать кончались неудачей, чтобы его сломать, нужен другой язык. Талантливый Антиох Кантемир, понимая, что в новой, послепетровской России нужна новая версификация, решил прибегнуть к силлабике. Он исходил, видно, из того, что в другом славянском языке, в польском, версификация силлабическая. Он ошибался, ничего не получалось, русский язык сопротивлялся силлабике. Ломоносов (и в большей мере Тредиаковский) создал новую версификацию, основанную на свойствах русского языка.

Мы, русские рифмачи, ведем свою родословную от оды Ломоносова «На взятие Хотина». Ломоносов взял за основу просодию русского языка. Чтобы создать новый стихотворный лад, нужно создать другой язык. Так, у персов, после завоевания их арабами, принятия мусульманства, был создан новый язык, почти ничего не имеющий общего с языком Заратустры (Зардушта). В нынешнем персидском языке половина (если не больше)

слов – арабского происхождения. А нужно ли это нам? Нас ведь, славу Богу, после Золотой Орды никто не завоевывал.

Что касается анжанбеманов, то тут уместно повторить запомнившиеся мне слова Мандельштама. Он сказал мне о Цветаевой: «Ее переносы утомительны. Они выходят не в прозу, – признак высокой поэзии, – а в стилизацию». Если эти слова воспринимать отвлеченно, то они верны, а если адресовать их Цветаевой – то ошибочны. Я к анжанбеманам отношусь осторожно. Они обогащают стих Бродского, но смешны, порой нелепы, у его подражателей. Замечательно использовал переносы Гнедич в переводе «Илиады». Не умея прочесть древнегреческий подлинник, не знаю, были ли они у Гомера, но с их помощью Гнедич, а потом Жуковский сделали русский гекзаметр удивительно музыкальным.

За редким исключением, не нравятся мне и поставленные в конце строки предлоги, союзы. Ничего, или почти ничего, это не дает. Если же говорить об ассонансах, то они бывают хороши только тогда, когда не заменяют рифму, а дополняют ее. Напомню, что античная поэзия, греческая и латинская, не знала рифму. Рожденная арабами, ибо вызвана к жизни строем их языка, через Испанию, которой надолго завладели арабы, рифма возникла у всех европейских народов.

В русском языке точная рифма живет красиво, звонко, прочно, необходимо. Мои друзья – Шенгели, Штейнберг, Тарковский, Александр Кочетков, которые, как все истинные поэты, были новаторами, никогда не опускались до приблизительности ассонансов в конце строки. Тарковскому нравилось мое стихотворение «Молодая мать», он знал его наизусть, но всегда возмущался неточностью рифмы «слышно–вишня». Он был прав. На моем счету, особенно в переводах, несколько десятков таких неполных созвучий не потому, что были мне желанны, а потому, что техника моего стиха в данных случаях не справлялась со смыслом стиха.

Сила рифмы в ее неразрывной связи с языком. В киргизском эпосе есть одновременно и рифма анафорическая (в начале строки), и концевая, и редифная (перед последним словом). В калмыцком, монгольском, бурятском повторяются только начальные слоги в строках. В кабардинском (адыгском) слово в конце строки рифмуется со словом, стоящим в начале или в середине последующей строки. В аварском стихе рифмы нет, ее заменяет аллитерация, часто очень богатая. Я пытался ее воспроизвести в переводе древнего аварского сказания:

Братья, к песне правды слух обратите,
То, что было правдой, стало преданьем.

Признаюсь, что для русского слуха я немного усилил аллитерацию подлинника.

– *Ваша переводческая работа колоссальна. Это – переложение на русский язык киргизского эпоса «Манас», калмыцкого «Джангар», татарского «Едигея», балкарской, абхазской, бурятской, таджикской, узбекской, кабардинской поэзии. Вячеслав Всеволодович Иванов пишет в статье, посвященной вашему 85-летию: «К переводам Липкин и его поэтические друзья по поколению пришли в молодости как к спасительной возможности профессиональной литературной деятельности, не требовавшей полного приспособления к правительственной идеологии... Его работоспособность и продуктивность фантастичны: он переводит одну за другой основные части традиционных поэм и поэтических сказаний многих народов бывшей империи и сопредельных стран Востока». При этом, я знаю, судьба некоторых переводов драматична: они долго не публиковались, а в разгар борьбы с космополитизмом секретариат правления Союза писателей СССР даже объявил Вам выговор за пристрастие к «байско-феодалным эпосам».*

Что этот опыт дал Вам как поэту, ведь переводы – это донорство, это отдавание собственных художественных открытий в мир под чужим именем, это и риск потерять душевный трепет, когда приходится превращать тысячи строк чужого текста в явление русского языка.

– Думаю, что тут уместно сказать несколько слов об особенностях моей переводческой работы. Когда на склоне лет нынче редко пишу стихотворение, превышающее 20 строк, я с каким-то странным удивлением, даже с испугом вспоминаю, что объем моих переводов народно-эпической и классической поэзии Востока достигает чуть ли не 140 тысяч (!) строк. Подлинники этих произведений, начиная с индийской «Махабхараты», «Шахнаме» Фирдоуси до суфийской лирики и поэм Омара Хайяма, Хафиза, Юнуса Эмре, Джами, Навои, полны свежего, мудрого, сердечного религиозного чувства.

В своей переводческой работе главным я считаю воспроизведение на русском языке древних изустных поэм, эпических преданий. Постоянно и деятельно обогащаясь опытом народной жизни, предания, звонко переходя из уст в уста в течение столетий, иногда – тысячелетий, становятся общедоступными не только для того племени, в котором родились, но и для всего мира. Так произошло с «Рамаяной», «Нибелунгами», «Илиадой» и «Одиссеей». Ветхий Завет, ставший основой двух мировых религий, есть не только Богооткровение, но и свод эпических и лироэпических преданий, возникший в небольшом племени. Без далекого от нас – по расстоянию и по времени – индийского

эпоса «Махабхарата» не было бы в Европе оккультизма и теософии Блаватской, Андрея Белого, Рериха, а также наших нынешних сограждан – бритоголовых кришнаитов.

Если предание становится широко известно, то опыт жизни племени воспринимается уже как опыт всего человечества. Тогда эпическое предание, как сама жизнь, рождает произведения литературы, музыки, живописи. Перевод способен освободить изустный эпос от племенной, языковой замкнутости, дает ему новую, вольно разбежавшуюся жизнь, если перевод, разумеется, будет обладать силой жизни, даже тогда, когда он будет приблизительным, как, например, «Песни западных славян», которые мы узнали благодаря Мериме и Пушкину. Но в том-то и дело, что предание, эпос народный, трудно поддается переводу, потому что именно в эпосе национальный характер обозначается с наибольшей определенностью, выразительностью и полнотой. Взгляд на предметы и сами предметы, домашний обиход и возвышенные идеалы, отношения между мужем и женой и связь человека и вселенной, жест, улыбка, восклицание, выражение радости или горя – все это в эпосе глубоко национально, и задача переводчика – приблизить национальное к общечеловеческому.

«Вот каков я!» – как будто говорит народ, говорит самому себе, и в этом – младенческая прелесть эпоса; говорит всему миру – и в этом зрелость и величие его души.

Переводить эпос – работа увлекательная, чарующая, но и нелегкая. Помимо текста произведения (в подлиннике или в подстрочном, научном переводе), необходимо изучить историю народа, создавшего эпос, географию его страны, его быт, основы его языка, реакцию соплеменников на то или иное слово сказителя. Я бываю счастлив, когда узнаю, что молодые калмыки, киргизы, татары узнают «Джангар», «Манас», «Едигей» через посредство моего перевода.

В бурятском (языческом) эпосе «Гэсэр» (я перевел его полностью, но из-за «метропольских» событий успела выйти только половина работы) говорится: когда «воцарилась на всей земле язва страшная, моровая», когда «умирали ночью и днем / Люди, звери, птицы, растенья», небожитель Бухе-Белигтэ по приказу богов спустился на землю, чтобы спасти все живое. На земле он принял имя Гэсэр, заново родился в нищей пастушеской хижине, чтобы лучше понять «слезы женские, слезы мужские, скорби-горести, муки людские». Не напоминает ли нам это рождение на земле Богочеловека, Христа? А как далеки были предки сибирских пастухов, соседей Китая, от христианской культуры! Мысль о рождении на земле Спасителя, Мессии – общечеловеческая.

Переводные «Илиада» и «Одиссея» – мои первые книги, после Пушкина, конечно. От восточных переводов у меня не болела голова, как у Тарковского. Они расширили, укрепили мое представление о начале жизни Божественном, они внушили мне понятие общности многоконфессионального человечества. У меня есть стихотворение «Двуединство», оно так и начинается: «Есть двуединство: народ и религия» – и кончается несколько наступательно: «Будем в мечети молчать с бодисатвами / И вспоминать о Христе в синагоге». Сергей Аверинцев, поэт и ученый, как-то мне сказал, что это стихотворение (кажется, в Австрии) перевел католический священник.

– Я знаю Ваше стихотворение о предугадывании своей судьбы:

*Когда в слова я буквы складывал
И смыслу помогал родиться,
Уже я смутно предугадывал,
Как мной судьба распорядится.
Как я не дорасту до форточки,
А тело мне сожмут поводья,
Как сохраню до смерти черточки
Пугливого простонародья.
Век сумасшедший мне сопутствовал,
Подняв свирепое дреколье,
И в детстве я уже предчувствовал
Свое мятежное безволие.
Но жизнь моя была таинственна,
И жил я, странно понимая,
Что в мире существует истина
Зиждительная, неземная,
И если приходил в отчаянье
От всепобедного развала,
Я радость находил в раскаянье,
И силу слабость мне давала.*

«Истина зиждительная, неземная» – как Вы ее знаете? В «Страничках автобиографии», предваряющих книгу «Декада», я прочла, что Ваши «экуменические воззрения, окрепшие в молодости, тайно, подспудно рождались в детские годы». Когда я читала Ваши воспоминания, я чувствовала, что повествователь храним какой-то высшей, неназываемой, но в каждом повороте Вашей судьбы ощущаемой силой.

– Мои экуменические воззрения вовсе не противоречат многоконфессиональности. Важно, необходимо только одно: любовь к Богу должна быть любовью к человеку каждой расы.

В этом смысле я воспринимаю удивительную особенность русского языка: на нем можно воспроизвести, пусть не по-рабски точно, любую национальную версификацию. Может быть, это связано с мыслью Достоевского о всемирности русской души?

– *Мне хочется спросить Вас о поэтической интонации XX в.*

– Не существует какая-то особая поэтическая интонация XX в. Современна, всемирна лирическая музыка Горация и Овидия, Калидасы и Хафиза, Шекспира и Гете, Державина и Пушкина, Бодлера и Верлена. Наука развивается, скажем, от понятия $1+1=2$ к понятию векторного исчисления, от возможности ехать на ослике, верблюде, лошади – к полетам на другие планеты, от пращи – к ядерной бомбе. Заурядный преподаватель математики во второстепенном университете разбирается в своей профессии лучше, чем Эвклид и Птолемей. В науке есть прогресс.

В искусстве, в литературе нет прогресса. Далеко не каждый современный писатель, живописец, скульптор, композитор, даже если он удачлив, опережает своих предшественников, даже самых древних. Слепой Гомер не знал грамоты, посещал семь городов верхом на ослике, а какой-нибудь уверенный в своем сомнительном даре современник наш читает, может быть, на двух языках, летает с материка на материк в самолете, но он не только по таланту, он по уму и образованности дикарь по сравнению с Гомером, а самое главное – по высоте и глубине понимания человека отстает от Гомера на большее количество веков, чем Гомер от первобытного двуногого. В сущности, примерно то же самое я мог бы сказать о себе.

Искусство истинное, существующее, а не призрачное, золотосная руда, а не колба плута-алхимика, – всегда ново, всегда авангардно. Искусство не знает старости. То, что стареет, не искусство. «Дон Кихот» или «Бесы», «Чевенгур» или «Один день Ивана Денисовича» живут с нами, среди нас и будут жить всегда. В искусстве с парохода современности ничего не надо сбрасывать, на этом пароходе нет лишней клади. Надо только палубы, каюты, машинное отделение очищать от пыли.

Это не означает отсутствия в искусстве некоторых двигательных процессов. Например, басня перестала занимать то важное место, которое ей было отведено при полупоэтическом Эзопе, «Калиле и Димне», Лафонтене, Крылове. И другой двигательный процесс: проза Чехова, Бунина, Пруста, Кафки стала ближе к стихотворчеству с его краткостью и музыкальностью. Впрочем, вспомним: в начале XIX в., когда русская проза делала свои первые шаги к всемирности, она еще не отделилась от стихотворчества. Не случайно Пушкин назвал «Евгения Онегина» романом,

а Гоголь «Мертвые души» – поэмой. Но другими, отделившимися от прозы, стали поэмы Некрасова, Случевского, Блока, Белого, Ахматовой, Маяковского, Хлебникова, Пастернака, Багрицкого, Твардовского.

– *Как Вы восприняли вызов Виктора Ерофеева – «Поминки по советской литературе»? Дайте, пожалуйста, оценку прозе 1950–1960-х годов.*

Какие тенденции в прозе кажутся Вам перспективными? И какие Вы видите здесь новые имена?

– Сейчас у нас в России, особенно в прозе, сделались модными порнография (очень скучная), нецензурная брань, при этом рыхлость сюжетной постройки, болтовня. Как далеки эти бесталанные сочинения от самых жизнелюбивых, откровенных сцен Боккаччо, Рабле, Лесажа. Прогресс есть движение вперед, следовательно, он не отменяет пройденного пути, он его продолжает. Мы уже договорились, что в искусстве нет прогресса. Но есть преемственность. Что я могу сказать о постсоветской литературе? Прежде всего нужно жестко отделить понятие «советская литература» от понятия «русская литература в годы советской власти». Ничего вызывающего нет в статье Виктора Ерофеева: кончилась советская власть, значит, исчезла потребность в советской литературе. У советской литературы была только одна цель – служить тоталитарной власти. Одни слуги оказались полвчее, изобретательней, не суетились под клиентом, даже любили его, другие были беспомощней, тупее, но сочинения тех и других – мертворожденные. В советские годы русская литература не умерла. Читатели узнали шедевры Ахматовой, Алексея Толстого, Замятина, Пастернака, Булгакова, Зощенко, Бабеля, Катаева, Олеси, Каверина, Платонова, Добычина, Шолохова, Заболоцкого, Гроссмана, Тарковского, Солженицына, Шаламова, Виктора Некрасова. В советские годы начали печататься учитель Виктора Ерофеева – Аксенов, Астафьев, Белов, Битов, Владимов, Войнович, Искандер, Можаяев, Распутин, Трифонов. Какая блестящая литература! А в самые последние годы нам открылись дарования Петра Алешковского, Варламова, Павлова.

Первый необходимый признак таланта – вера в человека. Она, часто неосознанно, порождена верой в Создателя. Вот почему мне особенно близко религиозное миропонимание Пастернака, Булгакова, Солженицына. Мне кажется, что был прав французский священник, который увидел в «Жизни и судьбе» приближение в прошлом атеиста Василия Гроссмана к вере в Бога.

– *Я очень люблю одно Ваше стихотворение, где «ужас пониманья» и так многозначны простые вещи:*

*Слышу, как везут песок с карьера,
Просыпаюсь, у окна стою,
И береза смотрит светло-серо
На меня, на комнату мою.*

*Голубое небо так сверкает,
Почему ж в нарушенной тиши
Ужас пониманья проникает
В темную вещественность души?*

*Разве только нам карьер копали,
Разве только мы в него легли?
Матерь Утоли Моя Печали
Не рыдала ль плачем всей земли?*

Расскажите, пожалуйста, как Вы работали над «Записками жильца». В этой повести и отдельные судьбы, и подробности политической жизни приморского города времен Гражданской войны, и размышления об истоках и естестве фашизма, и трагедия еврейского гетто, и ужасные откровения о людях на войне. По ощущению, здесь много документального. Кто из персонажей – вымышленные герои, а кто существовал в действительности? Кто прототип Лоренца? В критике «Записки жильца» называют в значительной степени автобиографическими.

– Отвечаю на вопрос о моей повести «Записки жильца». Сначала мне необходимо для ясности упомянуть написанную гораздо позднее повесть «Декада». Почему ее, а не «Записки жильца» я осмелился опубликовать в Америке? Потому что боялся: меня и так не забывал КГБ, а в «Записках жильца» отрицательно изображены Ленин, весь большевизм, в то время как главная тема «Декады» – сталинская депортация горцев Кавказа, ругать Сталина было менее опасно. Я не согласен с вашим замечанием, что в «Записках жильца» много документальности. Именно документальности в них нет. Все основано на моей памяти, которая раньше была довольно крепкой: и события Гражданской войны, и голод после захвата города большевиками, и соседи по двору и улице, и портреты меньшевиков, эсеров, анархистов, только период немецко-румынской оккупации воспроизведен по рассказам очевидцев. В отличие от поэм, у многих персонажей повести не один прототип, а два или даже три. Внешность и некоторые поступки руководителя городских большевиков Гринева списаны с Ю. Ларина, я его видел. В начале XX в. он возглавлял подпольный социал-демократический кружок, участником которого был мой отец. Лоренц, как существо мыслящее, нарисован с моего приятеля юности – одесского православного немца, а все, что у него связано с войной,

с любовью к хозяйке трактира в завоеванной Германии, принадлежит другому прототипу.

– В «Записках жильца», как и в романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», удивляет определенность, точность высказываний о сущности большевизма. При этом и сюжет «не отпускает» читателя, и широчайший словарь, и особый языковой колорит... А еще я помню с Вашего голоса народные стихи о женской прелести, которые внесены в Вашу прозу:

*Перед мальчиками
ходит пальчиками,
а пред зрелыми людьми
ходит белыми грудьми.*

В интервью «Литературной газете» Вы сказали: «Если говорить о поэтах, у нас в России три гения: это Пушкин, Лермонтов и Тютчев. Если называть прозаиков – Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов». Каковы, по-Вашему, критерии литературной гениальности? Замечу, что в отношении Чехова Анна Андреевна Ахматова с Вами наверняка бы не согласилась.

– Каковы мои критерии гениальности? Ответ прост. Повторяю: гениальные писатели отличаются от своих скромных собратьев тем, что их творения будут жить вечно. Вы правы: Ахматова (и Мандельштам) не ценили Чехова. Это их ошибка. Великие, как и мы, смертные, тоже ошибаются. Ошибался Бунин, отрицавший талант Ахматовой и Блока. Единственное, что нас приближает к бессмертным, – это их ошибки.

– Семен Израилевич, названия «московская» и «ленинградская» школы кажутся вам точными? И каковы временные периоды их существования, не кончились ли эти явления?

– Вы спрашиваете о «ленинградской» – «петербургской» школе? Случилось так, что навязанная большевиками Ленинграду постыдная роль областного центра помогла вдали от новой, шумной столицы обогатить нашу литературу неожиданной новизной. В Ленинграде работали крупные, оригинальные литературоведы – Жирмунский (с которым у нас были приятельские отношения), Эйхенбаум, Томашевский, Тынянов, более молодые – Гинзбург и Бухштаб. Я связываю с ней новаторское творчество Вагинова, Заболоцкого, Добычина, Бродского, Довлатова, Рейна, Кушнера. Никакого отношения к «ленинградской» школе не имеют довольно известные в свое время ленинградцы Берггольц, Дудин, Корнилов Борис, Прокофьев, Саянов. Я ценю Хармса как автора стихов для детей, избравшего дорогу иную, чем Чуковский и Маршак. От Хармса пошли ныне здравствующие Сапгир и отчасти Заходер.

– Спасибо Вам за подарок, книгу «Посох». О выходе этой Вашей новой книги стихов оповестила и «Литературная газета». Я вижу в книге три раздела, а открывается она стихотворением, написанным 66 лет назад. Как эта книга составлялась?

– В советские годы обычно книгу трудно было издать по причинам политическим, нынешние преграды – финансовые, что печально, хотя и более разумно. И вот новое, я сказал бы – юное, издательство «ЧеРо» неожиданно предложило мне выпустить сборник стихов. Воодушевленный таким предложением, я собрал стихи, написанные в последние три-четыре года. Мне вспомнилось, что одна моя вещь, опубликованная в московском «Континенте» под названием «Стихи бедуина», обратила на себя внимание рано ушедшего от нас Владимира Соколова, и он между прочим сказал, что слово «посох» в конце этого стихотворения может стать названием книги. Я воспользовался его мыслью.

Предложение издательства застало меня в те дни, когда я вознамерился хотя бы немного упорядочить свой архив, находящийся из-за тесноты квартиры в жалком состоянии. Нашел стихи ранних лет, которые невозможно было тогда опубликовать, хотя по наивности молодости я предлагал их журналам. Мне показалось, что несколько из них способны жить сейчас.

Стихи более поздних лет не попали в изданную в 1991 г. большую книгу «Письмена»: отчасти потому, что превышали заданный мне объем, отчасти опять по причинам политическим, – ведь сдал-то я рукопись «Художественной литературе» еще в 1989 г. Эти вещи я включил в «Посох».

– В Ваших мемуарах Вы так много сказали об Андрее Платонове и Василии Гроссмане. Как могло стать, что такие разные эстетические индивидуальности могли быть дружны?

– Трудно ответить на вопрос, почему дружили такие разные писатели, как Гроссман и Платонов. Они любили друг друга. Мне часто казалось, что они любовались друг другом. Что их объединяло? На поверхности виднелась их общая ненависть к официальной, лживой, пошлой литературе, к советской псевдолитературе. Но общая ненависть недостаточна для дружбы. Было восхищение друг другом. Будучи ближе к Гроссману, я лучше знаю мнение Гроссмана о Платонове, чем Платонова о Гроссмане. Гроссман, выделявший из современников Зощенко, Булгакова, Бабеля, Шолохова («Тихий Дон»), впоследствии Солженицына, видел в Платонове художника оригинального, но не показной оригинальности, художника глубины неслыханной, красоты поразительной. Чаше, чем других, его перечитывал. По отдельным высказываниям Платонова я мог понять, что он ценит в Гроссмане смелость и честность, яркость его языка, богатство его изобра-

зительности. Оба были атеистами и даже марксистами (Платонов в меньшей мере). Мне кажется, что Гроссман наглядней рисовал, а Платонов оригинальней мыслил. Платонов (в отличие от Гроссмана), официально не признанный, более спокойно, чем его друг, относился к жизненным успехам посредственных писателей.

– Известны Ваши замечательные устные рассказы о прошлом. Обычно при перенесении таких историй на бумагу они много теряют. Не так у Вас. Как рождаются эти рассказы – сначала устный экспромт, а потом запись? Или записанные воспоминания артистически трансформируются в устный вариант?

– Как возникли мои воспоминания? События из жизни, среди них – касающиеся литературы, вызывали во мне желание рассказать об их истоках моим знакомым. Между прочим иногда случалось так, что мои слушатели, по забывчивости, что ли, приписывали себе эти устные воспоминания. Все изменилось тогда, когда Елена Чуковская и секретарь Корнея Ивановича Клара Лозовская предложили мне наговорить на магнитофон воспоминания о Гроссмане. Инна Лиснянская, прослушав запись, настояла на том, чтобы я расширил, углубил эти воспоминания. Получилась целая книга. Я ее назвал «Сталинград Василия Гроссмана». Название не случайно: так же, как почти весь завоеванный немцами Сталинград стал началом их поражения, арестованный роман Гроссмана «Жизнь и судьба» станет началом поражения преследователей Гроссмана. Под этим названием моя книга вышла в издательстве «Ардис». Меня, в ту пору, как я уже сказал, на родине не печатавшего, воодушевил этот успех, и я в 80-х, трудных для меня, годах уселся за свои воспоминания. Когда у нас началась перестройка, книга по предложению издательства была названа «Жизнь и судьба Василия Гроссмана». Под этим же названием издали книгу и во французском переводе.

– Татьяна Бек составила свой список «Какие бы вопросы я задала С. Липкину?»

«В «Дне поэзии» 1963 года есть великолепное стихотворение С. Липкина «Лезгинка». Чуть не лучшее («новаторское») русское стихотворение. Очень емко и умело, только (нрзб) словарем Пастернака, но очищение искусством, очищение танцем, катарсис впервые встречаю в лирических стихах» – это из только что опубликованных записных книжек Варлама Шаламова (Шаламовский сборник. Вып. 3. М., 1997. С. 220).

Ваше отношение к Варламу Шаламову.

Проблема «поэт и власть». Допустимо или, как полагает тот же Шаламов, губительно для художника царедворство?

Чью генетику – золотого века или Серебряного – Вы в себе ощущаете сильнее?

Перетекали ли (если да, то как) ритмы и образы из Ваших переводов в оригинальную лирику?

Влияла ли на Вашу просодию ритмика восточного танца?

– О Шаламове. Я не знал мнения Шаламова о моем стихотворении «Лезгинка», узнал благодаря вопросу Татьяны Бек.

Мы с Шаламовым так начали свое знакомство. В одном из небольших залов МГУ был устроен вечер, посвященный творчеству Ахматовой (вскоре после ее смерти). Вел вечер Тарковский. И он, и другие выступавшие, среди них Алигер и я, ничего не сказали о том, каким преследованиям подвергалась Ахматова. Пришедшая на вечер Надежда Яковлевна Мандельштам выразила мне свое возмущение. Надежду Яковлевну поддержал ее спутник, оказавшийся Шаламовым. Они были правы, я с ними согласился. После этого у меня было несколько встреч с Шаламовым. Читали друг другу стихи, вспоминали литературную жизнь конца 1920-х годов. У меня есть стихотворение «Заметки о прозе» (опубликовано в книге «Письмена»), в котором такая строфа:

Как будто кедрача упрямого,
Вечнозеленое, живое,
Мне слово видится Шаламова:
Над снегом вздыбленная хвоя.

Нелегкий вопрос: губительно ли для художника царедворство? Царедворцами были многие великие поэты Востока. У нас – Фонвизин, Державин, Жуковский, прекрасные, чистые, могучие люди. Тех, кто воспевал врагов человечества – Муссолини, Гитлера, Сталина, я назвал бы не царедворцами, а царетворцами.

Вопрос о ритмике восточного танца свидетельствует о тонкости понимания сути дела. Я равнодушен к опере, но люблю балет. В танце, особенно в народном, необыкновенно полно раскрывается душа человека, душа нации. Индийский поэт Калидаса (I в. н. э.) так писал (в моем переводе):

«Пляска, – говорят святые мудро, –
Жертвоприношение богам».
С милою слившийся, пляшет Рудра,
Мир дрожит, склонившись к их ногам.
Пляска выражает наши чувства,
В ней – земной природы вечный путь.
Пляска – наивысшее искусство,
Жизни отражающее суть.

Рудра – одно из имен бога Шивы, танец которого, по индийской мифологии, созидает и разрушает миры. Старательно прислушиваясь к ритмам народных танцев, я находил русские ритмические соответствия подлинникам в своих восточных переводах. Ритмы моих собственных стихов, написанных на нерусские темы, часто основаны на ритмах народного танца.

– *Знали Вы Эренбурга лично? Расскажите о встречах с ним, о Вашем прежнем и нынешнем к нему отношении.*

– Во время войны меня с Эренбургом познакомил Гроссман. Я бывал в его доме, один раз на даче где-то в районе Истры. Я считаю, что он был небольшим, но истинным поэтом, посредственным прозаиком (лучшая его вещь – «Хулио Хуренито»). В годы войны к его журналистскому голосу прислушивался весь мир, потом его статьи стали носить коллаборационистский характер. Он замечательно знал и понимал живопись, был тонким ценителем литературы. Я рассказал в одном из своих воспоминаний, как при мне Гроссман резко, даже грубо напал на него за его служение сталинской системе, за его критику западной демократии, но, когда мы хоронили Гроссмана, Эренбург произнес умную, смелую речь. Воспевая в своих статьях советский режим, он оставался независимым в понимании литературы и искусства.

– *Какая разница (и психологическая, и рабоче-ремесленная) между творческим процессом у поэта и у прозаика? Какова природа Вашего вдохновения там и тут?*

– Источник вдохновения у стихотворца тот же, что у прозаика. Кто из поэтов нашего века описал русскую природу так нежно, так точно, как прозаики Чехов и Бунин? В то же время многие прозаики могут позавидовать изображению характеров, точности деталей у Блока, Белого, Ходасевича, Пастернака, Мандельштама, Ахматовой, Цветаевой.

Великие поэты Серебряного века остались бы великими, живи они в золотом, но XIX, золотой, не знал той пакости, которая появилась в трагическом XX, начиная с зауми, ничевоков, потом советской лжи и... Повторяя А.К. Толстого: «О том, что очень близко, мы лучше умолчим».

– *«Быть знаменитым некрасиво», – писал знаменитый Пастернак, а Ахматова утверждала, что от «счастья и славы безнадежно дряхлеют сердца». К Вам сейчас пришла слава, как Вы ощущаете ее реальность и метафизику? Ваши заветы молодым литераторам – что Вы в себе, если бы начали жизнь в литературе сначала, усугубили, а от чего, с высоты огромного опыта, отказались?*

– О славе. У меня ее нет. Есть некоторая внутрилитературная известность и небольшой круг читателей. Я порою допускаю,

что останусь в истории русской литературы, как остались, скажем, Туманский или Раич, но не думаю, что меня будут читать в приближающемся третьем тысячелетии. Если бы я мог начать жизнь сначала, я не поступил бы в технический вуз, а постарался бы попасть в институт восточных языков, укрепил бы свое прежнее приличное знание немецкого, развил бы знание французского, не переводил бы государственные стихи нерусских поэтов, построил бы иначе семью. Молодым писателям я завещал бы всегда помнить две фразы: Пушкина – «Ты – царь: живи один» и Достоевского – «Смирись, гордый человек».

Публикуется по изд.: Вопросы литературы.
1998. № 3.

ВОСПОМИНАНИЯ О ПОЭТЕ АРСЕНИИ ТАРКОВСКОМ

Беседа с А.Н. Кривомазовым

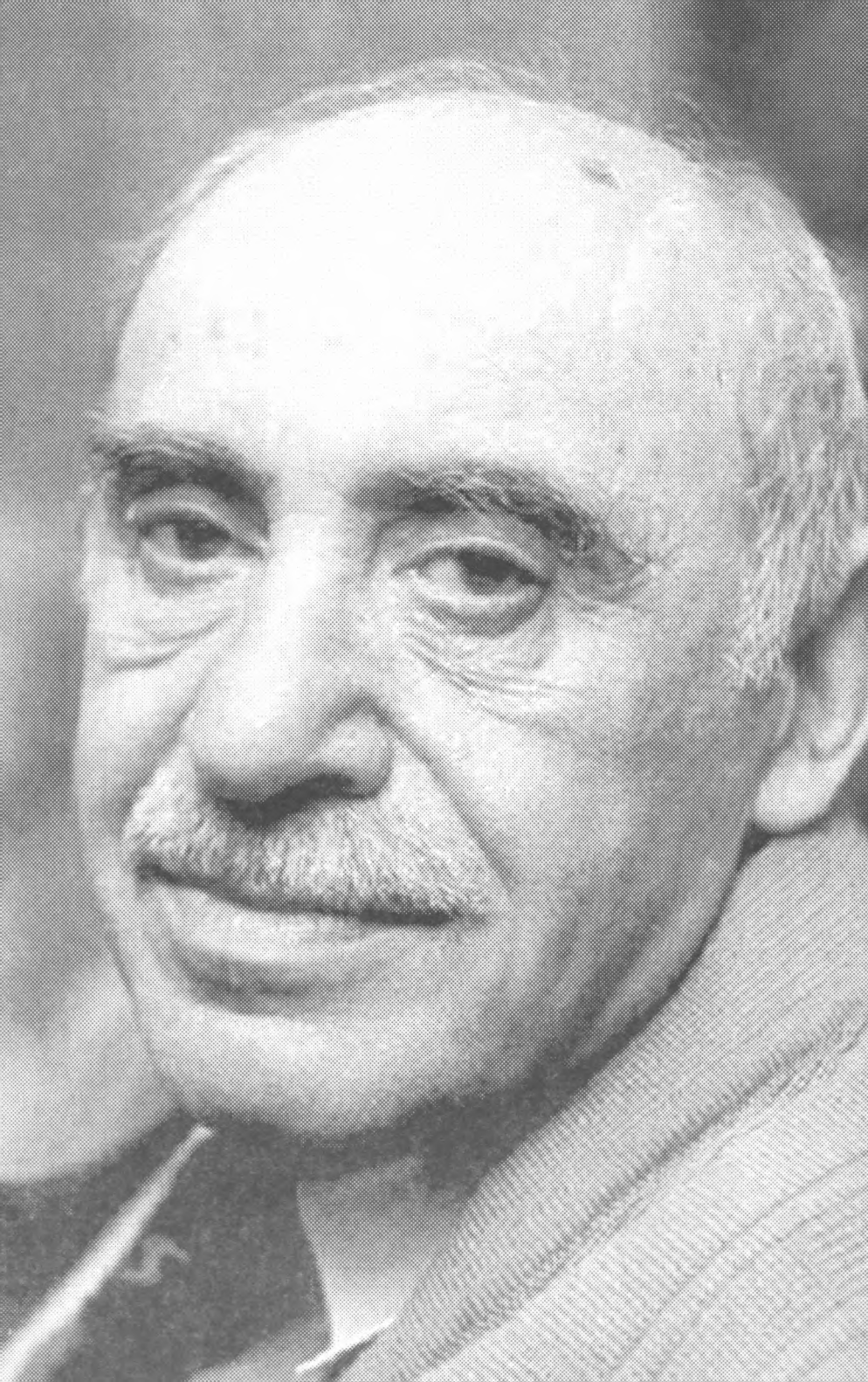
Краткое предисловие

В марте–апреле 2000 г. я попросил всеми уважаемого патриарха нашего поэтического цеха С.И. Липкина дать мне магнитофонное интервью о его друге, поэте и переводчике Арсении Александровиче Тарковском. Я медленно писал (собирал) третью часть воспоминаний об этом поэте и у меня уже были записаны некоторые рассказы о нем его друзей. После того как я получил это интервью, оно было набрано и сверстано в редакции для публикации – но файл потерялся... Ни на одном из редакционных компьютеров мы не смогли его найти. Прошел почти год. В воскресенье, 22 апреля 2001 г., я вновь навестил в Переделкине С.И. Липкина и И.Л. Лиснянскую – и после доброй теплой памятной встречи вновь предпринял поиск потерянного файла. Безрезультатно. Тогда 23 апреля я попросил присутствовавшую по делам в редакции студентку Университета печати Т. Насыбулину выручить меня и заново расшифровать магнитофонную запись...

А.Н. Кривомазов

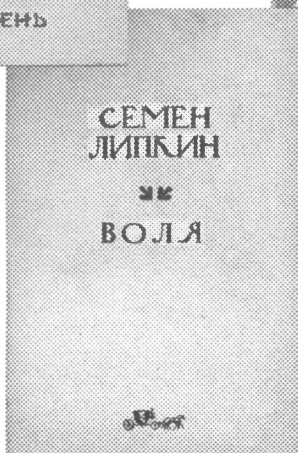
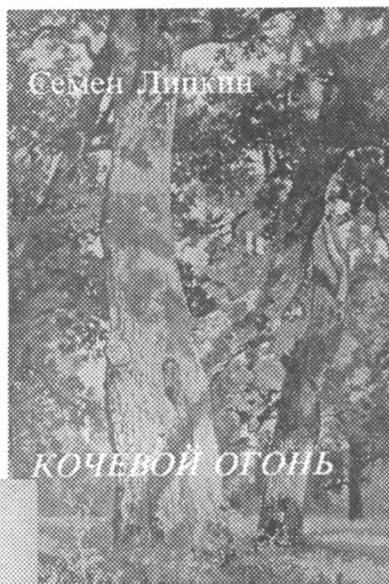
23 апреля 2001 г.

– Сегодня 3 июня 2000 г. Я в гостях у поэта и переводчика Семена Израилевича Липкина. Мы договорились встретиться и поговорить о прошлом, о его друзьях и о поэте Тарковском.





← С.И. Липкин. Москва, 1984
Фото А. Кривомазова



Книги С. Липкина:

Джангар. Калмыцкий народный эпос / Пер. С. Липкина;
илл. В. Фаворского; предисл. О. И. Городовикова.
М.: Худож. лит., 1940;

Сталинградский корабль. Боевые действия краснознаменной
лодки «Усыскин». М.: Военмориздат, 1943
(«Фронтальная библиотека краснофлотца»);

Очевидец. Стихотворения разных лет / Худож. Г. Алимов.
М.: Сов. писатель, 1967;

Вечный день. Стихотворения. М.: Сов. писатель, 1975;
Воля. Стихи. Ann Arbor: Ardis, 1981;

Кочевой огонь. Стихи. Ann Arbor: Ardis, 1984



Москва, 1941



Сталинград, 1943



Москва, 1946



Слева направо:

1-й ряд (сидят) – Ж.-Л. Мигно; О. Мирошниченко-Березко (Трифорова)
Х. Уитни, жена К. Уитни; К. Уитни;

2-й ряд (сидят) – Г. Сапгир; М. Кармен; Ю. Трифонов; В. Аксенов;
Вик. Ерофеев; В. Скура;

3-й ряд (сидят) – Г. Балтер; Р. Бёлль, сын Г. Бёлля;
Г. Бёлль с «Метрополем» в руках; А. Бёлль, жена Г. Бёлля;
В. Славутская; Р. Орлова;

4-й ряд (сидят, стоят) – В. Войнович; Б. Мессерер; С. Липкин;
И. Лиснянская; Г. Владимов; А. Битов; Л. Баткин;

5-й ряд (стоят) – С. Бабеньшева; Н. Кузнецова; С. Иванова;
Ф. Искандер; О. Окуджава; Л. Копелес;

6-й ряд (стоят) – Б. Окуджава; В. Тростников; Ф. Горенштейн;
В. Ракитин; Е. Попов
Москва, 1979

Фото В. Плотникова



**С. Липкин с И. Лиснянской
Перedelкино, 1981**

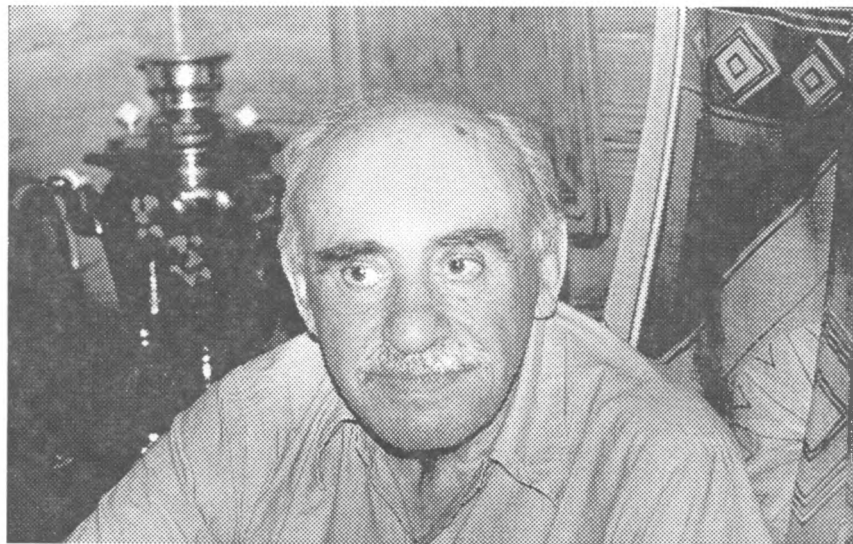


Слева направо:

С. Липкин, Е. Рейн, И. Лиснянская,
А. Ахундова (*стоит*), О. Чухонцев

Москва, 1984

Фото А. Кривомазова



Красновидово, 1987



**Выступление в Доме медицинских работников
Москва, 1989**



На юбилейном вечере в Доме-музее Булата Окуджавы
Перedelкино, 22. 09. 2001
Фото О. Шамфаровой



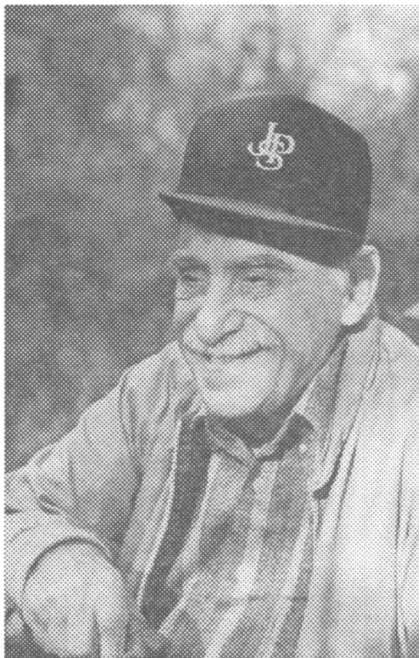
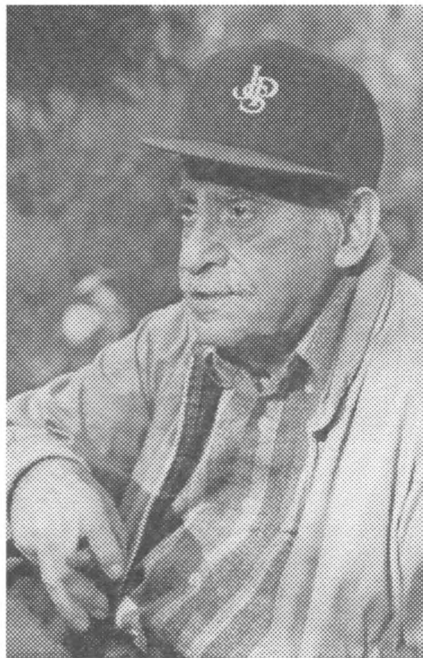
Слева направо:

**С. Липкин, И. Лиснянская, Н. Поболь, М. Лыхина.
Перedelкино, 19. 09. 2000**

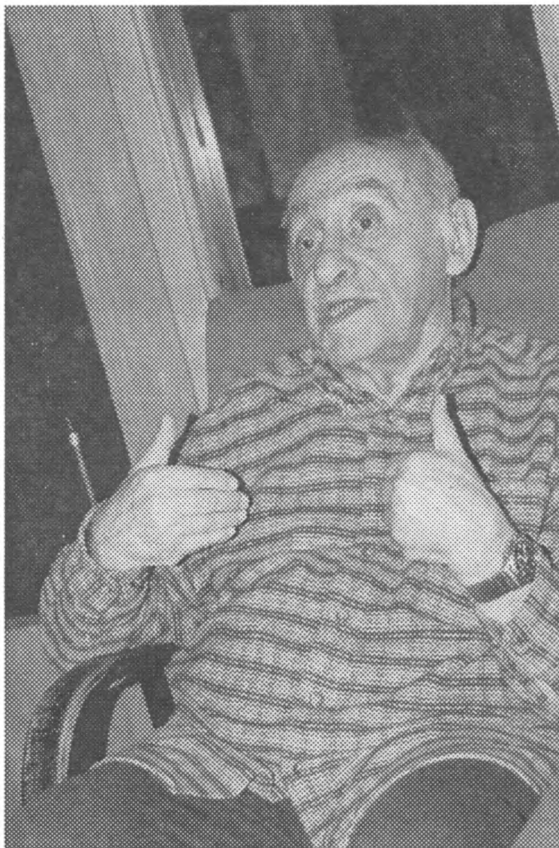
Фото О. Шамфаровой



С. Липкин с И. Лиснянской
Переделкино, 19. 09. 2000
Фото О. Шамфаровой



Перedelкино. 2000
Фото О. Шамфаровой



Переделкино, 2003
Фото О. Шамфаровой

Последняя запись в рабочей тетради →



Книга.

giorno
day

Книга для мира - утешение и знамение
После нее поднялись века.

Пламенная сердцем по белому камню
Вывала каждая свое руны.

Жизнь этой книгой приготавлива,
Кладется славящей душевной родой,
Господом Книга была Фродинтовна,
А матерью Перемиски святой.

27.1.2001

Мой первый вопрос. Как возникла знаменитая четверка? Как вы все познакомились? Кто же был с кем ранее в дружбе?

– Я познакомился с Тарковским осенью 1929 г. в доме Штейнбергов. Тогда же я познакомился и с Марией Петровых. Наше знакомство превратилось в дружбу. Конечно, были и размовки, как всегда в таких случаях, но, в общем, тогда началась наша дружба. Собирались мы у Штейнберга, его отец был врач, важный человек, начальник санатория на Северном Кавказе, часто отсутствовал, поэтому у Штейнберга была своя комната. Тарковский жил рядом. Штейнберг жил на Старой Басманной, а он в переулке ближе к Разгуляю. У него (Тарковского) была интересная квартира. Она находилась, я не помню, в одноэтажном или двухэтажном здании на территории заводика, поэтому, чтобы к нему пройти, надо было страже показать какой-то пропуск, еще паспортов не было тогда, в 1933 г. Относились они к этому спокойно, зная, что здесь живет такой жилец. Они жили на первом этаже, поэтому и сами, и их гости часто входили через окно. Вот это – начало знакомства...

– Кто из старших поэтов опекал вашу четверку на первых порах?

– По-разному. Ко всем относился хорошо Шенгели.

– А как Вы с ним познакомились? Также через Штейнберга?

– Видимо, я уже забыл, как произошло это знакомство. Он был наиболее близок к Тарковскому. Это одна, так сказать, ипостась знаменитого поэта. Вторая, моя со Штейнбергом, это Багрицкий, который недооценил дарование Тарковского. Тарковский у него не бывал. В 1930 г. у нас был вечер в Доме печати. Публика нас очень хорошо встречала, потому что больше половины публики были друзья Штейнберга.

– Вечер именно вашей четверки?

– Да, вел ее поэт Миних. Он был нам близок по возрасту, но уже печатался в «Красной нови» и других местах. В общем, вечер прошел очень для нас хорошо.

– А почему было так тяжело публиковаться? Может быть, вы прилагали недостаточно усилий? Ведь было так много журналов, газет... Учитывая, что качество стихов было высокое, наверняка это можно было сделать. Какие были проблемы?

– Это очень правильный и очень сложный вопрос. Еще до моего знакомства с Тарковским он напечатал в «Прожекторе» (был такой журнал) стихотворение «Хлеб». Штейнберг называл это «труд» Тарковского. Меня и Штейнберга печатали первые два года, конец 1929 и начало 1932. Потом, после великого перелома, печатать нас перестали и мы все оказались переводчиками, потому что Шенгели стал редактором отдела «Народов СССР»

в Гослитиздате. Тогда штат был небольшой, Шенгели был, по моему, один, без помощников. И мы стали работать, так сказать, для пропитания.

– *А почему именно восточные переводы?*

– Потому что Шенгели ведал «Народами СССР».

– *А из народов СССР культура Востока, как более древняя, была для Вас наиболее интересной? Вас тогда интересовала наиболее ранняя поэтическая культура?*

– Это был настоящий подарок. А обычно попадались советские стихи, которые никакого художественного значения не имели. Нужно было только аккуратно, чисто это делать.

– *Опишите, пожалуйста, ранних Штейнберга, Тарковского, Петровых. Какие это были характеры? Кому каждый из них подражал?*

– Это были разные люди. Нашим лидером был Штейнберг. Он был наиболее образован, прекрасно знал немецкий, немецкую поэзию. Русскую поэзию мы все хорошо знали. Он был художник, поэтому хорошо знал живопись. Вообще, он был нашим лидером благодаря темпераменту. Я не знаю, понимали это Тарковский и Петровых, я это так понимал.

– *Вы были их намного моложе?*

– Я был самый молодой. Штейнберг и Тарковский были с 1907 г., Петровых – с 1908, а я – с 1911.

– *Так какими они были?*

– У Тарковского характер был очень женский, мягкий.

– *Сказалось ли то, что в детстве мать воспитывала его как девочку, одевала в платья?*

– Этого я не знаю, впервые слышу от вас. Он очень нравился женщинам. Как правило, дамы, с которыми он имел дело, были старше его, порой, лет на десять. Это была не только дружба, а нечто большее... Вообще мы все подчинялись Штейнбергу. Возможно, потому, что он был наиболее темпераментный и образованный, активный. Во всяком случае, Тарковский следовал за ним. Они читали друг другу стихи, говорили честно, нравится или не нравится.

– *А чем отличалась Петровых? Какие качества она привносила в компанию? Если вы приняли ее, значит, ее стихи заставили вас уважать ее?*

– Мы ценили ее как поэта, она была очень робкая, не всегда читала, надо было ее сильно уговорить. Из нас она наиболее близка была к Тарковскому по дружбе.

– *Даже ближе, чем Штейнберг с Тарковским?*

– Да. Тарковский и Петровых учились вместе. В Брюсовском или в наследии Брюсовского института. А Штейнберг учился во ВХУТЕМАСе.

– *А где учились Вы?*

– Я учился в инженерно-экономическом институте на химика.

– *Вопрос, на который я уже частично получил ответ. Где Вы жили в Москве и были ли переезды? Где жила Петровых?*

– Я жил в разных местах, несколько лет я жил в общежитии на Стромынке. Штейнберг жил в хорошей квартире на Старой Басманной. Тарковский где-то в деревянном доме, я никогда там не был, в Сокольниках.

– *Знаете ли Вы, что Тарковский какое-то время жил под столом у Шенгели? И большой ли это был стол, и с чем это было связано? И как долго он там жил?*

– Это особая история. У Шенгели была странная квартира в переулке, в районе Поварской. В этой квартире был детский сад. При входе стояли низенькие вешалки с именами детей. Затем была очень большая комната Шенгели, разделенная книжными шкафами. Каким-то образом Тарковский оказался без квартиры еще до нашего знакомства, поэтому я не знаю подробностей. А так как там были Георгий Аркадиевич, Нина Леонтьевна, домработница, места другого не было и он ночевал под столом, потому что там были подставки для белья.

– *Расскажите, пожалуйста, где и как Вы познакомились с Ахматовой.*

– Я с ней знакомился дважды. В первый раз в 1943 г. в Ташкенте. После Сталинградской битвы меня отпустили на свидание с матерью. Дело в том, что я был мобилизован, а моя мать с сестрой жили в Одессе. Я не знал, живы они или нет. Я приехал в Москву в 1943 г., потому что меня вызвали. Дело в том, что я Сталинградскую битву провел на корабле, на канонерской лодке... и я написал очерковую книжечку «Сталинградский корабль». Ее наше начальство направило в Военмориздат, и меня вызвали, чтобы я внес некоторые поправки. Там, в Москве, я встретил одного человека, который сказал мне, что моя мать в Ташкенте. Я попросил у начальства разрешения туда поехать. Мне дали пять суток без дороги, а дорога туда и обратно длилась 20 дней, все же было разрушено. Оказалось, моя мать и сестра жили на улице Жуковского в том доме, где жила Ахматова. А я был знаком со вдовой Мандельштама еще в Москве. Итак, в Ташкенте мы встретились, и она отвела меня к Ахматовой. Оказалось, Ахматова меня уже видела и попросила Надежду Яковлевну Мандельштам привести меня к ней. Ее отец служил по морской части, и она с детства привыкла к морской форме. Так что она интересовалась мною не как поэтом, а как моряком. Я провел у нее час, рассказывал о Сталинградской битве. Предлагать ей послушать свои стихи я не стал.

Потом, в 1950-х, нас вновь познакомила Петровых. Петровых с ней познакомилась гораздо раньше, через Мандельштама.

– *Как состоялось Ваше знакомство с Мандельштамом?*

– В Одессе я посещал кружок при комсомольской газете «Молодая гвардия» и как-то выделился в этом кружке. И руководитель кружка, вернее, его председатель, старый комсомолец по фамилии Абель собрал несколько стихов и отправил в журнал «Молодая гвардия». Стихами там заведовал поэт Кудрейко-Зеленяк. Как-то в редакцию зашел Мандельштам. И там же был Абель. Кудрейко дал Мандельштаму стихи, предназначенные для ближайшего номера. Там были и его стихи, и еще чьи-то, и мои. И Мандельштам отметил мое стихотворение. Тогда Абель сказал, что я хочу приехать в Москву и что я очень люблю его. Мандельштам написал записочку мне, что стихотворение ему понравилось, пригласил в гости. Я эту записку в Одессе спрятал в корзину, а когда мать и сестра оттуда уезжали, они ее не взяли. Когда я приехал, узнал адрес Мандельштама, он меня пригласил к себе. Вот так началось знакомство.

– *И насколько я знаю по Вашим воспоминаниям, оно было очень длительным и сердечным.*

– Я бы не сказал, что дружеским. Он очень снисходительно ко мне относился. Что-то ругал, что-то хвалил. Больше ругал, чем хвалил. Вообще, я стал часто у него бывать.

– *Дружили ли Вы с Пастернаком? Или кто-то из Ваших друзей?*

– Нет, я с ним был знаком. Близко с ним познакомилась Петровых, а Штейнберг и Тарковский с ним знакомы не были.

– *Тарковские мне говорили о том, что, когда Пастернак написал «Доктора Живаго», он давал им читать и спрашивал их отзывы.*

– Этого я не знаю, я только знаю, что Тарковский не любил поэзию Пастернака. Как к нему относился Пастернак, я не знаю.

– *Вы, наверное, знаете, что Тарковский не любил поэзию Бродского.*

– Нет, так резко сказать нельзя. Он мне говорил, что Ахматова очень увлечена мальчиком по фамилии Бродский. Он живет в Ленинграде. Дети Ардова позже дали мне стихи Бродского: поэму «Шествие» и несколько других стихотворений. Я был потрясен силой этой поэзии, хотя понимал, что «Шествие» – это еще молодые стихи. Тарковский со мной не соглашался. Он мягко говорил, что это способный мальчик, но не более того. Такова его оценка.

– *То есть не резкое неприятие?*

– Нет, такого не было. Я восхищенно говорил, а он смягчал.

– Известно теплое отношение Каверина к творчеству Тарковского. Известны ли Вам имена литераторов, которые также поддерживали его, когда его не печатали?

– Был один литератор, не помню его фамилии, он описывал разные путешествия. Так вот, он был страстный его поклонник. А однажды мы встретились с Тарковским в Карловых Варах, где в это время был Лихачев. И Лихачев также восторженно отнесся к Тарковскому.

– Это уже после публикации его книжек?

– Нет, его книжка вышла в 1962 г., а мы были там в 1960 или в 1961 г.

– Но Лихачев уже знал его стихи и высоко их ценил?

– Да. А вот Багрицкий не оценил его стихов.

– Вы, Семен Израилевич, единственный из всей четверки, кто мог бы помочь какие-то акценты правильно расставить или какие-то факты привести, которых мы, новое поколение, не знаем. В частности, я хотел бы Вас расспросить о размолвках. Много всяких толков о Вашей ссоре с Тарковским. Согласились бы Вы сами рассказать об этой размолвке? Кто помирил Вас, Татьяна Алексеевна Тарковская-Озерская или Инна Львовна Лиснянская?

– Помирила нас Инна Львовна. Мне не хочется говорить о причинах. Виноваты мы были оба. Тарковский и одна поэтесса вместе что-то переводили. Поделили гонорар. Потом это опять напечаталось, а поэтесса не получила свою часть. Она сказала Ахматовой, а та очень любила Тарковского и не любила его жену, она вообще не любила жен писателей. Анна Андреевна попросила меня поговорить с Тарковским, чтобы он вернул причитающуюся той часть. Я с ним говорил очень грубо. Я не должен был этого делать, зная его мягкий характер. Я должен был сказать, что Анна Андреевна поручила мне некрасивое дело, которое нужно как-то решить. А я стал ругать его. Он обиделся на меня, и мы на много лет поссорились, потом нас Инна Львовна помирила.

– Должен сказать, что слышал другую версию. Тарковский перевел эпос «Сорок девушек», по-моему, а Вы на каком-то литературном собрании будто бы сказали, что это байский эпос, и его не нужно публиковать. Теперь Вы видите, как будет сложно тем, кто пойдет за Вами следом, можно запросто заблудиться в миражах.

– Нет, в литературе у нас никогда не было разногласий, это просто бытовой момент.

– Почему охладели друг к другу в последние годы жизни Тарковский и Штейнберг?

– Они оба переводили югослава Радуле Стиенского. Когда Штейнберга арестовали, эти переводы выходили только

под именем Тарковского. Штейнберг, когда вернулся из лагеря, попросил свои деньги. Тарковский отказался. Как это было, я знаю только со слов Штейнберга. Но Штейнберг был добрый человек, и когда был вечер Тарковского, Штейнберг выступил и очень любовно о нем говорил, как мне говорили те, кто там был. Но когда потом стали проходить в ресторан, Тарковский его не позвал, и Штейнберг был этим пренебрежением очень обижен.

– *Спасибо большое. Последний вопрос в ряду этих ссор. Похоже на то, что и Тарковский с Петровых в последние годы стали редко видеться. Говорят, что причина этому – Татьяна Алексеевна.*

– Причина вначале была та же, что со мной. Та поэтесса была ее подругой. Они разошлись с Тарковским, и он даже говорил, что она не написала ничего хорошего, кроме одного стихотворения. Но потом они помирились, и Тарковский очень хорошо к ней относился.

– *Мы с Вами проводим очень хорошую беседу. Ваши откровенные ответы позволяют закрыть целый ряд сплетен. Спасибо Вам за это большое. Я продолжу задавать вопросы относительно творчества Арсения Александровича. Откуда у него такая тяга к архаике?*

– Я считаю его одним из крупнейших поэтов второй половины XX в. Его, Заболоцкого и Бродского. Я не чувствую у него архаики.

– *Под архаикой я имею в виду то, что у него есть раннее стихотворение «...О, мать Ахайя, / Пробудись, я твой лучник последний...» (Из тетради 1921 г.) или:*

*Это не мы, это они – ассирийцы,
Жезл государственный бравшие крепко в клешни,
Глиннобородые боги-народоубийцы,
В твердых одеждах цари, – это они!
В музее*

– Это не архаика, это тема, на которую он откликнулся. Никакой архаики у него нет, у него живой русский язык, очень музыкальный.

– *Можете ли Вы что-нибудь сказать о том, когда он увлекся астрономией? Есть ли в Вашей памяти что-нибудь любопытное, связанное с этим увлечением?*

– Точно не могу сказать, но перед войной он купил при мне телескоп на Арбате. Он стал специалистом в этом деле. Кроме того, он хорошо разбирался в музыке.

– В моих воспоминаниях о Тарковском я ему говорю о том, что у нас с ним получился дуэт, и привожу по памяти фрагмент из украинской оперы. И он тут же назвал композитора, автора либретто, исполнителей, роли. У него было много пластинок. Ему было очень тяжело утратить свои пластинки, ведь в последние годы его не пускали в квартиру на Маяковке. Они произвели обмен с первой женой Андрея, она переехала в их двухкомнатную квартиру, им отдала свою однокомнатную, они однокомнатную отдали Союзу кинематографистов и получили право жить пожизненно в Матвеевском. Но у них остались в квартире все вещи. А их не пускали на порог.

– Я этого не знал. Когда мы помирились, уже не было прежнего общения...

– Любителям творчества Тарковского известна его первая любовь к некой Ф. из Кировограда.

– Мне об этом ничего не известно.

– Были ли вы свидетелем его поэтической работы? Переводил ли он что-нибудь при Вас? Может быть, стихотворение какое-то написал?

– Нет, никогда.

– Вы можете согласиться с тем, что он был совой, работал по ночам, когда никто этого не видел?

– Даже если он работал днем, я этого не видел, как он не видел, как работал я.

– Известно ли Вам что-нибудь о том, что Татьяна Алексеевна Озерская-Тарковская написала ему подстрочники неких «паровозиков», т. е. дала ему некоторые темы, которые могли способствовать тому, что его первые книжки были изданы? Синельников в своих воспоминаниях о Тарковском-переводчике написал об этом и сказал, что чуть ли не пять таких стихотворений было сделано. Некоторые из них, будучи зарифмованными, стали поэтическим событием.

– Нет, об этом я не знал.

– Какова, на Ваш взгляд, эволюция творчества Тарковского? Только ли накопление мастерства? Почему он избегал крупных форм?

– Во-первых, он написал поэмы...

– «Слепой» и «Чудо со щеглом»...

– Инна мне даже рассказывала, что он говорил: «Я напишу поэму лучше, чем ваш...» Я забыл, как он меня называл. «Начальник» или «хозяин»...

– Он знал Ваши поэмы? Вы ему их читали, или он у кого-нибудь брал их читать?

– Я помню вечер в Союзе писателей, где он слышал их.

– Относительно эволюции его творчества... Что это было, просто накопление мастерства или что-то иное? Все-таки на Ваших глазах это все происходило.

– Я заметил рано эволюцию, потому что в первые наши годы он был очень зависим от Мандельштама и не сразу расстался с этим. Теперь, когда вышли его книги и напечатаны его ранние стихи, я вижу, что там не так уж Мандельштам и существует. Но тогда нам, близким, казалось, что это перепев Мандельштама. Перелом у него произошел где-то во время войны. Сильный перелом.

– Некое возмужание?

– Да, возмужание, война...

– Потери, не исключено... Нога...

– Конечно, конечно...

– Спасибо... Кого, Вам кажется, следовало бы назвать учителями или предшественниками Тарковского? Мандельштама Вы называли. Может быть, кого-то еще нужно поместить в этом ряду?

– Ну, во-первых, вся русская поэзия... Больше всего Тютчев, я думаю. И от Ходасевича он тоже что-то важное взял.

– Сохранились ли в Вашем архиве какие-нибудь ранние стихи Тарковского? Или письма его к Вам? Был ли он плодовитым в юности?

– Нет... Нет...

– То есть когда Вы читали друг другу стихи на ваших встречах, то плодовитым был Штейнберг?

– Плодовитым был Штейнберг...

– Спасибо.

– Я добавлю немного... Почему мне было трудно? Я понимаю так... Во-первых, я был религиозен. У Тарковского такого прямого чувства религии не было.

– По крайней мере вначале, да?

– Да... Я старался так сделать, чтобы не видно было, что речь идет о том, КТО нас создал... В издательствах это все очень быстро «раскручивалось»... Потом у меня были стихи, из которых ясно было, что я не согласен с нашим государством... У Тарковского этого не было... Я думаю, его не печатали потому, что его считали «мертвым» поэтом, который далек от магистральной линии развития советской поэзии, далек не только от Маяковского, но даже и от Пастернака, что он весь в каком-то мире Серебряного века... Вот причина.

– Спасибо большое. Осталась самая малость. Почему в нем сохранилось так много детских черт?

– Такой характер... Вообще он был очень женственный... Характер у него был, как говорят, «сложный, но в действитель-

ности хороший»... Он никому не делал зла... не хотел зла... сочувствовал несчастным... Все то, о чем я вам рассказывал, он тоже делал как ребенок. Ему казалось, что все должны радоваться, что ему помогают. Он был женственной натурой. Хотя и как мужчина он был большой молодец...

– *Самым продуктивным в его творчестве оказался период совместной жизни с Татьяной Алексеевной Озерской-Тарковской. Вы знали и первую его семью, и вторую, и третью... Что-нибудь Вы могли бы сказать по этому поводу? Может быть, те жены не очень соответствовали ему как поэту?*

– Я знал его первую жену Марусю... Знал так хорошо, что я даже не знаю ее отчества. Это была прелестная милая женщина, которая его боготворила... Затем возникла Тоня... (Тренина, по первому мужу)... Это была женщина красивая, добрая, мягкая, но она не была властной... Она была куколкой... Прелестной, милой, доброй, порядочной, – и ему было тяжело... Квартира была такая: на первом этаже (на Серпуховской где-то, если я не ошибаюсь)... одна комната темная (без окна), другая хорошая; в темной спала дочь Тони, которая его очень не любила (почему, я не знаю)... Ему было очень тяжело: путь к дому часто заливался водой, а ему было очень трудно, на костыле... на костылях... Мое мнение, которое я доказать не могу, заключалось в том, что у Татьяны была хорошая квартира, в удобном месте, и это по-человечески понять можно... Как женщина, она была, по-моему, непривлекательна... Сухая... Например, мы жили в одном доме на Черняховской; встречаемся, – она жалуется, что Арсик не переводит, ленится... Мне она не нравилась... Ну... ничего такого плохого о ней я сказать не могу... Я не думаю, что он ее любил.

– *Я слышал от супруги Корина (Гиляровой), что Татьяна Алексеевна очень часто говорила Тарковскому: «Ты – гениальный», «Ты – суперспособный», «Ты – должен!», «Ты – можешь!» – и тем самым его активно мобилизовала на работу, помогла ему раскрыться...*

– Ну... не знаю... может быть... Мне она жаловалась, что он не переводит...

– *Были ли Вы вместе с Тарковским в компании с Цветаевой? Какие у них были отношения?*

– Не был... Не знаю, какие у них были отношения...

– *И последний вопрос: с кем еще дружил Тарковский в 1930-е, 1940-е, 1950-е годы?*

– У него были друзья... Горнунг, кажется... Есть такая фамилия?

– *Есть, есть.*

– Но я его не видел. Слышал... Я с ними вместе не сталкивался...

- Это был известный мне фотограф...
- Он еще и стихи писал.
- Кстати, знаете ли Вы об этом или нет, Горнунг – это фамилия мужа дочери Тарковского Марины... Если Александр Горнунг – это сын того Горнунга, то это интересно...
- Вот как? Я ничего не знал об этом...
- Семен Израилевич, большое Вам спасибо за все сегодняшнее длительное наше общение, крепкого Вам здоровья, долгих лет жизни и побольше творческих удач! Ваши последние стихи мне очень понравились.
- По случаю вспомнил почти анекдот (хороший) из той жизни. Мы выступали где-то в одной из республик...
- С Тарковским? Или с кем-то?
- Тарковский... и я... и Долматовский... и Ошанин... Ведущий сказал: «К нам приехали знаменитые поэты: Евгений Долматовский, Лев Ошанин, Михаил Луконин... а также переводчики – Липкин и Тарковский». И это Тарковского так рассердило, что он в президиуме – и все это видели! – поднялся и вышел за кулисы... Я ему потом говорю: «Ведь этот человек не имел в виду ничего плохого... ведь он нас не знает как оригинальных поэтов... Он сказал то, что есть...» Но он был очень раздосадован.
- Спасибо огромное! Все эти воспоминания очень теплые, и последняя деталь – только Вы о ней можете рассказать... очень важная деталь – и только Вы ее свидетель. Большое, большое Вам спасибо!

3 июня 2000 г.

Публикуется по изд.: Антология мировой поэзии.
2001. № 5. С. 69–78.

«Я РОДИЛСЯ ПРИ ЦАРЕ
И ДЕВЯТЬ ЛЕТ ЖИЗНИ ПРОЖИЛ
В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ»
Беседу вела Екатерина Варкан

Девятнадцатого сентября исполняется 90 лет поэту и переводчику Семену Липкину. Вся прошедшая эпоха – выдающиеся люди и грандиозные события, известные многим лишь только по учебникам, книгам и мемуарам, – составила сюжет его жизни. Пакет литературных премий и отношение литературного сообщества к этому человеку только подтверждают уникальность его личности.

– Семен Израилевич, Вы прожили долгую жизнь, и много всего происходило на Ваших глазах. Какие события Вы бы отметили?

– События раннего детства. Я родился при царе. Большевики к нам в родной город Одессу пришли поздно, в 1920 г., так что девять лет я прожил в нормальных условиях. И первое впечатление детства – это Февральская революция, именно Февральская, а не Октябрьская. Вообще Октябрьской революции у нас как таковой и не было, а было просто вступление большевиков в город в 1920 г. А во время Февральской мне, шестилетнему, запомнилось, что незнакомые люди целовались друг с другом на улицах, радуясь (как потом стало ясно) свержению самодержавия.

Сильные впечатления – мои встречи с писателями старшего поколения. Подростком я познакомился с Багрицким. Потом с Бабелем, Волошиным, Мандельштамом, Андреем Белым. И эти события до сих пор помню во многих деталях. И, наконец, война. Я на пятый день был мобилизован и (правда, с некоторыми послаблениями как литератор) принимал участие в Отечественной войне. Так случилось, что в 1942 г. попал в окружение, в котором мы пробыли целый месяц. Для меня из-за некоторых особенностей моей биографии попасть к немцам было бы особенно тяжело. И сейчас мне часто снятся стычки с немцами, те или иные места, куда мы попадали, когда пытались выйти к своим.

– А время репрессий как-то отразилось на Вашей жизни и жизни Ваших близких?

– На жизни моих близких не отразилось, если не говорить о внутренних переживаниях. Репрессии наступили, в сущности, с самого начала советской власти, а в 1937 г. лишь ужесточились. Репрессиям подвергся мой друг Василий Гроссман за свой роман «Жизнь и судьба». Он раньше ушел из жизни, умер в 59 лет вследствие преследований. И я горжусь тем, что спрятал этот роман и сумел с помощью Войновича передать рукопись за границу, где он был напечатан и стал известен всем.

У меня была одна из копий рукописи этого романа, которую я хранил в одном нелитературном доме. В то время уже начинали преследовать Войновича, с которым мы были соседями, за публикации за границей. Я ему рассказал о том, что храню этот роман, и попросил помощи. Он согласился. Рукопись надо было сфотографировать, чтобы потом вывезти фотопленку. Для предосторожности в тот дом, где можно было это сделать, я отправил свою жену Инну Лиснянскую. Она очень испугалась, когда в подъезде за ней последовали двое мужчин в штатском. Все, правда, обошлось, но фотографии тогда вышли плохие. Потом фотографировали еще раз и участвовали в этом уже Андрей

Сахаров и Елена Боннэр. Роман долго не печатали, потому что он был очень большой – 40 печатных листов, это тысяча страниц. Но нашелся некий издатель Дмитриевич, серб по происхождению. Он и напечатал роман тиражом в 2 тысячи экземпляров. Еще через несколько лет книгу перевели на французский, и роман стал бестселлером во Франции.

У нас были тяжелые годы, когда мы с Инной Лиснянской во время истории с альманахом «Метрополь» были вынуждены выйти из Союза писателей. Мы сделали это в знак протеста против исключения из Союза двух ныне весьма известных писателей Виктора Ерофеева и Евгения Попова. И тогда получили запрет на профессию.

Как ни странно, именно в этот период мы почувствовали огромный прилив творческого вдохновения, и очень много было написано в то время. И для нас было счастьем, что хоть и не в России – во Франции, Соединенных Штатах – вышли наши поэтические книги на русском языке. Такому прорыву есть простое объяснение и более сложное. Я всегда много времени уделял переводам, которые, надо сказать, очень любил, и благодаря переводам восточной классики, народных эпосов довольно близко познакомился с мусульманской и буддийской культурами. Хотя многие считали, и в том числе руководитель издательства «Ардис», что я потратил на это слишком много времени.

Словом, нас тогда не посадили, слава Богу, но было тяжело.

– *Семен Израилевич, в литературных кругах Ваше имя овеяно некой легендой – Вы были безупречным человеком с точки зрения гражданской позиции.*

– Безупречным человеком я бы не мог себя назвать. Все мы грешные. Но я старался быть честным. Я никогда не подписывал никаких подметных писем, но не могу сказать, что я активно боролся с режимом.

– *Вы сказали, что не участвовали в неких акциях. Можно понимать это так, что в какой-то момент позиция ничегонеделания тоже является активным действием?*

– Да, наверное. Мой друг Вениамин Александрович Каверин рассказывал, что когда его позвали на собрание, которое должно было исключить из Союза писателей Пастернака, он «смело затаился». Вот и я тоже. Что я сделал? Я рано утром ушел из дому – если будут звонить, то меня нет. Пришел же поздно вечером. Конечно, это мелочь. Кроме того, встречая близких Пастернаку людей, я всегда просил передавать ему привет. Нормально. Я не вел себя храбро. Я вел себя нормально. Это все пустяки по сравнению с тем, что пережили другие люди, но было трудно.

– Семен Израилевич, говорят, Вы были у Волошина в Крыму?

– Был в Коктебеле в 1930 г., незадолго до его смерти. Я приехал вместе с моим старшим другом Георгием Шенгели, замечательным поэтом, который дружил с Волошиным. Он меня и привез на его дачу в Коктебель, а я был еще студентом. У Волошина гостил тогда Алексей Толстой, они вообще были на «ты» и дружили. Вересаев, живший рядом, часто приходил.

Из Феодосии мы приехали на тарантасе – еще не было машин. И приехали очень рано, часов в 6–7 утра. Георгий Аркадиевич предложил мне пойти искупаться в море, пока нас устроят, и указал место, где плавают мужчины. Я пришел и увидел, что спиной ко мне стоит крупная голая женщина. Решив, что не понял и попал не туда, пошел на другую сторону пляжа. Там плескались две молоденькие девушки. Я вернулся обратно. И оказалось, что стоявшая спиной полная женщина – это Алексей Николаевич Толстой. Повернувшись, он бросил: «Холодно в море, но бодрит, мерзавец».

Почти каждый вечер в кабинете Волошина собирались люди и беседовали в основном о литературе. Мне было всего 19 лет, и, признаюсь, не каждый раз меня приглашали на эти вечеринки. Но пару раз я все-таки на них бывал. Во время одной из встреч обсуждали рассказ Алексея Толстого, который он читал накануне. И я застал беседу на эту тему. Какой именно рассказ, я до сих пор не знаю, но помню хорошо, как Волошин сказал тогда Толстому: «Алеша, каким бы ты был замечательным писателем, если бы был пообразованней».

На этих вечерах гости, собиравшиеся у Волошина, обязательно читали стихи или прозу. Как-то попросили прочесть и меня. Шенгели похвалил мои сочинения, он вообще очень хорошо ко мне относился. А Максимилиан Александрович пригласил с ним прогуляться. Мы пошли к тому месту, где теперь могила Волошина, – нужно было пройти вдоль моря и подняться в гору. Общий смысл сказанного им был такой, что у меня есть удачные выражения, метафоры, но поэта пока нет. Он изложил тогда несколько интересных формул, но я их забыл. Он считал, что поэта делает Бог. А самое важное в поэте – это его внутреннее чувство мира. Техника же приходит позже.

Сам же Волошин читал очень странно – то у него был низкий голос, то очень высокий, почти женский. И вообще он производил очень сильное впечатление.

– Как Вам понравился его легендарный дом?

– Я заметил на дереве в саду почтовый ящик. Мне объяснили, что все, кто имеет деньги, туда вкладывали, кто сколько мог, чтобы помочь Волошину. Я тоже опустил туда деньги, но

немного, ведь я был студентом и особых средств не имел. Больше, чем все остальные вместе взятые, давал Алексей Толстой – и в ящик, и в руки хозяину.

– *Еще в Одессе Вы познакомились и подружились с Багрицким...*

– Знакомство с ним случилось в 1925 г. Мне было 15 лет, я учился в художественной профшколе и посещал там литкружок. Стихи хвалили мои товарищи, такие же мальчики и девочки, как я, и я решил отправиться в редакцию «Одесских известий» их показать. Пришел и у первого человека, которого встретил, спросил, где редактор. Человек поинтересовался, зачем он мне. И я объяснил, что хочу предложить стихи в газету. На что он заметил, что много лет еще пройдет, когда главный редактор станет принимать меня по этому поводу, и отправил к специальному консультанту по стихам. Я оказался в темной комнате, где увидел на столе как бы спящего человека, и обратился к нему: «Товарищ, я принес стихи и хочу, чтобы их напечатали в газете». «Давид Бродский этим не занимается, а Давида Бродского знает вся Одесса», – ответил мне, как оказалось потом, этот самый Давид Бродский. Но он пообещал, что сейчас придет именно тот, кто и занимается чтением стихов всех авторов, желающих славы.

И действительно, вскоре в комнату вошел высокий человек с ранней сединой. Ему было лет 30, но уже сказывалась астма: он тяжело дышал. И одет был очень бедно. Он спросил, кого из поэтов я знаю. А я уже был знаком с русской классической поэзией, читал Ломоносова, Державина, Пушкина, Лермонтова. «Это все старые поэты, – сказал он. – А кого вы знаете из современных?» – «Демьяна Бедного и Эдуарда Багрицкого». Он спросил: «А кто лучше?» – «Эдуард Багрицкий. Демьян Бедный пишет, как в газете, но в рифму. А Багрицкий про море пишет хорошо». Он поинтересовался, уверен ли я, что Багрицкий неплохой поэт. Я подтвердил. «Так вот, Эдуард Багрицкий буду я. Ну, дайте, что вы там написали». Я ему передал тетрадочку с переписанными в нее стихами. Помню еще, что на ней был портрет Троцкого и надпись такая, видимо, из его речей: «Грызите молодыми зубами гранит науки». Вот я ему ее и подал. Он посмотрел и вдруг устремил на меня такой острый взгляд и говорит: «А вот это вы украли у Гумилева». Я ответил, что поэта Могилева не знаю. А у меня такие нескладные строчки были:

Лишь движеньем мы жизнь постигаем
И преображаемся в нем.

Тогда он мне прочел Гумилева:

Ах, в одном божественном движеньи
Косным нам дано преображенье.

Я ему сказал, что поэта Гумилева никогда не читал, и он рассердился: «Ну, а Блока вы знаете?» – «Читал “Двенадцать” – частушки какие-то. Мне понравилось одно место – «У тебя на шее, Катя, та царапина свежа». Тогда он спросил, сколько мне лет? И, узнав, что 15, заметил: «Да, в это время интересуются, какие у девушек шеи». А потом добавил: «Помни, что в газетах печатают плохие стихи, у тебя их много, так вот одно мы напечатаем».

Затем Багрицкий пригласил меня к себе, пообещав показать стихи, которых я не знаю. Он жил на Дальницкой улице, это окраина Одессы, конец знаменитой Молдаванки, и надо было туда добираться на трамвае.

Из портьеры мне сшили курточку и повязали на шею бант. Мама дала 20 копеек на трамвай. Тогда трамвай стоил очень дорого, и за 20 копеек можно было пообедать в столовой. Я вспомнил, что Багрицкий говорил: «Фраера ездят на трамвае, я хожу пешком», и, как он, тоже пошел пешком. Добравшись, увидел какую-то мазанку. Открыл дверь, комната была без окон и очень темная. Ночью, видимо, шел дождик, и поставили корыто, в которое я чуть не угодил. Вот в такой бедности он жил. Багрицкий, увидев меня, сказал: «Снимите с себя бант, а то вы похожи на артиста без ангажемента», а потом стал читать Блока, Белого, Брюсова, Бальмонта, того же Гумилева. Он рассказал, что очень любил Гумилева: «Но мне теперь душно его читать, я тебе дарю его книги, потому что хочу с ним расстаться». Я прочел и просто сошел на нем с ума. Все, что я потом сочинял, было под Гумилева.

Мы подружились, и как-то Багрицкий зашел ко мне в школу, предложил пойти на море и отпросил у директора. Был май, и в Одессе еще не купались. Я разделся, а он снял только рубашку, и открылось белое и нездоровое его тело. Я залез в воду и, расшалившись, стал бить на него волну и зазывать в море. Оказалось, что певец моря не умеет плавать. Он рассказал, что пишет стихи об украинском крестьянине силлабическим стихом, как Шевченко. Считается, что это очень трудно сделать по-русски, даже Сологуб не справился, когда переводил Шевченко. Багрицкий предложил мне послушать отрывок из знаменитой поэмы «Дума про Опанаса», в котором шла речь о забеременевшей крестьянке. Этот фрагмент потом не вошел в поэму, но Багрицкий вставил его в либретто, которое написал по мотивам поэмы.

В Одессе тогда мало кто его знал, и жилось ему материально очень плохо. Потом Багрицкий рассказывал, что как-то к нему пришел Катаев и сказал: «Я купил тебе билет до Москвы».

И он поехал. Единственное, что взял из Одессы, это клетку со щеглом. Он уехал и стал знаменит.

Прошло два года, и он снова приехал в Одессу, но это был уже настоящий поэт – в кожаной куртке, кожаной фуражке и крагах – за славой приехал на родину. В Доме писателей прошел его вечер, который имел успех, и потом мы гуляли, а я рассказал, что собрался ехать в Москву учиться, потому что местный университет закрыли и вместо него организовали Институт народного хозяйства, где преподавали на украинском языке. Я украинский люблю и теперь могу разговаривать украинскою мовою, но учиться по-украински я не хотел. «Правильно, – сказал он, – в Одессе вы пропадете. У вас есть способности: есть слух, не очень точный глаз. Может быть, из вас выйдет поэт. Я не думаю, что большой, но поэт выйдет. Я на этом собаку съел».

В Москве Багрицкий снимал пол-избы в Кунцеве (тогда это была деревня), и я по его приглашению приехал. В его доме я увидел аквариумы – он разводил рыбок. А подселил он меня к тому же Давиду Бродскому – вдвоем снимать квартиру было дешевле. И Эдуарда Георгиевича теперь я видел почти каждый день, к нему вообще приходило много гостей.

– *Кого Вы помните из особо близких ему людей?*

– Багрицкий высоко ценил Нарбута; тогда они были женаты на сестрах. Нарбут – из украинской дворянской семьи, вступил в компартию, стал сотрудником ЦК. Предполагаю, что и издали Багрицкого с помощью Нарбута. В свое время, как и у многих партийных лидеров, у него начались неприятности – появились публикации, что когда-то он, попав в плен к добровольцам, выдал коммунистов. Его исключили из партии, но не арестовали, а сделали это позже. Он погиб по пути на Колыму: утонул, когда плыл на лодке. Приходили часто к Багрицкому Светлов и Бабель.

– *В каком году Вы познакомились с Бабелем?*

– В 30-м или 31-м в Москве. Он был знаменитый, при этом общительный, веселый, очень-очень умный и сильно любил Багрицкого, что было видно. Они были близки. Часто говорили о политике (но не в моем присутствии), о том, что происходит в стране. Багрицкий, правда, потом не сдерживался и пересказывал мне. Тогда очень все ополчились на роман Замятина «Мы». И Бабель, и Багрицкий считали Замятина большим писателем и негодовали по поводу вакханалии, которая развернулась в прессе против него, в результате чего Замятин вынужден был уехать за границу. И Троицкого тогда тоже выслали из Москвы.

В Москве я несколько раз бывал у Бабеля, но помню, как в Одессе встретил его на привокзальной площади. Развеселившись, он пошутил: «Когда я приезжаю в Одессу, я освобождаюсь

от уз грамматики. Я подхожу к любому киоску и говорю: «Дайте мне стакан вода». Он подарил мне книжечку со своей пьесой «Мария» и драгоценной надписью для меня. Позже Бабель получил дачу в Переделкине и начал обустроиваться, но его арестовали.

Вообще некоторые встречи были весьма необычны, например, с четой Ежовых. Жена Ежова была одесситка и участвовала в литературной жизни Одессы еще в те времена, когда там был Багрицкий. И именно он как-то взял меня к Ежову уже в Москве. Оказалось, что Ежов очень небольшого, как я, роста. Багрицкий читал свои стихи с большим подъемом. Ежов заметил, что стих у Багрицкого хороший, но ему надо быть ближе к жизни. Потом арестовали и Ежова, и его жену. Багрицкого же миновала эта судьба.

Багрицкий вообще был очень просоветски настроен, более чем лояльно, я бы сказал, страстно. И другой одессит, Катаев – всегда лауреат, орденосец, во всем почете. Он не всегда хорошо поступал, в частности голосовал за высылку Солженицына. Потом он мне говорил, что это единственный правильный выход был, иначе Солженицына здесь бы задушили. Когда мы жили в Кунцеве, я заметил, что Катаев при мне у Багрицкого не бывал: они были в ссоре, хотя именно Катаев сыграл большую роль в переезде Багрицкого в Москву. Но ни с одним, ни с другим я никогда не обсуждал эту тему, поэтому точно не знаю, как это произошло, но, наверное, понимаю причину ссоры. Катаев написал прелестный рассказ, который назывался «Бездельник Эдуард». И в главном герое действительно прочитывался Багрицкий. Речь шла о том, что герой живет только стихами, птицами, рыбками, но не кормит жену. Багрицкий страшно обиделся, и с тех пор они не общались, и ни разу я не видел Катаева в доме у Багрицкого.

С самим же Катаевым я познакомился еще в Одессе. Там на Ланжероне было место, где собирались все пишущие местные люди. Как-то, году в 27–28-м, привели туда захавшего на родину Катаева. Он с нами познакомился, и помню только одно – он разделся и сказал: «Сейчас молодой бог войдет в море». И действительно он был красив: высокого роста, хорошо сложен.

Уже много позже мы встречались с Катаевым в Переделкине. Когда мы с Инной Львовной вышли из Союза писателей, Катаев прочел наши совместные книги, изданные в Америке, и вспылал добрыми чувствами. Валентин Петрович хвалил наши стихи и делал это так, как будто они напечатаны в СССР, и ни слова не было о том, что с нами случилось. Мы приходили к нему в гости, вместе гуляли. И вот однажды я ему заметил, что как-то делает он много ненужного, слишком хваля во всем

советскую власть. А в этот момент мы проходили мимо дачи Леонида Леонова. «Вот, Леонов, – сказал я, – и лицо важное, и дача большая, но он не так, как вы, поддерживает любое дурное постановление». Катаев ответил: «Но ведь Леонов и пишет так, как это нужно власти, а у меня получаются всегда трудности, и ни один роман легко не проходил». Словом, в последние его годы мы очень подружились, хотя в молодости только здоровались.

– *Еще один знаменитый Ваш земляк – Юрий Олеша...*

– К Олеше слава пришла после романа «Зависть». Но потом он очень мало писал – пьесу, рассказ. Ничего большого он так и не сделал. И материальное положение его ухудшалось день ото дня, что он очень переживал, но вида никогда не показывал. Он вообще был очень скрытным и ни на что не жаловался. Как-то, будучи студентом, я приехал на каникулы в Одессу, и оказалось, что в лучшей и очень дорогой гостинице «Лондонская», правда, в самом дешевом номере, живет Олеша. Мы отправились с ним на прогулку. И каждый показывал интересные ему в Одессе места. Я предложил пройти по Полицейской (мы по-старому называли улицы) и показал интересный четырехэтажный дом, который стоял над портом. Два верхних этажа были на улице, а два нижних – в порту, что архитектурно было очень интересно. И Юрий Карлович, смеясь, заметил, что жил в этом доме, когда ему было два года. <...>

– *А как Вы познакомились с Ахматовой и как выглядели ваши отношения?*

– Я знакомился с ней дважды. Во время войны я участвовал в обороне Сталинграда в рядах Волжской военной флотилии – был сотрудником газеты «За родную Волгу». Мое место было в канонерской лодке, две пушки стреляли по немцам, а я описывал, как мы бьем врага. В 1943 г. после Сталинградской победы я оказался в Москве по издательским делам – печаталась моя книжка «Сталинградский корабль». Во время войны в Одессе же остались моя мать и сестра, и я узнал, что им удалось отсюда выехать в Ташкент. Я попросил отпуск и получил неделю. Отправился к ним, и, представляете, приезжаю я в военно-морской форме, с кортиком на боку, и во дворе, где жили мои близкие, встречаю Надежду Яковлевну Мандельштам. Мы очень обрадовались друг другу, и она рассказала, что здесь живет Анна Андреевна Ахматова. А на другой день передала мне приглашение Анны Андреевны, которая захотела со мной познакомиться, так как сама была из морской семьи. Стихи мои ее не интересовали, она расспрашивала только о морской службе и потом обо мне благополучно забыла. И спустя годы – в 57–58-м – моя приятельница Мария Петровых рассказала ей обо мне и познакомила нас.

Ахматова хорошо отнеслась к моим стихам, и с тех пор во всех своих суждениях о современной поэзии обязательно упоминала мое имя. Кстати, Анна Андреевна специально приехала на мой первый творческий вечер в ВТО в 1961 г., хотя была уже нездорова.

Анна Андреевна очень не любила, чтобы разные люди были у нее в доме в одно время. Если она назначала кому-то свидание, в гостях у нее был всегда только этот человек. И вот однажды я пришел к ней и застал там Пастернака, чему был немало удивлен. Они беседовали, и Пастернак очень ругал английского писателя Голсуорси – плохо пишет, люди неживые. Говорил долго, но в конце концов ушел. Анна Андреевна рассказала, что до меня он ругал Голсуорси еще полчаса. Я полюбопытствовал, почему такой неяркий писатель его так заинтересовал. – «В том-то и дело. Давным-давно, в 1930-е годы, Пастернака выдвинули на Нобелевскую премию, но получил ее Голсуорси».

С Пастернаком на моей памяти произошел еще один забавный случай. Были времена, когда поэтов обязывали бесплатно выступать в рабочей среде. И вот такая группа (в ней был и я) отправилась в какой-то клуб в районе трех вокзалов. В афише все мы были перечислены – и Пастернак, и какой-то сатирик-юморист. Все, естественно, ждали пародиста. И вот объявили Пастернака, и слушатели решили, что это именно он и есть, а овощ-пастернак – это прозвище такое. А Борис Леонидович решил прочесть стихи о том районе, где проходило выступление, и начал: «Многолошадный, буйный, голоштаный...» Такие слова были в новинку для публичного выступления, и зал начал хохотать, действительно увидев в нем юмориста. Он начал смеяться вместе со всеми и объяснил, что, в сущности, все, что пишется, никуда не годится.

С Пастернаком мы не были близкими друзьями, но свел нас еще один интересный случай. Я тогда был уже важным переводчиком. И вот мне дали на отзыв переведенного Рабиндраната Тагора, и я отрицательно отнесся к неизвестной мне переводчице Ивинской. А через некоторое время мне позвонил Пастернак с просьбой, чтобы я указал Ивинской ее ошибки для доработки. Когда мы встретились, я в лицо ее сразу узнал – она сотрудничала в «Новом мире», и ходили слухи, что была привязанностью Пастернака. После исправлений перевод опубликовали. Ивинская снимала домик в Переделкине около пруда. Она пригласила меня, был Борис Леонидович, мы устроили праздник с выпивкой. Вскоре Пастернак собрался домой, и мы вышли его проводить. Он ее поцеловал и ушел, а потом вернулся и поцеловал снова. Во всем этом была какая-то трогательность, и было видно, что он очень ее любит.

Семен Липкин может вспомнить и не такое. Хотя некоторые из его воспоминаний были опубликованы, в нашем живом разговоре открылись новые подробности эпохи и составивших ее славу людей.

Публикуется по изд.: Независимая газета.
2001. 15 сент.

МЫ – БЕДНЫЕ НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Беседу вела Лиза Новикова

Сегодня писателю Семену Израилевичу Липкину исполняется 90 лет. Патриарх отечественной поэзии встречает свой юбилей на даче в Переделкине. Здесь же, по соседству, в музее Булата Окуджавы, 22 сентября состоится встреча с юбиларом. Семена Липкина навестила корреспондент «Ъ» Лиза Новикова.

– У Вас странная литературная судьба. Ваш первый сборник вышел, когда Вам было уже 50.

– Точнее, 56. Именно тогда я издал свою первую книжку стихов. Это ненормальное явление. Я не мог этого сделать раньше, потому что мои стихи как-то не соединялись с государственным пониманием поэзии. Но это не я так решил – избрать этот путь неизданного поэта. Я бы с удовольствием решил по-другому, чтобы меня печатали, чтобы я издавал книги – но не получалось. По-настоящему я начал издаваться, когда рухнула советская власть, т. е. очень, очень поздно. И я очень рад тому, что смог кое-как все-таки изложить все то, что меня мучило, что увлекло, радовало. И это издается.

– Писателям от этого легче? Или, может быть, труднее?

– Как вам ответить. Русская литература – великая литература, а мы все – все-таки бедные наследники этой великой литературы. В том, что сейчас происходит, есть положительное начало: пишущие люди не зависят от государства. Выходит много хороших книг, но достойных великой русской литературы я среди них не вижу. Я сам не достоин, и других не вижу.

– Каждый год на литературные премии выдвигаются сотни книг. Неужели все они никуда не годятся?

– Ну посмотрите сами. В XX в. у нас было восемь великих поэтов: Анненский, Ахматова, Блок, Бунин, Мандельштам, Пастернак, Ходасевич, Цветаева. Теперь вы сами скажите, есть ли кто-нибудь сейчас им равный? Конечно, нет. Но они были, и они живут в нашем сердце, и нам нужно думать о том, чтобы мы хоть немного с ними сравнялись.

– *Как Вы определите литературное направление, к которому принадлежите: акмеизм, постакмеизм?*

– Тут вышел трехтомный учебник, где меня называют неоакмеистом. Смешно звучит, но и вправду, из того прошлого, что было, акмеисты мне наиболее близки, особенно Ахматова. <...>

– *Вообще, что Вы цените в стихах?*

– Сейчас я не думаю о формальных моментах, я думаю о том, берет меня за душу это стихотворение, хорошо ли оно написано с точки зрения моего понимания, что такое хорошо. То есть чтобы не было пустых строк, чтобы боль и радость человека были отражены в его стихах – вот это главное. Чтобы был ум. «Поэзия должна быть глуповата» – эта фраза смешная, довольно афористичная, но я в это не верю. Поэзия может быть простовата, но ведь что самое простое – возьмите Евангелие.

– *Что Вы сейчас пишете?*

– Я сейчас редко пишу. Все-таки возраст сказывается. Мне самому не очень нравится то, что у меня сейчас получается. Недостает двух вещей: глубины и любви. Посмотрим, может быть, Бог даст еще какое-то время для жизни, я напишу то, что хочу выразить.

– *Располагает ли к этому «Жизнь переделкинская» (так называлась Ваша давняя поэма)?*

– У Переделкина особая история. Вы ее знаете? Как-то раз у Горького был прием писателей, на котором был Сталин. Видимо, Сталин уже тогда понял, что официальные писатели, прежде всего рапповцы, как-то заражены троцкизмом, относятся к нему не так, как следует. Он обратился к самому знаменитому попутчику Леонову и спросил его, ну, я не знаю, какой вопрос он ему задал, ну что может царь спросить у подданного. Что-нибудь вроде, как ему живется. Тот ответил: «Хорошо, но воздуха не хватает». Сталин так понял, что нужно давать писателям дачи. И дал Переделкино.

Впервые я приехал в Переделкино к моему знакомому Пильняку, который показал мне соседские дачи – Пастернака, Леонова. Так началось мое переделкинское существование. Я часто встречался с писателями, которые со мной не здоровались. Но у меня было и много друзей: Каверин, Заболоцкий. Об этом я написал поэму «Жизнь переделкинская».

– *Можно было бы написать поэму о нынешней жизни в Переделкине?*

– Не знаю. Сейчас, когда я прохожу, я почти никого не знаю. Не думаю, что те, кого я вижу, – это писатели. Я не знаю, кто это такие.

Публикуется по изд.: Коммерсантъ.
19.09.2001. № 170.

«ТЕМ, КОГО Я ПЕРЕВОДИЛ,
Я ЧАСТО СОВЕТОВАЛ, ЧТО УБРАТЬ,
ГДЕ РАСШИРИТЬ...»

Беседу вела Елена Калашникова

– *В доме Ваших родителей было много книг?*

– Нет, но я с раннего детства ходил в «Библиотеку приказчиков-христиан» и «Библиотеку приказчиков-иудеев», которые были недалеко друг от друга.

Отец мой – портной, участвовал в революции на стороне меньшевиков, много читал, часто вместе со мной.

– *И какие книги?*

– Разные: романы, рассказы, книги по истории, религии...

– *В детстве у Вас были любимые переводные книги?*

– Диккенс. По-немецки я читал Гейне и Гете...

– *Немецкий Вы учили самостоятельно?*

– Отец прилично зарабатывал и каждый год отправлял нас в Люстдорф («веселую деревню»), дачное место в Одессе, где жили немцы. Там я учился языку у мальчиков, а потом сам продолжал.

– *Кроме Вас, у родителей были еще дочь и сын.*

– Да, Клара, врач, была младше меня на 10 лет, ее назвали в честь родственницы матери, а брат Михаил, математик, на 12.

– *Как Вы пришли к переводу?*

– Я писал стихи чуть ли не с раннего детства, их немного печатали в Одессе, как-то руководитель нашего литературного кружка послал стихи, в том числе и мои, в журнал «Октябрь». Когда в 1929 г. я приехал в Москву, одно мое стихотворение «Октябрь» уже напечатал.

В Москве я познакомился с Мандельштамом, бывал у него, меня он ругал, редко похваливал. С его помощью в третьем номере «Нового мира» за 1930 год опубликовали мое стихотворение;

дважды мои стихи напечатал солидный «кузнецовский» альманах «Земля и фабрика», «кузнецы» были свободнее рапповцев, печатали хороших писателей – Пастернака, Бабеля, например.

1931 – год перелома, меня перестали печатать, иногда «Огонек» заказывал стихи к осени, зиме... Мои товарищи – поэты Аркадий Штейнберг, Арсений Тарковский, Маруся Петровых – в это время тоже не печатались. За многие годы журнал «Прожектор» опубликовал маленькое стихотворение Тарковского, Штейнберг называл это «труд Тарковского». Нас ценил Георгий Шенгели, и когда он стал редактором «Литературы народов СССР» в Гослитиздате, то привлек нас к переводу. Мы языков не знали и переводили с подстрочника – в этом плане белорусские, украинские произведения легче среднеазиатских. Переводили, что давали, прозой не занимались, зарабатывали немного... к тому же я учился.

– *А где?*

– На химическом факультете московского инженерно-экономического института. В это время мое стихотворение опубликовал Горький. Тогда целые страницы «Известий» отводили под «Жизнь Климса Самгина», а внутри, в рамочках, печатали чьи-нибудь небольшие стихи.

– *Вы были знакомы с Горьким?*

– Нет. Он выбрал довольно слабое мое стихотворение и посоветовал одному большому издательству привлечь меня к переводу. Мне дали переводить стихи латышского классика Яна Райниса, а в 1933 г. приняли кандидатом в члены Союза писателей.

Однажды меня вызвали в Союз и поручили перевести поэму Сулеймана Стальского «Дагестан». Перевод Суркова Горькому не понравился, и он предложил мою кандидатуру. Сурков перевел содержание довольно правильно, но не передал музыку стиха, рифму, редиф. По-русски редиф передать трудновато, поэтому задача для меня была интересна. К тому же мне предложили поехать в Дагестан.

– *Познакомиться со Стальским?*

– Да. Я согласился, но узнав, что в дагестанской писательской организации я, как представитель Москвы, должен разрешить какой-то спор, сказал: «Я не член Союза писателей, только кандидат, я ничего не знаю о Дагестане. Как я могу разрешить спор?» На что мне ответили: «У нас нет денег на двоих, в таком случае мы отказываемся от ваших услуг». Но через неделю снова вызвали: «Будете заниматься только переводом». Я попросил недели три, чтобы в Ленинской библиотеке почитать книги по истории Дагестана, его языков... Мне купили билет в международный вагон, который я впервые увидел изнутри, я доехал

до Дербента, а потом на машине наверх, в Ашага-Сталь, дом Сулеймана Стальского.

– *Как Вас принял автор?*

– Очень хорошо. Один раз, правда, рассердился – девушка послала мне поцелуй из-за высокой глиняной стены, я – ей в ответ. Он предупредил: «Если не прекратишь, тебя убьют».

Подстрочник его поэмы начинался с истории Дагестана вплоть до наших дней, по части истории был очень беден, а так как я уже начитался книг, то решил сделать кое-что по-своему. Я сказал Стальскому, что хочу разбить поэму на главы, в каждой будет свой редиф, на что он ответил: «У меня есть большой мешок, на дне мешка много дорогих вещей, у меня нет сил поднять их, даю тебе этот мешок, поднимай их сам». То есть он дал мне свободу действий. Мой перевод напечатали в «Правде» и во всех книгах, посвященных Сталину и революции.

– *Это Ваш первый серьезный перевод?*

– Да, у меня была еще одна важная работа. Мне понравился калмыцкий эпос «Джангар», фрагмент которого пропел мне соученик по институту – и дал подстрочник.

– *Он был калмык?*

– Да. Я его перевел и напечатал в альманахе, посвященном поэзии народов СССР. В «Правде» хвалебную статью об этом переводе написал К.И. Чуковский – мало того, узнал мой адрес и пригласил к себе. Так я познакомился с ним, его женой, дочерью Лидией. Помню, меня пригласили к обеду, а Лидию – нет, пока мы сидели за столом, она входила, выходила, видимо, были натянутые отношения...

Мое положение укрепилось: по предложению калмыков Гослитиздат заключил договор на перевод «Джангара».

Потом, изучив всю поэму, этот кусок я не включил, – я не совсем понял своего товарища, там другая техника стиха, Чуковский тоже не знал, какая техника правильная. Когда я окончил работу, в Союзе писателей устроили вечер, на него приехали калмыки. Фадееву, председателю Союза, перевод понравился, создали даже комитет по «Джангару», в который вошел и я. В 1940 г. в Калмыкию на специальную сессию, посвященную выходу перевода, приехали крупнейшие советские писатели.

Вскоре началась война, меня мобилизовали на пятый день. Вначале я служил в газете, на Балтике, причем редактор был ниже меня по званию – я был техник-интендант 1-го ранга, т. е. старший лейтенант... В Калмыкии в это время создавали 110-ю конную дивизию, вызвали меня, я поехал туда в начале 1942 г. Кое-как научился скакать на лошади. На Дону была наша первая битва, нас разбили немцы – разъединили дивизию на части, и я

оказался в группе 10–12 человек. От нас кто-то удирает, другие присоединялись. Меня выбрали руководителем. Мы решили идти на запад – соединиться с армией. А у меня было особое положение на земле, захваченной немцами: я еврей. Ночью мы скакали, а днем прятались в поле, завшивели, больно было сидеть на лошади. Кое-как доскакали до одной деревни, вошли в первую избу. Оказалось, ее уже заняли немцы, а хозяин избы – их староста. Мы его испугали, он сделал горячую воду, я расставил вооруженных людей, и мы помылись. Потом он нас накормил – хлеб, чай – и спрашивает меня: «З якои ви нации?» Я говорю: «Армянин». А в Одессе был такой порядок: после 7 классов школы 3 года специализации – химвокало, металлпрофшкола. Я поступил на чертежное отделение художественной профшколы, одним из преподавателей был Оганес Александрович Шахидарьянц, мне он нравился, я ему тоже. И я сказал, что меня зовут Оганес Александрович Шахидарьянц. А он: «А минэ сдается, что ви з жидив». В комнату заходила жена хозяина, ставила новые стаканы чая, и когда она снова вошла, он у нее спросил: «З якои они нации?» Она говорит: «Вырмянин».

Ночью мы сели на лошадей и после многих приключений доскакали до Моздока, оттуда нас отправили в Орджоникидзе, тогда столицу Северной Осетии. Тут меня выручила еврейская хитрость – знамя нашей дивизии случайно осталось у меня. Когда нас вызвали, я рассказал, как все было, показал знамя. Нас отпустили, но дивизию распустили, и я поехал в Москву. Вскоре меня отправили в Сталинград, и я оказался одним из участников Сталинградской битвы. Вот мои основные военные дела.

– *А после войны снова вернулись к переводу?*

– Да. До 1940 г. мне дали важную работу – перевести с подстрочника поэму «Лейли и Меджнун» Навои. После «Джанга-риады» это моя первая серьезная работа.

– *А как же поэма Сулеймана Стальского?*

– То политическая работа, я не включаю ее в свои книги. Перевод поэмы Навои издали во время войны, я был в это время в Ленинграде. Шли годы. Ко мне обратился таджик Мирзо Турсун-заде, чтобы я переводил его стихи. Эту работу печатали в московских журналах и газетах, она выходила отдельными книгами. Потом предложили перевести поэму Фирдоуси, я изучал персидскую литературу, за полтора года стал прилично говорить по-таджикски. Еще в прошлом году я немного разговаривал с таджиками-рабочими в Переделкине.

– *Персидский и таджикский языки чем-то отличаются?*

– Это один язык, разница в том, что таджики окали, как у нас на севере, и в их официальном языке было много русских

слов. Например, газета называлась «Тоджикистоне совити» – «Советский Таджикистан».

Я переводил Фирдоуси много лет, в «Шахнаме» 30000 строк; потом другого классика – Джамии, известных персидских лириков... Основная часть моих переводов – с таджикского, мне часто помогали ученые.

Затем меня пригласили в Бурятию, я перевел эпос «Гэсэр». Я всегда изучал основы языка, с которого переводил.

– *А какой перевод был самым интересным?*

– С индийского, «Махабхарата».

– *А что именно было интересно?*

– «Махабхарата» – одно из самых древних произведений Востока. В «Библиотеке всемирной литературы» напечатали 10000 строк моего перевода.

– *Были вещи, которые хотелось перевести, но не удалось?*

– Нет.

– *Влияло ли то, что Вы переводили, на Ваши собственные стихи?*

– Думаю, да. Во-первых, у меня были подражания. Во-вторых, вещи, которые я переводил, – религиозные, а я поэт религиозный.

– *Какой перевод был самый трудный?*

– «Махабхарата». Я знал таджикский язык, немного говорил по-узбекски, а тут гораздо более древняя эпоха, другая религия и быт.

– *Несмотря на существующие переводы, Вы сделали стихотворное переложение аккадского эпоса о Гильгамеше.*

– Меня он потряс, я начал переводить несколько песен в 1980-х, а в 1989 закончил. Я знал два перевода – Н.С. Гумилева и И.М. Дьяконова. Перевод Гумилева мне не нравился – страниц 30 с французского подстрочника... хотя как поэта я его высоко ценю и люблю. А перевод Дьяконова не поэтический, но очень точный. Я основывался на переводе Дьяконова, но в моей работе другой размер.

– *Вы считаете, этот размер ближе к аккадскому?*

– Нет, просто я решил, что эту вещь надо так перевести, хотя это ненаучный подход. Когда я сверял его с дьяконовским переводом – он редко, но похож.

– *«Поэма о Гильгамеше» – исключение, обычно Вы первый переводчик.*

– Да.

– *По-Вашему, стиль переводчиц отличается от стиля переводчиков?*

– Талантливые переводчицы сильны так же, как переводчики.

– *Вы переводили и произведения женщин?*

– Я перевел много стихов таджикской поэтессы Зульфийи, дружил с ее мужем Алимджаном, который случайно погиб, не будучи на фронте. Дружили до тех пор, пока мы с Инной Львовной Лиснянской в знак протеста не вышли из Союза писателей: за участие в альманахе «Метрополь» из Союза писателей выкинули двух молодых людей – Евгения Попова и Виктора Ерофеева. Шесть лет нас не печатали, и Зульфийя некоторые мои переводы отдала другим переводчикам...

Поэтам, которых я переводил, я часто советовал, что убрать, где расширить. Авторы прислушивались к моим замечаниям.

– *В таких случаях Вы думали о читателе?*

– Мне хотелось, чтобы русским читателям эти стихи нравились. Я переводил старательно, многие хотели, чтобы я перевел их стихи.

– *Они напрямую к Вам обращались или в Союз писателей?*

– В Союз писателей тоже, например, Турсун-заде.

Меня огорчало то, что не печатали мои стихи, годы шли, а книги не было. Кое-что печатали в журналах, несколько раз в «Новом мире», но «Известия» грубо выступили против одного моего стихотворения. Я спросил Твардовского: «Что дальше?» – «Отвечать не будем, но печатать вас продолжим». Не так часто, но печатали, некоторые мои вещи не нравились Твардовскому.

– *Если бы печатали Ваши стихи, Вы бы занимались переводом?*

– Не знаю. Тарковский прекрасно переводил, но у него есть строки: «Ах, восточные переводы, / Как болит от вас голова...». Я переводил с удовольствием... хотя, если бы нормально печатали, возможно, и не переводил бы.

– *А кто из Вашего окружения был Вам близок?*

– Я уже назвал четырех друзей. Правда, одно время мы с Тарковским поссорились: он был виноват в одном поступке, а я – в грубости. Ахматова просила меня исправить ошибку Тарковского. Инна Львовна нас помирила.

Самым близким другом был В.С. Гроссман. Я спрятал один экземпляр его романа «Жизнь и судьба» у своего брата Михаила и с помощью Войновича передал в Германию. Книгу напечатали во Франции 60000-м тиражом, потом в Америке...

– *Вы знали очень многих интересных людей, литераторов... Кто Вам был больше всего симпатичен?*

– Кроме тех, кого я назвал, – Платонов. В книге о Гроссмане я довольно много написал и о Платонове.

– *А Мандельштам как человек какое производил впечатление?*

– Нервный, жил материально плохо, писал мало, халтурой не занимался, в то время работал в «Московском комсомольце».

– *Вы были знакомы и с Надеждой Яковлевной?*

– Да. Она оказалась хорошей писательницей, но никогда не включалась в наш литературный разговор с Осипом Эмильевичем, что-нибудь читала. Через нее я познакомился с Ахматовой, Анна Андреевна об этой встрече забыла.

– *Вы писали о Багрицком. Он производил приятное впечатление?*

– Очень. Любил шутить. В Кунцеве он жил в избе, комната была разделена на две половинки, но не до потолка, сзади кухня и комната жены. Я к нему приходил через день, он меня устроил неподалеку.

– *Какое это было время?*

– 1929-й. Однажды я пришел, а между аквариумами на высоком столе сидит пожилой человек, другого хорошего места не было. Багрицкий всегда полулежал на старом диванчике. Это был Михаил Кузмин, он ценил стихи Багрицкого. Приехав из Ленинграда, он решил познакомиться с Багрицким.

Из всей нашей группы Багрицкий ставил на первое место Штейнберга, потом меня. Как он относился к Марусе Петровых как поэту, было непонятно... но ласково. Стихи Тарковского, может, самого талантливого из нас, ему не нравились, он считал, что они похожи на мандельштамовские...

Публикуется по изд.: Русский журнал.

7.5.2002: www.russ.ru/krug/20020507_kalash.html

С ВЕРШИНЫ ГОРЫ

Беседу вел Лев Алейник

С кем сводила его судьба! Ахматова, Цветаева, Бабель, Мандельштам, Гроссман... Поэт легендарный – первую книгу стихов дозволили издать ему лишь в 56 лет. Но в начале 1980-х Липкина вновь запретили...

– *Как вышло, что Вашу первую «тамиздатскую» книгу редактировал и назвал «Воля» Иосиф Бродский?*

– Мы не были знакомы. В начале 1960-х Анна Андреевна болела, я пришел навестить в Боткинскую. В палате был какой-то молодой человек, просила подождать, пока тот уйдет. Минут через 15 он вышел, и я увидел – он рыжеват. Анна Андреевна

говорила: «Живет в Ленинграде один рыжий». Может, его я и видел тогда... <...> Друзья отдали мои стихи издателям в «Ардис», а те – Бродскому... У нас не было переписки. В 1989 г. на 100-летие Ахматовой меня пригласили в Бостон, потом был в Нью-Йорке, но Бродского не застал: он уехал преподавать. Место его в поэзии высоко! Он близок мне умом, музыкой, живописью – всем. Не вправе раздавать я эпитеты, но, может быть, он поэт великий!

– *«Поэзия – подножие горы, вершина которой молитва», Семен Израилевич, Ваши слова. На главные вопросы Вы ответили в стихах, прозе и все же...*

– Всю жизнь придерживаюсь иудаизма. В Одессе ходил в хедер неполный год, читал на иврите. Но пришли красные, за учебу надо было платить едой, а ее не стало... Всю жизнь – а мне за 90 – перечитываю Книгу, своей веры не скрывал. Идея евреев: Бог незрим, един, мы дети его. К иным религиям отношусь с почтением, многое нравится, кроме одного: Богом быть не может человек, сын женщины! Это мне, иудею, чуждо.

– *Стихи о народе по имени «и» – знак причастности к «народу иври», как он назван в Книге «Бытие»?*

– Многие так и считали. Мне передали (сколь верно, не знаю), будто министр иностранных дел Израиля, а в те годы премьер Шимон Перес радовался: в России нашелся храбрец. В действительности не был я таким уж храбрецом. Но подспудно выразил иудейское понимание мира.

– *«Не на идише, не на иврите / Я писал, но писал и о вас» – признание?*

– В Израиле в 1990 г. на это было бы полезно ответить: да... Принимали здорово – богатая гостиница в Тель-Авиве, вечера во многих залах, в Иерусалиме. Читал стихи, отвечал на вопросы о друзьях-поэтах. Переводил Маркиша, его сын Давид был моим студентом в Литинституте... Но первым просил перевести поэму Фефер – и ее дал «Новый мир». Так я познакомился и с Аксельродом – он в 41-м погиб в тюрьме. Лучший поэт на идише мой друг Самуил Галкин не был в партии и потому не занимал поста в Еврейском антифашистском комитете....

– *Потому-то и остался в живых?*

– Расскажу, что никто не знает, со слов вернувшегося с торговли Галкина. Лубянка у него требовала подписать, что ЕАК – слуга Америки. Не подписал! Снова вызов: при вас допросим Квитко – выше ли он в ЕАК вас по должности? Привели избитого Квитко, лицо изранено: на любой вопрос – мычит. Галкину говорят: видите, подтверждает – да! «Но он же слова сказать не может?!» – возразил Галкин. Вскоре его опять вызвали и ввели

Фефера: одет не как арестант и говорит, как им надо. «Ицык, вус рэт ир»? – И слышит: «Азой дарфм'н» (Ицык, что вы говорите? Так надо, – идиш).

Галкину дали 10 лет, отсидел не все. Как-то попал он в санаторий, где была Ахматова. Он читал ей на идише и тут же переводил, и она его очень высоко оценила: «Поэт умный, его стихи полны мудрости».

– *Ахматова какие-то Ваши стихи особо отметила?*

– Поэму «Техник-интендант» – о встрече с евреем с Запада, бежавшим и устроившимся в колхоз, о выселении народов. Анна Андреевна написала мне книгу: «Липкину, чьи стихи я люблю, а один раз плакала». Антисоветская поэма, читал только близким, ее знали Галкин, Гроссман.

– *Изданы все Ваши стихи на еврейские темы?*

– Пришло время, многие вошли в недавнюю книгу «За семь десятилетий». В русской поэзии – мелодике многих поэтов, мотивах, темах – есть «еврейская струя»... Мои стихи десятилетиями не публиковали! На днях получил из Калининграда от читательницы письмо о поэме «Декада» – сверххлестный отзыв: там устроили вечер, читали мои стихи.

– *«Зябко прячет листы виноградник / И опресноки в юрте пекут. / Точно так их пекли в Галилее, / Под навесом вечерней порой... / И стоит с сантиметром на шее / Элегантный варшавский портной». Откуда сюжет?*

– Стихи – о тех, кого знал. Варшавского портного видел в Киргизии, он рассказал свою жизнь. И в поэмах немало с натуры... Как-то мы с писателями поехали в горы, поселили в хорошем доме. Зашел чекист: «Ищем чеченца, он в горах прячется». А я в 1930-х переводил чеченцев, стал первым русским поэтом, издавшим том чеченской поэзии. И вот в поэме «Туман в горах» описал чеченца, зная характер вайнаха, учившегося в Москве, – представил преследуемым.

– *На Вашем 90-летию о поэме «Нестор и Сария» Фазиль Искандер сказал: там – правда...*

– Я взялся за эпос Абхазии, и с самым близким другом Василием Гроссманом мы совершили путешествие на Кавказ: ему нужно было из Москвы по семейным делам, мне по переводческим. Поселили в гостинице у моря. Как-то подошел человек – интересовал его Гроссман, и рассказал, как арестовали главу Абхазии Нестора Лакобу с женой – сестрой рассказчика. Потом Гроссман с улыбкой сердито пенял: «Рассказано мне, а написал – ты».

– *Ваша книга «Жизнь и судьба Василия Гроссмана» – свидетельство самоотверженной дружбы. Как удалось Вам спасти арестованный КГБ главный его роман?*

– На Беговой у него гебисты взяли машинопись романа «Жизнь и судьба». Спросили: где еще? Он сказал правду – в «Новом мире». Перед тем осенью Гроссман с женой были в Коктебеле, и там Твардовский при встрече сказал: «Знаю, ты закончил вещь, дай просто прочесть». Гроссман дал ее в Москве... Твардовский приехал ночью, восторгался – «вещь великая», плакал, просил еще поддержать... Изъяли у него в редакции и у машинистки. Но за полгода до того Гроссману я сказал: все может быть, дай экземпляр – спрячу. Мой брат Миша – математик, отношения к литературе не имел, жил в коммуналке, и я оставил у него. Войновича, моего соседа, я озадачил: как роман отдать за рубеж? Он обещал: «Друзья сфотографируют». Поехал я к Мише за тремя папками.

– *Роман же огромный, более 45 печатных листов!*

– По адресу, указанному Войновичем, папки свезла Инна. Но вышли пленки плохо. Попытались в другом месте – у Сахарова и Боннер. и переправили другу в ФРГ, Копелеву. Ему издать не удалось, но отрывки дал журнал «Время и мы», да Максимов в «Континенте» страниц 40. В 1980 г. владелец швейцарского издательства «Возраст человека» Димитрович роман опубликовал тиражом 60000 – успех во Франции! А в 1988 г. редактор «Октября» Анатолий Ананьев попросил у меня машинопись и напечатал.

– *Ходит легенда – Вы видели Хаима Бялика?*

– В Одессе были две большие синагоги: для богатых – Бродского, и Главная – на углу Ришельевской и Еврейской. Отец был меньшевик, атеист, дома я был один верующий, но мама пекла к праздникам. В Йом Кипур закрывали ставни, ели – один я не ел. Может быть, потому, что живал у деда: он меламед и мог мне внушить... У синагоги спорили, там я и увидел Бялика, среди окружавших был отец, считавший его гением. Запомнилось, что он – блондин, немного рябой, усы желтоваты. Речь шла о сионизме, оппонент сказал: «Ир рэт, ви а сойхер» (Вы говорите, как торговец, – идиш). Бялик ответил: «Ир з’нт а нар – дихтер муст зайн а сойхер» (Вы глупы – поэт вынужден торговать). Мне было 8 лет, я поступил в гимназию по процентной норме, учился отлично и в хедере... Спустя годы переводил Бялика. У него самое знаменитое «Сказание о погроме», стихи латиницей мне печатали на идише. На идише мне не с кем поговорить, пою иногда: «Аф’н прип’чк / брэнт а фэйрл, / ун’н штуб из эйс, / ун’де рэбэню / клэйнэ киндэрлэх / лэрнт алэф бэйс...» (В припечке огонек горит, и в дому тепло, а ребе малых деток учит букварю, – идиш). Много песен помню: отец, как все портные, работая, пел.

– *А Исаака Бабеля Вы знали?*

Бабель читал на иврите, французском. Мы у него бывали с Семеном Гехтом. Бабель сетовал: печатают мало, решил перевести Шолом-Алейхема, но не могу передать первую фразу: «Ди историе фун дер гешихте из а зэ майсэ» (История этой истории такая история, – идиш). Я спросил: а как у предшественников? Он ответил: «Я хочу так, как у других не получалось». Не успел – расстрелян до войны.

– *Вам перепало даже за переводы эпоса Востока?*

– Переводил калмыкский «Джангар», а калмыков Сталин выслал. Переводил Кайсына Кулиева, чеченцев, балкарцев – их выслали – эти мои связи не случайны?! Но не подвергся сильным гонениям: не давали работы – переводов, особенно с началом антисемитской кампании. Что бы было с евреями в стране, не сдохни палач-Сталин?

– *Антисемитизм в России в прошлом?*

– Я боюсь. Гниль снизу всегда есть, а значит, не ушла и опасность ее распространения. У меня на этот счет свои соображения, ведь всю жизнь судьба евреев тревожила меня. Печалит, что зараза в низах сидит глубоко. Но думаю, со стороны власти это пройденный этап, хорошие отношения и с Израилем. Но то, что там теракты, терзает. Боюсь, не избавимся от терроризма мусульман, и как избавиться, не знаю. У меня чувство, что начинается век ислама. Все-таки я их немножко знаю. Их черта – подчинение тому, у кого власть, и полная вражда, если власти нет.

– *Что помогло остаться собой в непростые времена?*

– Скажу просто. Надо любить людей. Никогда ни перед кем не стыдиться и не скрывать, кто ты родом. Таких много в моем поколении... Я Солженицыну, опубликовавшему «Двести лет вместе», писал: книга не антисемитская. Он поздравил с 90-летием, вообще обо мне хорошо отзывался. Я писал ему: какой ни есть, я русский поэт, но мое самосознание – иудейское, презираю выталкивающих это из себя. Выжить помогла вера. И понимание близких.

– *«Корень дома» вашего Инна Львовна Лиснянская – поэт истинный. Сколько лет вы вместе?*

– Зимний месяц в Ялте мы жили с Гроссманом, и ее муж у нас бывал, а в клубе писателей познакомил и с нею. Другой раз я увидел ее, когда секция устроила впервые чтение моих стихов: вел вечер Арсений Тарковский, мой друг, пришла и она... Встретились в Малеевке спустя годы, прочла стихи – как поэта я ее и не знал: талант! Пронзительна ее поэма «Госпиталь» – в войну ухаживала за ранеными в челюстно-лицевой хирургии... После выхода из СП кто-то нам сказал из КГБ: «Не печатают? Предложите хорошее – напечатают». Мы с нею условились: я даю

в «Новый мир», она в «Дружбу народов». Отзывы просили письменные, я прямо писал: нас допрашивают. Ответили: мне – «Стихи интересны, но журналу не подходят», ей еще короче: «Стихи не подходят». Нюанс?! Человек тот и сейчас работает: он хотел печатать – редактор не дал.

Вошла Инна Львовна, и я повторил вопрос: сколько лет она вместе с Семеном Израилевичем?

– В 1962 г. мне сказали: в СП будет читать стихи Липкин, переводчик... Стихи меня потрясли, ушла под впечатлением: какой поэт! Через год – Малеевка, он уезжал. Так важно вышел на прогулку, с палкой, мы пошли вместе. Рассказал: дружен с Ахматовой, только не просите знакомить, она это не любит. Я ответила: она в славе, и так много вокруг нее народу – зачем мне шлейф нести? В дни ее тяжкие – другое дело. Он на меня так посмотрел... Встретясь в 1967 г., мы уже не расстались.

Публикуется по изд.: Алеф. 2002. № 900 (8).

ПРЕОДОЛЕНИЕ ВЕКА

Беседу вел Ян Шенкман

Семен Израилевич Липкин был человеком сверхъестественного терпения. Это привлекало едва ли не сильнее, чем его стихи. Он терпел советскую власть в худших ее проявлениях, терпел журналистов и начинающих поэтов, бессмысленную цензуру, собственное нездоровье...

Терпел и не раздражался. Жизнь, почти равная XX в., не сделала из него страдальца и мизантропа и вообще, что называется, не сломала. Он не принимал героических поз, когда его не печатали, не диссидентствовал, но и на компромиссы не шел.

Религиозные убеждения его были странными тогда и остаются странными до сих пор. Они неприемлемы с точки зрения любой ортодоксии, старой и новой. Неприемлемы, но так привлекательны:

Нам в иероглифах внятна глаголица.
Каждый зачат в целомудренном лоне.
Каждый пусть Богу по-своему молится!
Так Он во гневе судил в Вавилоне.
Кто мы? Жнецы перед новыми жатвами.
Путники в самом начале дороги.
Будем в мечети молчать с бодисатвами
И о Христе вспоминать в синагоге.

Когда Семена Израилевича не стало, я нашел в своем архиве запись беседы с ним. Перечитал и задумался. Я успел задать гораздо меньше вопросов, чем у меня было. Теперь жалею об этом.

– *Русский поэт, иудей по вероисповеданию, переводчик восточного эпоса, человек нескольких культурных традиций... Как они уживаются в Вас?*

– Уживаются. Наверное, дело в том, что я вырос в многонациональном городе и с детства был религиозен. Понятия «Бог» и «нация» меня волновали с тех пор, как я себя помню. Советская власть пришла в Одессу, когда мне было десять лет. До этого были разные власти, но эта власть религию подавляла, убивала и ссылала священников всех конфессий. Я не был ни пионером, ни комсомольцем – терпеть всего этого не мог. Я был верующим мальчиком. И так получилось, что несколько мальчиков и девочек разных конфессий подружились на том основании, что они веруют в Бога. Мы не спорили, какая религия лучше. Наоборот – мы были очень сплочены. Среди нас был мальчик армянин, девочка армянка, девочка католичка, два мальчика православных, девочка православная и два еврея. Вот такая компания. Сейчас это трудно себе представить, но в Одессе такое было возможно... Во всех религиях главное – то, что мы произошли не от обезьяны, а нас создал Бог, то, что Бог существует. Есть близкие религии, есть далекие. Но основа – то всюду одна.

– *Ваше ощущение общности религий, связано оно с тем, что Мандельштам называл «тоска по мировой культуре»?*

– Думаю, да. Сам Мандельштам считал себя человеком христианской цивилизации. Но не был христианином, хотя и принял лютеранство. Надежда Яковлевна все время подчеркивала, что он перешел в христианство идейно, но в действительности этого не было. Он принял христианство, чтобы поступить в университет, но в отличие от Пастернака ощущал себя евреем. Мандельштаму просто не нравилось, что его семья была отгорожена от русской культуры, которую он ценил. Но он имел полное право написать про себя: «Среди священников левитом молодым». Отчуждения от еврейства у него не было. Если, конечно, не понимать еврейство только как быт.

– *У Вас с ним были беседы на эти темы?*

– Да.

– *Ваш поэтический дебют затянулся. Жалуете ли Вы об этом?*

– Когда был моложе – жалел. Нас было четверо: Аркадий Штейнберг, Арсений Тарковский, Мария Петровых и я. Группа называлась «Квадрига». Я написал о «Квадриге» такие строки:

Среди шутов, среди шутих,
Разбойных, даровитых, пресных,
Нас было четверо иных,
Нас было четверо безвестных.

Штейнберг умер, так и не дождавшись своей первой книги. Тарковский, я и Петровых издались очень поздно. Особенно болезненно переживал это Тарковский. Он пробовал издать книгу раньше, написал даже стихи о Сталине, но наверху они не понравились. Противно, конечно, но приходится признать, что такое было. Я издал первую книгу в 56 лет. И то ее обкорнали, сократили в пять раз.

– *Нынешние поэты Вас не поймут. Ведь сегодня так просто издать книжку. Чью угодно, о чем угодно. Были б деньги. Заплатил – и никаких переживаний. И наутро ты – поэт. Происходит девальвация, но, может, это и хорошо: поэзия заняла свою нишу, перестала выполнять несвойственные ей функции.*

– Может, и хорошо. В демократической стране поэт не может быть «больше, чем поэт». Это уже и так много. Если он больше, чем поэт, неизвестно, поэт ли он вообще. Тем не менее строка Евтушенко отражала реальное положение вещей. Его «Бабий Яр» действительно всколыхнул всю Россию, но мы не знаем, что станет с этими стихами, скажем, лет через 50.

– *50–100 лет назад никто и предположить не мог такой мощной экспансии американских ценностей в страны Старого Света. В том числе и в Россию. Эти ценности наднациональны и демократичны. Они имеют все шансы на успех. Может быть, за американской культурой будущее?*

– Об этом трудно судить. Императорский Рим владел огромными территориями. Тем не менее легионеры привозили чужих богов в свой пантеон. Трудно понять, кто на кого повлиял сильнее. Были ли Катулл, Гораций, Овидий поэтами для варваров: галлов, германцев, саксов? Вряд ли.

– *Но в конце концов стали. Спустя сотни лет.*

– Стали единицы, и лишь благодаря таланту, а не культурной экспансии. Действительно, должно пройти много времени, тогда станет ясно, кто чего стоит.

Семен Израилевич часто повторял: «Должно пройти время». Оно идет, непредсказуемо меняя наше восприятие и жизни, и поэзии. Мы спешим, суетимся, стараясь не пропустить самое главное. Что именно? Раньше об этом можно было спросить Липкина. Теперь – не знаю кого.

Публикуется по изд.: Алфавит. 2003:

<http://www.peoples.ru/art/literature/poetry/contemporary/lipkin/index.html>

О Семене Липкине

Сергей Аверинцев

ОТВЕТСТВЕННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Спроси у времен прежних, бывших прежде тебя – велит Моисей во Второзаконии (4, 32).

А ведь и вправду когда-то люди говорили так: ...Спроси у прежних родов, и вникни в наблюдения отцов их; а мы – вчерашние, и ничего не знаем... (Иов 8: 8–9).

Сегодня все это многим кажется страшно устаревшим. Такую силу взяла та форма недомыслия, которую Клайв Стэйплз Льюис когда-то называл по аналогии с географическим провинциализмом – провинциализмом хронологическим. Словно болезнь Альцгеймера перестала быть индивидуальным недугом, страшшим пожилых людей, и предстает как повальная зараза.

Попробуем поучиться у старого, но не обветшавшего изречения. Спросим у времен прежних, бывших прежде нас, – послушаем нашего современника Семена Израилевича Липкина, который был современником и собеседником Андрея Белого, Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама; который родился в 1911 г., пережил опыт фронтовика и в непрестанном усилии духа, преодолевающим усталость, уныние и немоту, дожил до наших дней. Ему есть что нам рассказать на своем ясном, мудро-простом, отчетливом и ответственном языке.

В наше время, когда все слова сказаны, когда самое слово как логос, как явление смысла кажется распадающимся, когда к нему, с одной стороны, подступает банализация, а с другой – стихия бреда, нужно незаурядное мужество, чтобы отстаивать благословенную членораздельность слова, его взвешенную точность: то спокойствие, которое не имеет ничего общего с холодностью, тот традиционализм, который нельзя свести к раздражительности.

Уже в ранних стихогворениях С.И. Липкина, возникших в ограждении себя от шума советского безбожия, ясное осмысле-

ние жизненного опыта предстает неотделимым от мысли о Боге; и мысль эта, источник всякой ясности ума и души, остается и позднее сердцевиной его поэзии. Не один наш фронтовик в годы войны жил живым чувством своего тайного договора с Богом («завета», на языке Библии – *berit'a*); но не велико количество хороших стихов, которые тогда, в самые фронтовые годы, были об этом написаны. И для того чтобы через десятилетия рассказать о подвиге тайных монахинь Неопалимовского переулка, нужно было суметь увидеть все еще в то время, не *post factum*. Слово этого поэта дорого не в последнюю очередь и тем, что оно – в самом точном смысле свидетельство современника, никогда не махание кулаками после драки и не фантомы ретроспективного умозрения и воображения.

Правда, и с тем прошедшим путем человечества, современником которого С.И. Липкин уж никак не был, он связан не просто умственным воображением, но сыновней памятью сердца, обретающей в переживании интимную конкретность. Он имеет право спрашивать:

Разве не при мне кричал Исая,
Что повергнут в гноище Завет?

И в его устах это звучит вправду убедительно. Такие стихи – как лекарство от той эпидемической формы болезни Альцгеймера, каковую мы уже поминали выше.

Итак, вот сумма причин, по которой редакция решается предложить читателю эти стихи, хотя отнюдь не в качестве так называемой христианской поэзии в вероисповедном смысле слова; их автор, всю жизнь столь серьезно размышляя о Боге и притом будучи очевидным образом ближе к Новому Завету, чем к Ветхому, к церковности не пришел. Причины этого составляют тайну личного пути и могут быть разве что импульсом для наших молитв, но уж никак не предметом обсуждения в этой статье.

1997

Публикуется по изд.: Православная община. 1999. № 53.

Предисловие к подборке стихотворений С. Липкина, в которую вошли: «Имена»; «Договор»; «Размышление Авраама у жертвенника»; «Время»; «В нищей хате»; «Новый Иерусалим»; «Неопалимовская быль».

Василий Аксенов
«ДЫШАТ В ЕГО СТИХАХ БОГ И ПРАВДА...»

В течение нескольких десятилетий имя и личность Семена Липкина были окружены таинственностью. На поверхности советской литературы он был известен как переводчик восточной поэзии, профессионал высшей марки, человек энциклопедических знаний. Внутри, однако, ходили слухи, что он не только переводчик, но удивительный оригинальный поэт. Лишь немногие близкие друзья знали его стихи по устным чтениям. Почему же мир поэзии Семена Липкина не открылся для читающей России обычным естественным путем? Потому лишь, что дышат в его стихах Бог и Правда, а это дыхание страшит аппаратчиков.

1981

Публикуется по изд.: *Липкин С. Воля.*

An Arbor: Ardis, 1981.

Иосиф Бродский
«ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ, ПО-МОЕМУ, ПОЭТ»

Но вот давеча я составлял – в некотором роде повезло мне – избранное Семена Липкина. И там – огромное количество стихотворений на эту самую тему: о войне или так или иначе с войной связанных. Такое впечатление, что он один за всех – за всю нашу изящную словесность – высказался. Спас, так сказать, национальную репутацию. Между прочим, он один из немногих, кто Цветаеву опекал по ее возвращении из эмиграции в Россию. Вообще – замечательный, по-моему, поэт: никакой вторичности. И не на злобу дня, но – про ужас дня. В этом смысле Липкин как раз цветаевский ученик.

Публикуется по изд.: *Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским / Вступ. ст. Я. Гордина. М., 1998.*

Марк Ватагин
«УБЕРИ ЛИПКИНА,
Я НЕ ХОЧУ ИЗ-ЗА ТЕБЯ И ИЗ-ЗА НЕГО
ТЕРЯТЬ ПАРТБИЛЕТ!»

1

Читатель «Литгазеты» с 17 лет, я сталкивался с именем Липкина не раз. Корней Иванович Чуковский в книге «Высокое искусство» назвал его классиком перевода. В 1960 г., когда я приехал в Калмыкию, имя это слышал постоянно, в Калмыкии был культ Липкина, в каждом доме, куда ни приходил, была книга «Джангар», издания 1958 г., перевод Липкина. (В 1968 г. он получил звание Народного поэта Калмыкии.)

Я приехал в Калмыкию из Ленинграда по приглашению двух калмыцких поэтов – Константина Эрендженова и Эренцена Лиджиева – переводить их стихи. Леонид Сангаев, сотрудник Калмыцкого НИИ языка, литературы и истории, через полгода сказал мне: «Зачем вы на все это тратите время, займитесь нашими сказками, их еще никто серьезно не переводил. До войны к нам приезжал Семен Липкин, перевел “Джангар”, теперь ваша очередь, сделайте книгу сказок, я продиктую вам подстрочники». В 1962 г. рукопись была готова, сдана, а летом 1964 г. моя первая книга – «Медноволосая девушка. Калмыцкие народные сказки» – вышла под грифом Калмыцкого НИИЯЛИ в редакции Восточной литературы издательства «Наука». Редактор Ирина Лазаревна Елевич сказала: вам повезло – вашей книгой мы открываем серию «Сказки и мифы народов Востока». Вскоре я принес книгу Липкину. (У него была статья в «Литгазете» – «Шах поэтов Рудаки». Я надписал книгу: «Шаху переводчиков Липкину».) В предисловии известный востоковед, калмыковед профессор Борис Клементьевич Пашков назвал меня его учеником. «Двадцать пять лет назад поэт Семен Липкин сделал блестящий перевод калмыцкого героического эпоса “Джангар”. Сегодня, используя богатый опыт Липкина, поэт Марк Ватагин сделал образцовый перевод калмыцких богатырских сказок. На русском языке сказка обрела форму, соответствующую оригиналу»¹.

В ту пору я увлекался переводом четверостиший Омара Хайяма, показал мастеру мои опыты, он принял их благосклонно, сказал: «Я тоже перевожу Хайяма». При этом заметил, что понимает по-таджикски. По поводу формы рубайи сказал: это у нас они стали четверостишиями, а там они двустишия с внутренней рифмой в первой строке, ну, например:

Мы при луне наедине
Стояли, прислонясь к стене.

Липкину было тогда всего 53 года. Он кивнул на книжный шкаф с полками, полными книг его переводов, сказал иронически: «Вон сколько настрогал – 200 тысяч строк». И спросил меня: «Вы пишете стихи каждый день?» – «Нет, – сказал я, – не каждый». Он сказал: надо писать каждый день, чтобы не терять форму. И покрутил рукой, имитируя движение фехтовальщика. (Давид Кугультинов мне говорил: «У Липкина есть норма: 40 строк в день».)

Через год я встретился с Липкиным, он сказал: «Я прочитал вашу книгу, вы удачно провели ваш корабль и, что хотели, сказали».

Потом я встречался с ним неоднократно. Он говорил, что следит за моей работой. О поэтах говорил доброжелательно, цитировал стихи наизусть, хвалил Кугультинова. Однако, при упоминании одного из имен, сказал: «С ним общаться не надо, он не талантлив».

Осенью 1974 г. я встретил его в ЦДЛ, когда отмечали 30-летие вхождения Тувы в состав России. Липкин тувинцев не переводил. Я в шутку сказал ему: что же это вы не переводили тувинских поэтов? Он ответил: а вы переводили? Я тогда подумал: «Добрейший человек, ставит меня рядом с собой! Я – да, переводил и много, и что с того? Это не событие. А его перевод – счастливый случай, праздник навсегда в жизни любого переводимого поэта».

2

В Киргизию я приехал также через четверть века после Липкина, после выхода первого издания «Манаса». Для меня оставались великие киргизские акыны во главе с Токтогулом (Токтогул, конечно, переводился и немало, но я перевел заново лучшие его песни). Книгу «Акыны» издал в Бишкеке в 1991 г., работал над ней 20 лет. Конечно, мне было легко: форма акынских песен на русском языке была найдена до меня – в работах В. Винникова, С. Липкина, Т. Стрешневой...

В течение многолетней жизни в Киргизии мне довелось составить несколько киргизских поэтических антологий. У Жака Превера есть стихотворение «Как нарисовать птицу». По аналогии с ним я придумал «Как составить переводную поэтическую антологию». Речь идет, разумеется, о поэзии Средней Азии и Кавказа: надо взять все переводы с этого языка Семена Липкина, и у вас по-

лучится прочный костяк, остов, на котором можно строить здание. Переводы Липкина – это то, на что можно опереться, что не подведет, задаст тон, покажет уровень, планку. А дальше – добавляйте переводы на свой вкус (более всего – свои переводы!).

Так я составил антологию киргизской поэзии «Голоса вершин» (М., 1975; На титуле – имя другого составителя, но достаточно глянуть в «Содержание...»). Так составил и антологию «Поэты Киргизии» для Малой серии «Библиотеки поэта». Она стояла в плане выпуска 1979 г.; рукопись в 1978 г. была готова, отредактирована, одобрена, и тут прогремел скандал с альманахом «Метрополь»², участником которого был и Липкин. Репрессии коснулись всех участников альманаха – они были вычернуты из издательских планов, готовые наборы были рассыпаны, а двое молодых писателей – Виктор Ерофеев и Евгений Попов, совсем недавно принятые в Союз писателей, – были из него выброшены. Цитата из постановления секретариата правления Союза писателей РСФСР: «...Секретариат правления СП РСФСР отзывает свое решение о приеме Е. Попова и В. Ерофеева в члены Союза писателей СССР...». Семен Липкин с женой, поэтессой Инной Лиснянской, в знак протеста сами вышли из Союза писателей.

Большой писательский начальник на собрании по поводу разгрома «Метрополя» сказал: «Мне непонятна позиция С. Липкина. Представители национальных литератур, эпос которых он перевел и который еще не вышел из печати, задумываются сейчас над тем, а не следует ли им обождать, пока найдется другой Липкин!» Это означало, что Липкин от печати отлучен.

Были заказаны новые переводы эпосов! Переводчики кинулись переводить! Начали переводить вслед за Липкиным и стихи поэтов Средней Азии и Кавказа. Мой друг и сосед по дому, литературовед (автор монографии об Андрее Платонове) и редактор «Советского писателя» Лев Шубин сказал: «Переводчикам теперь лафа, Липкина нет, можно все переводить заново!» Татьяна Стрешнева передала мне слова Алима Кешокова, известного кабардинского писателя, крупного московского писательского функционера: «Пока существует советская власть, Липкин печататься не будет».

Редактор составленной мною антологии «Поэты Киргизии» Владимир Цыбин сообщил мне во Фрунзе: «В таком виде рукопись не подпишу. Липкина надо убрать, и я его убрал, нужны новые переводы, сделаю сам». Я сказал: вышлю тебе подстрочки. Не надо, сказал он, я и так понимаю (т. е. понимает оригинал). После чего вставил свои переводы. Книга задержалась на год, вышла в 1980 г. Новые переводы шли за липкинскими «след в след», строка в строку³.

Через несколько лет в Переделкине я, рассказав Липкину эту историю, спросил: «У вас, наверное, этой книги нет, хотите – дам?» Он сказал: «Не надо, не хочу расстраиваться». Далее я сказал: «Вслед за вами, Семен Израилевич, я не перевел ни строки». Липкин от души сказал: «Спасибо!» (Вслед за ним переводили не только посредственности, но и одаренные переводчики, и даже те, что ходили у него в друзьях.) Разговор произошел в Переделкинском доме творчества уже после 1986 г., когда Липкин был восстановлен в Союзе писателей и возвращен в советскую печать. (За рубежом во время опалы он печатался много, известна его фраза: «Только после исключения из Союза писателей я почувствовал себя свободным и начал активно писать прозу, мемуары».) Шел 1988 год, ранняя весна, Переделкино, я приезжал туда – делать с Туменбаем Байзаковым подстрочники акына Барпы. Бывало, прогуливался по дорожкам с Липкиным. Он рассказывал историю с его переводом татарского эпоса «Едигей»: в 1944 г. в постановлении ЦК ВКП(б) по Татарстану была осуждена популяризация ханско-феодального эпоса об Едигее. Переводчика вызывали на Лубянку для объяснений. Липкин говорил: «Я видел, что тот, кому пришлось беседовать со мной, понимал бессмысленность, абсурдность ситуации... Кстати, эпос до сих пор не опубликован». (Эпос был опубликован в 1990 г. в Казани.)

(В 2001 г. на чествовании Липкина Ринат Мухаммадиев рассказывал: «Перевод “Едигея” был конфискован. В Татарстане организовали антилипкинскую кампанию. Был у него перевод знаменитой поэмы Габдуллы Тукая “Шурале”. Требовалось тот перевод зачеркнуть, заменить другим; объявили конкурс на новый перевод, выделили деньги. Отобрали шесть переводов. Все впустую! Куда им было до липкинского перевода! Люди признавали лишь его. Кстати, сегодня Липкин – единственный человек за пределами Татарстана – лауреат Госпремии им. Габдуллы Тукая».)

Я сказал Липкину, что мне нравится дунганский поэт Ясыр Шиваза, дружу с ним, перевел книгу. И вдруг Липкин начал читать: «На тоненькой флейте играет Шимэ, / На яшмовой флейте играет...» и т. д. Это были стихи Я. Шивазы в переводе Феликса Ощакевича из книги «Китайский рисунок» (М., 1939).

...Но возвращаюсь к 1979 г. В ту пору был у меня инцидент с книгой не только в Ленинграде (в «Библиотеке поэта»), но и во Фрунзе, там я участвовал в составлении маленького двуязычного сборника «Слушай, мир!» (Фрунзе, 1980). Я составил вторую его часть, переводы. И тогда соответственно им поэт (и завредакцией художественной литературы издательства «Кыргызстан») Сулайман Маймулов подобрал первую часть сборника, оригиналы. Он был титульным составителем. Когда он прочитал слова боль-

шого начальника, приведенные выше, он мне сказал: «Убери Липкина, я не хочу из-за тебя и из-за него терять партбилет!» Пришлось убрать.

В 2001 г. я присутствовал в киргизском посольстве на церемонии вручения 90-летнему аксакалу ордена Манаса – высокой награды суверенной Киргизии (ордена Манаса 3-й степени). Есть фотография, где я поздравляю его с орденом. Это была первая киргизская награда патриарху, начавшему в 1935 г. переводить киргизский эпос и издавшему перед войной книгу. Прошло 65 лет. Помню его фразу: «Когда в печати ругают, это не плохо, хуже – когда не замечают». Поэт Вячеслав Шаповалов из Киргизии на этом приеме сказал: «Наши писатели разделились на три союза, но вас, Семен Израилевич, любят во всех трех».

И последний штрих. В 2004 г. в издательстве «Эксмо» вышел Омар Хайям с моими переводами, напечатанными впервые, – с теми самыми, что читал Липкин в 1964 г. В книге они идут вслед за переводами Липкина. [В такой же последовательности расположены переводы в книге О. Хайяма «Рубайат» (М., 2006).]

В заключение вспомню еще одну фразу мастера. Когда кто-то сказал: «Это невозможно перевести!» – он ответил: «Порусски можно все!»

¹ Медноволосая девушка. Калмыцкие народные сказки. М., 1964. С. 8.

² В альманахе не было ни одной антисоветской фразы, иначе репрессии были бы покруче. Нет, начальство остро прореагировало на факт подготовки бесцензурного издания. Когда составлялся альманах, Евгений Рейн предложил мне опубликовать в нем письмо Пастернака ко мне, историю письма. Я отказался, сказал: «Скандальной известности не ищущий». Когда рассказал об этом Евгению Борисовичу Пастернаку осенью 1980 г. (он тогда составлял собрание сочинений Б. Пастернака в пяти томах), он сказал мне: «Вы счастливо избегли больших неприятностей». [После всего сказанного удивляет Юрий Чехонадский со статьей «Мои мысли заняты колбасой» (ЛГ. 2004. 24 дек. № 51–52), где он приводит цитату об участниках «Метрополя» как о ловкачах, запланировавших солидные дивиденды и сразу их получивших.]

³ Об этом пишет литературовед М.А. Рудов в книге «Токтогул» (Фрунзе, 1989), в комментарии к песне «Здравствуй, желанный народ!» (с. 315): «В сб. “Поэты Киргизии” (Л., 1980) имеется перевод В. Цыбина, осуществленный, как можно заключить по совпадению разночтений с оригиналом, не с киргизского текста, а по тексту перевода С. Липкина, использованному как подстрочник».

<1>

<...>

Тропою концентрационной...

Поэта Семена Липкина мне по-настоящему открыл Межиров. Было это где-то в середине 80-х годов уже прошлого века. На своей переделкинской даче, на втором этаже, в бильярдной, Александр Петрович, вдруг застыв с кием в руках, прочел стихи (как их читал Межиров – говорить излишне!), показавшиеся мне знакомыми, но почему-то забытыми. Очарованный этими стихами, я долго оставался под впечатлением. А ночью, когда не спалось, вдруг застал себя на том, что твержу те чудом запомнившиеся строки.

Бьется бабочка в горле кунгана,
Спит на жердочке беркут седой,
И глядит на них Зигмунд Сметана,
Элегантный варшавский портной.

Издаেকে занес его случай,
А другие исчезли в золе,
Там, за проволокою колючей,
И теперь он один на земле...

Помню, в стихотворении был и библейский сюжет, но те строфы я сразу не запомнил. А вот последние строчки врезались в память.

Эта ставшая прахом Треблинка
Жгучий пепел оставила в нем.

Летняя подмосковная ночь так коротка, и все же я торопил время в ожидании утра. Я знал, что Александр Петрович Межиров почти не спит и чуть свет, тихо, не будя гостей, с собакой выходит в переделкинский лес на прогулку. И вот я решил пойти вместе с ним, чтобы попросить снова прочесть мне стихи про варшавского портного. Уже в 7 утра мы с Александром Петровичем

идем в сторону платформы «Мичуринец», собака бежит рядом. Когда я попросил его прочесть «вчерашнее» стихотворение, он удивился: как, неужели я слышал его впервые? И заметил, что, по его мнению, это едва ли не лучшее стихотворение Семена Липкина. Вот строки, которые я не мог припомнить ночью:

День в пыли исчезает, как всадник.
Овцы тихо вбегают в закут.
Зябко прячет листы виноградник,
И опресноки в юрте пекут.

Точно так их пекли в Галилее,
Под навесом, вечерней порой...
И стоит с сантиметром на шее
Эlegantный варшавский портной.

Не соринка в глазу, не слезинка, –
Это жжет его мертвым огнем,
Это ставшая прахом Треблинка
Жгучий пепел оставила в нем.

Даже сегодня, спустя более 15 лет с того дня, как впервые услышал эти стихи, я вспоминаю их с неизменным волнением. В моей памяти живет образ другого портного, тоже из Польши, из Вроцлова. Звали его Иосиф Пойлишер (истинной его фамилии я не знал). Как и Зигмунда Сметану – героя стихотворения «На Тянь-Шане», война его тоже вырвала из родных тенет и забросила, нет, не в Треблинку, слава Богу, в Бершадь, в гетто. Семья Иосифа осталась в Польше и, как рассказывали, оказалась в Освенциме. Он был красив, строен, аристократичен. Не выпускал изо рта сантиметр и руками «изучал» клиентов. А когда в мае 1948 г. он шил мне костюм по случаю окончания первого класса, то на примерках приговаривал то и дело: «Мой Мойшеле сейчас был бы такой же, как ты», – и слезы наворачивались на его выразительные карие глаза.

Стихотворение «На Тянь-Шане» Липкин написал в 1948 г., когда кошмары недавно закончившейся войны, дым концлагерных печей и ужасы Бабьего Яра были еще свежи в его памяти. Но уже надвигалась другая еврейская трагедия в СССР – «борьба с космополитами», трагедия, дороги которой вели на Дальний Восток. Истинный поэт – всегда пророк, и Липкин, разумеется, не мог не предчувствовать, что кроется в близком будущем. В 1950 г. он написал стихотворение «Переселенец». Есть в нем такая строфа:

Здесь чужая, знойная земля,
В воздухе – безумье и тревога,
И бежит, и кружится, пыля,
Грейдерная бойкая дорога.

Что-то «дальневосточное» терзало душу поэта. Думаю, терзания эти, как и воспоминания о Холокосте, никогда его не покидали. Свидетельством тому стихотворение «Моисей», написанное в «спокойном» 1967 г.:

Тропою концентрационной,
Где ночь бессонна, как тюрьма,
Трубой канализационной,
Среди помоев и дерьма,

По всем немецким и советским,
И польским, и иным путям,
По всем плечам, по всем мертвецким,
По всем страстям, по всем смертям

Я шел. И грозен, и духовен
Впервые Бог открылся мне,
Пылая пламенем газобен
В неопалимой купине.

Два года спустя Липкин напишет «Возвращение из Египта», где у поэта, для которого Талмуд, Тора были не только книгами, но и самой жизнью, снова зазвучит библейская тема.

Гладит бога, просит, чтоб окрепла,
Женщина, болящая проказой,
Но поймет ли, что такое лепра,
Этот идол крупный и безглазый?

Воздух пахнет знойно, пыльно, пряно,
Горяча земля и нелюдима,
И смеются люди каравана,
По всему видать, – из Мицраима...

В пору хрущевской оттепели, когда у шестидесятников, которым было тогда около 30 или тридцать с небольшим, появились не только надежды, но и некоторая вера в «светлое будущее», зрелый поэт Семен Липкин написал в 1960 г. стихотворение «Мертвым».

В долгой, замкнутой, душевной чугунности,
Где тоска с воровским улюлю,
Как же вас я в себе расщеплю,
Молодые друзья моей юности?

К Яру Бабьему этого вывели,
Тот задушен таежною мглой.
Понимаю, вы стали золой,
Но скажите: вы живы ли, живы ли?

Вы ответьте, – прошу я немногого:
Там, в юдоли своей неземной,
Вы звереете вместе со мной,
Низвергаясь в звериное логово?

Или гибелью вас осчастливили,
И, оставив меня одного,
Не хотите вы знать ничего?
Как мне трудно! Вы живы ли, живы ли?

Это стихотворение, почему-то мало замечаемое исследователями творчества С. Липкина, на мой взгляд, одно из самых значимых в его творчестве...

<2>

<...>

Мои встречи с С. Липкиным

Первая встреча была заочной.

Это было в Одессе в 1967 г., в магазине «Поэзия». Одесситы уверяли, что то был единственный «поэтический» магазин в тогдашнем СССР. В этом маленьком магазинчике на Греческой площади любители поэзии читали стихи – свои и чужие. Однажды кто-то принес туда книжечку неизвестного мне доселе поэта С. Липкина «Очевидец». И до сих пор я помню строки одного из стихотворений, кажется, первого в этом сборнике.

Есть прелесть горькая в моей судьбе:
Сидеть с тобой, тоскуя о тебе.
Касаться рук и догадаться вдруг,

Что жажду я твоих коснуться рук.
И губы целовать, и тосковать
По тем губам, что сладко целовать.

Когда я услышал это стихотворение, оно показалось мне гениальным. Может быть, еще и потому, что я, как и новый для меня поэт, был в очередной раз влюблен и испытывал те же чувства, что и автор этих дивных строчек. Стихи я, конечно, впитал как откровение, но фамилию автора на какое-то время забыл. Уж слишком громкие и модные имена молодых поэтов звучали тогда в магазине «Поэзия»: Вознесенский, Ахмадулина и, конечно, популярный, но далеко не юный Асадов.

Во второй раз о С. Липкине я услышал, когда бушевали страсти вокруг «Метрополя», но наряду с нашумевшими именами авторов альманаха его имя в этой идеологической истерии прошло для меня малозамеченным.

Третья встреча, тоже заочная, состоялась где-то в середине 80-х на даче у Межирова. Александр Петрович рассказал мне, что Липкин когда-то перевел стихотворение Бялика, очень значимое для моей будущей книги о Михоэлсе...

Наконец-то теперь состоялось и личное знакомство. Произошло это 10 января 1988 г. дома у Семена Израилевича. Я пришел к нему по рекомендации Моисея Соломоновича Беленького, друга и соратника Михоэлса. Давая мне на иврите стихотворение Бялика «Последнее слово», он сказал, что перевести его может только Липкин: «Больше в СССР сегодня это не по силам никому», – безапелляционно заявил он.

Прав был Межиров – это стихотворение было крайне необходимо мне в работе над книгой «Соломон Михоэлс». От того же М.С. Беленького я узнал, что именно его на идише, а не на иврите читал Михоэлс, когда поступал в студию Грановского в Петрограде в 1918 г. М. Беленький заверил меня, что С. Липкин однажды это стихотворение уже переводил, когда к изданию на русском языке готовился сборник стихов Х.-Н. Бялика.

По телефону я рассказал Семену Израилевичу о своей просьбе, и мы условились о встрече. Когда я пришел к нему со стихотворением на иврите, он, улыбнувшись, сказал:

– Последний раз я читал на иврите лет 75–80 тому. Тогда я по утрам учился в 5-й Одесской гимназии (он рассказал мне об этой гимназии), а потом... Мне не было и 18, когда я уехал в Москву. Иврит я тогда уже забыл напрочь. Но помочь я вам готов, и с удовольствием это сделаю и во имя вашей будущей книги, и в память о Михоэлсе, с которым имел счастье быть знакомым, но принесите мне подстрочник.

Тогда, в 1988 г., я с трудом отыскал человека, способного сделать подстрочник. А когда принес его Семену Израилевичу, он пообещал мне при следующей встрече рассказать о своих беседах с Михоэлсом. На прощанье подарив мне томик из серии «Мастера поэтического перевода», где был раздел «Стихи поэтов Востока в переводах Семена Липкина», он сделал дарственную надпись: «Матвеем Моисеевичу Гейзеру на долгую еврейскую память».

<3>

Рассказы о Михоэлсе

Следующая моя встреча с Семеном Израилевичем состоялась почти через 10 лет, точнее 24 октября 1997 г. И снова нас «свел» Михоэлс. Подписывая мне на память свою «Квадригу», С.И. Липкин пожелал мне «расширить книгу о незабвенном Михоэлсе», которую я ему незадолго до этого передал. Он прочел ее, и вот что я от него услышал.

– С Михоэлсом меня познакомил Галкин. Это было, когда он переводил для театра «Короля Лира» Шекспира. А мы очень дружили с Галкиным, я его переводил и считал из современных еврейских поэтов, живущих у нас, самым крупным. И сейчас я так считаю. И вот мы были два или три раза в гостях у Соломона Михайловича. Он жил около ТАССа, недалеко от еврейского театра. По-русски Михоэлс говорил замечательно, без какого-либо акцента. Немного даже, знаете, в русской театральной манере. По-моему, у него была только одна комната, большая. А может быть, я ошибаюсь.

Зашла дочь. Тогда это была молоденькая девушка. Она куда-то уходила и попрощалась с ним. И Михоэлс театрально сказал: «Иди, дочь моя!»

Интересна была его необычная реакция на мой вопрос. Мы говорим о том, о сем, и вдруг я его спросил: «Вот у вас в театре нет пьесы о евреях, которые не знают еврейского языка, об ассимилированных евреях, но которые себя считают евреями. Не то чтобы они пренебрегали своим еврейским происхождением, отрекались от него, просто они оказались вне еврейской культуры. Они могут прийти в ваш театр, а у вас нет ничего из их жизни».

Михоэлс ответил мне на идише, что такие евреи не вызывают у него никакого интереса. В приблизительном переводе с идиша его ответ прозвучал так: «Я их не замечаю, я их не вижу». Это был редкий случай, когда он говорил при мне на идише.

Мы говорили всегда по-русски. С Галкиным при мне они тоже говорили по-русски. Но частенько Михоэлс в разговор вставлял еврейские фразы.

Он просил меня читать переводы из Галкина. Я прочел довольно большое стихотворение, которое называлось «Сократ». Оно о том, что испытывал Сократ, зная об уготованной ему смертной казни. Выслушав стихотворение, Михоэлс сказал: «Ну, перевод есть перевод, но вроде хорошо».

Семен Израилевич задумался и заметил:

– Может быть, вам, в связи с тем, что вы решили назвать новую книгу о Михоэлсе «Жизнь и смерть», стихи Галкина о Сократе понадобятся. – И снова задумавшись: – Может быть, не стоило давать книге о Михоэлсе такое название. А может, вы и правы. Огромное государство убило одного артиста, убило обдуманно, жестоко. Пожалуй, смерть Михоэлса – такое же событие, как и его жизнь.

Здесь я прерву свою беседу с Семеном Израилевичем отрывком из его перевода стихотворения Галкина «Исповедь Сократа»:

Спокоен будь, мой друг. Исполню без боязни
Я приговор суда. Я ждал его давно,
Я был к нему готов. Не каждому дано
Свободно выбирать, какой он хочет казни.

Мне в этом уступить должны были они!
Пусть их слабости, а не мягкосердечью
Обязан я. Ну что ж? Достоин смерть я встречу,
Сотри проклятье с губ. Молчание храни.

Из ценностей людских всего ценнее разум:
Так день за днем тебя учил я много лет.
Все остальное – прах и суета сует.
Ты боль, и гнев, и страх из сердца вырви разом.

Далее речь пошла о Василии Гроссмане. Семен Израилевич предупредил, что это имеет непосредственное отношение к его рассказу о Михоэлсе.

– У него был рассказ «Учитель» о человеке, который перенес эту войну и все, что с ней связано. Он сделал пьесу по своему рассказу еще в 1947 г., т. е. до начала антисемитской кампании, и сдал ее в театр Вахтангова. Главный герой в рассказе Гроссмана был еврей, и речь шла о массовом поголовном истреблении евреев на Украине в годы войны. Театр Вахтангова вернул пьесу

Гроссману, не востребовав даже выплаченного аванса. Я уж не знаю, каким образом эта история стала известна Михоэлсу, но он предложил Гроссману перевести пьесу «Учитель» на идиш. Михоэлс был очарован этой вещью. И вот, я знаю это со слов Гроссмана, Михоэлс, получив пьесу, сказал: «Короля Лира я сыграл, а теперь сыграю учителя. Это будет моя последняя роль». Гроссман был влюблен в Михоэлса, они ходили друг к другу домой – возникла если не дружба, то очень хорошие отношения.

Тут Липкин задумчиво улыбнулся и сказал:

– И еще о Гроссмане и Михоэлсе.

С Гроссманом мы часто бывали у моей мамы. Она угощала нас традиционными еврейскими кушаньями, которые Гроссман очень любил. Михоэлс это оценивал как «гастрономический патриотизм».

Однажды Гроссман мне сказал: «Михоэлс уезжает. Я с ним говорил о тебе. Он тебя знает. Давай поедem провожать его на Белорусский вокзал». Мы приехали на вокзал. Его провожал второй по важности актер ГОСЕТа Зускин, дочь и еще кто-то. Жена у него была полька. Ее на вокзале не было.

На перроне Михоэлс с Гроссманом медленно прохаживались, все время говорили об «Учителе». Михоэлс выразил сожаление, что в связи с отъездом в Минск прерывается работа над пьесой, ведь в театре она уже началась. Гроссман спросил Михоэлса: «А уж так ли нужно вам ехать?» Михоэлс сказал: «Нужно. Речь идет о присуждении Сталинской премии, я должен посмотреть ряд спектаклей». Я точно не помню, но, по-моему, при этом разговоре был Борщаговский. Если бы я знал, что это будет такой важный разговор, я бы запомнил. А так, мы просто пришли провожать Михоэлса на вокзал. Больше я его не видел...

Помню, как хоронили Михоэлса. Все помню, как будто это было вчера. Шли к ГОСЕТу от ВТО по бульвару и по улице, где дом Герцена. Толпа была огромная. Среди провожающих были видные русские люди, например писатель Леонов, известные артисты, писатели, художники. Незадолго до этого я приехал из Киргизии, с которой был связан по переводческим делам. Там я встретил Ясына Кулиева, Джамалдина Яндиева – ингуша, оба они были депортированы.

На похороны я шел вместе с Гроссманом и говорил ему, какое для меня это горе, что мои друзья в ссылке, что Сталин, победив Гитлера, попал под его влияние – занялся уничтожением целых наций. И Гроссман мне сказал, что, может быть, это нужно было из-за каких-то военных целей, что они, мол, перешли на сторону врагов. Мы еще были тогда на «вы». «Что вы говорите?! –

воскликнул я. – Изгонять женщин, стариков, беременных женщин! Дети изгнаны, еще не родившись!..» И, помню, я тогда сказал: «Что вы запоете, когда то же самое случится с евреями?» Гроссман посмотрел на меня: «А вы знаете, все может быть». Наверное, он так сказал, потому что уже это испытал. Он написал очерк «Украина без евреев», который не хотели печатать, но все же он напечатал его в каком-то второстепенном журнальчике. Гроссман был наивен и не понимал, почему статью «Украина без евреев» не хотят печатать...

Сегодня, читая этот рассказ С.И. Липкина, я вспомнил его автограф на подаренной мне книге «Декада», изданной в 1990 г.: «Матвеем Моисеевичу Гейзеру – о народе, чья печальная судьба грозила и евреям».

Интересное замечание я услышал однажды от Семена Липкина о театре и настоящих поэтах. Липкин сказал мне: «Театр вообще отличается от писательства тем, что ему необходимо в ту же минуту, сегодня же почувствовать, что его любят, ценят. И вот наши поэты, которые стали выступать перед огромным количеством слушателей и зрителей, унизили свою профессию. Настоящие поэты и так остаются в литературе без бурных аплодисментов».

После бесед о Михоэлсе мы встречались с Семеном Израилевичем лишь изредка, случайно. Как принято сегодня говорить, на «московских тусовках». Между тем желание поговорить с ним, человеком высокого таланта и поистине библейской мудрости, неизменно, но я не позволяю себе этого, чтобы не отнимать его драгоценное время. А эти заметки хочу закончить стихами, написанными Семеном Липкиным давно и навсегда. Для меня в них органически слились две мощные присущие ему силы – поэтического дара и никогда не могущей быть до конца изъясненной любви. <...>

Благословен объединяющий, он – вечен.

Публикуется по изд.: *Гейзер М.* Тот, кто родился, – не умрет. Размышления о жизни и творчестве С. Липкина // Лехаим. 2002. Май. ИЯР 5762 – 5 (121).

Наталья Иванова
«БЛАГОСЛОВЛЯЯ ДНЕЙ ОСТАТОК...»

Авторитет сравнительно новой для Переделкина – послевоенной – улицы Довженко среди всех других улиц, гордящихся своими «былыми» классиками, поднялся, когда здесь в невзрачном домике, более похожем на опрятный барак, чем на дачу, домике, где раньше жил писатель-летчик Марк Галлай, а до него – писательский начальник Владимир Карпов, переехавший отсюда в более престижное помещение, поселились Семен Израилевич Липкин с Инной Львовной Лиснянской. Сразу целых две поэтические индивидуальности. Своеобразны были и сами таланты, и темпераменты, и способы высказывания, и манера поведения... Что отнюдь не мешало, а помогало их единству.

Поэты на улице были представлены, причем в разнообразии – от Булата Окуджавы до Льва Ошанина. Обитал здесь и Олег Чухонцев. Однако...

Семен Израилевич своим своим внушительным опытом, познаниями, но – еще и возрастом притягивал сознание. Уже потерявшие своих «старших» были рады видеть «старшего», да еще столь бодрого, насмешливого, с только что вышедшей новой книгой, с новым журналом в руках.

Читатели этой книги, конечно, знают историю с «Метрополем». И знают, что только Липкин и Лиснянская вышли из Союза писателей в знак протеста против исключения Евгения Попова и Виктора Ерофеева, принятых туда буквально накануне скандала.

Благородство – вещь не заразительная, а во все времена исключительная. Именно благородство отличало поведение и сам облик Семена Липкина. В разных проявлениях – от общественного до частного. Пример. Патриарх был истинным джентльменом: он вставал с кресла, когда дама входила в комнату (несмотря на все протесты) и целовал даме при встрече и на прощание руку. При нем хотелось встряхнуть перышки, как птица. Прихорошиться – не только внешне, но и внутренне.

Липкин врал в Переделкино постепенно.

После «Метрополя» они с Инной были лишены возможности пользоваться путевками в Дом творчества – как исключенные (по их *собственному желанию* означало для начальства писательского, что *ими брезгуют*, а не только не подчиняются руководству. Какие уж тут Дома творчества, какие путевки!).

И они жили на даче литературоведа Николая Степанова на углу улиц Горького и Гоголя, неподалеку от «сиреневой» дачи

Вениамина Александровича Каверина, который был издавна с Липкиным в дружеских отношениях. Ценил и любил Липкина и Анатолий Рыбаков (это уже улица Довженко).

И только уже в конце 80-х они стали опять ездить в переделкинский Дом творчества. С Липкиным был дружен мой свекор, Анатолий Рыбаков. Они были не просто люди одного поколения – одногодки. Но Липкин уже не мог *приходить* с улицы Серафимовича на улицу Довженко, где находилась дача Рыбакова, – Рыбаков к нему приходил. А ведь ушел из жизни Анатолий Наумович раньше Липкина, хотя постоянно замечал, что тот не так хорошо себя чувствует...

Литфонд предоставил Липкину дачные полдомика только к концу 90-х. Они с Инной сделали ремонт, в домике пахло свежей краской, новыми обоями, хотя и недорогой, но новой крепкой мебелью... Инна любовно налаживала быт, еще одно гнездо, чтобы им *вместе* (так они называли свою совместную книгу стихов) было уютно. Необходимые книги расставлены по полкам, на стенах – фотографии, в том числе и портреты С.И. Его кабинет соединен с его спальней, – комнатки совсем небольшие. Устроили новоселье, созвали соседей, угощали по-бакински долмой. Семен Израилевич – во главе стола, молодежавый, свежий, в модной клетчатой рубашке, сияющий синими глазами, любезный и внимательный хозяин. И потом – на день рождения к нему 19 сентября всегда подтягивались гости-соседи; на 90-летие, в 2001 г., столы на даче тянулись через три комнаты. А потом – в музее Булата Окуджавы в прекрасный, тихий, солнечный день теплой еще осени собралась публика, чтобы послушать стихи и устные воспоминания. И Липкин, не устав, прочитал вслух целую поэму!

В будние дни с утра все работают, сидят по своим норам – С.И. если не работал, то читал у себя. Когда я заходила к Инне, то всегда перекидывалась и с ним новостями и слухами. И – очень хотелось втянуть его в письмо, в работу. Так – в результате разговоров-переговоров – в «Знамени» появился его большой очерк о Валентине Катаеве.

Днем патриарх гулял – перед обедом полагался часовой моцион. Я и сейчас вижу, как они с Инной Львовной вдвоем, под руку, неторопливо шагают по направлению к корту – подышать, посмотреть на небо, на деревья.

Патриарх был пунктуален в быту, сдержан в словах, неспешен в походке, ироничен в оценке, доброжелателен при новом повороте мысли в разговоре.

Я познакомилась с Инной Лиснянской и Семеном Израилевичем в 1987 г., когда вела отдел поэзии в журнале «Дружба на-

родов». Именно тогда, благодаря первым журнальным публикациям, они возвращались к отечественному читателю. В «Дружбе народов» был напечатан венок сонетов Лиснянской «В госпитале лицевого ранения» – текст изощренно-красивый и одновременно очень жесткий, трагический (от сшибки красоты и жесткости и рождается здесь особый, многослойный поэтический смысл), где каждому сонету предпослан свой эпитаф. Среди эпитафов из Блока и Мандельштама, Пушкина и Ходасевича стоял эпитаф из Липкина: «Думать не надо, плакать нельзя». Такой вот поэтический и поведенческий, горький завет.

Какое это было редакционное время? Головокружение открывающихся возможностей. И – еще сердитые окрики в печати: мол, как это вы могли объявить эмигранта Ходасевича классиком (статья была напечатана в «Литературной газете», автор – горьковед В.И. Баранов).

Стихи Липкина вышли в 12-м, декабрьском, номере за 1987 год.

Тогда же, в 1987 г., я услышала от него в крошечной комнатке, где ютился тогда отдел поэзии, рассказ о том, как к ним с Инной приезжал С.В. Михалков – возвращать их в лоно Союза писателей. Они восстановили свое членство, – но и сам Союз, и время были уже совсем иными, это они простили, а не их.

А потом волной дошли до читателя ранее публиковавшиеся на Западе и новые стихи, знаменитые очерки-воспоминания о Василии Гроссмане, об Андрее Платонове. Проза (повесть «Декада» тоже появилась в «Дружбе народов»), книги, премии. Запомнилось вручение Липкину Пушкинской (тёпферовской) премии в середине 90-х. Торжественная церемония состоялась в Доме журналиста в конце мая, 26-го, – по идее Андрея Битова, это реальное число дня рождения Пушкина (он же сам не думал, что родился, как теперь *правильно* считают 6 июня). Семен Израилевич сидел на сцене, а потом и на банкете рука об руку с Инной Львовной, торжественные, чинные, слушая приветствия, внимая заслуженным дифирамбам, в том числе – речи Олега Чухонцева (после она была опубликована в «Новом мире»). А на банкете Семен Израилевич засиял, когда провозгласили тост за Инну, которую он и любил беззаветно, и ставил как поэта очень высоко.

Семен Израилевич Липкин – при том, что прежде всего был поэт – ни на день не упускал из виду политическую и общественную жизнь, следил за происходящим, не отличался снобизмом по отношению к газетам и телевидению. Новостная программа, свежая газета были непременно в его обиходе. И, конечно, крайне внимательно он следил за тем, что происходит в краях, ему не чужих, – тех, где жили поэты, им переводимые, откуда

пришел эпос, им перелавившийся. Фальшь советских декад он описал в своей «Декаде», но эта фальшь не отменяла истинного положения вещей, до него надо было докопаться. И он – докапывался. Не скажу, чтобы Липкин соблюдал в своих оценках происходящего политкорректность.

При жизни Липкина здесь, на улице Довженко, мы не раз собирались и у них, и у нас – на праздники, особенно любили собираться на Рождество. Липкин был верен заветам отцов, но Христа и христианские праздники уважал (еще при том и будучи женатым на христианке). И вот на одном из праздничных застолий (были у нас и Олег Чухонцев с женой, Ириной Поволоцкой) зашла речь о Чечне. Не могла не зайти – острая еще была у общества боль (позже, увы, притупилась). И Семен Израилевич прокомментировал ситуацию совсем не в либеральном ключе, крайне жестко. А про ее разрешение сказал (тогда еще никаких терактов не было), что такового не видит, что впереди – тупик, что не надо было начинать, не понимая, возможен ли выход.

Его сознание было свободно от клише и штампов, включая и «прогрессивные», и «консервативные».

Его поэтическое сознание было бодрствующим, открытым миру. Да, душа велела: «Будь нежным, голос мой, будь неземным» (из стихотворения еще 1932 г.), но даже природа вызывала в стихи политику: «Они стоят на снежном спуске, / Внимая песне речки дерзкой, / То плавно плещущей по-русски, / То бурной, как мятеж венгерский...» (1957).

Но самое, пожалуй, важное состоит в том, что его поэтический мир был просвечен его религиозным мироощущением. И именно это придавало особую важность и вес его словам и оценкам. Не просто так все говорилось (и писалось), не бросались слова на ветер. И потому так ценили, особенно молодые, его общение: «Молодые несли мне потертые папки, / С каждым я говорил, как раввин в лисьей шапке...» Прочитал он повесть молодого автора, опубликованную в журнале «Дружба народов». Ну даже – понравилась (или не понравилась). Но что делает Липкин, как подлинный мастер, настоящий литератор? Пишет молодому автору письмо *от руки!* От руки, а не на машинке и не на компьютере, который тогда уже освоила Инна.

Семен Израилевич, повторю, был остроумен в застолье. Мы вместе встречали Новый год, новое тысячелетие. Бодр он был необыкновенно, на каждый тост пригубливал рюмочку. На дачной кухне-столовой было тепло и уютно во всех смыслах слова – еще и потому, что Семен Израилевич не забыл за столом никого, поднимая тост за каждого. Слова были, конечно же, с припеком, с плюсом к реальному. И вот он лукаво так посмотрел и загадал

свою любимую загадку: о рядах русской поэзии XX в. Кого он помещал в первый? Анненский. Ахматова. Блок. Бунин. Мандельштам. Пастернак. Ходасевич. Во втором ряду поэты варьировались. Гумилев принадлежал к «полубогам». А себя и Инну он порою допускал в «кандидаты» не знаю какого ряда.

Вообще-то он очень грустил – в последний период жизни, но другого Липкина я не застала, – что мало (или совсем не) пишется. Рядом с Инной – у которой, наоборот, нарастала поэтическая энергия, – он чувствовал, как уходит от него его стихия. Это было очень тяжело, и на него, даже в его возрасте, когда, казалось бы, можно просто почивать на лаврах, радоваться любви и вниманию не только близких, но и «далеких» (журналы, радио, телевидение и т. д.), находила настоящая депрессия, из которой его вытаскивала Инна, постоянно и скрупулезнейшим образом следившая за состоянием его здоровья, настроением и т. д. Своими «Гимнами», например. А по вечерам они, как старосветские помещики, играли в дурака.

Общение с Липкиным было настолько человеческим и естественным, что мысль о том, что он связывает нас «одним рукопожатием» с почти всеми теми, за исключением Блока и Ходасевича, в первом ряду, поражала позже, – как говорится, на лестнице. И вся «квадрига»! Мария Петровых. Арсений Тарковский. Аркадий Штейнберг. Свой ряд, куда не входили ни Слуцкий, ни Самойлов – поэты, отмеченные особой любовью шестидесятников, шестидесятникам покровительствовавшие.

Липкин прошел через свой XX век, обойдясь без привязи к любому колышку: «Сказал мудрец, не склонный к похвальбе: / «Где б ни был ты, принадлежи себе»». Вынужденный диссидентствовать уже в самом финале – и в самые благополучные, самые вегетарианские (из советских) годы! «Делают мое стихотворенье / Хлеба кус, / Обонянье, осязанье, зреньье, / Слух и вкус» (1928). Казалось бы, на самых простых основах учрежден его мир. На самых простых, но и на самых прочных, – на тех, без которых обойтись невозможно. И вот что замечательно: себе в заслугу поэт ничего не ставит, напротив, он – в завет – винится перед миром. «Не доносил, не клеветал, / Не грабил среди бела дня, / Мечтал, пожалуй, процветал, / Прости меня. // Не предавал, не продавал, / Мне волк лубянский не родня, / Таился, не голосовал, / Прости меня. // Мой друг погиб, задушен брат, / Я жил, колени преклоня, / Я виноват, я виноват, / Прости меня».

В одном из ранних своих стихотворений, «В больнице», еще 1929 г., опубликованном в журнале «Знамя» посмертно, в феврале 2005 г., Липкин написал: «Я умираю в утро ясное, / Я умираю. / И смерть, смерть старчески-прекрасная, / Садится с

краю. <...> И чудятся мне пташки ранние, / Луга, болота / И райских дворников старания / Открыть ворота». Его уход был действительно «старчески-прекрасным» – старец за девяносто, в библейском на сегодняшний взгляд возрасте; и произошло это действительно весной, и на открытом воздухе, на природе – и мартовско-апрельские «пташки», и «луга», только под нерастаявшим еще снегом. Так – и в одно мгновение – уходят именно туда, где стараются «райские дворники».

Присутствие Семена Липкина где-то рядом, на условной улице Довженко, поднимало тонус, обещало возможность долгой и плодотворной жизненной и творческой осени. Голос, казавшийся негромким, был выверен, вкус – отточен, жизнь пройдена достойно. Хотя отчасти и «колени преклоня», но с данным себе и выдержанным до конца словом.

Нам ли судить?

Это он – о нас – теперь судит.

Александр Кривомазов
ВСТРЕЧИ С С.И. ЛИПКИНЫМ

Сначала, еще студентом, узнал о Липкине-переводчике. В собранной мной в студенческие годы довольно обширной библиотеке многие книги поэтов Средней Азии были блестяще переведены Семеном Липкиным. Потом уже я узнал, что у Липкина есть собственные поэтические сборники. В этом первом открытии было что-то курьезное. Мне дорого купили билет в лужниковский Дворец спорта на концерт испанского певца Рафаэля, и когда я пришел и сел на свое место, то увидел, что сидящий со мной рядом молодой человек моего возраста с видимым упоением листал и читал небольшую книжечку, в которой были напечатаны стихи.

«Чьи это стихи?» – спросил я. – «Семена Липкина!» – прозвучал ответ. «Нравятся?» – «Лучше не бывает!» – «А стихи Тарковского Вы знаете?» – «Первый раз о таком поэте слышу». – «Могли бы Вы показать какое-нибудь стихотворение Липкина, которое Вам нравится больше всего?»

Молодой человек полистал книжку и прочел стихотворение. Я по памяти прочел в ответ стихотворение Тарковского. Он – по книжке – новое стихотворение Липкина.

Начался концерт, слушая новые песни, освежил в памяти еще несколько стихотворений своего студенческого кумира. В перерыве взаимное чтение продолжилось!

Уходя с концерта, твердо знал, что последняя поэтическая книга Липкина действительно чрезвычайно интересна и ее нужно очень внимательно самому прочесть.

Несколько раз на литературных вечерах в моей квартире слушатели и авторы спрашивали: «А вечер Семена Липкина провести собираетесь? Непременно сообщите!»

Случилось так, что первой у нас с авторским вечером выступила Инна Львовна Лиснянская. Ей все понравилось, поэтому неудивительно, что через пару недель мы провели вечер ее супруга – Семена Израилевича Липкина. Помню, когда ехали с С.И. Липкиным ко мне на его авторский вечер, этот пожилой, крепкий человек с прозрачными зелено-голубыми глазами пылливо расспрашивал, кто уже выступал, кто слушатели, чьи вечера особенно запомнились и почему. Он внимательно слушал ответы и постоянно задавал все новые и новые вопросы...

Авторский вечер С.И. Липкина у нас был особенно удачным, и мы отметили его сравнительно редкой наградой – именным орденом этих вечеров. Так мы пытались выразить свою признательность автору быстро, без комиссий и анкет, при жизни, в присутствии тех, кто все слышал от начала до конца и был согласен с этим награждением. Были сделаны фотографии. Прочитанные стихи и поэмы несли на себе печать эпичности, литой цельности и тяжести, стих был совершенен и выразителен, музыкален и точен. Поэт был со слушателями добр, приветлив, охотно, хоть и очень кратко, отвечал на разные вопросы, все время, как бы припоминая, кого-то искал среди нас глазами – и не находил. Вечер записан на магнитофон и когда-нибудь дойдут руки, надеюсь, до расшифровки всех накопленных пленок...

Слушал выступления С.И. Липкина на вечерах памяти поэта Арсения Тарковского в Литературном музее и библиотеке русского зарубежья, помню его выступление на поэтическом вечере в Доме дружбы народов, куда меня пригласил Бенедикт Сарнов. Всюду его выступления были занимательны, точны, содержали интересные детали, которые мог подметить и запомнить лишь очевидец. Всегда импонировали его скромность, доброжелательность, уважение к чужой точке зрения, умение выступить дипломатичным и конструктивным оппонентом. Чувствовалась высокая поэтическая и человеческая культура в этом человеке, его энергия, направленность на высокие поэтические и моральные цели, готовность делиться накопленными знаниями со всеми, кто проявляет к ним интерес. Он был великим тружеником поэтического перевода, но не меньшим тружеником он предстает и как оригинальный поэт. Замечательно, что он сохранил для нас последний великий роман Гроссмана.

Там, где смыкаются забвеньё
И торный прах людских дорог,
Обыденный, как вдохновеньё,
Страдал и говорил пророк.

Он не являл великолепья
Отверженного иль жреца,
Ни язв, ни струпов, ни отрепья,
А просто сердце мудреца.

Он многим стал бы ненавистен,
Когда б умели различать
Прямую мощь избитых истин
И кривды круглую печать.

Но попросту не замечали
Среди всемирной суеты
Его настойчивой печали
И сумасшедшей правоты.

Много фотографировал С.И. Липкина и И.Л. Лиснянскую на дне рождения Евгения Рейна в декабре 1984 г. (когда Рейн выдал свои 49 лет за 50 и с удовольствием прокатывал это мероприятие в течение месяца на разных группах и группках поэтов, художников, актеров, музыкантов, врачей и т. п., и т. д.). Несколько тонко сделанных шуточных групповых снимков в экзотических шляпах а-ля пилоты 30-х годов без самолетов, сделанных тогда, Инна Львовна особенно ценила, держала на даче в книжной полке за стеклом и переживала, что отдала их кому-то для журнальной публикации и не может вспомнить, кому отдала, а сам человек взял их для дела и не догадывается вернуть чужое хозяйке...

Весной, летом, иногда осенью Инна Львовна звонила нам и приглашала в гости. Конечно, мы с супругой всегда с радостью и благодарностью приезжали в назначенное время, привозили что-то продуктивное и вино, что-то замечательное стряпала их помощница по дому Марина, получался небольшой памятный пир и застольный разговор о столичных новостях. Затем мы выходили во двор, садились за столик и начинался несколько иной, окололитературный общий разговор. Конечно, вынимался фотоаппарат и что-то оставалось на память. Пару раз на крылечке их дачи Инна Львовна читала нам свои новые стихи, и я всегда жалел, что нет хорошего магнитофона и отличного микрофона, чтобы записать это чтение.

Несколько раз пытался взять интервью с диктофоном и попался на конструктивные недоработки этой техники. Например, взял интервью у Липкина и по инерции предложил Инне Львовне тоже рассказать о Тарковском. Больше всего я боялся, что после первого интервью сядут батарейки, а запасных я по тупости не купил. Поэтому я время от времени вглядывался в центральное окошко диктофона – крутятся ли катушки с пленкой? – они крутились – и монолог продолжался. Когда связный, интересный, полный замечательных зорких деталей рассказ закончился, я решил испытать качество записи. Но ни качества, ни самой записи на пленке не было! Когда Инна Львовна поняла, что по моей вине ничего не получилось, я узнал, каким бывает бешенство гремучей кавказской смеси еврейской и армянской крови. Сам виноват!

Одно интервью Семена Липкина об Арсении Тарковском было расшифровано и опубликовано в журнале «Антология мировой поэзии» (храню оттиск с надписью Семена Израилевича: «Дорогой Саша, спасибо Вам за это интервью!», но сначала он со строгим видом прочел текст от корки до корки, ища, возможно, следы моей редакторской правки его слов и оценок – но такой правки не было и не могло быть!). Как-то по телефону летом мы договорились о новом интервью и я прибыл с новеньким орудием фирмы «Акай», об особенностях работы с которым, конечно, не имел никакого представления. Мы садимся у него в комнате за угловой столик, я включаю диктофон, отдаю его поэту, прошу держать микрофон поближе к губам, чтобы записанный звук был громче, – и мы унеслись в воспоминания о Цветаевой, Штейнберге, родителях Липкина, войне, Ахматовой, Мандельштаме, Петровых, Шенгели, Давиде Бродском и др. Нарботали воз и маленькую тележку интереснейших и подробнейших воспоминаний. Оба были очень довольны сделанным. Черт меня дернул проверять качество записанного. Не записалось ни слова! Негодование Липкина было тоже столь бурным и сильным, что я лишь пообещал восстановить это интервью по памяти, но до сих пор не сделал это. Надо ли говорить, что больше я не пытался брать интервью у Липкина с диктофоном?

Возрастные болезни одолевали пожилых поэтов, и мы с супругой несколько раз – по телефонному звонку Инны Львовны – приезжали рано утром на ул. Усиевича к подъезду их двухкомнатной кооперативной квартиры, чтобы отвезти ее или его, или их вместе в больницу или в поликлинику на консультации. Пару раз – по сугубо техническим причинам (машина в ремонте, Москва завалена снегом и движение в пробках столь медленное, что Ни-на никак не вернулась бы на работу в срок) – мы не смогли помочь.

В Интернете давно создан сайт поэта Липкина: <http://a88.narod.ru/lp00.htm>. На сайте стихотворения, воспоминания, переводы и фотографии Семена Израилевича Липкина, а также статьи о его творчестве.

Несколько раз, когда отдыхал в Переделкине, летом и после обеда отваживался их навестить (Инна Львовна не любила и не любит визиты без звонка и предварительной договоренности о встрече, а звонить из корпуса к ним тяжело), при подходе к даче С.И. Липкина и И.Л. Лиснянской слышал за 10–20 шагов до ближайшего к дому переулка трудное громкое дыхание старого поэта, завершающего свою дневную прогулку, и всегда в голове возникала строчка: «Липкин тяжело дышит, словно паровоз...»

Так, к сожалению, случилось, что в день похорон Липкина по моей вине мы опоздали с супругой в Центральный дом литераторов на гражданское прощание с телом поэта. И не рискнули помчаться в погоню в Переделкино, ибо не знали точно место похорон.

И лишь летом 2003 г., когда мы приехали к И.Л. Лиснянской, она предложила проехать на могилу Семена Израилевича. Постояли в ограде, сказали холмику желтой земли последнее прости, мысленно припомнили последние встречи и беседы. Теперь я знаю, что его могила находится сравнительно близко от могилы Тарковского (по прямой) и сравнительно далеко (если идти строго по пешеходным дорожкам).

Купил и прочел все книги Липкина, которые видел в продаже. Всегда в сердце его великая «Квадрига», в которой поэт с пронзительной остротой и точностью рассказал о своей старой дружбе – с 1920-х годов! – с Арсением Тарковским, Аркадием Штейнбергом и Марией Петровых.

Павел Крючков СВЕТИЛЬНИК

...Оказывается, он был со мной еще с раннего детства.

В конце 1960-х – начале 1970-х годов мама почти еженедельно привозила меня пожить к бабушке – в Малый Левшинский переулок. В огромной «генеральской» квартире было много книг: бабушкин муж, крупный военный и гражданский строитель, был образованным человеком, книжником, знал несколько языков, в том числе и персидский. В советское время, занимая «ответственные посты» (квартира была наградой за успешное

строительство Челябинского тракторного завода), значительную часть зарплаты дед тратил на хорошую литературу. До сих пор удивляюсь – когда он все это прочитывал? Деда я не застал, он погиб в середине 1950-х на строительстве нефтеперерабатывающего завода.

Днем меня укладывали спать, а перед тем, «в утешение», бабушка снимала с верхней полки книжного шкафа (верхние полки были высокие) какой-нибудь большой и богатый том: сказки Бажова, собрание стихов Некрасова, «Витязя в тигровой шкуре». Среди прочих фолиантов были и совершенно загадочные – с названиями, похожими на имена планет: «Манас», «Джангар», «Едигей». Я рассматривал древнее персидское творение «Шахнаме» неведомого мне Абулькасима Фирдуоси, но и думать не мог, что через 25 лет мне доведется познакомиться с тем, кто подарил ему русскую речь. Разве мог я, листая тяжелый «Джангар», разглядывая изумительные гравюры уже знакомого мне по «Слову о полку Игореве» Владимира Фаворского, предполагать, что мы будем встречаться с переводчиком калмыцкого эпоса в переделкинском доме Корнея Чуковского? Придет время, и Семен Израилевич расскажет мне, что именно Чуковский первым приветствовал газетную публикацию фрагмента эпоса и позвал молодого переводчика в гости. И было это еще до войны!

И уж совсем непостижимой видится мне дарственная надпись, сделанная им в год своего 90-летия – на позднем переложении аккадского сказания о Гильгамеше: «Прочеть Крючкову Павлу предстоит / То, что семита перевел семит».

Между нами лежало 55 лет разницы.

Его последний юбилей отмечали любовно и торжественно. Множество людей собралось во дворе мичуринского музея Булата Окуджавы. Высились треноги телевизионных камер, улица Довженко была уставлена автомобилями. Внучка Чуковского – Елена Цезаревна – прочитала приветственное послание от Солженицына, говорили Ахмадулина, Карякин, Кублановский, Искандер и другие известные писатели. Читала стихи-гимны Инна Львовна. В конце выступил и юбиляр. Ровным голосом, неторопливо подбирая слова, он вспомнил и перечислил, сколько раз в течение жизни мог погибнуть: от войны, от болезни. И – выжил. В последние десятилетия выживал благодаря Инне Львовне Лиснянской, которая была рядом. Все были взволнованы.

Ровно через год, в сентябре 2002 г., уже не во дворе, но в небольшом помещении того же музея Липкин читал две поэмы: «Вячеславу, жизнь переделкинская» и «Техника-интенданта», --

слушая которую однажды заплакала Анна Ахматова. На этот раз улица Довженко была пуста, из поэтов мне запомнился Олег Чухонцев и Олеся Николаева, которая привела на липкинское чтение слушателей своего литинститутского семинара.

Интересно, что думали студенты, разглядывая человека, который в течение долгого времени общался с Осипом Мандельштамом, дружил с Анной Ахматовой и Василием Гроссманом, знал Платонова, Пильняка, Белого, Кузмина, Клюева и Цветаеву?

В перерыве между чтением журналистка с телеканала «Культура» пыталась взять у Семена Израилевича интервью. Он никуда не торопился, да и память его уже не была так «оперативна», и на помощь призвал Инну Львовну. Она, стоя рядом, помогала. Она всегда помнила и знала о нем все.

Думал ли он, выйдя из Союза писателей СССР в начале 1980-х, – когда его переводы были запрещены, а иные и переводились заново, – что еще при его жизни падет безбожная власть, что о нем будут писать в газетах как об оригинальном поэте, издавать книги, присуждать премии, показывать по телевизору? Наверяд ли.

Когда в середине 1980-х я начал приезжать в переделкинский Дом Чуковского, добрейшая Клара Лозовская, многолетний секретарь Корнея Ивановича, рассказала мне о своих друзьях – поэтах Липкине и Лиснянской. Я тогда о них, естественно, ничего не слышал. Кларочка дала мне книги, изданные за границей, и две аудиокассеты: она записала их чтение сразу после самоисключения из СП, зная, что время жестоко, а судьба непредсказуема; власти, как мы знаем, были готовы ко всему. Поэты – тоже.

Но вот – случился Горбачев, и в середине 1988 г. я оказался на первом липкинском вечере в Доме литераторов. Зал был полон, ведущий вечер писатель Лев Озеров объявил громко, что в зале присутствует Лидия Корнеевна Чуковская, и все, помню, встали.

Теперь я думаю, что Л. К. своим редким приходом «в собрание» «продолжила» Анну Ахматову, которая пришла на единственный вечер Семена Израилевича в ВТО – в середине 1960-х. Липкин рассказывал мне, что он пытался отговорить Анну Андреевну, увидев, что помещение тесное, что лифт не всегда работает и прочее. Но она – пришла.

А моя жизнь после того вечера и просветительской работы Клары Лозовской навсегда изменилась. Точнее – разделилась: на время, которое я жил без стихов Лиснянской и Липкина, и – время с ними. Оно длится и посейчас.

Кстати, еще до всех вечеров, многочисленных публикаций в журналах и книг – о значении поэзии Инны Лиснянской со мной говорил именно Семен Израилевич. Он объяснял мне, что поэтический предок Инны Львовны – Михаил Лермонтов, с его трагизмом и болью; говорил о ее христианстве («достоевская» мысль: слабый больше нуждается в возвышении, чем сильный), о теме смерти в ее стихах, о самосознании крови и культуры... А она – рассказывала о нем.

Конечно, меня подмывает говорить о стихах, но, слава Богу, о поэзии Липкина не так уж и много, а все-таки написано: Ст. Рассадин, Андрей Немзер, Юрий Кублановский, Александр Солженицын...

Однажды, когда я уже всюю трудился на журналистской ниве, Семен Израилевич спросил меня: «Почему Вы никогда не пишете и не говорите о нас с Инной? Вот мы с Вами часто видимся, гуляем вместе, Вы, кажется, читаете наши стихи. Может быть, Вам не нравится?»

Я попытался, как мог, объяснить, что не решаюсь. Что это слишком ответственно, что, наконец, боюсь промахнуться, написать глупость или неточность.... Что быть их молодым другом – это одно, а публичным читателем – совсем другое. Что я только начинаю понимать, с кем имею дело, и от этого еще страшнее. Липкин ничего не сказал, но когда, спустя время, я выпустил две радиопередачи – о поэзии Инны Львовны и о его стихах, заметил: «А вот эту тему – речь шла о его своеобразном экуменизме – отметили только Рассадин и вы». Господи, как я ликовал!

И тогда, и долгое время впоследствии никакого загородного жилья у них не было. Восстановленные в писательских правах, они часто жили в переделкинском Доме творчества, и я навещал их после экскурсий. Уже тогда занимался аудиозаписью, и записывал обоих: надеюсь вскорости опубликовать чтение Семена Израилевича и некоторые его монологи. Интересно, что мемуарная часть его разговоров (некоторые из которых я записывал на пленку) – по ходу жизни – прочитывалась мной в выходящих постепенно его книгах.

Переслушав их перед написанием этих страничек, я ощутил особую свежесть: он каждый раз рассказывал заново. Уж, казалось, почти на каждом 1 апреля, в день рождения Чуковского, Семен Израилевич вспоминал, как он в молодости открыл для себя Чуковского-критика. Вспоминал, как в отличие от Инны Львовны *не* рос на его стихотворных сказках, говорил, что критический стиль размышлений Корнея Ивановича близок Апол-

лону Григорьеву, рассказывал об их встречах, о поездке в Одессу к маме Чуковского – это каждый раз было впервые.

Друг Лидии Корнеевны, многолетний хранитель и экскурсовод Дома Чуковского, а ныне его заведующий – Сергей Агапов, однажды обратил мое внимание на то, как ведет себя Семен Израилевич во время застольного разговора. Вот он рассказывает что-то, и вдруг кто-то не то чтобы перебивает, но встревает – репликой и, как это часто бывает, не может остановиться. Семен Израилевич смиренно молчит, с особенным интересом вглядываясь в говорящего. Он как будто пытается разглядеть что-то особенное, важное, увидеть какую-то особую печать, *отмеченность*.

Впоследствии я научился замечать в нем этот взгляд, и если отмеченность находилась, лицо Семена Израилевича явно светлело: детские, мудрые глаза излучали радость и понимание.

Нет, без стихов тут нельзя. Ведь он, возможно, не зная того, оказался для многих из нас и учителем-проводником. Он говорил сразу обо всем, и говорил самое главное:

Мы заплатили дорогой ценой
За острое неверие Вольтера;
Раскатом карманьолы площадной
Заглушены гармония и мера;

Концлагерями, голодом, войной
Вдруг обернулась Марксова химера;
Все гаснет на поверхности земной, –
Не гаснет лишь один светильник: вера.

В светильнике нет масла. Мрак ночной –
Без берегов. И все же купиной
Неопалимой светим и пылаем.
И блещет молния над сатаной,
И Моисея жжет пустынный зной,
И Иисус зовет в Ерушалаим.

Как чудесно это тройное «и» – эта вытянутая шея проповедника, его вглядывание и вера в людей, которые могут и должны идти.

Однажды он сказал мне буквально следующее: «Я вам признаюсь, как другу: я знаю, какие мои стихи будут жить после меня. Это “Техник-интендант”...» Вспоминаю, как замечательно и вдохновенно об этой поэме в течение целого вечера мне рассказывал Юрий Федорович Карякин.

Кажется, только он, Липкин, и написал моление о молитве; точнее, мудрое и короткое признание-размышление о том, чем и в чем может мечтать остаться поэт:

Ужели красок нужен табор,
Словесный карнавал затей?
Эпитетов или метафор
Искать ли горстку поновей?

О, если бы строки четыре
Я в завершительные дни
Так написал, чтоб в страшном мире
Молитвой сделались они...

Трудно передать, какие чувства охватывают, когда вы идете с ним под руку на ужин в Дом творчества (добрая Инна Львовна снаряжала меня и как проводника, и как едока – отдавая свою порцию, а я приносил ей булочку «для кофе»). Падает густой снег, вы пытаетесь смахнуть небольшой сугробик с его плеча, а он останавливается посреди дорожки. «...Когда Осип Эмильевич курил, он сбрасывал пепел через левое плечо, на котором постепенно вырастал такой погон, такой холмик...»

Не зная, что все эти вопросы до меня уже давным-давно задавал Павел Нерлер, я простодушно выспрашивал, вспоминается ли ему еще что-нибудь о Мандельштаме уже теперь, когда «Угль, пылающий огнем» написан. И – снится ли ему поэт? «...Мне часто не снится... а – я *разговариваю* с ним. Он уже читает меня зрелого, а не мальчика. ...Как он ругает меня... Большой частью – ругает, потому что тогда он меня ругал. Но уже он ругает те вещи, которые я написал позже, когда он давно был убит. Я с ним беседую. Даже бывает такое у меня: я говорю, что Надежда Яковлевна не всегда умно делает все, что нужно (это – мелочи, связанное с публикациями, вот такое)... Я говорю: вот это она напрасно сняла, а это надо было дать. Я ему говорю».

Слушаю на пленке его голос, и вспоминается, как Сергей Сергеевич Аверинцев, которого я записывал незадолго до его несчастья, спросил меня: «Я надеюсь, вы записывали Семена Израилевича? Без этого – нельзя».

Как гениально сказала Инна Львовна: «Сема сразу родился взрослым».

Его всерьез волновали только три темы: Бог, народ, история (и человек в ней).

А в повседневности – приходишь, а они играют в карты или работают – каждый в своей комнате.

А как он шутил: бывало – нежно и по-доброму; бывало – точно-сердито. Мы сидели в столовой, помню, с Инной Львов-ной и дочерью Василия Гроссмана. Принесли шницель. Семен Израилевич взял нож, попробовал резать, остановился и внимательно осмотрел инструмент. «Нож тупой, как...» И он назвал имя крупного литературного чиновника, преуспевшего в «метрополевской» травле: ныне столь же благополучного, как и в те годы.

Когда после долгого перерыва мы вместе с моей будущей женой пришли навестить их, Семен Израилевич, глядя на Алену, воскликнул: «Раньше Вы были как “Руслан и Людмила”, а стали – как “Борис Годунов”». Это было более чем точно.

Помню, он с горечью говорил мне, что никто не заметил, какой строфой написана его поэма «Нестор и Сария»: как с помощью этой строфы он пытался изобразить характер абхазцев.

Однажды энергично показал мне, в чем, собственно, было отличие их поэтической «четверки» (Тарковский–Штейнберг–Липкин–Петровых) от «генеральной» поэтической линии: вызов ассонансам и господствующей неточной рифме. Вспоминал, как не любившей Бунина Ахматовой показал «плач» в стихотворении «Одиночество»: «...Что ж! Камин затоплю, буду пить... / Хорошо бы собаку купить». Вот это «ку-ку» в конце, это сдвоенное рыдание.

Цена в поэзии мысль (и сам был прежде всего повествователем), завораживающе читал Бунина, который входил в его знаменитый список великих поэтов прошлого века:

Был я сыном, братом, другом, мужем и отцом,
Был в довольстве... Все насмарку! Все не то, не то!
Заплачу за путь венчальным золотым кольцом,
А потом... Потом в таверну: вывезет лото!

– Вы посмотрите, Паша, это же целый роман!

Последний раз мы долго говорили об обожаемом им Бяликe, о том, как папа приводил маленького Сему во двор синагоги, где Хаим-Нахман беседовал с людьми в толпе. Семен Израилевич вспоминал, как его детская память впитала необычные монологи великого еврейского пиита. И – читал мне под шелест магнитофонной ленты «Из бесед цадика из Виледника» – «Моя мама, будь благословенна ее память»:

И зывали из сердца ее праматери
и херувимы,
Из гортани рыдали:
Слышишь, Славы Престол, слышишь,
ухо небесное, – этот
Голос печали?

Его глаза наполнялись слезами.

У меня сжималось в горле.

Он умер 31 марта, за день до очередного дня рождения Чуковского. Мы с Сережей Агаповым уже обсуждали, как завтра поедим к ним с Инной Львовной в Мичуринец, как привезем их в Дом – перед самым началом нашего традиционного собрания.

...Когда мы приехали в тот вечер, он лежал на полу в большой комнате, куда его перенесли с улицы, широко раскинув руки. Сергей сделал движение – сложить их на груди.

Плачущая Инна Львовна: «Не надо, Сережа. Семе бы это не понравилось, он был иудеем. Оставим так».

Мы ждали машину. Было не страшно.

Можно ли было тогда представить, что Господь пошлет Инне Львовне силы и вдохновение на книгу «Без тебя»? Книгу, равной которой не было в нашей русской поэзии.

Я и сейчас думаю, что душа С.И. взирает из рая на жену – с гордой нежностью. «Паша, я – современник Инны Лиснянской, – говорил он мне незадолго. – У нее даже есть стихи, которые должен был бы написать я, но почему-то написала она».

Минувшей осенью, в день его рождения, я отправился на кладбище: Инна Львовна попросила взглянуть, что там и как, она собиралась прийти попозже.

Я прихватил с собой веник, начал обметать надгробье, усыпанное желтыми листьями, – как вдруг на камень слетела маленькая коричневая птичка. Нисколько не боясь моего веника, она склонила головку, как будто вглядывалась в меня.

Чуть более резкое движение. Птичка не шелохнулась. И пока я мел – то более, то менее энергично, она была рядом: попрыгивая с место на место. Скованность и усталость от прошедшего дня постепенно куда-то ушли, я закончил свое дело, сложил листья в мешок и выпрямился. На душе стало тепло и спокойно. И – посмотрел на птичку: она была еще здесь.

Секунда – и только поднявшийся в воздух листок. Птички уже не было...

Я рассказал о кладбищенской гостье Инне Львовне, а она мне и говорит: «Это же его душа показалась!..»

Семен Израилевич, я так по Вам соскучился.

Давид Кугультинов
О ЛИПКИНЕ¹

<1>

Из «Автобиографии»²

<...> Крушение моих литературных иллюзий началось после того, как я приехал учиться в Элисту. При образцовой средней школе № 1 (тогда были образцовые школы) был литературный кружок. Разумеется, я сразу записался туда и в смятении начал догадываться, что стихам моим еще очень далеко до истинной поэзии. Руководителем нашего кружка был преподаватель русского языка и литературы, один из самых образованных калмыцких писателей Бата Манджиевич Манджиев. <...>

В ту пору мне, 14-летнему парнишке, посчастливилось познакомиться с двумя замечательными людьми, которым я благодарен до сегодняшнего дня. Это был классик калмыцкой литературы Баатр Басангов и известный переводчик «Джангара» прекрасный русский поэт Семен Липкин. Они-то и показали мне труднейшую дорогу, по которой нужно было идти, сбивая в кровь ноги, – дорогу в чудесную страну, называемую Поэзией. <...>

Однажды я принес в номер гостиницы, где жили он и Семен Липкин, историческую повесть из времен Чингисхана, написанную мной на русском языке, разумеется, чрезвычайно слабо.

За круглым столом вместе с хозяевами сидел красивый старик с очень добрым лицом, похожий на интеллигентного столяра. Это был прославленный художник Владимир Андреевич Фаворский, приехавший в Элисту готовить иллюстрации к «Джангару». Помню, посмотрев несколько страниц мелко исписанной общей тетради в клетку, Семен Израилевич сказал:

– Из вас может получиться писатель, вы умеете думать и ясно видеть... А с языком у вас плохо, беден он у вас. Сумеете ли вы описать расстояние от переносицы до кончика носа на двух страницах? – вдруг неожиданно спросил он.

– Нет, – подумав, ответил я.

– Так нужно учиться этому, – сказал он, – писатель должен виртуозно владеть словом...

<2>

Из статьи «Давнее и наше»³

<...> Около 30 лет тому назад руководитель литературного кружка сообщил нам, что нашу школу посетят известные писатели Семен Липкин и Баатр Басангов. В то время шла подготовка к 550-летию великого калмыцкого народного эпоса «Джангар». <...>

Семен Израилевич Липкин говорил нам о «Джангаре», по своему тонко и остроумно толковал эпос. Примелькавшиеся и ставшие привычными эпитеты вдруг приобретали новый, первоначальный смысл, сверкая всеми цветами степной радуги, обдавая нас свежестью летнего утра... <...>

Прошло много лет. И вот совсем недавно, прочитав сборник повестей «О богатырях, умельцах и волшебниках», я вспомнил свою первую встречу с Липкиным. И вспомнил не случайно. Три повести, написанные по мотивам калмыцкого, киргизского и узбекского фольклора – «Манас Великодушный», «Приключения богатыря Шовшура, прозванного Лотосом» и «Царевна из Города Тьмы» объединены в одну книгу. Но удивительное дело, три совершенно разные повести после прочтения оставляют впечатление, будто это части одного произведения, композиционно связанные между собою нитью невидимого единого сюжета. Почему, откуда такое впечатление, подумал я. И кажется, нашел ответ: дело в том, что писатель сумел выразить сокровенные чаяния и идеалы трех народов, воплощенные в их бессмертных творениях, а их идеалы и чаяния одни и те же.

Но для того чтобы так проникнуть в суть народных идеалов и чаяний, недостаточно проштудировать произведения... нет, для этого нужно было своими глазами видеть, как трепетно светят звезды, когда глядишь на них с высот Памира, как радуется или плачет киргиз... Для этого нужно хоть раз быть обласканным ветрами Узбекистана и услышать, как молодой узбек, словно молитву, шепчет вечно юные строфы древних стихов о любви. А Семен Липкин все это видел, слышал и чувствовал, как умеет видеть, слышать и чувствовать только поэт. Его память сохранила всю свежесть впечатлений для будущих книг. Вот почему я вспомнил

нашу первую встречу с ним и его кибитку на просторах калмыцких степей. Он вникал в душу народа, постигал его психологию, идеалы. Точно так же он изучал жизнь, быт, психологию киргизов и узбеков.

Было бы ошибочно и примитивно думать, что С. Липкин просто пересказал прозой сюжеты из восточных поэм. Хотя и это, на мой взгляд, заслуживало бы похвалы как работа по популяризации величайших творений народов нашей страны.

¹ Материалы Д. Кугультинова о С. Липкине подготовил М. Ватагин.

² Варианты «Автобиографии» Кугультинова опубликованы в: Советские писатели. Автобиографии: В 5 т. М., 1959–1982. Т. 4. С. 327; *Кугультинов Д.* Автобиография. Статьи. Выступления. Элиста, 1997.

³ Рецензия Д. Кугультинова на книгу: *Липкин С.* О богатырях, умельцах и волшебниках. 1964 // Дружба народов. 1965. № 6. С. 267.

Инна Лиснянская
НА КРЫЛЕЧКЕ
(Письмо Дмитрию Полищуку)

11 марта 2006 г.

Дорогой Дима! Павел Нерлер и Николай Поболь, задумав издать книгу, посвященную памяти Семена Израилевича, обратились ко мне, – не напишу ли я воспоминания. Это было почти три года тому назад. Но тогда рана была так свежа и так глубока, что из нее могли хлестать, рваться толчками, сочиться только стихи, любящие, скорбящие, помнящие и надеющиеся на посмертную встречу. К тому же у меня еще при жизни С.И. была написана прозаическая вещь «Хвастунья», где Липкин – главный герой, если не считать самой хвастуньи, т. е. меня. И когда Вы, Дима, вновь попросили меня вспомнить еще не вспомненное, я сослалась на уже написанное мной о характере и быте С.И. в моем «моноромане». И думалось мне, что вспомнить дополнительно я ничего не смогу. Но вот, когда для меня три года без любимого человека и поэта превратились не в календарное времяисчисление, а в вечность, я задумалась. Если все-таки вернуться к условности, я имею в виду календарное время, то многое вспоминается иначе.

Третью зиму я провожу у своей дочери в Израиле, куда в ноябре 1990 г. мы с Семеном Израилевичем, по приглашению мэра города, приезжали для выступлений в Тель-Авиве и Иеруса-

лиме. Жили мы в иерусалимской гостинице «Мишкенот Шеананим», что в переводе на русский – Дом для блаженных. В этой роскошной гостинице С.И. действительно блаженствовал после довольно трудного периода жизни. По вечерам он особенно любил выходить на длинный общий для всех проживающих балкон. Проживающих мы на нем не видели. Не потому, что перед нами открывался под звон вечерних колоколов непередаваемо красивый вид на Старый город с его минаретом и храмами, а потому, что проживающие возвращались в гостиницу слишком поздно. Семен Израилевич почти допоздна не уходил с балкона, на котором собиралось не меньше семи-восьми кошек. По-моему, ему здесь и только однажды в жизни понравились кошки, а так он их не любил, видел в них нечто вкрадчиво-предательское. Он восхищался, что любит сразу тремя типами огней, разноцветными и многоступенчатыми огнями города, которые в Иерусалиме же и воспел в стихах, крупно-синими звездами и пронзительно зелеными кошачьими глазами. А еще повторял, что жить он хочет в России, а умереть в Израиле. Повторял, так как неоднократно говорил об этом в 1970–1980 годы, когда началась эмиграция евреев. Это предлагалось нам и властями, не желающими терпеть людей, добровольно вышедших из Союза писателей, можно сказать, из дворца переселившихся в подвал. Но властям, конечно, Липкин своей мечты не высказывал. Он этой мечтой отвечал на вопросы как уезжающих евреев, так и русских друзей, мол, почему бы не уехать из страны, где тебя лишили права на профессию и где подвергаешься опасности, почему не уехать в свободный мир, где уже выходят твои книги и где тебя никто не тронет?

Хочу жить в России, а умереть в Израиле, – почти неизменно отвечал Липкин. Он вообще был большим мечтателем, иногда почти утопистом. Так вот жить в России, а умереть в Израиле и было одно из его несбыточных мечтаний. Сам же он утопией считал свою мечту быть читаемым поэтом после смерти. И редко мои слова восторга перед его поэзией принимал всерьез, а все же Семену Израилевичу было приятно слышать похвалы.

И вот сейчас я вновь, как в своем предисловии к посмертной публикации стихов Липкина в журнале «Знамя» об архиве поэта, повторю поразительную по правдивой простоте мысль Ахматовой: «Когда человек умирает, / Изменяются его портреты». Что, собственно, меняется в портретах? Главным образом наше отношение к умершим. Пока человек жив и с нами, мы замечаем много всяких черт – и крупных и мелких. Когда человек умирает, то память становится гиперболой, если речь идет о значительной личности. Вот ушел Семен Израилевич, и куда вместе с его смертью подевались некоторые мелочи в его характере? Куда

подевались мои жалобы на эти мелочи? И это вовсе не пошлость наподобие «нет человека – нет проблемы», – вот и вспоминается радужно. Просто смерть сбрасывает всю шелуху с прожитой жизни, если ее проживает душа высокая и целомудренная, каков и был Семен Израилевич. Для меня он всегда был Сема, а теперь почти неизменно я его и в разговорах, и в письмах называю по имени и отчеству. А все потому, что изменился его портрет, укрупнив крупное.

Я это письмо пишу Вам, Дима, поскольку Вы чаще кого бы то ни было из друзей с 2000 г. по 2003 г. приезжали к нам на дачу и подолгу разговаривали с Липкиным. Помните, я, бывало, жаловалась на него, – дотошно точен, все по минутам, меня от себя ни на шаг не отпускает, ревнует ко всем, даже к моему брату. А ведь не приходила в голову простая мысль, ибо я ее страшилась, – С.И. чувствовал и понимал, что не долго ему осталось, и нуждался в постоянном моем присутствии. Нет, не для того чтобы я его поддерживала при ходьбе, а по призыву его старшего приятеля поэта Александра Кочеткова: «С любимыми не расставайтесь!» А бывало, что греха таить, я раздражалась порой на свою подневольность, хоть и виду не показывала. А теперь всегда, даже в данную минуту, сидя на полукруглой каменной скамье напротив фонтана возле «Мишкенот Шеананим», думаю лишь обо одном – вот бы вдруг, как бывало в том ноябре, появился неожиданно Семен Израилевич, как он любил, возвращаясь с прогулки. Боже ж Ты мой милостивый, как была бы я счастлива – пускай бы на мгновение от себя не отпускал, пускай по 20 раз повторял одни и те же рассказы, ссылаясь на то, что Лев Толстой тоже повторялся. Это все я описывала в «Хвастунье», весело замечала его мелкие недостатки, подтрунивала над ними. А это все шло от счастья. Потому что, только когда теряем счастье, осознаем, что были счастливы. Так счастливы, что позволяем себе посмеиваться над любимыми. Кто знает, может быть, сам Господь, творя человечество и любя свои создания, посмеивался над делом рук своих.

Посмеивалась я над Семеном Израилевичем в «Хвастунье» за то, что он все поучал меня держаться с ахматовским достоинством. Теперь я понимаю, что он просто по многим поводам любил говорить не только о стихах Ахматовой, но и имя ее произносить. Да, когда умирает человек, изменяются его портреты. И для Семена Израилевича изменился портрет поэта, написавшего две эти строки. А ведь при жизни Ахматовой он, признавался мне, за глаза называл ее старухой, грубил Марии Петровых по телефону: «Старуха мне надоела, все время вызывает к себе надо не надо!» Но умерла Ахматова, и умерли в сознании Семена Израилевича

все мелкие мелочи, раздражавшие его. Портрет изменился – это была уже Ахматова в нимбе ясного света вокруг крупного лица, где ни пылинки. И даже когда Семен Израилевич, бывало, говорил, что Ахматова искусно выстраивала свой образ, он нежно отсылал меня к строке Пастернака: «Ваше право, так надо играть». Но сам он и как человек и как поэт никогда не играл, разве что приносил себя несколько, рассуждая о своих стихах, однако был совершенно уверен в том, что высказал именно то, что хотел выказать. Его всегда мучило не что он сказал, а как, с какой мерой художественности. Семен Израилевич пытался ясно осмыслить любое событие, любую частность жизни и с той же ясностью донести обдуманное до читателя. А почему ему так нужна была четкая досказанность? Говоря его строкой – «Чтоб остаться как псалом». А в наше безумно-перестроечное время, в 1995 г. в стихотворении Василию Гроссману, мечтал:

Когда безумие воинственно,
А в сердце тьма и пустота,
Как нам нужна простая истина –
Таинственная доброта.

Когда мы заняты раструскою
В родной стране, в умах, в быту,
Как ты, я верю только в русскую
Бессмысленную доброту.

О своем друге Гроссмане Липкин мог говорить часами, как и о других своих немногочисленных друзьях, особенно умерших. Но и недостатки их от себя, да и от меня не скрывал, хотя портреты и изменились. Помню, с каким достойным, еле сдерживаемым ликованьем говорил мне С.И. о своей убежденности в том, что своими настырными разговорами столкнул-таки Васю с советских рельсов. Из-за этого столкновения с советских рельсов однажды между ними произошло охлаждение. Они стояли на утесе над Волгой. Гроссман приехал в Сталинград в дни, окончившиеся Победой, и что-то стал говорить о роли партии в Сталинградской битве и рассердился на Липкина за его настойчивое возражение: «Не вижу никакой роли партии в победе, победил Бог, вселившийся в народ». Эту фразу я запомнила дословно из-за мысли, что сам Господь Бог вселился в народ. Но впоследствии Гроссман, не будучи религиозным и думая, что Сталин извратил Ленина, как думали многие интеллигенты, согласился со своим младшим другом. И дальше пошел, написав «Все течет». И Семен по-детски радовался, считая, что благотворно повлиял на Гросс-

мана, хотя другим этого не рассказывал, дескать, не скромно. В своих воспоминаниях «Сталинград Гроссмана» он лишь намекнул на причину недолгой размолвки. Семен Израилевич, будучи крайне скромным, я бы сказала застенчиво-скромным, ставил себе в заслугу лишь то, что сохранил беловик арестованного органами романа «Жизнь и судьба».

Сейчас, встав с пригостиничной скамьи, добравшись до компьютера, усевшись за письмо к Вам, хочу написать о последних годах жизни Семена Израилевича. В конце ноября 1999 г. Липкин наконец получил от литфонда дачу, о которой многие годы мечтал и даже устно и письменно просил, хотя никогда ничего не просил у властей.

– Ничего мне не доставалось даром от советской власти, – любил повторять мне С.И. – Я работал не покладая рук и за все платил или расплачивался.

Не хочется мне сейчас вспоминать, как его дурило руководство Литфонда, как сулило дачу и обманывало. Но не могу не сказать, что Липкин грозился написать повесть о руководителе Литфонда, которого он называл новым типом гоголевского Чичикова. Грозиться грозился, а меня усадил за письмо в Пенцентр, за мою первую в жизни и последнюю письменную жалобу. Я подробно написала, как нас муржили и обманывали обещаниями руководитель Литфонда, ссылаясь не на свои решения (он, мол, всей душой за нас), а на якобы нелюбовь к нам писателей – членов Пенцентра, а сам, оказывается, состоял в общественном руководстве Пенцентра. По просьбе С.И. я также написала, что если Пенцентр не прислушается к нашим словам, то мы не хотим числиться в организации, один из руководителей которой – человек без малейшего намека на честь и совесть.

Но для чего я об этом? Я ведь намеревалась лишь благодарно упомянуть Андрея Вознесенского и в особенности Зою Богуславскую, добившихся дачи для Липкина. Помог и Олег Чухонцев, сказав, что просить надо конкретную дачу, и указал на освободившуюся часть одноэтажного домика, где до самой своей смерти жил Марк Галлай – летчик, Герой Советского Союза, писатель, человек чистый и благородный. Дом этот стоит неподалеку от музея Окуджавы, впритык к музею находится небольшая дачка Чухонцева и его жены Ирины Поволоцкой. Через дом от нас – дача, на которой жил Анатолий Рыбаков, а сейчас живет наш друг – Наталья Иванова. Нам понравились и дом и соседство. Эту улицу мы хорошо знали, часто из Дома творчества догуливая до Рыбакова, с которым дружил Липкин и высоко ценил его талант, но на обратном пути добродушно подтрунивал над подробным хвастовством Анатолия Наумовича, – перевели

его книги на все языки мира, все корреспонденты мира пишут о нем и интервьюируют его и т. п. Надо сказать, именно Рыбаков отговорил нас выходить из Пенцентра, устыжая: «Не делайте такой глупости. Вы уже однажды выходили из Союза писателей, и ваше теперешнее намерение выйти из Пенцентра выглядит дурацким фарсом».

В конце ноября я получила ордер на дачу. Всегда и во всем терпеливый, даже медленный, Липкин лихорадочно заторопился, и я не менее лихорадочно начала обустривать дачное помещение. Не будучи хозяйственной, проявила невероятную прыть, конечно, мне помогала в покупках сестра Оля и дежурная в Доме творчества – красавица Марина Красина, предложившая себя в помощницы и по сей день не оставляющая меня своей заботой. В течение трех недель был сделан косметический ремонт, приобретены некоторые вещи в магазинах, а некоторые – подержанные и списанные – в Доме творчества. Кое-что перевезено из городской квартиры. Семен Израилевич, естественно, в этом не участвовал, но не по старости лет. А потому что, кроме любимого дела – мойки посуды, в быту был всегда беспомощным неумельцем. Но нет, еще он тщательно протирал тряпкой письменный стол и пишущую машинку «Эрика». Ее мы на дачу не взяли: я освоила компьютер и под диктовку писала все нужное для С.И. или перепечатывала из тетрадей. Когда на даче все уже было приготовлено к его приезду, осталось последнее – взять с собой кресло Семена Израилевича, сидя в котором он любил смотреть телевизор. Тут С.И. ухватился за подлокотник: «Кресло не забирай!» – «Но ведь тебе оно понадобится, – начала я убеждать, – а такое же из моей комнаты я перенесу в твою». Он убедился быстро, так спросонок убеждаешься, что больше не спишь. У него было такое же выражение лица, как в конце телевизионного фильма о нас, где Семен Израилевич недоуменно развел руками: «Куда вы меня зовете?»

А я его в середине декабря уже звала на дачу. Семен Израилевич был доволен всем – и более просторному помещению по сравнению с городской квартирой, и тем, как мы с Мариной все расставили, и светлыми неброскими обоями, и старыми домотворческими занавесями и даже дешевыми, безвкусными светильниками, и тем, как наш давнишний друг Коля Поболь поместил в двух комнатах книжные полки и заполнил их книгами, – они встали приблизительно в том же порядке, что и в городе. Но особенно, конечно, тем восхитился, что за окном. А за окном зима стояла, как невеста. На небольшом участке пышно кудрявились лиственные деревья, будто радующиеся смене желтого одеяния на белое, искрящееся солнечным морозом. А елки вдоль забора походили на

старинных стражников в треугольных блескучих шапках, сработанных то ли из ангорской шерсти, то ли из облаков. А выдающийся, самый мощный треугольник заснеженной ели располагался, сторожа покой, у самого крыльца. Это крыльцо будет играть огромную роль в последние три года жизни Липкина. Об этом крыльце я постараюсь не забыть в письме. А новосельный двухтысячный год мы встретили у нас с Юрием Карякиным и его женой Ирой, заглянула и не на коротко к нам Наташа Иванова. Карякин долго говорил Семену Израилевичу о его поэме «Техник-интендант», об особенностях не одного содержания, но и об органичном для этой поэмы свободном стихе и его редкостном ритме. Долго говорить Карякину не о Достоевском, это значит, говорить минут пять. А там, конечно же, разговор перешел на любимого классика, но говорили и об Ахматовой, и о Гойе, которым в последнее время Карякины более чем увлечены.

Годы, прожитые Семеном Израилевичем на даче, были по своему счастливыми, но нелегкими. Здесь его радовала природа, а чему бы он радовался в городе? Ведь он так любил подмосковные прогулки! Правда, они становились все короче, а в зимние дни и вовсе постепенно прекратились – свелись к креслу на крыльце. Зимой Семен Израилевич надевал обширную синюю куртку на гагачьем меху, высмотренную для него Майей, женой Василия Аксенова, у которых мы в 1989 г. несколько дней гостили в Вашингтоне. Но куртки было мало, я укутывала его ноги в плед, и Сёма по часу и по полтора дышал воздухом. Гораздо больше времени он проводил на крыльце в поздневесеннюю, в летнюю и начальноосеннюю пору. На крыльце он не читал, а наблюдал за лесом, ибо садом наш участок никак нельзя назвать, цветов не сажали, за двумя яблоньками не ухаживали, и они дичали и хирели. Но все не садовое продолжало цвести и отцветать: подснежники, одуванчики, незабудки, и как ни странно, – пионы. Росли, видимо, из благодарной памяти о бывшем хозяине. И из той же благодарности на клумбе под кухонным окном вдруг вылезали то несколько тюльпанчиков, то ирисы. А всю клумбу захватили огромного роста лопухи и выжили растущий по соседству куст жасмина. Глядя на агрессивный лопух, Семен Израилевич вздыхал, жаль было сада. Вздыхал безропотно, понимая, что садом некому заняться. И вообще Семена Израилевича ужасала та агрессивность, с какой в Переделкине богачи-нувориши вкладывали деньги в постройку разнообразных дворцов с эклектичными башенками, огораживались высокими каменными заборами, рубили заповедный лес. Кустом бордово-фиолетовой сирени старый поэт подолгу восхищался и печалился, когда эти тяжелые гроздья скукоживались. Это о крыльце.

Но ведь до последних дней Семен Израилевич и на прогулки выходил. Первый год сам, а после в моем сопровождении. Вообще его возраст главным образом определяла походка. Помню, когда мы в 1967 г. познакомились в Малеевке, солидная палка уже имела место, но эта палка с набалдашником в виде головки змеи, служила для Семена Израилевича признаком важности, он был важен даже при ходьбе, а не только в суждениях и разговорах. Однако и весел, – и размашисто, по-мальчишески писал змеиным жалом по снегу: «Инна, я тебя люблю». Лет через 20 он стал нехотя опираться о свой посох. У него даже одна из поздних стихотворных книг названа «Посох». А уже в последние шесть лет жизни, крепко держа в руках змеиный набалдашник, осторожно налегал на дорогу. Дачные прогулки были недалекими. За домом, за ветхим забором уже начинался заповедный лес, на задах дома – корт. Семен Израилевич в летние месяцы, если не дождь, один или со мной, а в последнее лето при моей обязательной поддержке, уже мало надеясь на один только посох, делал полукруг, сначала шел по Довженко, на углу сворачивал налево, в переулочек, ведущий в лес, и направлялся к задкам нашей дачи, то есть к корту. Держась за железную сетку-ограду вокруг корта, он, стоя, подолгу наблюдал за игрой, особенно ему нравилось следить, как уже немолодая худошавая женщина учит детей теннису. Черный пуделек преподавательницы облаивал зрителя, но тот не отводил от детей и мячика своих серо-зелено-голубых, в зависимости от освещения, глаз с широкими веками, глаз слегка выпуклых и на редкость внимательно выразительных. С.И. так пристально наблюдал за игрой, что я иногда шептала ему в ушной аппаратик, мол, неловко так подолгу стоять и так въедливо смотреть, но он, передразнивая меня, отмахивался моим жестом – рукой вниз.

Да, ушной аппаратик уже мало помогал Семену Израилевичу. Поэтому корт и дачный участок, где черно-белые с красной грудкой дятлы да пестро-зеленые синицы на деревьях были почти единственными зрелищными, подвижными кадрами. Из деревьев его больше всего привлекали березы, и когда из четырех две старые, едва держащиеся на корнях, были срублены, то С.И. так горевал, как будто смерть расправлялась с его собственной жизнью. Но и печалился он кротко и непродолжительно. Он вообще ничего не требовал и если жаловался на здоровье, то мне. А на вопросы, как он себя чувствует, шутил: «Ушел из большого спорта», а если было не до шуток, отвечал: «По возрасту». О том, что у него сильно испортился слух, напоминал, например, Олегу Чухонцеву, говорящему, как правило, тихо. Да, друзьям напоминал, так как было интересно их слушать. А некоторым, случайным людям, лишь головой кивал, дескать, слушаю, кивал из-за нежелания

объявлять о своей глухоте. Из-за этого недуга С.И. отказался от телевизора, не расслышивал, когда два голоса, да еще – музыка. А глазеть в экран, не слыша, такое действие его оскорбляло.

Ведь слово для него было главным, а писал в последние три года Семен Израилевич очень редко. Все время читал, то что-нибудь серьезное, то детективы. Из отечественных детективщиков нравился ему один Акунин. Читал половину дня, исключая часы прогулок и сиденья на крылечке. От длительного неписания Семен Израилевич страдал. На свое молчание жаловался лишь мне и очень близким людям. Я, как умела, утешала его, мол, это временно, для поэтов периоды молчанья закономерны, и тут же перечисляла периоды молчания у Ахматовой, Пастернака и Мандельштама. Ссылалась и на его недавний перевод Гильгамеша – сколько, мол, энергии ушло. И это правда. Шутка ли перевести Гильгамеш! И не могла я пошутить «Зимянин не звонит», как всякий раз в уже давнее время шутил С.И., когда я жаловалась, что не пишется. – А куда тебе спешить, – прекращал мое нытье Липкин, – Зимянин не звонит! Зимянин был долголетним главным редактором газеты «Правда»

Главным же девизом Липкина было: «Молчи, скрывайся и таи». Более всего он таил от людей свои жалобы, трудности и печали.

Вот и теперь наша помощница Марина Красина вспоминает Семена Израилевича приблизительно в таких выражениях: «Никогда не встречала такого умного и доброго человека. Никогда не канючил. Даже если болел. Всегда побрит и чисто одет. Всегда каждого внимательно выслушивает, вот и о своей жизни я ему рассказывала, а он подбрасывал чуткие вопросы. И ведь ни на что не жаловался! Все ему нравилось, что ни сготовишь. А благодарил-то как остроумно: “Спасибо, Мариночка, Ельцин такого не ел”, – а как Путин пришел, – “Путин такого борща не ел!” Семен Израилевич только однажды, на третье лето, покраснел и признался: “Мариночка, я фаршированных перцев не люблю”. А я их раз сто за три лета, наверно, фаршировала. И ни звука недовольства! Вот лежали Вы в больнице, так Семен Израилевич на каждый звонок бежал. Я ему говорила: “Уж лучше и дома с палкой ходить” Но куда там! Любил жизнь, а вас-то, Инна Львовна, как любил, как кричал в телефон: “Инночка, я тебя люблю!” Никогда я в старых людях такой любви не видела».

Тут я ее, обычно перебивала, чтобы поговорить, как восхищался Семен Израилевич ее красотой. Марину хлебом не корми, но поговори с ней о ее красоте или кулинарном таланте. И то и другое – чистая правда. И я в который раз начинала о том, как Семен Израилевич любовался ею, когда сидел на крыльце, а она

развешивала белье после стирки. Еще бы не залюбоваться ее статной фигурой, пышущей здоровьем, ее стройными ногами (ходила или в шортах или в короткой юбочке), ее высокой соломенной прической над тонкими чертами лица. Марина подхватывала – да, любовался и даже пел.

Сидя на крыльце, Семен Израилевич часто, особенно в последнее лето и осень, напевал. Напевал он старые еврейские песни, слышанные им от родителей, бабушки и соседей. Мотив тех песен, какие я слышала в исполнении сестер Бери, он нещадно перевирали. Музыкальный слух у него был, но пассивный. Он слышал, когда мелодию перевирает другой, но сам воспроизвести мотива правильно не умел. Я очень любила часы, когда он начинал свое тихое напевание. Чувствовалось, что он в гармонии со своей памятью, с мыслями о родной Одессе, о своих родных и с самим собой. Старалась не мешать, но он звал меня и просил, чтобы я спела Тумбалалайку. Я выучила ради него припев песни, а вот куплеты никак мне не удавались. Тогда Сема начинал делать дирижерские движения руками и просил петь куплеты по его подсказке. На самой высокой ноте он подымал вверх указательный палец. А потом начинались наши беседы о родных, о знакомых. О поэтах ушедших и живущих. Об этом я уже говорила, хоть и не подробно, в «Хвастунье». Лучше всего сам Липкин в своей мемуарной книге «Квадрига» изложил многие свои соображения о литературе и писателях, написал воспоминания о них. Стиль письма в этой книге плотный, густой, насыщенный мыслями и деталями. В мемуарах он умел отодвигать свою личность в тень так, чтобы она была видна исключительно в необходимых для повествования случаях, подчеркивая свет, исходивший от воспоминаемых, что нынешним воспоминателям, в том числе и мне, не свойственно.

Обычно на крыльце, после пения мы начинали перебирать в памяти наши две поездки в его родную Одессу. В первый раз мы останавливались в небольшом номере гостиницы «Аркадия» – это то ли близкий пригород, то ли окраина города. Нам не повезло только с номером, именно над ним в ресторане располагался джазовый оркестр. В остальном все было прекрасно, море, Дерibasовская, Театр оперы и балета, порт и корабли на рейде, аллея на набережной, обилие акации и рыбы, нарядные шеголи и шеголяющие нарядами упитанные женщины, одесские трамваи. Мы смеялись, вспоминая, как в одном из них перед остановкой сидящий немолодой господин постучал костяшками пальцев, как в дверь, в мой зад: «Женщина, вы выходите?» Еще вспоминали разные смешные эпизоды. Но серьезным и главным не столько моим, сколько липкинским воспоминанием были православные и католические храмы, синагога. Больше всего мне нравилась греческая церквушка, сохра-

нившаяся в целостности после стольких атеистических погромов. Она меня привлекала не только тем, что часть стены была расписана розовыми цветами на горизонтально расположенных, толстых зелено-коричневых стеблях, какие я только видела на бакинских стенах в спальне родителей, а тем фактом, что церквушка жива. А воспоминания Семена Израилевича относились к разрушенным церквям, и их я представляла себе лишь по его всегда живым словесным рисункам. И безусловно – Еврейская улица. На ней мы подолгу простаивали как наяву, так и в воспоминаниях на крылечке. На этой улице провел детство и юность Семен Израилевич, он называл все имена соседей, вздыхал по умершим или уничтоженным в войну фашистами. Чьи-то дети еще были живы, судя по фамилиям, вывешенным в подъезде, но Семен Израилевич стеснялся постучать в дверь, побеспокоить. Дольше всего мы задерживались перед бывшей квартирой на первом этаже. «Видишь, окно, – говорил мне муж, – это была мастерская моего папы, он в ней шил костюмы заказчикам, в ней же была и спальня родителей и столовая, и как жаль, что я тебе не могу указать на свою комнатку, окна нет, она темная. В ней при свечке или при керосиновой лампе, как повезет, я делал уроки и читал Гомера». Сейчас две поездки в Одессу соединились в одну, о второй я помню, что она состоялась в 1982 г., денег уже не было, все Семен Израилевич оставил (и правильно сделал) старой семье после переезда ко мне. Жили в Одессе мы у племянницы С.И., у Людочки, которую он очень любил, и когда готовилась наша с ним общая книга стихов, пожелал дать фотографию во вставку, где мы в его родном городе рядом с миловидной, добронравной Людочкой. Еще помню, что во вторую поездку нас провожал накануне своей эмиграции Юрий Кублановский.

Вспоминали на крылечке мы и Львов. И о том, как горевали у авиакасс, не сумев достать билетов на самолет, чтобы вылететь на похороны Марии Петровых. И во Львове С.И. первоначально повел меня в храм. Церковь была униатская, полузапрещенная. На стенах лики как бы выдвигались из кружевных рушников. Прихожане сидели на длинных скамьях, между рядами стояли мужчины с хоругвями, а священник говорил не с амвона, а словно с лекционной трибуны. В этом храме – некая смесь православья с католичеством. С.И. и я были людьми верующими, но не воцерковленными, он не посещал синагоги, а я очень редко заходила в церковь. Но первостепенное, что он делал в любых поездках, было посещение храмов, куда бы ни приезжали. Лишь приехали в Гамбург, как отправились в кирху. Таким образом Липкин изъяслял уважение и почтение тому народу, в чью страну или город он попадал.

Вспоминали на крылечке и Ялту, куда в 1983 г. ездили, он в энный раз, а я впервые. Жили в однокомнатной квартире матери нашей приятельницы. Дом с внешними галереями, как в Баку, располагался очень высоко и далеко от моря. До часу Семен Израилевич, как всегда, трудился. Заканчивал свою пьесу «Картины и голоса», через год эта пьеса о войне, еврейском гетто и послевоенном времени вышла на русском языке в Англии. В России никогда не печаталась. Не отвергали, даже не были знакомы с ней издатели, а театры – тем более. Так получалось, что ни в какую книгу Липкина эта пьеса по своему профилю не вписывалась. Семен Израилевич в последнее время мне настойчиво говорил, что если до его смерти не удастся издать всю его прозу и подключить к ней пьесу, то он просит меня выполнить его просьбу. На самом-то деле мы своего никому не предлагали, ждали приглашений от издательств. Приглашения издать стихи поступали, а вот переиздать прозу к Семену Израилевичу никто из издателей не обращался. И сейчас «Зимянин» насчет прозы не звонит. А ведь можно было бы и с коммерческой точки зрения переиздать два тома, в одном, как мечтал С.И., «Записки жильца» и мемуарную «Квадригу», а во втором – «Декаду» и «Картины и голоса», в этих двух вещах отчетливо звучат национальные и межнациональные мотивы, – животрепещущие в годы укрепления ислама и ксенофобии. Не знаю, взялся бы какой-нибудь театр за такую длинную пьесу с авторскими отступлениями. Думаю, это чрезвычайно трудно, почти невысказимо. А вот читать «Картины и голоса», на мой взгляд, крайне интересно. Есть и острая фабула, неожиданные сплетения судеб, а действующие лица, за исключением двух третьестепенных, декларативных, новы и яркие. Именно в Ялте Семен Израилевич закончил «Картины и голоса».

Да, дом стоял на горе, и мы долго спускались к морю по ступенчатой каменной тропе вдоль узкой речки, извинаящейся расплавленным стеклом, – сквозь него мерцали разноцветные камушки. Всякий раз по дороге к морю С.И. вздыхал: все эти дома на горе принадлежали крымским татарам, в войну выслали и их, единственных из высланных народов до сих пор не принимают на родине. Он так много об этом говорил, что я даже написала на эту тему стих такой длинной строкой, как наша дорога к морю. А между тем с середины апреля до середины мая было непривычно для жителей Ялты холодно. Мы не предполагали такой непогоды, и одеты были слишком зябко. Зябли и дома и на улице. Но в один из дней на набережной встретили вездесущего, способного на добрые порывы Рейна. Он отвел нас в один дом, где и хозяин дома и его сын были любителями поэзии и ее собирателями. Как нам повезло, мы и оделись в теплое и даже обулись, и куда

только нас ни возили – то сын, то отец. И вспоминая пригревший нас дом, мы винулись друг перед другом, что напрочь забыли имена наших благодетелей. А Семен Израилевич еще и приговаривал: «Будем наказаны, – умрем и никто о нас не вспомнит. Но я умру первым, и пока жива, хоть ты не забывай обо мне».

Но нас еще не разлучила смерть, и мы сидим на крылечке и вспоминаем пансионат «Отдых» неподалеку от Новой Рузы, где под фамилией Новрузовы скрывались в 1984 г. от преследований КГБ. Мы наперебой вспоминаем наши длинные и короткие прогулки. Короткие и более частые, за час до обеда, проходили по очаровательной опушке, полной желто-розовым мятликом, напоминающим пушистой формой лисий хвост. Кажется, в народе мятлик так и зовется. А кусты татарника уже в пуху, над цветочной пестротой летают бабочки-простолюдинки и бабочки-аристократки, например павлиний глаз. С опушки, окруженной кустарником (был и шиповник), тропа расширялась в пыльный спуск к Рузе меж небольшими синими полями-островками льна. У реки мы передыхали на высоком и плоском, не хуже скамьи, бревне, потом, обогнув пионерский лагерь, возвращались дурманно благоухающей липовой аллее к обеду. Длинные прогулки, проработав до 12, Липкин объявлял так: двигаем в пейзаж Поленова. И мы двигались по пересеченной местности с оврагами и рекой, доходили иногда даже до устья, до впадения Рузы в Москва-реку. Открывалась широкая панорама на среднерусские поля, окаймленные лесочком, лес казался маленьким, ибо был достаточно далеко от нас. На лесистом горизонте явственно торчали уродливыми крестами антенны-глушилки. (И все же нам удавалось вылавливать какой-нибудь «вражеский голос», вещающий по-русски.) По хлебному полю прыгали воробьи, а на огромном приречном лугу паслись коровы. Я их боялась, а С.И., побывавший в Индии, совершенно спокойно проходил меж ними и меня за руку вел. С ним вообще мне редко когда было страшно, была в нем защитная обстоятельность, уверенность в том, как Бог рассудит, так и будет.

Особенно веселился С.И., когда вспоминал соседа по столу, еврея, подполковника милиции из Ташкента, прикипевшего всей растерянной душой к Семену Ильичу Новрузову (и отчество по понятной причине было изменено). Они разговаривали о Ташкенте, но подполковник милиции все сводил к еврейской теме, не ясно, почему так доверившись нам, может, нюх у него был особенный на умеющих держать тайну или на тайных евреев. Он жаловался на евреев-отказников, на евреев-диссидентов. И вообще на всех диссидентов, которые распустились, и не известно, что с ними делать. «Ой, – хохотал С.И. в номере, – если бы этот еврей

знал, за кем он на прогулках увязывается, если бы знал, кто такие Новрузовы!» Ходил подполковник в пансионате в гражданской форме, так что, возможно, мы и недослышали, в каком органе он работает, ибо вряд ли милиционера, даже в чине подполковника, так сильно изнуряют отъезжающие евреи и вообще диссиденты. Почему-то Семена Израилевича особенно рассмешил милицкий чин, когда, завидев коров, бросился в паническое бегство под недоуменное мычание рогатой скотины, бежал как ветер, несмотря на свой высокий рост и солидный вес.

На крылечке мы вспоминали и Галю Балтер, у которой гостили зимой и которая недавно умерла, и Бориса Балтера, написавшего повесть «До свидания, мальчики» и исключенного то ли из Союза писателей, то ли из партии за дерзкую речь на вечере, посвященном Платонову, сейчас не вспомню, откуда исключили. Если вспомню, напишу. Знаю одно: он подвергался остракизму, сидел без работы. Мы с 1967 г., ежегодно живя зимой в Малеевке почти по два месяца, в воскресные дни, прихватив в буфете коньячок и редкие по тем временам апельсины, наведывались в дом Балтеров. Они совсем недавно построили этот дом в Вертушине и жили там круглый год. Балтера и его Галю все любили, как писатели, так и деревенские жители. Приходилось Балтерам материально туго, но встречала нас Галя всегда разносолами и вареньями. У них же мы обычно встречали старый Новый год. Собирались за столом Рассадины, Сарновы, Лазаревы и физик-астролог Иосиф Шкловский. Если компания посмеивалась над Шкловским и он уставал, переходили на насмешливые споры с заядлым спорщиком Балтером. Семен Израилевич в насмешливые споры не вступал не только из нежного отношения к Балтеру, но потому, что любил серьезные споры на серьезные темы. (Однако очень любил сплетни и сам сплетничал. Я этому в начале общей нашей жизни поразились, а С.И. ответил, что сплетни питают писателя, что вот и Ахматова обожала сплетни.) Гостили у Балтеров и что-нибудь мастерили и его друзья Войнович и Панченко. Коля Панченко строгал доски для полок, а что строил Войнович, забыла и я, и Семен Израилевич не мог вспомнить. Балтер в новом доме прожил недолго. Мы на крылечке вспоминали его многолюдные похороны в жаркий разгар лета, на высоком месте кладбища Старой Рузы. Почему-то мне запомнился не Василий Аксенов, кажется, распорядившийся похоронами, а чета сионистов Воронелей, ехавших на похороны из Москвы и сидевших в вагоне рядом с нами. Меж тем за ними увязался чекистский опасный хвост, они находились уже в долгом отказе, и власть, возмущенная их «вызывающим» поведением, всячески препятствовала их отъезду в Израиль.

А Семен Израилевич запомнил на этих похоронах почему-то неподвижное лицо Слуцкого. Странно, что, дружа со Слуцким, С.И. не замечал то, что я заметила сразу. Впрочем, я была там, откуда выходят часто с застывшими лицами и монотонными голосами, а Сема, слава Богу, не был. Но и Слуцкий, кажется, там еще не был, но неподвижность лица, да и некая окаменелость голоса говорили о том, что он страдает депресией. Иногда, собираясь в Малеевку, мы со Слуцкими заказывали одно такси на четверых. Так было и в ту зиму, когда Таня умерла вскоре после приезда, вскоре после того как мы вчетвером медленно гуляли по заснеженной Малеевке. Она слегла, и я ухаживала за ней, поскольку так она захотела, и Слуцкий, выехавший на два дня в Москву, попросил присмотреть за Таней. Впрочем, это мое собственное воспоминание. А о Слуцком С.И. вспоминал уважительно и благодарно. Но об этом написано им в «Квадриге» и в книге воспоминаний о Слуцком. От себя же могу добавить, что С.И. вспоминал об этом крупном поэте и его трагичной болезни крайне жалостливо. Говоря же про наши прогулки по коровинскому пейзажу, С.И. обычно заключал: «А как далеко я, несмотря на стенокардию, умел гулять, а теперь все на крылечке посиживаю».

Но не все, не все было так грустно в три последних года жизни, – были у Липкина, помимо радости общения с природой и с друзьями, и литературные радости. В 2000 г. у него вышла почти полная книга стихов «Семь десятилетий». Он читал ее чуть ли не ежедневно, как и свою прозу. Часто я заставляла его улыбающегося за чтением своих книг. Но никогда не спрашивала, чему он грустно улыбается. Слишком деликатная тема. А возможно, улыбался, вглядываясь в свое творчество, как улыбается Бог, озирая свое творение: «Грустно, но ничего лучшего я, как ни пытался, создать не мог. Вот и сказал себе: “И это хорошо”».

А в 2001 г. справлялось 90-летие Липкина на территории Музея Булата Окуджавы. День выдался на редкость теплый для последней декады сентября. Честно говоря, я побаивалась этого праздника, как бы Семен Израилевич не переутомился, и была уверена, что он откажется. Однако сказала Ирине Ришиной, которая с одобрения Ольги Окуджавы затеяла юбилейное торжество: спросите Семена Израилевича, вряд ли это ему под силу. Конечно, в какой-то мере я исходила из своей нелюбви к выступлениям. Ирина Ришина прошла в кабинет Семена Израилевича и вернулась, сияя: «С радостью согласился, а вы говорили!» С.И. действительно обрадовался. Я этого никак не ожидала. Мы иногда ходили по субботам в музей, как всегда в три часа дня. Так

Семен Израилевич выступал на вечерах (почему-то так эти послеобеденники называются) Вячеслава Вс. Иванова и Фазиля Искандера, обоих любил, Иванова считал выдающимся ученым, а Искандера выдающимся прозаиком.

Так вот, день выдался на редкость теплым. Вся территория двора была заполнена сидящими и стоящими писателями и читателями. Сначала, как всегда, звучали песни Окуджавы, он пел их, глядя на нас с экрана телевизора, – запись на видео. Потом горячей приветственной речью поздравила Липкина Ольга Окуджава и преподнесла торт с 90 зажженными свечами, он задувал и я ему помогала. Юбилейный вечер вела Ирина Ришина, которая, по моей просьбе, предупредила выступающих, чтоб недолго. Выступили Ахмадулина, Чухонцев, Наталья Иванова, Искандер, Рассадин, Евгений Кублановский. Люша Чуковская прочла поздравительное письмо от Солженицына. Кроме того, Ирина Ришина озвучила многие поздравительные телеграммы. Особенно радовала С.И. телеграмма из Калмыкии, где он был народным поэтом, а теперь уже стал героем Калмыкии, орден героя Калмыкии вручал ему президент Кирсан Николаевич Илюмжинов, приехавший к нам на дачу вместе с поэтом Давидом Кугультиновым. Кроме того, Ришина поставила магнитофонную запись: Аверинцев, страстный поклонник поэзии Липкина, поздравлял его короткой, но емкой речью. И еще несколько человек выступило, но я точно не помню, кто именно, так как волновалась – предстояло мне по просьбе Семена Израилевича прочитать хотя бы два-три стихотворения из посвященного ему цикла «Гимн». Он восхищался этими стихами, утверждал, что подобных счастливых стихов о любви еще не было. После меня стихи, сидя, читал Липкин, я держала микрофон. Читал звонким помолодевшим голосом, при этом неспешно и ясно выговаривая и музыку стиха и каждое слово. Начал чтение с моего любимого – «Имена». Удивительно, что это стихотворение на библейскую тему, о том, как Адам «явлениям и тварям давал имена», написано в 1943 военном году, и еще более удивительно, что наши крупнейшие поэты на темы как Ветхого Завета, так и Нового Завета пишут самые свои значительные вещи амфибрахием с той разницей, что применяют разные типы рифмы и строфического начертанья. Амфибрахием написана Пастернаком гениальная «Рождественская звезда», а Бродским – не менее гениальное «Сретенье». И Ахматова стихотворение о жене Лота написала амфибрахием. Ну, это я к слову, как бы в скобках. Слушали Липкина, затаив дыхание, а ведь собралось около 200 человек.

Прохладнело, и моя дочь принесла Семену Израилевичу куртку потеплей. В конце вечера, перед застольем, спела три стихо-

творения Липкина Галина Бови-Кизилова, приехавшая специально на юбилей из Швейцарии. Липкин и дома с упоением слушал, когда Галина под гитару исполняла песни на его слова. (Любил еврейские и русские народные песни и романсы, а вся прочая музыка именовалась «лишним шумом».) Он еще в юности, как рассказывал мне, мечтал, чтобы его пели. И сам написал несколько песен, но неудачно. И для чего я Вам рассказываю про этот юбилей, Вы же были на нем и все сами помните. Но дома я могу посмотреть этот день, так осчастлививший Липкина, на видеокассете, а здесь мне хочется вспомнить его в письме. Семен Израилевич был счастлив и так разохотился, что через год, уже не теплым, а холодным сентябрем, праздновал свой день рождения в закрытом, но в довольно просторном зале музея. Читал сразу две поэмы – огромного «Техника-интенданта» и тоже не маленькую вещь «Жизнь переделкинскую». И также молодо и вдохновенно читал, а это с перерывчиком – три часа! Слушателями были близкие друзья и читатели как пожилые, так и совсем молоденькие. Поэтесса Олеся Николаева привела послушать Липкина свой литинститутский поэтический семинар. Снова я страшилась, что Семен Израилевич переутомится, и снова ошиблась. После выступления, уже дома, он мне сказал: «От чтения своих стихов человек не устает, ему не до усталости – либо радуется, либо огорчается. Я, пожалуй, радуюсь, а как тебе кажется, внимательно ли меня слушали?» – «О, – ответила я, – ты мне задаешь мой вопрос!» С.И. рассмеялся. Дело в том, что он любил, посмеиваясь над моим характером, рассказывать друзьям и знакомым: «Инна читает гостям стихи, ее хвалят. После ухода гостей спрашивает меня: как ты думаешь, Сема, меня похвалили или поругали?»

Охотно в эти годы Липкин снимался для телевидения, вспоминая то Каверина, то Гроссмана, то Платонова. Однако потом сетовал: «Почему телевизионщиков интересуют его мемуарные рассказы, а не его стихи?» Впоследствии, видимо, по этой причине отказался сниматься в фильме о Переделкине, хотя был хорошо знаком с первыми обитателями писательского городка – Пильняком, Бабелем, Чуковским, Фадеевым, Всеволодом Ивановым, Пастернаком, Катаевым и другими.

С удовольствием читал С.И. перед видеокамерой и магнитофоном, когда к нему приходили молодые поэты, критики, журналисты, да и читатели. Павел Крючков, к которому Семен Израилевич относился с нежностью, записал его и даже выпустил диск, правда, маленьким тиражом. Приезжала из Израиля и моя дочь Лена с замечательным оператором Фимой Кучуком, они сняли очень милый фильм о Семене Израилевиче.

И в 2002 г. у Липкина была литературная радость. И не только радость, а и радостное для него занятие. По приглашению издательства О.Г.И. летом 2002 г. он составлял большое избранное, куда вошли и две поэмы, которые читал в музее Окуджавы. Семен Израилевич даже в самые свои беспросветные в смысле публикаций годы без конца составлял книжки своих стихотворений. В архиве же сохранилось несколько экземпляров оглавлений к стихотворным сборникам, в особенности в молодые годы. Возможно, в молодости, зная наизусть все свои стихи, просто писал в столбик содержание книг. Избранное С.И. назвал «Волей», ему нравилось это заглавие, которое дал Бродский, составляя для американского издательства «Ардис» сборник его стихотворений. Книгу Семен Израилевич составлял тщательно и любовно целый месяц, да и мне помог сложить полное мое на тот день избранное. Успел прочесть Семен Израилевич и верстку, видел и обложку. Все ему понравилось, и то, что на книжной странице много воздуха, и оформление. Но вот выхода новой своей «Воли» не дождался, как и не успел получить Президентскую премию.

Ушел Семен Израилевич неожиданно и беззвучно. Он возмущенно попросил меня прочесть какую-то небольшую статейку и сказать ему свое мнение. Я прочла, а тут как раз Вы позвонили, мы проговорили минут пять-семь, не больше, и я в ночной рубашке (так всегда по дому хожу, когда нет посторонних) заторопилась высказать свое мнение, какое и о чем не помню. Захожу в кабинет Семы, а его нет, заглядываю в спальню, тоже нет, в ванную и уборную – нет. Куда же он, думаю, подевался, ведь не пошел же в мокрый снег гулять, да и никогда, не сказавшись, на улицу не выходит, да и выходя так громко стучит палкой по коридору, что не слышать невозможно. С этими мыслями я и выскочила в ночнушке на крыльцо и увидела. И побежала к нему. Палка была откинута так, что было понятно, что он дошел до ворот и пошел назад, к крыльцу. Но это я уже потом восстановила картину. А тогда я наклонилась, повернула к себе его голову и увидела один широко раскрытый остановившийся глаз, другой был в земле и снегу, бросилась щупать пульс, хотя все поняла сразу. Тело под дубленкой и рубашкой было еще совершенно теплым. Но моего Семена Израилевича уже со мной не было. И хоть знаю, что умер он внезапно, на ходу, от тромба, а все же широко раскрытый глаз, до сих пор мне кажется, – не в небо уставлен, а на меня с укором.

А дальше я уже не в силах писать это письмо, ведь пишу его без малого сутки. Добавлю только одно. О таком мгновенном уходе с земли можно только мечтать. А на самом деле, что мы знаем об этом, если даже до сих пор не способна я уразуметь, как это Семен

Израилевич в такую промозглую погоду и так бесшумно сошел с крыльца. А может, это ангел смерти вывел его, а он смотрел вопрошающими, как в фильме, глазами: «Куда вы меня зовете?»

Всего Вам доброго. И.Л.

10 марта 2006 г.

Елена Макарова
ПОБЕДИТЕЛЬ

1. Девяностолетие

Играет солнце в желтеющих листьях березы, играем и мы, усевшись вокруг стола. Семен Израилевич тасует карты.

Последний из могикан, переводчик «Махабхараты» и «Джангара», «Калидасы» и «Гильгамеша», автор «Воли» и «Декады», – проигрывает в переводного дурака.

– Конченный дурак, с кем тягаюсь! С прославленной поэтессой Инной Лиснянской, которая, по странному совпадению, является мне женой, – и ее дочерью, по странному совпадению...

– Сема, отбивайся! – Мама кладет перед ним шестерку пик.

– Ниже пасть невозможно, беру...

– Ты, проигрывая, глядишь, как раненый тигр.

И война для мужчин, знать, одна из азартных игр

На аренах времен...Слава Богу, ты вышел живым,

Хоть попал в Сталинградский, кровокипящий тигль... –

бормочет мама под нос стихи из своих «Гимнов».

...В 1985-м мы с мамой везли Семена Израилевича на операцию. Прощаясь, он сказал: «Извини, Леночка, я отказал тебе (я хотела его постричь), но если и на этот раз останусь живым, – подставлю голову, и брей хоть наголо».

Липкину выпала радость в 1990-х и 2000 годах увидеть опубликованными на родине не только полное собрание своих стихов и поэм, прозы и мемуаров, но и книги своих лучших друзей, Василия Гроссмана (последний экземпляр романа «Жизнь и судьба» хранился у Семена Израилевича) и Андрея Платонова.

Я счастливеец, ибо только тот,
чей низок дух, несчастен.

На вселенную смотрю я:
мир велик, но мне подвластен.

Гончая с огромной пастью
мчится яростно за дичью,
Это – жизнь, и чем я стану,
превратясь в ее добычу?

Я рожден в юдоли скорби,
лжи, греха, коварства, страха,
Но и золото порою добывается из праха.

Юность – это пламя хмеля,
старость – холод и невзгода.
Тот, кто жив, заложник смерти,
и лишь мысль его – свобода.

Мне знакомы ночь, пустыня,
пыль во рту, скупая влага,
Но перо – моя опора, и подруга мне – бумага.

У меня один лишь посох –
луч таинственного света,
У меня лишь два верблюда: нищета и дар поэта.

В «Песне бедуина» – протяжность степей и протяженность мысли. «Луч таинственного света» нацелен на самую суть человеческого существования. Липкин – философ и в стихах и в жизни. Медленная походка, долгий внимательный взгляд. Семен Израилевич обзревает и воспевает Бытие.

– Леночка, задавай свои вопросы, – говорит Семен Израилевич, складывая карты в колоду. – Для кого это?

– *«Иерусалимский журнал» хочет поздравить Вас с юбилеем.*

– Ты знаешь, мне трудно рассказать «что-то», проще отвечать на вопросы. Задавай.

– *Что для Вас Иерусалим?*

– Я с раннего детства, с тех пор как себя помню, был религиозным мальчиком. Это немного необычно, поскольку мой отец был социал-демократом, меньшевиком, и не верил в Бога. Я же хотел учиться в хедере. В этом мне было отказано. И все-таки, когда я выдержал экзамен в Пятую гимназию...

– *В Одессе?*

– Разумеется... я же родился в Одессе! – в Пятую гимназию еврейю попасть было непросто... Родители были этому очень рады,

а я получил от них разрешение поступить и в хедер. В 1920 г., когда пришли большевики, за учебу в хедере платили уже не деньгами, а хлебом. Лишнего хлеба у нас не было. Хедер пришлось оставить. И я забыл иврит. У нас иврит назывался древне-еврейским. О себе я могу сказать – я верующий иудей и при этом – патриот России.

В 1990 г. мы с твоей мамой были в Израиле. Иерусалим стал для меня потрясением. Все, что знал с детства, я увидел своими глазами. Со мной произошел потрясающий случай. Подойдя к Стене Плача, я вдруг вспомнил начало молитвы «Барух ата адонай елохейну мелех а-олам» – я вспомнил слова, которые я не произносил вслух с детства.

– Семен Израилевич, как Вы расцениваете влияние русской алии на Израиль?

– Русское еврейство – это прежде всего образованное еврейство. Русская культура – явление всемирного масштаба. В этом смысле для Израиля это большое приобретение, плоды его видны уже сейчас, у этого явления большое будущее.

– А что советская ментальность?

– Мне с детских лет была отвратительна «советская ментальность», будь она у украинцев, евреев или русских. Я надеюсь, что евреи, приехавшие в Израиль в 90-е годы, свободны от этого недуга.

...На этом беседа прервалась. По телефону поступило сообщение: в честь 90-летия Семен Израилевич награждается званием героя Калмыкии, драгоценным орденом и машиной. Но что делать с машиной?

– Сема, вот привезут машину, тогда и будем думать, – сказала мама.

Семен Израилевич подарил маму восторженным взглядом.

Склонясь, я над тобой стою
И, тем блистанием палимый,
Вопрос, ликуя, задаю:
Какие новости в раю?
Что пели ночью серафимы?

– Счастливый я человек, мне исполнилось 90 лет – и я все еще влюблен!

2. Четыре месяца со дня смерти

Семена Израилевича не стало 31 марта 2003 г.

Первого апреля я взяла с собой «Сталинград Василия Гроссмана» и поехала в Тель-Авив за визой. Думала, покажу консулу книгу, и он без лишних слов оформит документы. Но к консулу меня не допустили, оставалось одно – читать и ждать.

«Любимой Леночке о любимом друге» – это ардисовское издание Семен Израилевич надписал мне в июне 1986 г. На фотографии он стоит на крыльце у окна, а Василий Семенович сидит на приступочке у лестницы. Перечитывая в шумной очереди «Сталинград Василия Гроссмана», я вспоминала, как морозной февральской ночью увозила с маминой московской квартиры тяжеленную сумку. «Возьми такси!» – сказала мама многозначительно. Я не спросила ее, что вдруг такая спешка, в целях конспирации поручения следовало исполнять молча. Такая вот группа террористов-заговорщиков. Сегодня представители органов безопасности досматривают нас на предмет оружия – ищут в сумках бомбы, на теле – пояса со взрывчаткой, в карманах – колющие-режущие инструменты, – в то время оружием было слово, а опасными предметами – книги и рукописи, то бишь мысли. Другая эпоха. Дома я открыла сумку – в ней было много книг и две толстые папки. «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана. Но ведь этого романа не существует?! Сейчас мы знаем, что единственный экземпляр романа сохранил Семен Израилевич, но тогда у меня было ощущение, что материализовался фантом. Мы с мужем читали роман ночами, тайком, он хранился у нас, как выяснилось позже, после передачи в 1975 г. микропленок на Запад.

Третьего октября 1988 г., стоя в магазине «Ленинград» в очереди за мясом (запомнила дату, поскольку это было в день рождения моего сына), я уткнулась взглядом в журнал «Огонек», его читал впереди стоящий. «Василий Гроссман: “Жизнь и судьба”, главы из арестованного романа», – было написано на развороте.

Кто мы? Кочевники. Стойбище –
Это надгробья вокруг.
На Троекуровском кладбище
Спит мой единственный друг, –

стихотворением «Живой» завершалась книга о Гроссмане. Я закрыла ее, и меня вызвали. Я получила визу.

После смерти Семена Израилевича, ярого противника всяческих непредвиденностей, блюстителя четкого порядка дей-

ствий, – события происходили в назначенный им час, – время вышло из-под контроля. Мы везде опаздывали, даже в морг, мама все еще по инерции не отрываясь смотрела на минутные стрелки, приговаривая «при Семе этого бы не случилось, при нем такого не могло произойти...»

Гением «права и порядка» назвала она его в своих стихах.

Вечером после похорон мамы часы стали отставать.

В последний мой приезд, незадолго до смерти, Семен Израилевич отозвал меня в сторону и тихо спросил, который час. Мы сверили время. Его часы стояли. Он был испуган, глядел на меня огромными глазами. В его взгляде была детская незащищенность и – вопрошание. Я сказала, что надо сменить батарейку, но Семен Израилевич покачал головой: «Они у меня механические, заводные». Он снял часы, я подкрутила колесико, часы пошли. «Вы забыли их завести». Семен Израилевич пожал плечами: «Неужели! Такое со мной впервые».

Наверное, ребенком он был «елед хахам» (мудрый ребенок) и на празднике «Песах» (в честь исхода евреев из Египта) задавал вопросы. По еврейской традиции в этот вечер выбирается мальчик, который задает присутствующим вопросы, ибо «хохма» (мудрость) состоит в умении правильно ставить вопрос, и этому следует учиться у детей. Мудрым ребенком нельзя стать, им можно только быть. От рождения. Семен Израилевич был и оставался мудрым ребенком во всем: в своем творчестве, в отношении к вере, в любви к моей маме.

По просьбе мамы я разобрала личный архив Семена Израилевича. Поразили списки. Десятилетиями не имея возможности опубликовать свои стихи, он упорно составлял сборники. В рукописных списках все пронумеровано; ряды, составленные из названий или первых строк, выглядят как ноты. В стихах нет поправок. Словно бы он их не сочинял, а записывал в блокнот под диктовку. В переводах, напротив, видна работа, поиски точных слов, перечеркнутые и заново на полях написанные строфы.

Последней большой работой Семена Израилевича было создание новой версии перевода «Гильгамеша». Я читала его в рукописи. В то время Семену Израилевичу было около 90 лет, а «Гильгамеш» в его поэтическом пересказе звучал молодо: читая, физически ощущаешь и жар любви, и жару пустыни, и неутолимую жажду поиска истины. Так я ему и сказала, он

просиял: «Было трудно, я боялся, что по старости не смогу с этим справиться».

Поэт и философ, он с детским простодушием выстраивал в уме списки тех, кто останется, и тех, кого забудут. Он очень хотел остаться, не сгореть метеоритом в небе русской поэзии. Как средневековый астролог, следил он в телескоп за движением звезд в мироздании литературы, очень много читал, отмечая новые явления. У него был свой литфонд, бухгалтерия подвергалась учету и переучету, – кого-то включал (при этом всегда советуясь с мамой), кого-то, разочаровавшись, вычеркивал.

Непростительным для литератора пороком Семен Израилевич считал глупость. Он мог сказать: «Подлый, но талантливый», «Мерзавец, но какой поэт!», «Обманщик, но великолепный версификатор», к глупости снисхождения не было. «На глупые вопросы я не отвечаю. Услышав их, я удаляюсь», – говорил Семен Израилевич как бы в шутку.

Он прожил как мудрый ребенок и покинул мир как праведник, на ходу, во время прогулки. Он ушел, оставив нам в наследство книги, в них и находятся ответы на вопросы по существу дела, именуемого жизнь. «Даже сомнения приближают нас к Богу», – говорил он, вечно жаждущий ясности. Лишь глубокая вера смиряла его с сознанием невозможности постичь умом замысел Творца. «Выход у нас есть один: верить».

Семен Израилевич причислял себя к «счастливым»: «Я счастлив / Этим единственным счастьем, возможным на нашей земле – / Волей, ленивой волей, разумением равнодушным / И беспредельным отчаяньем...» Отчаянье, по Семену Израилевичу, – составная счастья, и оно беспредельно, ибо неминуема смерть. «Воля» – ключевое слово его поэзии и жизни. Ощувив приближение смерти, он проявил последнюю волю.

Всеобщая ночь приближалась к садам.

«Вот смерть», – не сказал, а подумал Адам.

Не сказав ни слова, он вышел из дому в сад – навстречу ей.

Иерусалим, 30 июля 2003 г.

Владимир Мощенко
«МЫ, ПРИЯТЕЛЬ,
НЕ ТЕ НОМЕРА НАБИРАЕМ...»

Когда вышла из печати книга Семена Липкина «Семь десятилетий», я опубликовал в «Независимой газете» статью о ней «На божественном уровне горя и слез», закончив так: «Мы не хотим называть ее итоговой. Даст Бог, будут у него еще книги, и мы их будем ждать». Он читал эту статью во дворе переделкинской дачи. Он был в неизменной своей бейсболке и ветровке, мудрый Мафусаил и застенчивый ребенок, державший сучковатую палку между коленями и благосклонно взиравший на Александра Кривомазова, который непрерывно фотографировал его. Дочитав, он задумался, и видно было, что устал. Мы пошли в его комнату; он лег на диван, произнес несколько фраз и признался, что ему надо хотя бы немного поспать. Я заметил в нем непреодолимую слабость, но не сказал ничего его жене и моей давней подруге Инне Лиснянской, которая все понимала лучше всех и примеряла на себя неотвратимое будущее: «...стану дождя подобьем – плакучим твоим надгробьем».

...Как-то, уже очень давно, мы гуляли с ним по писательскому городку, и он вдруг прочитал:

Разве только нам карьер копали,
Разве только мы в него легли?
Мать Утоли Моя Печали
Не рыдала ль плачем всем земли?

Это были его строки 1956 г. Обычно он не любил читать свои стихи вслух, особенно на ходу. Но так уж случилось. И я благодарен этому случаю. Тогда я впервые осознал всеохватность, величие Липкина.

Что стало с нами после его смерти?

Василий Розанов написал примечательную книжку «Когда начальство ушло». Там все сказано о подобной драме.

А в памяти моей осталось немало, чему, увы, не дано сохраниться, как, например, снимкам Александра Кривомазова.

Во второй половине 1980-х вышел «знаменитый» библиографический справочник «Писатели Москвы». Купив его, я тотчас начал листать страницы на «Л»: есть ли там Семен Липкин и Инна Лиснянская? Их там не было. В общем-то я знал, что не найду их в справочнике, как, допустим, не смог бы отыскать целый квартал напротив памятника Пушкину в центре Москвы

(с закуской «Эльбрус», с кинотеатром «Хроника», с аптекой и уютнейшим кафе). Но квартал этот снесли, остался на его месте лишь сквозняк, а Липкин и Лиснянская существовали, жили – не когда-то, а сегодня, тем более – их поэзия. И все-таки на официальных совписовских страницах между сведениями о Лимановой Г.Х. и Лисицком С.Ф., а также о Лисичкине Г.С. и Лисянском М.С. тоже болезненно ощущались два занозистых сквозняка, два ужасных пробела. Слово предвидя нечто несурзное в этом роде, совсем еще молодой Липкин (в 1944) восклицал: «О патефоны без пластинок!..»

Впрочем, поэта вообще не баловали, хотя, во-первых, его самобытный талант проявился очень рано и развивался, несмотря на всяческие препоны, а во-вторых, он – фронтовик, побывавший в окружении, участник Сталинградской битвы. Тем не менее боевые заслуги и несомненный поэтический дар в учет издательствами брались крайне неохотно, а то и вовсе не брались. Приходилось заниматься в основном переводами. Кстати, их поистине высокий уровень заставил говорить о себе. Первая книга Семена Липкина («Очевидец») вышла в «Советском писателе», когда автору было уже едва ли не 60. Критика относилась к его стихам весьма недоброжелательно, обвиняя их одно время даже в «альбомности» и «враждебности».

А тут еще масло в огонь подлило его и Иннино участие в скандальном аксеновском «Метрополе». О том, что подобное произойдет, Василий Аксенов говорил мне перед своим выдворением из Советского Союза и выездом в Соединенные Штаты. Тогда я был при полковничьих погонах. Вспоминая автора этих строк и те времена, ознаменованные взрывом негодования, улюлюканьем по поводу «Метрополя», Василий Павлович в романе «В поисках грустного бэби» пишет, как он встретил меня в подземном переходе на Манежной и как я пригласил его на «армейские антрекоты», чтобы послушать новые «контрабандные» джазовые пластинки, и признается: «Надо сказать, я удивился: меня уже тогда далеко не все друзья приглашали в гости... Впрочем, если он и слышал о моих делах, то уж только краем уха. В ушах у него и в самом деле не очень-то много места было для посторонних звуков. Он всю жизнь был джазманом и всегда напевал, насвистывал или просто пальцами постукивал по столу в такт джазовым мелодиям...» (Чтобы, не дай Бог, не *скомпрометировать* меня, Аксенов дал мне в этой «книге об Америке» имя *Генка*, а стихи в упоминаемой главе поместил тем не менее... *мои*(!): «Трубит Армстронг в свою трубу...» и «Но Майлсу Дэвису сказали...»)

Недруги предрекали Липкину полное забвение.

Забегая вперед, замечу, что, к счастью, все получилось иначе. Иосиф Бродский составил его книгу «Воля», которая появилась в начале 1980-х в США. Затем там же увидела свет новая книга «Кочевой огонь». А ведь Липкин явно переживал, что его поэзия пересечется с «линией небытия». Да, нешуточные дела были. Как известно, тот грандиозный скандал закончился тем, что Инна Лиснянская и Семен Израилиевич, объявленные отщепенцами, вслед за Аксеновым вышли из СП, руководство которого делало вид, что этих писателей как бы вовсе и нет.

А между тем разве могла существовать отечественная литература хотя бы вот без таких строк Липкина:

Я сижу на ступеньках деревянного дома,
Между мною и смертью – пустячок, идиомы.
Пустячок, идиомы – то ли тень водоема,
То ли давняя дрема, то ли память погрома...

Вышагивая с Липкиным все по тем же переделкинским тропинкам, я слушал его рассказы о детстве, об Одессе, и они сопригались со строчками, где запечатлены кусты будяка, ярко-красный вагончик, пожелтевшие листья акаций, меняющее цвета Черное море, заросшие невысокой травой пустыри, пляшущий под дребезжанье запиленной иглы кожевенный цех... Все это стало фактом его поэзии. Липкина умилило, что я помню наизусть одесскую лирику:

Разбит наш город на две части,
На Дерибасовской патруль,
У Дуварджоглу пахнут сласти,
И нервничают обе власти.
Мне восемь лет. Горит июль.

Еще прекрасен этот город,
И нежно светится собор,
Но будет холод, будет голод,
И ангелам наперекор
Мир детства будет перемолот...

Липкин поощрял мое стремление вернуться стихами в мой довоенный Бахмут.

– Там, и только там, вы откопаете клад, – напутствовал он.

Потому, конечно, что он сам, ощущая себя «остывшею золой без мысли, облика и речи», неоднократно проделывал в послевоенных стихах путь к родному городу.

Еще и жизни не поняв
И прежней смерти не оплакав,
Я шел среди баварских трав
И обезлюдевших барачков.

Неспешно в сумерках текли
«Фольксвагены» и «мерседесы»,
А я шептал: «Меня сожгли.
Как мне добраться до Одессы?»

Вскоре после этого он написал об одесской синагоге, о ее обшарпанных стенах, угрюмом грязном входе, о том, как там, «на верхотуре, где-то над скинией завета мяучит кот». Тон несколько ироничный, что-то вроде будничного. Вот, к примеру, следующий портрет:

Раввин каштаноглазый –
Как хитрое дитя.
Он в сюртуке потертом
И может спорить с чертом
Полушутя.

Но чаще всего вовсе не по такому поводу брался за перо Семен Липкин. Ему бы простили и Одессу, и даже синагогу («Шум, разговор банальный, / Трепещет поминальный / Огонь свечей»), и даже раввина, – только как могли простить пугающую тревогу, не случайно возникшую на празднике Торы, гневное недоумение: «И здесь бояться надо унылых стукачей?» – и молитву: «Я только лишь прохожий, / Но помоги мне, Боже, / О, помоги!» Тут и доказывать не надо: стихи эти были неизбежными прежде всего потому, что поэт без чьей-либо подсказки понял основное: «Пришел сюда я / Поневоле, / Еще не зная / Крупной соли / Сухого края, / Чуждой боли». После такого осознания поэтической сверхзадачи «чуждой боли» уже быть не может. Липкин никогда не возносился, он ни на секунду не смел позволить себе забыть: главное – «не золотые слитки, а заповедей свитки», оставался самим собой.

Я плачу. Оттого ли плачу,
Что не могу решить задачу,
Что за работою умру,
Что на земле я меньше значу,
Чем листик на ветру?

Как-то я сказал Липкину, пришедшему в себя после долгой болезни, что его поэзия нередко держится на противоречиях, на контрастах.

– Вы находите? – озорно спросил он.

И я ответил, что его любовь к человеку, к людям проявляется как факт художничества тем явственнее, тем сильнее, чем ярче, убедительнее он показывает все их несовершенство. Примеров тому несть числа.

...Он привык летать в дурное место,
Где грешат и явно, и тайком,
Где хозяйка утром ставит тесто,
Переспав с проезжим мужиком,

Где обсчитывают, и доносят,
И поют, и плачут, и казнят,
У людей прощения не просят,
А у Бога – часто невпопад...

Этот новый Овидий не страшился петь «о бессмысленном апартеиде / В резервацьи воров и блядей», не то что не страшился – наоборот, считал своим долгом только так слагать свои песни, беря пример с «блатной музыки», которая «сочиняется вольно и дико / В стане варваров за Воркутой», ведь иначе нельзя прочесть книгу, данную Господом, «на рассвете доест мамалыгу / И допить молодое вино». Липкину известна беда «забытых поэтов», умевших находить и краски для описания закатов и рассветов, и, кроме того, «терпкость неожиданных созвучий», испытывавших «восторг рифмованья»: увы, у них не хватило ума стать необходимыми людям, и они просчитались. Почему же просчитались? Они запомнили вот что: «Говорят, нужен разум в эдеме, / Но нужнее – на грешной земле». Именно – на грешной!

Стихи Липкина мужественны, потому что не пытаются ни единой буквой, ни единым звуком идти против истины, не всегда (далеко не всегда!) приятной для нас. Как замечательна «Телефонная будка»! Здесь речь вовсе не об обыкновенном «городском сумасшедшем», который непрестанно и «с напряжением вертит... диск автомата». Это сама поэзия, наподобие того сумасшедшего, проламывается сквозь косность нашего окаянного бытия.

Я слышал, что безумец подобен поэту...
Для чего мы друг друга сейчас повторяем?
Опустить мы с тобою забыли монету,
Мы, приятель, не те номера набираем.

Еще более драматично это чувство выражено в «Комбинате глухонемых», стихотворении очень предметном, где наличест-

вуют и живая соль знойных городских улиц, и морская даль, и звон трамвая, и мастерская, в которой склоняются над шитьем сорочек артельщики, – и все ради того, чтобы задаться тем же самым проклятым вопросом:

Ничего она не слышит,
Бессловесная артель,
Лишь в окно сквозь сетку дышит
Полдень мира, южный хмель.

Неужели мы пропали,
Я и ты, мой бедный стих,
Неужели мы попали
В комбинат глухонемых?

Но, к великому счастью, поэзия Липкина проникнута состраданием к ближнему – и не на словах, а на деле, в готовности сочувствовать, допустим, молодой женщине Марусе, у которой «случилось большое несчастье», поскольку у нее взяли мужа: он в субботу немного подвыпил, потом ему пришлось везти врача, и он заехал к любовнице, застал ее с кабардинцем и в ту же ночь сгоряча поранил ее. Конечно, «дали срок и угнали». Что остается Марусе? Известно – что: печалиться и любить, ненавидеть и жалеть его. И это не просто пересказ, – Липкин пересказов не признает; он воссоздает жизнь своей Маруси (она «в брезентовой куртке, в штанах»), воссоздает в строчках и строфах ее, ни на что не похожий, особый, мир:

Из окна у привода канатной дороги
Виден грейдерный путь, что над бездной повис.
В блеске солнца скользя, огибая отроги,
Вагонетки с породой спускаются вниз.

А уже после того как эта действительность создана, следуют строки, которые можно с уверенностью считать поэтическим кредо Липкина:

Пусть три тысячи двести над уровнем моря,
Пусть меня грузовик мимо бездны провез,
Все равно нахожусь я на уровне горя,
На божественном уровне горя и слез.

Вот оно, отличительное свойство этого поэта, в чьих книгах – «усталый облик правды голой, не сознающей наготы»

и отвергающей «хитроискусную суету», и вот оно, робкое, но оттого и трогательное желание: «О, если бы строки четыре / Я в завершительные дни / Так написал, чтоб в страшном мире / Молитвой сделались они...» Действенность таких стихов заключается не только в нравственной позиции писателя, но и в поражающей воображение новизне, в виртуозной импровизации, опирающейся на самые неожиданные, именно *липкинские* детали бытия. Тут уж никак не приходится говорить о традиционности стиха в известном, смахивающем на упрек, смысле. Липкин следовал одной традиции – традиции достигать первозданной свежести в каждой строке, раз за разом открывать и открывать мир. Вот как он живописал старинную открытку:

Извозчики, каких уж нет на свете,
Кареты выстроили – цуг за цугом,
А сами собрались в одной карете,
Видать, смеялись друг над другом...

Картина эта поражает достоверностью, это кисть большого мастера. Но, показывая нам, читателям, город, где происходит действие, дома, улицы, где «я проживаю, но другой, / Но лучший, но слепо верящий в святыни», Семен Липкин доказывал, что одних картин, как бы замечательны они ни были, мало, необходимо еще вскрытие сокровеннейших глубин души, обращенной к Всевышнему, и потому стихотворение кончается не столько проникновенными, сколько таинственными словами: «Там ни к чему умельца дар постыдный, / И мне туда не шлют открыток». Как доказано в «Беседе», «умельца дар постыдный» вызывает порицание Бога: «Пусть лукавил ты с миром, лукавил с толпой, / Говори, почему ты лукавишь с собой?» Вот почему так важны здесь вопрос стихотворца и ответ на этот вопрос:

– Я словами играл и творил я слова,
И не в том ли повинна моя голова?
– Не слова ты творил, а себя ты творил,
Это Я каждым словом твоим говорил.

Мера истинности, справедливости, любви и добра у поэта одна – это Бог, кто бы ни поклонялся Ему – православный, католик, иудей, буддист, мусульманин... Вот только две иллюстрации: «Одного лишь хочу я на свете – / Озариться небесным лицом, / Удаляясь под своды мечети, / Насладиться беседой с Творцом» («Ночь в Бухаре»), «Тени заката сгустились в потемки, / Город родной превратился в обломки. / Все изменилось на нашей

земле, / Резче морщины на Божьем челе» («Морю»). Липкин смотрел на Всевышнего сердцем и глазами человека каждой нации, каждой конфессии. В «Двуединстве» это проявилось наиболее впечатляюще:

Нам в иероглифах внятна глаголица.
Каждый зачат в целомудренном лоне.
Каждый пусть Богу по-своему молится:
Так Он во гневе судил в Вавилоне.

В Польше по-польски цветет католичество,
В Индии боги и ныне живые.
Русь воссияла, низвергнув язычество,
Ждет еще с верой слиянья Россия.

Кто мы? Жнецы перед новыми жатвами,
Путники в самом начале дороги.
Будем в мечети молчать с бодисатвами
И о Христе вспоминать в синагоге.

Кажется, это уникальный случай в литературе. Никто еще с такой художественной убедительностью не говорил, что все мы, «Отца единого дети, свеченье видим одно, / И голуби на минарете об этом знают давно». Но и тут Семен Липкин не кривил душой, не обходил стороной мотив «теней заката» и городских обломков.

В слишком кратких сообщениях ТАССа
Слышу я возвышенную столь
Музыку безумья Комитаса
И камней базальтовую боль.

Если Бог обрек народ на муки,
Значит, Он с народом говорит,
И сливаются в беседе звуки –
Геноцид и Сумгаит.

Липкин, как уже говорилось выше, напоминал, что рвы копали не «только нам» и на нашем месте так легко оказаться любому.

Да, здесь мы слышим «столь возвышенную музыку» с ее «внезапно нахлынувшим понятием Божества». Вместе с тем эта возвышенность обеспечена прозой жизни, иллюстрировать которую хочется без разбивки на строфы (из-за чего стих не утратит

своей поэтичности): «Как тайны бытия счастливая разгадка, руины города печальные стоят. Ковыльные листы в парадных шелестят, оттуда холодом и трупом пахнет сладко». Эти парадные – на уровне лучших кадров Микеланджело Антониони и Федерико Феллини. А вот как мощно входят в наше воображение окраины Европы, «где на треснувшем глиняном блюде / Солонцовых просторов степных / Низкорослые молятся люди / Желтым куклам в лоскутках цветных». Липкин без видимых усилий соединяет несоединимое – и не потому, что так ему хочется, а потому, что такова реальность. Она вся именно так скроена, и поэзия первой откликается на эту ее особенность. К примеру, заходит разговор о Тянь-Шане: «Бьется бабочка в горле кумгана, / Спит на жердочке беркут седой» И вдруг... «И глядит на них Зигмунд Сметана, / Элегантный варшавский портной». Откуда он взялся, этот Зигмунд? Так уж распорядилась судьба: не исчезнув в золе Треблинки, он попал сюда, и здесь все рельефно, достоверно до мельчайшей черточки: «День в пыли исчезает, как всадник, / Овцы тихо вбегают в закут, / Зябко прячет листы виноградник, / И опресноки в юрте пекут. / Точно так их пекли в Галилее, / Под навесом, вечерней порой... / И стоит с сантиметром на шее / Элегантный варшавский портной».

Вот так же, вживую, мы видим праотца нашего Адама, которого Ева укорила: «Зачем это нужно, – вздохнула жена, – / Явлениям и тварям давать имена?» И Еву не так уж трудно понять. Если б можно было ограничиться лишь наименованием тени, льва, сна, соловья, воды, ветра, тростника... Но ограничиться, на беду, никак нельзя. «Всеобщая ночь приближалась к садам. / “Вот смерть”, – не сказал, а подумал Адам. / И только подумал, едва произнес, / Над Авелем Каин топор свой занес». С липкинской поэзией, пожалуй, то же самое. Перед нами волею автора «многоярусный, многостойный... поднимается к нему Гуниб» – земля Шамиля. «На вершине гранитных громад / Ныне праздно зияют бойницы, / Там виднеется зданье больницы, / Рядом школа, при ней интернат». Ныне?! Нет, ныне «отсвет кровавый» не на одних лишь тополях и бойницы праздно не зияют. Или вот такая история: «Писанье читает сапожник / В серебряных круглых очках. / А был он когда-то безбожник, / Служил в краснозвездных войсках...» Все бы ничего, да кончается эта история сокрушительным взрывом: «О если бы, пусть задыхаясь, / Сказать этой ранней порой, / Что в жизни прекрасен лишь хаос, / И в нем-то и ясность и строй». Не обладая дерзостью подлинного художника, такого не скажешь. А как иначе выразить свою боль и боль близких тебе людей?

Его памяти я посвятил стихотворение с эпиграфом из Семена Израилевича: «У Маруси случилось большое несчастье...»:

Ночь последняя, ночь Приэльбрусья
И дождлива была, и черна.
И брезентовой курткой Маруся
Незнакомца накрыла вчера.

Он не дышит, промокший до нитки.
Шорох крыл. Кто же их распростер?
Все предсказано: лучик карбидки,
С гор спускающийся транспортер,

Даже вечность в потоке, рожденном
Выше самых заоблачных скал...
Незнакомец тот звался Семеном.
Он, Маруся, Одессу искал.

И нашел. Больше нету загадки.
Ты печаль у Эльбруса развей.
Он исправить успел опечатки
В этой книге рукою своей.

...Даря мне «Семь десятилетий», Липкин написал на титульной странице: «*Владимиру Мощенко – его душе*». Так бы никто не написал.

Павел Нерлер
ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ

1

Семен Израилевич Липкин родился 19 сентября 1911 г. в Одессе, в семье портного-меньшевика. Мать политикой не интересовалась, а вот музыкальной судьбой Семочки очень. Знаменитый Столярский, вырастивший из липкинского одноклассника Ойстраха мировую звезду, говорил ей: «У Вашего Семы замечательно музыкальные руки, а вот слуха нет».

А вот поэтический слух у него прорезался, хотя и не сразу. Тут роль Столярского выполнял другой одессит – Эдуард Багрицкий. Когда к нему в газетную редакцию пришел 14-летний

мальчик из литературного кружка Художественной профшколы, он выслушал его и сказал: «В вашей тетрадке что-то шелестит, есть слух». Со словами «В газете печатаются только плохие стихи», он напечатал стихотворение «Весна» – самое неинтересное и пустое из всего, что принес мальчик.

В августе 1929 г. приехал в Москву, поселился в Кунцево (неподалеку от Багрицкого) и поступил на химфак Инженерно-экономического института им. Орджоникидзе. Познакомился с Бабелем, Нарбутом, Кузминым, Мандельштамом, Зенкевичем, начал печататься в «толстых» журналах – «Новый мир», «Октябрь», «Молодая гвардия», в альманахе «Земля и фабрика».

Однако коллективизация от идеологии не способствовала процветанию единоличников пера, пускай и не кулаков, и Липкину пришлось записаться в «колхоз» переводчиков¹. Его «делянками» были народный эпос и классическая поэзия Востока. При этом, в отличие от другого колхозника – Тарковского, страдавшего мигренью от самого этого занятия, Липкин давал себя труд углубляться в историческую ткань и через знание истории – научился любить своих «подопечных». В закрома родины он перевел калмыцкий эпос «Джангар» и киргизский «Манас» (их он особенно любил и ценил), бурятский «Гэсэр», татарский «Едигей», кабардинские (адыгские), абхазские и балкарские «Нарты», большую часть индийской «Махабхараты», поэмы Калидасы, Фирдоуси, Джами, Навои, лирику Рудаки, Хайяма, Хафиза, Кабира, Рабиндраната Тагора, Тукая, Дардмэнда.

Работа Липкина-переводчика была высоко оценена – он был удостоен званий народного поэта Калмыкии, героя Калмыкии, заслуженного деятеля искусств Кабардино-Балкарии и Бурятии, литературных премий Таджикистана, Калмыкии и Татарстана. Но как только он стал «отщепенцем», его не только отлучили от переводческой деланки, но и перезаказали его переводы другим.

2

На войне Липкин – с самых первых дней. Кронштадт, Ленинград, Дон². Попали в окружение. Группку в 8–10 человек выводил Липкин: выбирались, проходя по станицам. Плен миновал поэта, но смертный еврейский страх – нет: «Было страшно, мне особенно. Я сделал себе удостоверение с армянской фамилией Шахдинарьянц. Это был мой школьный учитель химии, с такой фамилией. Вошли в станицу, зашли в хату... Хозяин хаты говорит мне: «Сдается мэни, шо вы з жидив». – «Нет, я армянин». – «Вот прииде жинка, вона скажэ». Пришла хозяйка. И пока она смотре-

ла на меня. двумя руками приподнимая свои груди, у меня внутри все дрожало. И она сказала: «Вирменин!»

3

В своей автобиографии он записал: «В 1967 году, когда мне исполнилось 56 лет, была издана первая книга моих стихов “Очевидец”, сочувственно встреченная критикой. Этот год для меня знаменателен и тем, что я встретил поэта Инну Лиснянскую, которая стала моей женой». В 1975 г. – в сильно искореженном виде – была издана вторая книга его стихов «Вечный день».

А уже в 1979–1980 гг. разыгралась поучительная история с альманахом «Метрополь». Из протеста против исключения из Союза писателей двух молодых участников альманаха – прозаиков Евгения Попова и Виктора Ерофеева – поэты Липкин и Лиснянская, как, впрочем, и прозаик Аксенов³, сдержали свое слово и вышли из Союза. Ответ властей был хотя и вегетарианским, но весьма чувствительным: классическая травля, запрет на профессию, в том числе и на профессию переводчика⁴, а также исключение из Литфонда (что означало отлучение от ведомственного медицинского обслуживания). Особенно огорчили братья-писатели: многие наложили в штаны и стали делать вид, что не знакомы.

Но именно в эти тяжелые шесть лет, свободные от переводческого ярма, особенно легко и хорошо писалось – стихи, проза, воспоминания. Тогда же он впервые по-человечески напечатал свои стихи (книги «Воля» и «Кочевой огонь») и даже прозу («Декада», воспоминания о Гроссмани), правда, не на родине, а за границей. В тамиздате издавалась и Инна Лиснянская.

Когда к С.И. приехал Лев Гинзбург – уговаривать его от имени руководства Союза писателей отречься от «Метрополя» (кто там тогда были в секретарях? – Карпов? Суровцев? Феликс Кузнецов?), С.И. его выслушал, покачал головой и ничего не сказал, а только воздел указательный палец вверх, как бы ссылаясь этим на «свое начальство».

В истории с «Метрополем» С.И. и И.Л. – ее единственные настоящие герои, ни в чем и ни на сантиметр не прогнувшиеся в поединке с уже дряхлеющим, но по-прежнему алчущим честной писательской крови драконом. И в высшей степени оправданным представляется присуждение Липкину в 1993 г. премии «За гражданское мужество писателя» им. А.Д. Сахарова. В своей речи по этому поводу он сказал: «Признаться, я чувствую себя неловко, принимая от близких мне по духу литераторов награду за мужество. Было бы более правильно, если бы награда была мне присуждена за нормальное поведение русского литератора».

Сам он себя к мужественным и храбрым не относил: «...Я не наступал. Я тихо сопротивлялся: полвека писал в стол. Мне было легче, чем другим, потому что с самого начала сознательной жизни я не был очарован режимом. Не будучи очарованным, я и не разочаровывался».

4

Впрочем, вторую весну Липкин пережил и как переводчик. В середине 80-х он впервые прочел «Гильгамеш» и был шумеро-аккадским эпосом совершенно очарован. Он положил на него глаз и вскоре перевел четыре песни (таблицы) из 12. Однако в 1987 г. пришлось отложить: навалилась болезнь, операция, почти 9-месячное пребывание в больнице. Вернуться к начатому удалось только в 1998 г., и в 2001 г. перевод вышел в свет – с предисловием В.В. Иванова.

5

С 1967 г. Липкин и Лиснянская – вместе и неразлучно. На пути к этому «вместе» – потаенные встречи, семейные драмы у обоих. Их совместная книжка – какая чудная идея! – так и называется: «Вместе» (выпущена в 2000 г. в издательствах «Грааль» и «Русский путь»). В ней только избранные стихи каждого, переложенные фотографиями и цитатами из критических работ.

Задумаемся на минуточку: два поэта – и не под одной обложкой, а под одной крышей! Что может быть, казалось бы, невозможней! Два дарования, две славы, два эгоцентризма, два темперамента, наконец!

И какие разные темпераменты! У Лиснянской – дар искрометный, огненный, весь наружу, какая-то физиологическая легкость письма (чего стоят одни только ее импровизации на заданную из публики тему!). Липкин же совершенно другой: спокойнейший, медлительный, умиротворенный – помалкивающий мудрец, а если уж заговорит, то в речи, как и в стихах, вслушивающийся буквально в каждое слово, взвешивающий и оценивающий его, прежде чем дать ему волю. Он и только он мог произнести, а главное, помыслить такую фразу-упрек (слова я, может, и перевираю, но смысл нет): «Инна, ну почему ты мне не сказала заранее, хотя бы за один день, что у тебя будет инфаркт?»

Не припомню в истории русской поэзии вторую такую семью: Ахматова с Гумилевым? – долго не выдержали; Мандельштамы? – но при живом Осипе Эмильевиче «Надинька» держа-

лась глубоко в тени и будущую «Надежду Яковлевну» почти ничем не напоминала!

6

Последние годы Семен Израилевич и Инна Львовна почти безвылазно провели на тихой переделкинской даче, что по улице Довженко, в каких-нибудь двух шагах от Музея Булата Окуджавы. В Москву ездили от случая к случаю – на несколько недель зимой, да еще по врачам, а вот на литературные вечера и события ездили все реже и реже – шутки ли: такой возраст!

Впрочем, на вручение Президентской премии Семен Израилевич собирался, но самой большой радостью было ожидание выхода новой книги, пусть и под старым названием – «Воля» (так назывался, быть может, его важнейший поэтический сборник, вышедший в 1981 г. в «Ардисе» и блистательно составленный Иосифом Бродским, – в нем впервые были собраны его замечательные поэмы). Во вторую «Волю» вошел едва ли не полный – за 70 лет – свод стихов, да еще две главные поэмы – «Техник-интендант» и «Жизнь переделкинская».

Издательство «ОГИ» готовило книгу от всей души – без малого полтысячи страниц, на прекрасной бумаге, с обилием воздуха на страницах и с прекрасным портретом на обложке. С.И. держал в руках ее макет, искал опечатки, волновался из-за мелочей в оформлении, – одним словом: предвкушал. Но выхода книги он, увы, не дождался.

...31 марта, примерно в полпятого вечера, он тихо оделся и, вопреки обыкновению, один и даже не предупредив Инну Львовну (она в этот момент говорила по телефону), вышел во двор. Стояла самая нелюбимая им погода – пасмурно, моросящий дождь. Невелико расстояние от крыльца до калитки, он его одолел и отправился в обратный путь, – но до крыльца уже не дошел.

Инна Львовна закончила разговор и почти сразу же хватилась его... Пошла искать – в доме нигде нет, вышла на крыльцо – и сразу же увидела лежащее тело, лицом вниз, головой к дому. Лицо уже холодное, но тело еще теплое: смерть, видно, наступила только что и все произошло мгновенно, в секунды: иначе он бы вынул из кармана дубленки нитроглицерин или попытался бы это сделать. С места она его стронуть не могла, позвала на помощь соседа и сторожа из Музея Окуджавы.

...Можно себе представить, каково пришлось Инне Львовне – отныне вдове, очень больной и очень эмоциональной женщине. Разрешение на захоронение на Переделкинском кладбище, поиск участка под могилу, похороны, поминки – все это дополнительные испытания, каждое из которых могло не выдержать и ее сердце. Выдержало, но сразу после девятидневья ей пришлось лечь в больницу, где она хоть немного, но пришла в себя.

А 26 апреля, уже в Переделкино, в осиротевшем доме, к ней вернулись стихи, и она написала триптих:

УХОД

1

Ты всегда говорил мне: молись и верь!
Говорил мне, как на беду.
Ты бесшумно ушел, как уходит зверь,
И нашла я тебя в саду.

Ты бесшумно ушел, как уходит лев,
Не желая почить в норе.
И нашла я тебя между двух деревьев,
Я нашла на снежном дворе.

То ли первый снег, то ль последний снег...
Смерть не знает про календарь.
Ты пришел на землю, как человек,
И ушел, как праведный царь.

2

Сорок дней дышу я, как в дыму,
Около огня.
Сорок дней душа твоя в доме
Около меня.

Для тебя и рюмка, и калач,
Весь в поминках стол.
Сорок дней мне говоришь: не плачь,
Волю я обрел.

Волю ту, что я имел в обрез,
Будучи живым,
Не горюй! Я здесь! Я не исчез!
Только стал незрим.

...Но исчез. Так, наверно, исчезла Эллада,
 Мне оставив в наследье
 Гул порывистого стихотворного лада,
 Чья волна – междометье,

Чей глагол – быстрый парус, ветрами надутый
 И словами Гомера.
 Все осталось: и место, и вплоть до минуты –
 Даже времени мера.

Так что плакать не надо, не надо, не надо!
 Ты исчез, как Эллада.

Переделкино, 26 апреля 2003 г.

...Свое последнее по времени стихотворение Семен Израилевич написал в 2001 г., когда ему уже было 90 лет. Не приходится удивляться тому, что оно о смерти – еще не прощание, но уже взгляд в ее лицо:

Надеясь умереть без боли,
 То в жар бросаюсь, то в озноб,
 Я то ли задыхаюсь, то ли
 Заказываю гроб,

То говорю себе: ты мелочь,
 Свою тревогу заглуши,
 И пусть наступит онемелость
 Измученной души.

Твоя беда не в том, что грешен,
 Что свой оберегал очаг,
 А в том, что был ничтожно взвешен
 Почти что каждый шаг.

Страшись: твой главный час настанет
 Для истинного бытия,
 Но на тебя, увы, не взглянет
 Всевышний Судия.

Как и каждый человек, С.П. боялся смерти как страдания, и его такая легкая – и такая мгновенная – смерть была ему как бы высшей наградой за такую тяжелую – и такую долгую – жизнь.

9

В тот же самый воскресный день мы, трое хорошо знавших и любивших С.И. людей, отправились в Переделкино – на его могилу. Пронзительный, со снегом, ветер, более всего напоминавший метель, иногда переходившую в буран, сопровождал нас от станции до кладбища. Но как только мы подошли к его могиле и остановились, погода вдруг преобразилась: стало совершенно тихо, и сквозь пролом в сумрачных облаках выглянуло солнце – выглянуло и не исчезло, задержавшись в проломе ровно на те четверть часа, что мы провели у ограды. Стоило нам отойти и начать спускаться к ручью и шоссе, как солнце враз испарилось и метель снова зашлась ледяными порывами.

И не отделаться никак от впечатления, что это Семен Израилевич улыбнулся нам, поприветствовал...

2003

¹ В Союзе писателей он со дня основания.

² Имел боевые награды – орден Отечественной войны II степени, медаль «За оборону Сталинграда».

³ Впрочем, положение Аксенова, и так и так уезжавшего в США, было решительно другим.

⁴ Кое-что из переведенного С. Липкиным было даже переказано другим переводчикам.

Вадим Перельмутер ФРАГМЕНТЫ О ЛИПКИНЕ

...Мы были знакомы лет 30, но общались фрагментарно. Подчас – с перерывами в полгода, а то и больше, иногда – весьма регулярно, особенно во второй половине 1970-х, когда Липкин и Лиснянская зачастили в гости к Штейнбергу, у которого я тогда бывал чуть ли не еженедельно.

Несколькими годами ранее Штейнберг нас и познакомил – еще на Шаболовке, в утесненной книгами и картинами и без того

непросторной двухкомнатной «хрущобе» окнами на трамвайные скрежеты и звоны.

А первое упоминание Штейнберга о Липкине запало намертво – к слову пришедшийся фрагмент. Разговор шел о переводах стихов по издательскому заказу – и по собственному выбору поэта.

Пришлось однажды, рассказывал Штейнберг, помучиться над «заказным» стишком, изощренно сочиненным, технические всякие «штучки» никак не давались. И вдруг – получилось, да так удачно, что сам удивился. И похвастаться кому-нибудь из понимающих охота. И тут как раз заглянул к нему Липкин. Едва открыв дверь, Штейнберг гостеприимно предлагает угощение: «Сема! Дай-ка я тебе почитаю один перевод!» – «Стоп, Аркадий! Сначала ответь мне: если бы тебе за работу ни копейки не платили, ты стал бы это переводить?» – «Ты с ума сошел!» – «Тогда не читай»... И – как отрезало: с тех пор, кроме как на «заказных» же вечерах, Штейнберг читал только своих поэтов. А что издавали их и деньги платили, так тому обстоятельства иногда благоприятствовали.

Если память не изменяет, на переводческих «средах» в ЦДЛ видел я Липкина единственный раз – на одном из чтений Штейнбергом очередных книг «Потерянного рая».

В 1971 г. – на вечере по случаю своего 60-летия – Липкин переводов не читал вовсе, только стихи.

Вечер тот происходил почему-то в... ресторане ЦДЛ, откуда на несколько часов вытащили все, кроме одного – для юбиляра, столы, стульев добавили разнокалиберных – из буфета, из других комнат, расставили плотно, не протолкнуться, все желающие послушать стихи едва уместились. После первого стихотворения грохнули аплодисменты. Липкин дождался тишины и попросил больше этого не делать, потому что не концерт – стихи. Так и читал – среди напряженного молчания, по машинописям, изредка поднимая глаза от очередного листка...

Насколько удалось узнать, ни до, ни после подобных «ресторанных» вечеров в ЦДЛ не бывало. И необычайность эта странным образомрослась с услышанным.

При первой встрече с Лиснянской и Липкиным я вдруг сообразил, что однажды уже «связал» их между собой – вполне, впрочем, бессознательно. Потому что первая моя рецензия, напечатанная весной 1966 г. в «Московском комсомольце», где тогда работал, была о книге Лиснянской «Из первых уст». А первая

курсовая по современной литературе в Литинституте – годом позже – о книге Липкина «Очевидец».

Совпадение это ему, видимо, понравилось. И он пригласил – при случае – заглянуть к нему в гости...

Через несколько месяцев после выхода «Очевидца» в Москве книга Липкина с таким же заглавием была издана в Элисте, где его, переведшего еще в 1930-х годах калмыцкий – буддийский! – эпос «Джангар», поистине боготворили.

Липкин рассказывал, как в начале войны ему пришлось выводить из окружения подразделение конных калмыков. «Наверно, с ними трудно было?» – «Никаких сложностей. Я ведь был для них бодисатва, “спаситель от несчастий”».

К тому же книгу «опекал» влиятельнейший в литературной Калмыкии Давид Кугультинов, с которым Липкин дружил и был его основным – и лучшим – переводчиком.

Как-то я подошел к Кугультинову в ЦДЛ с каким-то мелким поручением Липкина, то ли книжку передать, то ли на словах нечто, не помню. Но помню, как при упоминании этого имени бесстрастное, словно из дерева высеченное, лицо Кугультинова мимолетно осветилось изнутри...

Так что книга, в отличие от московской, вышла не искусанная цензурой-редактурой. Именно ее, а не принесенную мною с собой «совписовскую», Липкин взял с полки и надписал-подарил.

Десять лет спустя история повторилась – на сей раз в Душанбе переиздали – в авторской, так сказать, версии – и под «непроходимым» для Москвы, опять же авторским заглавием «Тетрадь бытия» – изувеченную «Советским писателем» вторую книгу Липкина «Вечный день».

Собственно говоря, под одной этой обложкой две книги: первая – без потерь прошедший либеральную местную цензуру «Вечный день» (о причине сего либерализма чуть позже), вторая – «Из таджикской классики» (избранные переводы: Рудаки, Фирдоуси, Ибн-Сина, Хайям, Анвари, Хафиз, Джами). И не исключено, что сознательно – Липкин к подобным вещам был пристально-внимателен, двойственность подчеркнута, опять-таки для внимательного читателя, – тем, что второе заглавие делит «Тетрадь» ровно пополам...

Разумеется, решающую роль сыграло не только то, что Липкин с блеском переводил таджикскую классику, но – более – многолетняя дружба с Мирзо Турсун-Заде, ровесником, которого он начал переводить еще в конце 1930-х.

Книге, которую, так сказать, «патронировал» – пусть негласно, на Востоке афишировать сие нет нужды, – всемогущий поэт-депутат-член ЦК-лауреат и прочая, и прочая, благосклонность редакторско-цензорская была обеспечена.

Мирзо умер в том же году. Так что издание «Тетради бытия» стало вроде как прощальным – благодарственным – жестом...

В этой книге есть стихотворение, которого нет – и не могло быть – в «московской».

Я-то что? Помолюсь, отойду
Да в молитвенный дом побреду.

Говорят мне сестрицы: «Беда,
Слишком ты, Акулина, горда,

Никогда не видать твоих слез,
А ведь плакал-то, плакал Христос».

Липкин рассказывал, что жившие в окрестностях Душанбе молокане, узнав, что напечатано стихотворение «про них», приезжали в городские книжные магазины, покупали книжку и тут же, на выходе, вырывали эти две странички – 64-ю и 65-ю – с «Акулиной Ивановной», а остальное выкидывали...

«Вечный день» вызвалась готовить к печати – случай небывалый! – главный редактор «Советского писателя» собственной персоной, некто Карпова, дама малоприятная во всех отношениях. В замах у нее ходили, верней сидели, два вполне ортодоксальных советских критика – Соловьев и Левин, соображения свои о чужих стихах, преимущественно авторов покойных, писавшие-печатавшие. Не иначе как начальница надумала показать им, как надо управляться с живыми поэтами.

«Стартовая» встреча-беседа ее с Липкиным длилась несколько часов. Расставаясь, условились о следующем свидании. Которое не состоялось. Один из подручных начальницы, Фогельсон, объяснил поэту, что отныне она станет передавать свои пожелания и указания через него, через посредника. Потому что Липкин умнее – и может убедить ее в чем угодно. А так – никаких споров, не с кем...

Так и «работали» они над рукописью, по большей части – ножницами. И доредктировали ее до того, что в «содержании» вышедшей книги названо стихотворение «Тот же признак», кото-

рого в книге нет. Из текста выкинули – а вычеркнуть заглавие на последней странице забыли.

Средь уродливых, грубых диковин,
В дымных стойбищах с их тишиной,
Так же страстен и так же духовен
Поиск воли и доли иной.

В ту пору Липкин заехал однажды к Штейнбергу прямо из издательства и «в лицах» описал, как уродуют его рукопись, приспособлявая к печати.

«Зачем тебе это надо? – удивился Штейнберг. – Стоит ли издаваться – увечно?» – «Что делать, Аркадий, – вздохнул Липкин, – я воспитан в уважении к изобретению Гутенберга».

Я много раз просил у него – почитать – неопубликованные вещи. Он не отказывал, говорил, что непременно даст, вот только... там правки много, а почерк у него неважный, и надо, чтобы машинистка аккуратно все перепечатала, и вот тогда, конечно...

Почерк у Липкина был очень даже внятней...

Владимир Михайлович Зверин, многолетний метранпаж «семерки» (бывшей типографии Левенсона, построенной в 1900 г. Шехтелем в Трехпрудном переулке, – той самой, где печаталась первая книга жившей по соседству Цветаевой), свел знакомство со всей «Квадригой» еще в 1930-х, особенно сдружился со Штейнбергом – до конца дней своих. Но и с Липкиным, можно сказать, приятельствовал, был «на ты», хотя виделся нечасто. Однажды – за чаем у Штейнберга – он поведал, что встретил на днях Липкина и сказал ему, что не может забыть сильного впечатления от его стихотворения «Молдавский язык»:

Что мы знаем, поющие в бездне,
О грядущем своем далеке?
Будут изданы речи и песни
На когда-то блатном языке.

Липкин насторожился, напрягся: «Откуда ты его взял?» – «Да ты сам его читал у Аркадия». Сразу успокоился, улыбнулся даже...

Он был осторожен, понимал, что если стихи распространятся в самиздате, их могут вообще перестать печатать, даже самые невинные.

Вскоре после выхода «Метрополя» – и устроенного в Союзе писателей и в газетах судилища – Липкин принес к Штейнбергу

«аккуратно перепечатанное» собрание своих стихотворений и поэм. И вскоре машинописный тираж этого тома разошелся по Москве, Ленинграду, Еревану, Сухуми, Риге, Тбилиси...

Позже в нескольких сухумских домах я видел переписанную от руки поэму «Нестор и Сария»: с экземпляра, который привез своим друзьям – артистам театра имени Чанба.

У Липкина была незыблемая репутация переводчика-классика, мастера переложений поэзии Востока, который и стихи пишет, время от времени их публикует. Ему удалось маловероятное – изменить репутацию. Стать для читателей поэтом, который отчасти по склонности, но больше волею обстоятельств 40 с лишним лет занимался переводом – и делал это замечательно.

Судьба дала ему рискованный шанс. И Липкин воспользовался им решительно и безошибочно.

В одну из наших первых встреч, в начале 1970-х, я спросил: так ли хорош Мирзо Турсун-Заде, как выглядит и звучит в его переводах. Речь, понятно, шла не об официозно-лауреатских поэмах, но о лирике, где есть очень хорошие стихи. «Мирзо – очень талантливый человек, – ответил Липкин. – Я давно с ним знаком и перевожу его точно, насколько это вообще возможно». Признаться, сомнения мои не развеялись. И в дальнейшем я несколько раз задавал тот же вопрос, неизменно получая тот же, слово в слово, как будто на пленку записанный ответ.

Потом Карл Профер издал «Метрополь», и Липкина перестали печатать.

Мирзо к тому времени уже умер. Липкинские переводы его стихов – большая часть наследия – сплошь авторизованы: это означало, что переводить их заново можно было только с согласия Липкина, таджикский советский классик становился, таким образом, не издаваемым, вернее, не переиздаваемым по-русски.

Однако новые переводы все же появились. Я сообщил о них Липкину – и посоветовал подать на издателей в суд, получить с них деньги, с паршивой овцы...

«Я не стану этим заниматься, – вяло отреагировал Семен Израилевич, – пусть делают, что хотят, – и, помолчав, добавил, – хотя, конечно, досадно: я его так хорошо... придумал».

Примерно тогда же, в пору жесткой издательской блокады, он как-то встретил на улице поэта из 30-летних, прежде его навещавшего – стихи почитать. И тот рассказал, что издательство предложило ему наново перевести изрядный кусок восточного эпоса, некогда переведенный Липкиным. «И что вы ответили?» –

поинтересовался Липкин. «Согласился. Ведь если не я, отдадут какому-нибудь... мерзавцу»...

Впрочем, этот хотя бы пытался оправдаться – тем, что хотел как лучше. Другие запросто обходились без подобных угрызений. Скажем, Солоухин, не колеблясь, взял в издательстве все материалы, приготовленные (и оплаченные) Липкиным для перевода «Гэсэра», и преспокойно переложил якутский эпос по чужой канве...

У Георгия Иванова: «Над кипарисом в сонном парке / Взмахнет крылами Азраил, / И Тютчев пишет без пометки: / «Оратор римский говорил»»...

Не знаю, бывал ли Иванов в Мюнхене, и едва ли ему было известно, что «Цицерон» написан именно здесь, но его явно «итальянский» кипарис, зеленое пламя которого колышется взмахом темного крыла, и замечательный звук строки оборачиваются точной деталью. Найти кипарисы в любом из мюнхенских парков не составит труда.

Липкин в Мюнхене бывал. Посетил Дахау. Написал стихи: «Маляр, баварец белокурый, / В окне открытом красит рамы, / И веет от его фигуры / Отсутствием душевной драмы»... И далее – о «печах»: то ли «предтечах» грядущего, то ли «знаках» былого. Закрепленное за нацистскими лагерями и «повоенным духом» клише предварило собственные впечатления, вытеснило их мысленным представлением. Он описал то, что увидел, но увидел не то.

Мне подумалось, что он это почувствовал – и не потому ли – случай у Липкина редкий – во второй, «таджикской», публикации вымарал начальную строфу, из-за чего распалась охватывавшая стихотворение метафора памяти-листопада и вся композиция как бы перекосилась. Я тогда спросил его о причинах столь резкой правки. Он ответил, что зачеркнутая строфа была неуместно-красивой – и тут же, без перехода, заговорил о стихотворении «Зола», написанном сразу вслед первому и на ту же тему. Прямо не прозвучало, но выходило так, что одно стихотворение было подступом к другому...

Он не был ревнив – в поэзии. Среди поэтов мне такое встречалось нечасто. Тарковский, например, по-моему, ревновал к ахматовским похвалам Бродскому, по свидетельству Липкина – и не его одного – говорил, что тот «способный мальчик, не более того». Да и позже переменял свое мнение, так скажем, не радикально: «Ну что вы со своим Бродским носитесь?»

Он не мой, потому что слишком длинно без стержневой мысли пишет, неоправданно длинно», – вспоминала Лиснянская. У нее же – и о «ревности» есть...

«Семен Израилевич, Бродский – хороший поэт?» – спросил Витковский. – «Лучший».

К позднему своему книжному дебюту – в 56 лет – он относился не без горечи, но философски. Ссылался на Алишера Навои (которого он, конечно, тоже переводил), говорившего, что полководцы и поэты начинаются после 40: прежде этого срока у полководца – дети малые и воюет он с оглядкой, а у поэта не пережиты влюбленности, о которых он только и пишет...

Как-то он упомянул, что накануне провел вечер перед телевизором – смотрел «Останкинский» вечер Гамзатова. А месяцем, то ли двумя, раньше – такой же вечер Евтушенко. И заинтересовал его, как он выразился, «механизм успеха, переходящего в славу». В обоих случаях – да и в других тоже, – по его наблюдению-мнению, самыми знаменитыми становятся стихи-песни, в которых обязательно есть нечто логически-немотивированное, зато эффектно звучащее: высказывание (или метафора), – вокруг него, на разные лады повторяемого, все выстраивается, и вовсе неважно – *верна* мысль или нет, важна *запоминаемость*. «Хотят ли русские войны?..» Но ведь никакой народ не хочет войны, ее затевают политики и правители. И с тем же результатом такой вопрос можно задавать американцам, шведам или китайцам... Или про солдат, которые «не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей», – и дальше только про них, журавлей, хотя в христианской, например, традиции эта метафора «душа-птица» *орнитологически* не персонифицирована...

Интуиция Липкина (не знаю, как назвать вернее, быть может, наитие) однажды меня поразила.

Летом 1997 г. я привез ему в Переделкино только что вышедшие однотомники Штейнберга («К верховьям») и Шенгели («Иноходец») – их выпустило одно и то же издательство с интервалом в... два дня.

Он осторожно, как бы не совсем веря, взял обеими руками книгу друга, до книги стихов так и не дожившего, отогнул картон переплета, взглянул на портрет, закрыл – и вдруг поднес к губам, поцеловал. Так же осторожно положил на стол: «Потом»...

И наугад разломил том Шенгели, поднес страницу совсем близко к глазам, стал читать. Я заглянул через плечо – и едва сдержался, чтобы не выдать впечатления.

В одном из комментариев мне пришлось исправить ошибку памяти из мемуаров Липкина о Шенгели. Всего – строчек 20 в 500-страничной книге. И он первым делом раскрыл ее именно на этом развороте и стал читать... о себе.

А потом рассказал, что Мария Петровых, с которой он всю жизнь дружил, была отчаянно влюблена в Шенгели. Я об этом знал – из письма Шенгели к Ланну, правда, имя женщины в письме не названо, однако все совпало. То письмо начинается с просьбы: сразу по прочтении непременно уничтожить. Теперь оно хранится в государственном архиве...

Позже Липкин говорил мне, что эта книга резко переменила его отношение к Шенгели-поэту. Что он и раньше знал многие его стихи, некоторые ценил – и даже очень высоко, но только благодаря «Иноходцу» увидел в Шенгели замечательно крупного поэта, а ничего подобного «Повару базилевса» вообще никогда не читал...

Стихотворение «Квадрига» Липкин написал в июне 1996 г.

Я был у него в Переделкине несколько дней спустя – уважил настойчивые просьбы прозаика Игоря Шварца, жаждавшего отнять новенькой видеокамерой «говорящего Липкина». Договорившись с Семеном Израилевичем по телефону, я привез к нему Игоря. Съемка длилась более двух часов. По заверению Игоря, пленка та благополучно существует. Хотя получить обещанную копию мне так и не удалось. Все еще надеюсь – пока.

Тогда-то Липкин и рассказал историю стихотворения. Узнав о присуждении ему Пушкинской премии (германского фонда Тёпфера), он был взволнован, долго не мог заснуть. А потом – единственный раз в жизни – ему приснились стихи. Наутро он их записал, сразу набело.

Среди шутов, среди шутих,
Разбойных, даровитых, пресных,
Нас было четверо иных,
Нас было четверо безвестных...

Здесь внезапно память откликнулась пастернаковскими реминисценциями, сначала из «Смерти поэта»: «В предгорьи трусов и трусих», потом – отчетливей – из соседних по времени стихов: «станут... / Как тени, вертеться четыре семейства»...

Но – мелькнуло и ушло. Дальше – иное, дальше о каждом из «Квадриги», из друзей, с которыми вместе начинал. О Тарковском. О Штейнберге. О Петровых. Об уже ушедших. И о себе:

А мне, четвертому, ломать
Девятый суждено десяток,
Осталось близких вспоминать,
Благословляя дней остаток...

Никому еще не удавалось определить границу сна и яви. И попробуй это сделать, если сознание спит, а слух бодрствует. И до него доносится:

Нас было много на челне:
Иные парус напрягали...

И еще:

Кому ж из нас под старость день Лицея
Торжествовать придется одному?..

Принимай и записывай. Без черновика.

Стихи были хороши. И все-таки я не удержался – захотелось понять удивительную эту впечатлительность, такую бурную реакцию, казалось бы, все видевшего и пережившего в литературе поэта на сообщение – о чем? – о премии. Ему ли не знать цену всем этим «отличиям». Взять хотя бы одно то, что «старую» Пушкинскую премию Российской академии наук дважды не получил Случевский, зато – опять-таки дважды! – была удостоена ее Мирра Лохвицкая...

Липкин выслушал мою тираду. Помолчал. И как-то неуверенно произнес: «Знаете, все-таки – Пушкин»... И после паузы – твердо: «Все-таки – Пушкин»...

2003–2007

Три книги, три мироздания вошли в мою жизнь, чтобы я двигался вместе с ними: Библия (Ветхий и Новый Завет), «Илиада» и сочинения Пушкина. Они вместе, для меня нераздельные, составляют солнце моих дней... Нет Бога, кроме Бога, и Пушкин – русский пророк Его, и Пушкинская улица – одна на всем моем жизненном пути.

Семен ЛИПКИН. Из книги «Вторая дорога»

«По правде сказать, я и сейчас недалеко ушел от поэтических и философских вопросов детства», – признается Семен Израилевич Липкин. А ведь ему уже исполнилось 90!

В пять лет он видел царя, приехавшего в Одессу в связи с 300-летием Дома Романовых, он учился в хедере и был во всем околотке единственным еврейским мальчиком – учеником казенной гимназии. В 15 лет он показал свои стихи Эдуарду Багрицкому, и тот нашел, что у юноши «есть слух», что в его стихах «что-то шелкает». В 1929 г. Липкин приехал в Москву, и его стихи стали появляться в московских «толстых» журналах – «Новый мир», «Октябрь», «Молодая гвардия». Он познакомился с Мандельштамом, подружился с Арсением Тарковским, Аркадием Штейнбергом и Марией Петровых. И разделил с ними долгую и трудную судьбу литературных изгоев.

Первая книга стихов Семена Липкина «Очевидец» вышла, когда ему исполнилось 56 лет! Потом его снова не печатали, потом в 1975 г. появилась небольшая, искореженная цензурой книжка «Вечный день», потом – 1979 год, участие в альманахе «Метрополь» со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Правда, по признанию самого Семена Израилевича, в эти годы он написал больше, чем за всю предыдущую жизнь. В это же время в американском издательстве «Ардис» вышли в свет большой том его лирических стихотворений и поэм «Воля», сборник стихов и поэм «Кочевой огонь», книга воспоминаний «Сталинград Василия Гроссмана».

И вот, наконец, – перестройка, гласность. Семена Израилевича Липкина восстановили в Союзе писателей, стали печатать и печатают по сей день.

Это лишь скупые штрихи биографии. А за ними – жизнь и судьба. Трудная жизнь и трудная судьба. И жестокая эпоха, ломавшая жизни и судьбы миллионов. А Липкину удалось выстоять. Или посчастливилось? «Я один из немногих счастливых» – это он о себе, по-видимому, потому, что в детстве не стал жертвой погромщиков, не умер в голодные 20-е, не был арестован, живым вернулся с войны.

Да, посчастливилось, разумеется. Но откуда это бесконечное мужество преодоления: «выжил» еще ведь не значит «выстоял». А Семен Израилевич и сумел избежать деформации души, непрерывно подвергаясь бешеному давлению в этом веке сокрушительных перемен. Верность себе в каждый текущий момент бытия – вот в чем, наверное, несокрушимая сила этого большого поэта, философа, мыслителя. Потому, наверное, и сейчас недалеко ушел он от поэтических и философских вопросов детства.

Так бродил он прежде, опираясь на палку, по заросшим густой травой тропинкам заброшенного переделкинского Дома творчества, где знал и видел многое и многих, а теперь сидит во дворе литфондовой дачи на улице Довженко, которую «выделили» ему на старости лет, и думает о вечном.

Я не раз говорила о своей особой примете, вернее «бабы с полными ведрами»: если, приехав в Переделкино, первым встречаю у затянутого ряской прудика Семена Израилевича Липкина в спортивном костюме и кепочке, когда солнце, или под зонтом, когда пасмурно и дождь, – значит, все будет хорошо.

Встретились, он поцеловал мне руку, я чмокнула его в щеку. Он сделал мне комплимент, я с горечью подумала, что он постарел за те несколько месяцев, когда я его не видела, – ссутулился еще сильнее и ходит медленнее, труднее. Но глаза по-прежнему живые, с блеском и усмешкой, глаза мудреца, постигшего уже какую-то важную тайну, но не утратившего интерес к жизни.

– Как вы себя чувствуете, Семен Израилевич?

– Чувствую.

И усмехнулся в усы. Я улыбнулась тоже. Умница, лучшего ответа не придумаешь, не жаловаться же, в самом деле, на стариковские проблемы и хвори. Да он и не старик вовсе – он молод душой, он пишет стихи, раздумчивые, философские, он любит Инну Львовну, свою жену, великолепную, колдовскую женщину, загадочную и значительную во всем, даже в неповторимом жесте, каким поправляет челку на лбу, а уж в слове – подавно. Он больше молчит, но зорко замечает все, что происходит вокруг.

Помню, как-то встретились во время прогулки, Семен Израилевич с улыбкой декламирует, переиначивая:

– «Уж сколько дней вы все одна, окутаны духами и туманом...». Пора, пора!

– Я приехала сюда для уединения и наслаждаюсь одиночеством.

– Красивой женщине это не к лицу.

Приятно слышать такие слова от него, приятно и то, что он говорит о моей прозе, всерьез, как равный равному, – «очень талантливо», и пишет в дарственной на своей книге: «Раде Полищук, ее красоте и таланту», и добавляет, не шутя: «Это не комплимент». И вижу, знаю – не комплимент. И наклоняюсь, чтобы поцеловать его – к чему слова.

Вот пишу – «невысокая фигура», «наклоняюсь», а перед глазами – крупный мужчина, лежащий навзничь на постели с датчиками кардиографа на широкой седовласой груди. Я была поражена: неужели этот богатырь – Семен Израилевич Липкин, из-за которого уже несколько часов пребывает в тревоге все народонаселение «нового» корпуса. Долгий, некупируемый сердечный приступ, «скорая» местного значения, врач нервничает, ночь близится, речь идет о госпитализации. Взволнованная Инна Львовна, изо всех сил стараясь сохранять самообладание, пытается дозвониться в Москву его сыну-врачу, а я для подстраховки поднялась к нему.

И не сразу узнала, а узнав, даже немного успокоилась – такой могучий мужчина, с ним ничего не случится. И словно желая поддержать мою надежду, в ответ на мой укор, что-де напугал нас всех на ночь глядя, Семен Израилевич говорит:

– Да ничего особенного. Стих у меня тонический, а криз – гипертонический. Вполне логично.

Он шутит, – что может обнадежить более.

И все действительно обошлось – приехал сын-врач со специальной кардиологической бригадой, и выяснилось, что инфаркта нет, и не нужна госпитализация. И мы, несколько человек, в тревоге просидевшие часа два внизу на диване, разошлись по своим квартирам. И я вспомнила, что на его письменном столе лежал мой альманах еврейской культуры «ДИАЛОГ», раскрытый где-то посередине, и мелко исписанные его почерком листочки бумаги.

Когда дней через десять Семен Израилевич вышел на первую после болезни прогулку, и мы встретились, он, скрывая грусть, сказал:

– А ведь я чуть не подвел вас – думал, что уже не допишу свои впечатления о «ДИАЛОГЕ».

Я, как всегда бывает в таких случаях, пересиливая какую-то неловкость и необъяснимую перед ним виноватость, поспешила заверить его, что он напишет еще много прекрасного и значительного, кроме этих заметок о моем альманахе. Хотя запомнила навсегда оставшееся с того вечера щемящее не предчувствие даже, а лишь возможную вероятность того, что последнее его слово могло быть обо мне – о деле, которому отдаю много времени и сил, к которому Семен Израилевич относится с безграничным уважением, сочувствием и желанием помочь, поддержать. «Вы – мой генерал, я – ваш солдат, – говорит он. – Располагайте мною».

Да никакой я не генерал, просто: «если не я, то кто же?» – засело где-то в подсознании, в подкорке. Или в крови? И бьюсь из последних сил, чтобы не погибло это издание, о котором Семен Липкин написал: «Книга “ДИАЛОГ”, еврейская книга на русском языке, – важное событие в нашей литературной жизни».

И знаю – это не просто слова: он читает альманахи от корки до корки, и мои книги читает. Вообще – читает, на журнальном столике у него всегда лежит пачка книг. Ему присылают, привозят, дарят свои книги многие – его мнением дорожат. Он не польстит и не слукавит.

Он мэтр нашей поэзии, он ее патриарх, он мудрый старец, ребе.

Он просто старый человек, мужественно переживающий свою старость.

Глаза у него чистые, ясные, взгляд пытливый, любопытный, чуть насмешливый. Смотрит на собеседника и одновременно куда-то в глубь «земного несовершенства», где, наверное, открылось ему что-то важное или вот-вот откроется. Почему-то кажется, что уже открылось, – он спокоен, несуетен, немногословен. С ним рядом отдыхает душа, окутанная полным доверием и естественностью человеческого общения.

Семен Израилевич Липкин ушел от нас навсегда 31 марта 2003 г.

Вижу, как будто стою рядом: медленно, ссутулившись, тяжело опираясь на палку, он идет по переделкинской улице-просеке все дальше и дальше от дома, в мглистый туман, в зыбкость последней мартовской ночи. Его последней ночи. Не оглядывается. Словно понял уже, что настал заветный час, о котором он все знал заранее:

После смерти мы не будем в огненном аду,
После смерти мы очнемся в сказочном саду,
Потому что муки ада только на земле,
На земле, где мы в кипящем вертимся котле.

После смерти жизнь другая около Творца,
Ибо в смерти обещанье жизни без конца,
Той, в которой лгать не будут книги и уста,
Станет музыкаю дума, думой – красота.

Успокоительные слова, примиряющие с непостижимой неизбежностью ухода, даже обнадеживающие. Но почему-то хочется броситься вдогонку, удержать, не отпускать. Без него осиротеют не только его дом, жена, дети, друзья, Переделкино. Осиротеет русская литература.

Осиротела.

А два года назад мы праздновали его 90-летие. Природа украсила его юбилей пронзительно красивой осенью. Щедрый подарок Творца – Творцу.

Пока не получается сказать о нем – «был». Прошедшее время еще не наступило.

Но больше не будет встреч. Ощущение его всегдашнего присутствия в этой жизни оказалось обманом.

Долго еще с грустью буду глядеть ему вслед. И обнаружу вдруг его похожесть на пророка, забредшего к нам из древних сумерек, из глубины веков. Долго еще будет казаться, что слышу слова, которые он произносит про себя, в неспешном ритме своих шагов. Так он думал. Наверное, так приходили к нему и стихи – нет в них нарочитого, выставленного напоказ филологизма, нет ложного пафоса даже в самом сокровенном, возвышенном. Нет ничего отдельного от его души и обыденного слова.

«Что мы знаем, поющие в бездне?» – спрашивает поэт в одном из своих стихотворений. По-моему, Семен Израилевич знал все.

Публикуется по изд.: Вестник. 2003.
10 дек. № 25(336).

Станислав Рассадин
ПРЕОДОЛЕВАВШИЙ, ПРЕОДОЛЕВШИЙ

Когда-то (очень давно!) мой старший друг Семен Израилевич Липкин признался, что устроил для себя такую игру: разместил всех заметных русских поэтов по десяти разрядам – понятно, по мере убывания значения и достоинств. Помню, я, восхитившись этим проявлением взрослой детскости, тут же решил соревновательно проделать то же самое, но терпения не хватило, и мое участие ограничилось советом вынести Пушкина, который у Липкина был наряду с Баратынским, Тютчевым, Лермонтовым, вне всех разрядов. Над. С чем Семен Израилевич согласился.

Заодно рассказав, что о своей игре поведал Борису Слуцкому и тот, весьма небезразличный к иерархии в литературе, поинтересовался:

– А я у вас в каком разряде?

– Ну что вы, Боря, – ответил Липкин, заставив побагроветь самолюбивого Слуцкого, – таких, как мы с вами, я просто не принимал во внимание...

Шутка? Притом лукавая? Наверное. Тем паче самого С.И., особенно к концу его долгой жизни, волновало, останется ли он в истории русской поэзии – такой поэзии! – своими стихами; и если останется, то в каком именно качестве. Что – естественно. Например, и любимый Липкиным Мандельштам, чьим молодым другом ему повезло некогда быть, нервно размышлял в воронежской ссылке: «Что я? – Катенин, Кюхля... Вот Бонч-Бруевич за архив мой предложил 500 р. и, когда я поднял шум, написал мне честное письмо: “Я-де и мои товарищи считаем вас второстепенным поэтом...” Я не Хлебников... я Кюхельбекер, – комическая сейчас, а может быть, и всегда фигура»...

Что до Липкина, ему было тем более небезразлично, скажем, признание Ахматовой, написавшей на своей дареной книге: она, дескать, всегда слышит его стихи, а однажды плакала. (Слушая чтение поэмы «Техник-интендант».) Или – Солженицына. Или – Бродского, сказавшего в интервью, что ему «в некотором роде повезло» составить «тамиздатское» липкинское избранное. И заодно наиточнейше отметившего: тот пишет «не на злобу дня, но – на ужас дня».

Тем не менее нечто неуклонно толкало С.И. к самооценочной строгости, продиктованной... Чем? Да многим. Начиная глубокой, с детства, религиозностью (чем он был так отличен от неофитов религии, агрессивных именно от своего неофитства), кончая биографическими испытаниями. Где и длинная жизнь непуб-

ликуемого поэта (слава Богу, он нашел не только профессию, но и счастье в переложении великих поэтов Востока и его же народных эпосов, так что никак бы не мог воскликнуть, подобно Арсению Тарковскому: «Ах, восточные переводы, как болит от вас голова!»), и тревоги еврейства, и война, познанная основательно: тонул на Балтике, был в Сталинграде, выходил из окружения с калмыцкой кавалерией, о чем и рассказал в помянутой поэме, над которой пролила слезу Анна Андреевна. Полагаю, вершинном, великом его создании.

Наконец, если в перечне этих причин возможна конечность, огромная культура, включающая, так сказать, эстетический экуменизм (та же погруженность в литературу и философию Востока), что само по себе может и даже должно усмирять амбиции.

Как бы то ни было, когда я прочитал – в рукописи – воспоминания С.И. о Василии Гроссмане, ближайшем, ни с кем иным не сравнимом друге, я, загоревшись, прибегаю к демагогии, ловя Липкина на слове и уговаривая его продолжить занятия мемуарами (хотя так и вышло, конечно, не преувеличиваю значение собственных уговоров). Мол, сами же уверяете, что вашим стихам скорее всего не сохраниться для будущего, а воспоминаниям, да еще таким, восстанавливающим не только человека, но и время, попросту суждено остаться надолго...

Не взывать подобным образом было и невозможно, постоянно убеждаясь, как щедр Липкин на устные рассказы. О людях самых разных калибров – от того ж Мандельштама до, например, Михаила Голодного.

Допустим:

– Вот, – говорит последний, – я назвал своего сына Цезарем. Но ты же, Сема, знаешь нашу комсомольскую юность. Мы ж тогда думали, что Цезарь – это Брут!

Или – Голодный встречает зимой Иосифа Уткина, в чьих руках – коньки.

– Иосиф! Куда ты идешь?

– Я иду на стадион «Динамо».

– И что же ты будешь делать на стадионе «Динамо»?

– Я буду кататься там на коньках.

– Да? Ты знаешь, Иосиф, я тоже мог бы пойти на стадион «Динамо» и кататься там на коньках. Но партия мне сказала: сиди и пиши!.. И что же ты думаешь? Я сижу и пишу, как проклятый!

И еще – все о нем же. Сталинские годы. Грядет очередная декада (так Липкин потом озаглавит свою повесть на материале «дружбы народов») – презентация, как сказали бы нынче,

искусства одного из «братских народов» Средней Азии. Требуется перевод на русский язык благодарственного послания вождю, чему предшествовал вызов местных поэтов в обком: «Отец соскучился. Давно письма не получал». И Липкин, на сей раз поставленный бригадиром ватаги переводчиков, т. е. избежавший непосредственного участия (это не значит – избегавший всегда. Помимо поэзии истинной, им напереведено множество советской и сверхсоветской муры, начиная с Сулеймана Стальского, перелгать которого направил молодого поэта сам Горький. На упреки в подобной деятельности С.И. вначале отшучивался, ссылаясь на своего отца, который говаривал, что можно ходить в бардак, но не нужно путать бардак с синагогой; потом это дело, дававшее деньги, как и способ выжить, было оставлено), – итак, Липкин звонит Голодному:

– Миша, вам принесли вашу часть подстрочника? Задача такая: четырехстопный хорей, рифма сплошь женская, перекрестная...

Пауза.

– Ну, как в бунинском переводе «Гайаваты»...

Долгая пауза.

– Приведи примэр.

– Пожалуйста. «Прибежали в избу дети, второпях зовут папашу: “Тятя, тятя, наши сети притащили простоквашу”».

– Так бы сразу и сказал. А то строит из себя интеллигэнта.

Смешно? Да, как бывает смешон только незапланированный абсурд. Не Хармс и не Беккет. Даже если к смеху примешивается ужас (вспомним слова Бродского).

Конец 1930-х. Кремль. Правительственный банкет, посвященный закрытию декады таджикских искусства и литературы. Сталин поднимается произнести тост, а совсем недалеко от него – классик Таджикистана Садриддин Айни в компании с молодым переводчиком Липкиным. (Тот сперва получил место в непреодолимом для взгляда отдалении от президиума, но Айни тосковал в обществе одних только «синих костюмов», охраны, и по его просьбе за стол к нему пересадили Липкина, изучавшего – или уже изучившего – фарси.)

– Я поднимаю этот тост, – начинает вождь; начинает неграмотно, как отметит потом переводчик, ставший мемуаристом: поднимают не тост, но бокал. И, сказав несколько обязательно-необязательных слов, произносит фразу, взорвавшую благоговейную атмосферу: – Как известно, Фирдоуси был великим таджикским поэтом...

Тут и происходит взрыв святотатства. Вождя прерывает обезумевший от счастья старик Айни.

Долгие-долгие годы он положил на то, чтобы вернуть Фирдоуси с его гениальным эпосом «Шахнаме» (одним из переводчиков, кстати, станет как раз Липкин) персоязычным таджикам, а советские востоковеды с их классово-конъюнктурным чутьем спихивали сомнительного поэта эпохи феодализма за кордон, к персам. И вот...

Айни, переполошив синекостюмных соседей, вскакивает и кричит:

– Бирав, бирав!..

То есть: «Браво, браво!..»

– Востоковедения умерла! Да здравствует наша товарища Сталин!

Понял ли что-то из этого вопля вождь, неизвестно. Но он вдруг, продолжая держать бокал, направляется к Айни, и Липкин вплотную видит низкий лоб, щербинки на подбородке, сухую висящую руку.

– Как ваша фамилия? – спрашивает Сталин таджика.

– Айни ми есть! Айни ми есть!

– Я знаю, что вы Айни. Весь Восток знает, что вы Айни. Но ведь это ваш псевдоним? Как ваша настоящая фамилия?

И когда тот ее называет, следует уж совсем неожиданное, из разряда тех сталинских слов и поступков, которые заставляли со сладким ужасом говорить о его непредсказуемости. Считалось: неперменном признаке гениальности.

– Джугашвили. Будем знакомы.

И вождь удаляется.

Балаган! Водевиль провинциального сорта на главных подмостках страны. Старый писатель, которому режиссер предназначил клоунскую роль, – но и сам-то забавляющийся главреж ведет себя, как верховный паяц страны.

В повести «Декада» это действительное происшествие, пересказ которого я слышал от С.И. не единожды, запомнив дословно, будет слегка преображено прикосновением домысла, и автор сделает попытку найти логику в сталинском спектакле. По-моему, не найдет: мысль, пробующая постичь абсурд, обречена на поражение именно потому, что – мысль. Дитя разума, которому Липкин не изменял, кажется, никогда.

Что, между прочим, свойство не столь распространенное, как кажется. Скорее – наоборот...

Щедрость всегда беззаботна, оттого благородно беззащитна. Но я-то, не скрою, злобно бесился, встречая у некоего мемуариста забавнейшие подробности жизни Эдуарда Багрицкого, о которых уже был наслышан от Липкина, непосредственного очевидца, – он знал Багрицкого с одесского детства, был им

небрежно напутствован как поэт и продолжил знакомство в Москве, точнее, в подмосковном Кунцеве. (Не удержусь, чтоб не сослаться на липкинскую поэму «Литературное воспоминание» – в сущности, стихотворный мемуар, как старший товарищ завел младшего в дом аж самого Ежова.) То есть мое бешенство пробудилось и возбудилось как раз тогда, когда я узнал: оный мемуарист, человек мне знакомый, симпатичный, но, как оказалось, простодушный в смысле литературной этики, самого Багрицкого в глаза не видал. И вот уж тут точно могу сказать: деликатный абзац в липкинском тексте («Небольшое, но, увы, нужное отступление. Я не предполагал, что начну когда-нибудь писать воспоминания... Некоторые из друзей и знакомых опубликовали мои воспоминания как свои собственные») был именно мною из него выбиваем и мстительно выбит способом настырнейшего настаивания.

Либо...

Вот случай, пожалуй, поделкатнее. Потому что тут придется назвать имя невинного плагиатора.

Два моих друга, Михаил Козаков и сценарист Игорь Шевцов, посетили, незадолго до его смерти, Арсения Александровича Тарковского – с целью выведать у него нечто о встречах с Мандельштамом. Вывели немного:

«Мандельштам был замечательный поэт. Он прославился очень рано. Я ему читал свое раннее стихотворение. Стихи ему не понравились, и он очень меня ругал». «Раза три-четыре, – добавляет Козаков в своей книге, – повторил он именно эту фразу».

И дальше:

«– Вы ведь встречались с ним и в Госиздате? – попытался облегчить ситуацию Игорь».

(«Эту книгу мне когда-то / В коридоре Госиздата / Подарил один поэт... Гнутым словом забавлялся, / Птичьим клювом улыбался, / Встречных с лету брал в зажим, / Одиночества боялся / И стихи читал чужим» – узнаваемый образ Мандельштама в известном и очень хорошем стихотворении Тарковского. – *Ст. Р.*)

Пауза.

– Встречался. Вот он однажды показывал мне новый пасьянс. Кажется, в Москве он учил меня, как раскладывать новый пасьянс.

– Он был контактный человек – Мандельштам?

– Нет.

– Что, он был скорее замкнутым человеком?

– Да».

И в конце концов:

«– Миша! Я ничего не помню... Ничего, Миша, простите, я ничего не помню...»

Рискуя показаться кощунствующим, все же скажу: при всей бедственности распада замечательного поэта, не только Козакову с Шевцовым, но и ему самому – ему-то даже в первую очередь – повезло (сознаю: страшное слово), что визитеры не записали «воспоминаний» Арсения Александровича, которыми тот в иных случаях охотно делился со своими учениками-поклонниками. Потому что «воспоминания» – не его.

Что делать, у Тарковского была полупростительная слабость, бескровной жертвой чего пал Липкин: рассказывать о том, что было не с ним и даже не при нем. Может быть, и совсем простительная – для того, кто смолоду рабски подражал Мандельштаму и после трудно изживал подражательность?

Во всяком случае, когда Кайсын Кулиев знакомил меня с Арсением Александровичем, устроив застолье, тот был польщен, услышав от меня прочтенное наизусть то же стихотворение «Поэт», но внезапно и странным образом ожесточился, едва я сказал, что он, дескать, поэт мандельштамовской школы. Сказал и сказал – что в том дурного? Нет: «Мандельштам сам по себе, я – сам по себе!»

И ведь что правда, то правда: его единственной – и неудачно закончившейся – встречей с Осипом Эмильевичем была та, о которой он честно сказал Козакову с Шевцовым. Знаю это по рассказу того же Липкина, очевидца.

Случилось это в квартире поэта-имажиниста Юрика Ивнева, куда и явились Тарковский с Аркадием Штейнбергом, молодые, оба картинно красивые и отменно щеголеватые; в последнем, сказал мне С.И., Арсений подражал франту Аркадию. А поскольку Ивнев был известен своей, как теперь выражаются, нетрадиционной сексуальной ориентацией, возможно, и двое красавчиков были причислены Мандельштамом к ней же. Что его уже слегка раздражило. Когда же Тарковский в самом деле прочитал Мандельштаму, который терпеть не мог своих собственных эпигонов, стихи, тот произнес памятейшую фразу:

– Давайте разделим земной шар на две половины. В одной – я, в другой – вы!..

И все! Никаких встреч в Госиздате, никаких книг, якобы подаренных Мандельштамом...

Повторю: у поэтов (у Тарковского, у самого Мандельштама, у Межирова, у Поженяна... Мало ли их, таких?) есть неотъемлемое право фантазировать, как заблагорассудится. И если Арсению Александровичу с кем в самом деле не повезло, так это с поклонниками-учениками (Михаил Синельников, Лариса Миллер

и т. д., и т. п.), спроста распространяющими его заимствованные «воспоминания» – хотя бы и о том, будто это он, а не Липкин видел Осипа Эмильевича кричащим вслед посетителю-стихотворцу, приходившему жаловаться, что его не печатают:

– А Будда печатался? А Иисус Христос печатался?

Кстати, о том же есть в набросках Ахматовой о Мандельштаме, но она и узнала об этом от Липкина: «Через много-много лет я рассказал о происшествии с Буддой и Христом Ахматовой, Анна Андреевна весело рассмеялась:

– Узнаю Осю».

Как узнала – впрочем, на этот раз не признав его правоты, – в другом случае, также рассказанном Липкиным:

«Убедившись в моей прочной любви к нему, он мне позволял, без большой радости, себя критиковать. Как-то я ему сказал, что в прославленном среди его поклонников стихотворении “Золотистого меда струя...” есть неточность: Пенелопа не вышивала, как у него написано, а ткала, именно в этом суть известного эпизода. К ней в отсутствие Одиссея приставали женихи, она, чтобы они отвязались, обещала, что выберет одного из них, когда кончит ткать, а сама ночью распутывала пряжу. С вышивкой так не поступишь.

Мандельштам рассердился, губы у него затряслись.

– Он не только глух, он глуп, – крикнул он Надежде Яковлевне.

Я эту историю рассказал через много лет Ахматовой, и она стала на мою сторону: “В ваших словах есть резон. Он не хотел исправить из упрямства”».

«Но так ли это, думаю я теперь», – продолжает С.И., объясняя себе самому, что поэтика Мандельштама держится на совершенно особенных, «тогда мне неизвестных, да и сейчас не всегда мне ясных основаниях». Дело, однако, не в этом позднем смирении; дело – в неизбежности возражения, не важно даже, что поддержанного самой Ахматовой. И вот тут я наконец подступаю к тому, что меня поражало в Семене Израилевиче Липкине. Что, может быть, составляло его феномен – как поэта и просто того, кого я так долго и близко знал.

«Дорогой Стасик, Ваши сообщения о некоторых чертах латвийской жизни, написанные хоть и бегло, рисуют многое. – Письмо 1991 г. – Что касается меня, то я всегда, вот уже лет 50, знал, что национальные идеи когда-нибудь у нас взорвутся, но от того, что я знал, мне не легче. Прибалтов я знаю плохо, вернее, не знаю, но что касается тех мест, с которыми я связан, то буквально на моих глазах произошло резкое изменение отношения интеллигенции к России. До войны – почти благоговейное преклоне-

ние перед русской культурой, особенно перед Пушкиным, Лермонтовым, Толстым (Кавказ!). Война разбудила национальные чувства, перешедшие в националистические. Высылка мусульман-горцев потрясла, буквально потрясла наши большие мусульманские республики. В Таджикистане, например, меня не стеснялись (еврей, значит, не русский, говорю по-таджикски) и всю ругали старшего брата, вспоминая захват Бухары, борьбу с так называемым басмачеством, коллективизацию, 37 год, 49–52 годы, и как я ни убеждал, что это не русские делали, а опричники, в том числе из их среды, – мои собеседники качали головой, со мной молча не соглашались. Таджики считали, что не Ленин, а русские забрали у них Бухару и Самарканд, говорившие и говорящие на фарси, и отдали узбекам. И если какой-нибудь стихотворец писал стихотворение под заглавием “Самарканди ширина ман” – “Мой сладкий (дорогой?) Самарканд”, описывая красоту города – и только, то автора уже считали смелым борцом за истину, в ЦК его журили, но любя.

Вот теперь горячие татары требуют, чтобы их республика заняла все земли, на которых их предки жили до покоренья Казани, а это значит – часть Нижегородской области, Татария, Ульяновская (Симбирская) область, Самарская, Саратовская (Сары-тау, желтая гора), Волгоградская (Сары-сы, Царицын – желтая речка), Астраханская, а по другую сторону – Башкирия, Оренбургская и часть Казахстана. Вы скажете: бред? Нет, безумная боль униженных, более 70 лет угнетаемых, а как лечить эту боль – не знаю...»

Обратим внимание: «...Я всегда, вот уже лет 50, знал...» Знал, что империя неминуемо распадется, «взорвется»? Выходит, что так, – стало быть, тот, кто годы спустя вспомнил зловеще-курьезную встречу грузина Сталина и таджика Айни, крепко не одним лишь задним умом. Молодой человек, наблюдавший это в упор, уже тогда понимал если не все, то очень многое. Так же, как немногим позже, беседуя с Василием Гроссманом (который, отмечу, в будущем романе «Жизнь и судьба» явит редкую проницательность как раз касательно национального, расового вопроса), поразит собеседника резким суждением о преступности сталинской высылки калмыков, балкарцев, ингушей, крымских татар. Тот – даже тот! – еще способен предположить «военную необходимость», и когда Липкин спросит у друга, что б он сказал, если решили бы выслать евреев, Гроссман, как рассказывал мне С.И., покрутит пальцем возле виска. Дескать, спятил? Разве такое возможно?..

Что это? Рано пришедшая мудрость? Я бы выразился приземленнее: здравый смысл, который не облегчает жизни свое-

му обладателю (вспомним: «...но от того, что я знал, мне не легче»), а поэту, как уверяют, может и повредить как излишество. Особенно если вспомнить знаменитую наивность Пастернака или Мандельштама, – но не Ахматовой, не Заболоцкого, не Ходасевича. Не говоря о Пушкине.

Семен Израилевич охотно рассказывал о своем детстве. Мне запомнилось многое: например, как его мать решила отдать сына в скрипачи – куда же еще, если дело было в Одессе и вдобавок маленький Сема дружил с маленьким Додиком, сыном булочника Ойстраха? (Далее следовало непременно описание этой булочной, с каждым разом слегка варьировавшееся, и мне доставляло хищную радость ловить Липкина на отклонениях от гипотетической истины.) Короче, отпрыска отвели к легендарному Столярскому; тот, выслушав и оглядев его, вынес вердикт: кисть прямо-таки создана для скрипки. Слуха – нет. Что привело маму в восторг: подумаешь – слух, если все так хорошо с кистью!.. И т. д.

Впрочем, резче – как нечто более значительное – помнится рассказ об отце, портном-ремесленнике, эсдеке-меньшевике, поклонявшемся Плеханову и Каутскому, посидевшем в тюрьмах (и в эмиграции побывавшем) при царе, как после при большевиках. Тот каждое утро начинал с ритуального вопроса жене:

– Роза, они еще здесь?

(Небезопасная шутка тех времен. После Николай Эрдман в комедии «Мандат» подарит ее одному из безнадежно «бывших»:

«← Мой супруг мне сегодня утром сказал: “Тамарочка, погляди в окошечко, не кончилась ли советская власть!” – “Нет, говорю, кажется, еще держится”. – “Ну что же, говорит, Тамарочка, опусти занавесочку, посмотрим, завтра как”».)

Словом, иллюзиям относительно новой власти у юного Семы Липкина неоткуда было взяться, и хоть никак не решусь сказать, будто он и родился взрослым, то все же именно внутренняя взрослость, помянутое здравомыслие – во всяком случае и они тоже – мешали воспринять и уроки цинизма, которые пытался давать ему старший товарищ Багрицкий. То есть в печатных своих мемуарах Липкин старается поминать наставника преимущественно хорошим: «Он научил меня понимать прекрасное и распознавать уродливое», читал Гумилева, Анненского, Мандельштама (С.И. запомнил прекрасную фразу Багрицкого, что он лечит Мандельштамом свою астму). Но как забыть самый первый совет: «Запомните: в газетах печатают только самые плохие стихи»? Или... Тут лучше обращаться к поэме «Литературное воспоминание»:

Однажды я стихи отнес в журнал,
Где он служил: знакомством не желал
Воспользоваться, – отдал секретарше.
Что ж начертал на них товарищ старший?
«В “Епархиальный вестник”...» Два-три дня
К нему не приходил я. Но меня
Он утром навестил в моем чулане.
Спросил в дверях: «Чи вы сказались, пане?
Прочтите что-нибудь». Я стал читать:
Слаб человек... «Искусно, но опять –
Набор отживших мыслей: вера, вече,
И прочее, и воля... Сумасшедший!»

Кем-кем, а «сумасшедшим» (в южном произношении, как говорил, вероятно, Багрицкий, как продолжал говорить и Липкин) С.И. не был. Просто ему, человеку – до поры, до решительного перелома в судьбе, – скорее, оглядчивому и осторожному, очень рано открылось то, что выражено им в стихотворении 1975 г., которое он почему-то посвятил мне (по сей день ломаю голову – не над фактом посвящения самим по себе, а над выбором посвященных стихов):

В этом городе южном я маленький школьник,
Превосходные истины тешат мой слух,
Но внутри меня шепчет какой-то раскольник,
Что рисуются буквы, а светится дух.

Дух – как символ религиозности или хотя бы как понимание, что в искусстве и попросту в жизни существует нечто, возможно и даже наверняка, до конца непостижимое, но постоянное и незываемое. О чем, в сущности, Липкин говорил и в письме ко мне:

«Удивился, узнав, что Бен отговаривает Вас писать о Владимире Григорьевиче (Бенедиктове. – *Ст. Р.*). Почему, извиняйте за каламбур, Бенедикт против Бенедиктова? Мне кажется, что тема сейчас актуальна, как никогда. Если на мгновение принять за основу уподобление поэзии, вообще искусства, религии, то в поэзии, как и в религии, есть главное – вера в Бога, законы морали и нравственности, но есть и преходящее, преходящее и милое – обрядово-бытовая сторона. У большого поэта есть и то, и другое, и третье. У артиста – только третье, и оно-то всегда привлекает публику. Так, например, в Пасхе такому артисту важна не вечная тема умирания и воскресения, а предпраздничная суэта в ярко освещенных магазинах (я ведь родился при царе и смутно

помню магазины, в которых было все), куличи, крашенки, мальчишки и девочки с вербочками и т. д. Это-то и радует людей, радуется в первую очередь, и делатели нарядных вещей им ближе, чем молитва... Отсюда и популярность такого рода стихотворцев, популярность вполне заслуженная, ибо и такие стихотворцы что-то дают человеку. Явление это извечное, и то, как оно воспринимается, происходит в условиях нового порядка, в условиях массовой культуры, – тема, которая может зажечь и писателя типа Бена, и писателя типа Рассадина» (1975).

1975?!

Господи! Да не здесь ли как раз разгадка моей личной головоломки – насчет посвящения мне того самого стихотворения? И поверит ли мне читатель, что я и вправду только сейчас, обнаружив совпадение дат под письмом и стихами, впервые робко догадываюсь о поводе?..

Так или иначе, вне всего этого не понять удивительной непременчивости поэта Липкина. Что, конечно, вовсе не является добродетелью любого поэта – напротив, до наглядности очевидна контрастность между ранними Пастернаком ли, Мандельштамом или Заболоцким и ими же в собственной зрелости. Тем не менее...

В 1943 г. (!) в воюющем Сталинграде (!) Липкин пишет стихотворение «Имена» – о праотце Адаме, дающем названия всему сущему и запинаящемся перед словом-понятием «смерть». И когда, почти 60 лет спустя, в день его 90-летия, в переделкинском милом музейчике Булата Окуджавы он среди немногих избранных стихотворений читает и это, дело не только в том, что стихи оказываются не слабее более поздних. Они – повторю, на удивление, этим являя именно липкинский феномен, – несколько не инородны рядом с ними. Словно не протекали годы, не было никакой... Да не то что – революции в пределах единой поэтической системы, но и эволюция – была ли?

Впечатление, конечно, поверхностное, значит, и упрощенное, но важно, что от него не отделаться.

Как бы Липкин-мемуарист ни уточнял, деликатничая, бывшее свое несогласие с Мандельштамом, с беспечностью подменившим одно занятие гомеровской Пенелопы другим, несогласие лишь укрепилось – в широком, не частном смысле. Оставшись нежно любимым поэтом, Мандельштам, тем более поздний, остался для Липкина и олицетворением той зашифрованной поэтики, которая ему самому противопоказана. Ибо он предельно отчетлив в своей поэзии, чуждающейся всяческого импрессионизма, и за отчетливостью – нескончаемое духовное усилие. Синоним преодоления:

Тропую концентрационной,
Где ночь бессонна, как тюрьма,
Трубой канализационной,
Среди помоев и дерьма...
Я шел. И грозен и духовен
Впервые Бог открылся мне,
Пылая пламенем газoven
В неопалимой купине.

Тут сама неопалимая купина, символ уж никак не трагический, сопоставлена, даже соединена с пламенем уничтожения, отчего сравнение его, пламени, с нею, купиной, делает образ в особенности трагическим: коли так, то и газовни, что ли, неистощимы? И если зацитирована фраза Теодора Адорно, что после Освенцима нельзя писать стихи, то, выходит, Липкин писал как раз такие, которые можно, нужно писать...

До сих пор с неостывшей яростью вспоминаю, как строчки из стихотворения «Союз»: «Человечество быть не сумеет без народа по имени И» – вызвали, без преувеличения, травлю. Глумливаю: «Что это за народ имеет в виду Семен Израилевич?..» – ерничала какая-то журнальная сволочь, за чем следовали, разумеется, обвинения в сионизме и долгий запрет на публикацию собственных, не переводных сочинений (будет время – запретят и переводные). Собственно, к этому Липкину было не привыкать, но тут само преступное его имя приказано было забыть – вплоть до того, что и мне категорически предложили изъять его из журнальной статьи о Баратынском, где С.И. среди прочих поэтов вскользь поминался в качестве воспрियाвшего уроки классика.

Занятно, что телефонный звонок с этим требованием достиг меня в подмосковной Малеевке, в Доме творчества, в тот именно час, когда я отмечал какой-то свой день рождения и за именинным столом сидел, в частности, Липкин. Так что было почти смешно вернуться от телефона к столу с объявлением: условие выполнить я отказался, статья снята, все в порядке, ваше здоровье!..

А ярость подогревалась обидой, странно сказать, эстетического характера.

Критики-стукачи не просто шили дело, они искренне не могли понять, что речь действительно о «народе по имени», о крохотной народности, обитающей в Южном Китае, чье имя, равнозвучное соединительному союзу «и», заново пробудило в поэте его любимую мысль. «Поголовная смерть одного, даже малого племени, есть бесславный конец всего человечества» -- из «Техника-интенданта».

(Справедливости ради скажу, что, может быть, благороднее, но не умнее «нас» оказались израильтяне, тут же радостно опубликовавшие охаянные стихи как – разумеется! – доказательство проникновения в СССР сионистских идей. А у «нас» это было делом обычным, повторяющимся. Из липкинского письма того же 1975 года: «Лито решило было снять мое стихотворение, которое начинается строчкой “На окраине нашей Европы”. Причина – речь идет об определенном государстве. Мой ответ – так оно же в Азии – не был принят во внимание. Тогда я сказал: “Там говорится о “Хвалынской воде” – Хвалынское море – это Каспийское”. – “Да ну, – искренне удивился Исаев и, взяв трубку, сказал: – Он говорит, что там речь идет о Хвалынском море, а оно, значит, Каспийское”. Там успокоились и посулили подписать в печать...»)

То есть поэта, который всегда, что думал, то и писал, по-волошински предпочитая «при жизни быть не книгой, а тетрадкой», подозревавшие в нем подвох и лукавство как бы силком зачисляли в собственные подобья. Двойные души и в нем видели тот же порок двоедушия...

Получая литературную премию имени Сахарова, Липкин скажет: «Было бы более правильно, если бы награда была мне присуждена за нормальное поведение русского литератора... Я не наступал... Я тихо сопротивлялся: полвека писал в стол».

В его воспоминаниях о Василии Гроссмане есть эпизод, связанный с романом «Жизнь и судьба» (в спасении которого от КГБ, кстати, участвовал именно он, Липкин, догадавшись – в предвидении ареста романа – спрятать машинописную копию). Друг-поэт советует другу-прозаику не носить ее в журнал «Знамя», не доверять Вадиму Кожевникову, человеку, как говорится, со специфической репутацией. «Гроссман взглянул на меня с гневом, губы его дрожали. “Я не буду таким трусом, как ты, я не намерен четверть века прятать свои рукописи в стол. А ты, пока Платонов прал против рожна, пока меня били и топтали, спокойно переводил своих восточных клиентов, предаваясь неге и холе”».

«Клиенты» – да, что было, то было, долгие годы являясь надежной основой материального достатка. И все же, говорит Липкин, я подумал, что это несправедливо (да и Гроссман, выплеснув вызванный болью гнев, покаянно обнял его, «слезы стояли в его глазах»). «Я делал при Сталине попытки печататься, Гроссман мне сам говорил, что попытки эти напрасные. В то же время я чувствовал, что по сути он прав, я не прал против рожна. (К слову, это неуклюже-преlestное выражение – из рассказа Сергеева-Ценского «Пристав Дерябин». – *Ст. Р.*) Надо сказать, что если

Гроссмана порой заставляли задумываться мои рассуждения о нашем обществе, о важности развития национального самознания советских народов, мои экуменические мечтания, то на меня серьезное и важное влияние оказывала нравственная сила Гроссмана. И когда впоследствии я сделал решительный поворот в своей жизни, я мысленно спрашивал совета у Гроссмана, и мне казалось, что слышу одобрение оттуда, где мы еще, может быть, встретимся».

(Встретились?)

Поворот – это, конечно, выход вместе с женой, поэтом Инной Лиснянской, из Союза писателей в знак протеста против жесткой реакции власти и, уж естественно, «литературной ответственности» на выход бесцензурного альманаха «Метрополь».

Между прочим, только они двое и сдержали слово, заранее данное несколькими участниками альманаха: в случае, если репрессиям будет подвергнут хоть кто-то из них (а «репрессировали», слава Богу, по правилам, как говорила Ахматова, вегетарианских времен молодых Евгения Попова и Виктора Ерофеева, отказавшись принять их в Союз), оный Союз будет покинут ими всеми. Аксенов, один из инициаторов «Метрополя», в данном случае не в счет: как помним, позже он сам расскажет, как планировал свою эмиграцию – в отличие от Лиснянской и Липкина, «домашних гусей». И хотя то, как была воспринята его роль во всем этом, скажем, непримиримым Виктором Конечким («– Передай Ваське, – говорит он в Париже Анатолию Гладилину, – чтобы он не встретился мне где-нибудь на международном перекрестке: расквашу хлебало вдребезги... – За что ты на него так? – За то, что по его вине на шесть-семь лет из литературы вылетели Фазиль Искандер и Андрей Битов. – Ты имеешь в виду “Метрополь”? – Да»), хотя, говорю, восприятие это действительно слишком непримиримо, что скрывать, в более мягко-укоризненной форме подобное высказывали тогда многие. Шепотом, разумеется; как я уже писал, была велика и обоснованна боязнь слиться в осуждении с трубадурами официоза.

Что касается Липкина, то решительность его (их) поступка стоит особенно оценить в связи с тем, что, во-первых, дав согласие на участие в альманахе, он вначале вовсе не знал о его вызывающей бесцензурности: тот, кто завлек его в метропольскую компанию, это обстоятельство попросту скрыл, в чем сам потом каялся перед С.И. Во-вторых, обещание составителей не подвергать своей собственной цензуре ничто из предложенного не было сдержано. Как раз стихотворение Липкина – и какое! «Молдавский язык», несомненный его шедевр! – по совершенно непонятной причине было отклонено.

Я тогда полагал сгоряча, что ему следует крепко на это обидеться. – но: «Ой, будет мне худо, но мне от этого легко», – прокомментирует он в письме ко мне 1979 г. свершившийся, вернее, свершенный им «поворот».

За худом, как водится, дело не стало. Участник войны, ветеран, немолодой и очень больной человек, он, как и Инна Лиснянская, тут же был отлучен от писательской поликлиники. Начались неприятности по линии КГБ: угрозы, тайные обыски. Дорога в печать была закрыта уже не одним лишь оригинальным сочинениям – классические переводы поэзии Востока, давшие Липкину, я убежден, право стать в ряд с великими мастерами русского перевода (Гнедичем, Жуковским, Лозинским, Любимовым, Пастернаком, Маршаком, Заболоцким...), также оказались запрещены. Обрадованная ватага «коллег» ринулась наспех перевести переведенное, подчас просто перелицовывая и увеча липкинскую работу, – одна из поэтесс даже сказала с простодушным цинизмом: мы-де должны поставить Липкину памятник, он всех нас сделал богатыми...

Но С.И. никогда после не отказался от сказанного и, главное, ощущаемого: «...мне от этого легко». Словно «поворот» окончательно определил соприродное ему место.

Пастернак писал о Николозе Бараташвили, чей «Синий цвет» в его переложении – одно из чудес и переводческого искусства, и просто русской поэзии:

«Счастливые эпохи с их верою в человека и восприимчивость потомства позволяют художникам высказать только главное, почти не касаясь побочного, в надежде на то, что воображение читателя само восполнит отсутствующие подробности. Отсюда некоторая неточность языка и плодовитость классиков, естественная при большой легкости их очень общих и отвлеченных задач».

Оценки и выводы здесь заострены до оголенности, до степени освобожденности от подробностей и нюансов, обычно и составляющих силу и прелесть любого «классика»; вероятно, сделано это намеренно – ради контраста с той частью цитаты, которая бесспорна. А для нас и важна:

«Художники-отщепенцы мрачной складки любят договариваться до конца. Они отчетливо (отчетливо! – *Ст. Р.*) доскональны из неверия в чужие силы. Отчетливость (отчетливость! – *Ст. Р.*) Лермонтова настойчива и высокомерна. Его детали покоряют нас сверхъестественно. В этих черточках мы узнаем то, что должны были бы доработать сами».

Крохоборствуя, отмечу, что «мрачная складка» может быть и оспорена – разумеется, при попытке прямо перенести смысл

сказанного на поэзию Липкина. «Высокомерие» в этом случае и вообще ни при чем, хотя б потому, что, напротив, до отчаянности велика жажда быть услышанным: «Неужели мы пропали, я и ты, мой бедный стих, / Неужели мы попали в комбинат глухонемых?»

Зато, не говоря уже об «отчетливой доскональности», прямой характеристике поэтики Липкина, налицо и ее причина – «неверие в чужие силы». Даже если это – непредоставленная возможность в них верить, потому что «чужих сил» (выходит, как раз не чужих, не чуждых, попросту – читателя, ожидающего и готовно подхватывающего слово своего любимца-поэта) ему долго, почти всю его жизнь не предоставлялось. Что не деформировало душу и стиль, но деформировало то и другое.

А если бы предоставили? Если б эпоха взяла да и одарила поэта ласковейшей из своих улыбок? Кто знает... Вообще: «Что мы знаем, поющие в бездне, / О грядущем своем далеке?» («Молдавский язык»).

Что говорить, любопытно бы было заглянуть за черту. Узнать, например, удержит ли свое первенство Бродский; в каком иерархическом порядке расположатся Слуцкий, Самойлов, Тарковский, Глазков, Липкин... Но к сожалению или к счастью, современникам не дано права – хоть они и берут его наподобие горьковского Нила – определять степень подобного старшинства. Разве что в качестве игры в иерархию, которой Семен Израилевич огорчил когда-то Бориса Абрамовича. Нам предоставлена лишь ответственная возможность понять, почуять, что истинно.

«С остальным – подождем, С.И.?» – фамильярно закончил я свою статью, приуроченную к 90-летию долгожителя Липкина. Смерть, приключившаяся лишь немногим позже, не подвела черты; она открыла новый простор для выяснения, кто есть кто. Уже без игры, всерьез.

Публикуется по изд.: *Рассадин С.* Книга прощаний:
Воспоминания о друзьях и не только о них. М., 2004.

Александр Солженицын
ИЗ «ЛИТЕРАТУРНОЙ КОЛЛЕКЦИИ»

Явление, которому находилось место в причудливом СССР (а пожалуй, и не в нем одном, в разных обществах разные тому причины): почти незаметно, «неслышно» существовали в поэзии

незаурядные поэты – десятилетиями мало кому известные, оттого что не кидались служить режиму, как почти вся остальная поэтическая толпа.

Таковы были – и Семен Липкин, и Инна Лиснянская (впоследствии муж и жена).

Хотя Липкин был принят в Союз писателей еще молодым человеком и всего по нескольким разрозненным публикациям, не выпустив даже и сборника. Но потом, несомненно спасая себя от советской казенной поэтической службы, ушел в переводы: с калмыцкого, киргизского, кабардинского и других восточных языков. Затем он был военным корреспондентом, после войны продолжил переводческую работу, все больше уходя в восточные темы и философию. По фронтовым впечатлениям 1941 г. написал в 1963 г. весьма правдивую поэму «Техник-интендант», однако нечего было и думать ее печатать. Все же к концу 1960-х, затем и в 1970-х сборники его стихов появлялись, а более полные – за границей, когда ему было уже за 70.

Липкина – еще бы не тяготило его изневольное общественное молчание. «Пусть лукавил ты с миром, лукавил с толпой, / Говори, почему ты лукавишь с собой? / Почему же всей правды, скажи, почему / Ты не выразишь даже себе самому?», тот «Усталый облик правды голой, / Не сознающей наготы». Но ведь «строка моя произошла / От союза боли и любви». – «Дай мне белую боль сострадания, / Дай мне черные слезы любви». – Однако годы замкнутости – они же и защемляют безнадежностью: «Неужели мы пропали, / Я и ты, мой бедный стих, / Неужели мы попали / В комбинат глухонемых?»; «Кто может сказать России, / Что мы, только мы – живые, / Что действует храм?» – Но и после столького молчания «Как сладко лгать себе, что дни твои – / Еще не жизнь, а ожиданье жизни».

Однако и над молчащим нависает тот же топор: «...Я, пугающийся тюрьмы... <...> Но грозят мне те самые люди, / Что отвергли закон человеческий». – «Тупо жду рокового я срока, / Только дума одна неотвязна: / Страх свой должен я спрятать глубоко, / И улыбка моя безобразна». Тюремно-лагерно-ссылная тема многократно прорывается в его стихи, протягивается сквозь. То в одном, то в другом стихе – сочувствие к ссыльным, сочувствие к энкам («Одна моя знакомая», «Похороны», «То да се», «Тайга»). – «Это плачет сердце России, / Пятьдесят восьмая статья». – «На жмеринковском перроне» обезумевшие от голода «куркули»: «Вповалку они лежали, / Ни встать, ни уйти не могли». Или о корейцах, сосланных из Приморья в Среднюю Азию. Пристально всматривается Липкин и в тех, кто творит, всю свою жизнь творил ГУЛag («Солдат революции», «Палач», «Нестор и Са-

рия»). И в цельную картину и при Хрущеве нетронутого ГУЛага: «Соликамск в августе 1962 года». (Меня поражает достоверность описанного, ибо месяцем раньше таким же наблюдал я и Кизел рядом, в соликамском же кусте лагерей.) – Однако задумывается поэт: а «Что сделали бы жертвы при удаче? / Могли ли превратиться в палачей?»

Сочувствие Липкина к пострадавшим от режима – неоднократно и пронзительно расширяется на боль русской деревни: «Частушка» (как тайком бежали от раскулачивания – и за 5 тысяч верст в Азию), «Лунный свет» – как «Городские парнишки со щупами / Ищут спрятанный хлеб допоздна», а потом «Будет в красных теплушках бессонница, / Будут плакать, что правда крива...». А вот и деревня вымершая: «Деревеньку дьявол, что ль, пометил? / Утро здесь не возвещает петел, / И средь лип – ни всхлипов и ни снов, / Не звенит в коровнике подойник, / И молчит, как в саване покойник, / Длинный ряд пустых домов».

Это сердечное сочувствие к русской деревне распахивается у автора на всю Россию: «А если глубже вникнуть, / То в прели и в грязи / Здесь может свет возникнуть / Всея моей Руси». В 1942 г. пришлось Липкину катить в грузовике редакции через казачьи станицы, где со злорадством провожали отступающих красных. « – А скажите, товарищ, / Может, вы из жидов? – / И вот что странно: именно тогда, / Когда ты увидел эту землю без власти, / Именно тогда, / Когда многолетняя покорность людей / Грозно сменилась темной враждебностью, – / Именно тогда ты впервые почувствовал, / Что эта земля – Россия, / И что ты – Россия, / И что ты без России – ничто», и хотелось «целовать неласковую казачью землю...» – Так автор достигает высоты уже выше национальной. Это продолжается еще рядом сердечных стихов с православными сюжетами («Нищие в двадцать втором», «В поле за лесом», «На Истре», «Когда мне в городе родном») – и христианская тема естественно сливается с его религиозными размышлениями, с его «экуменическими мечтаниями». С русского Севера Липкин переносится в Новороссию («Южные церкви») – очень тепло: эти церкви «как мазанки синие», они «не блещут нарядом», а в них – «Лишь святость напева, / Лишь воздух душевности».

Липкин за свою жизнь немало поездил по просторам огромной страны – и повсюду с сочувствием вникал в местный колорит: не раз и не раз проявляет большую чуткость к обширному разноликому Востоку; много у него мотивов кавказских и среднеазиатских. С восточных языков переводил он никак не чужим сердцем.

При всем этом – не гаснет у Липкина и еврейская тема. Вот, приехал в Одессу – «И ничего я не знаю свежей, / Чем вопросительной речи певучесть, / Чем иронический смысл падежей». Вспомнит: «Иль это живопись Шагала – / Таинственная Каббала»; опишет («Комиссар») некоего Иосифа, в молодости служившего в ЧК, потом отсидевшего в лагерях; в картине валимой тайги, на лесоповале («казнь деревьев»), для автора сливаются и «жесткая синева голодных русских деревень», и евреи, погибшие в Бабьем Яре. Тему еврейской Катастрофы он развивает несколько раз. С достойной скупой сдержанностью в «Вильнюсском подворье». С огромной силой в «Золе»: «Я был остывшею золой / Без мысли, облика и речи», – сожженный младенцем еще во чреве матери, и вот, в потерянном сознании, ищет родное место: «А я шептал: “Меня сожгли. / Как мне добраться до Одессы?”» Очень сильно в «Моисее» – и как мастерски: в стихе всего лишь 12-строчном – 8 строк разгона нестерпимого напряжения, а на 9-й строке (пропорция «золотого сечения») – царственно-успокоительно вступает Бог. Да, автор жаждет, жаждет веры, но («Одесская синагога») – никак не докоснуться: «Я только лишь прохожий, / Но помоги мне, Боже, / О, помоги!». Есть стихотворение о многозначительном маленьком племени «И» (все поняли – об Израиле, хотя есть версия, что Липкин писал о малом племени в Китае, доподлинно звавшемся «И»). Есть («Кочевой огонь») – с напряженным духовным поиском национального осознания: «Какая нам задана участь? / Где будет покой от погонь? / Иль мы – кочевая горючесть, / Бесплотный и вечный огонь?» – Не раз текут в стихах Липкина библейские мотивы; а порой они трансформируются в евангельские: «Ужас пониманья проникает / В темную вещественность души / <...> Разве только нам карьер копали, / Разве только мы в него легли?» – а когда плакала Богородица о Сыне?

Стихи Липкина большей частью (не всегда) стянуты в стройность, как теперь уже редко пишут. Особенно чеканны, даже скульптурны его поэмы («Беседа на вершине счастья», «Литературное воспоминание», «Нестор и Сария»). Добротная традиционность, даже как бы встывание в вечность. Стих плотен по составу слов, дыхание – без какого-либо напряжения. Использован пласт свежих, невымученных и неистрепанных рифм (*Тургенев – сиренев, лиловь – любовь*). Метафорами нас не балует, а какие есть – все предельно ясные. «Ужели красок нужен табор, / Словесный карнавал затей? / Эпитетов или метафор / Искать ли горстку поновей? / О, если бы строки четыре / Я в завершительные дни / Так написал, чтоб в страшном мире / Молитвой сделались они...» Но уж сожмет так сожмет: «Ломовая латынь молдаван».

Вереница его стихов выдержана в эпическом высоком тоне. По сюжету, содержанию они – разного уровня (бывают и приту-манены), – а всегда с душевной чистотой и прямоотой, всегда благородны. «Но разве может жить на земле человечество, / Если оно не досчитается хотя бы одного, / Даже самого малого племени?» – К животным ли: «Благосклонный не стал благородным, / Если с низким забыл он родство, / Он не вправе считаться свободным, / Если цепи на друге его». – К деревьям ли: «Растения поруганное право. / Враждуем с племенем лесным, / Чтоб делать книжки? Лагерные вышки? / Газовням, что ли, надобны дровишки? / Зачем деревья мы казним?» – «Тополей и засохших орешин, / Видно, тоже судьба не проста». – «Есть у деревьев, лиственных и хвойных, / Бесчисленные способы страдать / И нет ни одного, чтоб передать / Свое отчаянье...» («Молчащие»). К деревьям он особенно чуток («Чуть слышны растений голоса»), не только к породам их, то северным, то южным (сосна, акация, кипарис), но к характеру *отдельных* стволов! Да – вообще ко всему растущему, растительному. Он расслышивает «речь травы, / Которая сложней стихов и шахмат». Величественно: «Громовержащая вода!» А в пустыне – «Как будто эту гниlostную воду / Пьешь из предвечного ведра». Различает характер отдельных морских волн; птиц ли, кузнечиков, былинки («Воскресное утро в лесу»). Поэт ведет «бессловесный разговор» с монадами, читает «клинопись в обличии растений», беседует «с живым иероглифом вещества».

Так мирочувствие автора все пропитано пантеизмом. И – как будто не доходит ни до одной религии, при глубоком интересе и сочувствии ко всем к ним. «Но жизнь моя была таинственна, / И жил я, странно понимая, / Что в мире существует истина / Зиждательная, неземная». – «Что даже человеческое горе / Есть праздник жизни, признак бытия»; «зерно прекрасного страданья».

Большинство стихов Липкина значительно по мысли, в поисках глубли вещей, иные – из надмирной философии («Дао», «Время», «Обезьянник»: «Когда забыв начальных дней понятия...»). Характерно для него и чувство единства всего протяженного человечества – единство с теми, кто жил и задолго прежде нас. «Но живущие и те, кто жили, – / Все мы рядом». – «Можно забыть и живущих, но мертвых, но мертвых / Можно ль забыть?» – «И тому не раз я удивлялся, / Как Ничто мы делим на года; / Ангел в Апокалипсисе клялся, / Что исчезнет время навсегда». – Диалог Бога и дьявола на Эльбрусе – философская поэма, дуалистичная, очень странная; тут – никакого религиозного чувства не находим. А в других стихах («Беседа», «Две ночи»)

философское размышление поднимается в религиозное: «Но гул последнего Суда / Мы не забудем, не забудем».

Афористичны и запоминаются немало строк. «Распад сердце / Страшней, чем расщепленный атом». – «Различать / Прямую мощь избитых истин / И кривды круглую печать». – «Только жизнь и есть возмездье, / А смерть есть ужас перед ним». – «Чтоб не погаснуть, вовремя умри». – «Добро – в тревожно-жгучей мысли, / Что мало сделал ты добра».

1995

Публикуется по изд.: Новый мир. 1998. № 4.

Марк Харитонов
ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ

<...>

27.02.79. Зашел к Копелеву, там был Искандер, лежала газетенка «Московский литератор» с откликами на «Метрополь». Полторы полосы дерьма, подписанного разными именами. Особенно меня огорчил Залыгин (почему-то я от него этого не ждал): он единственный обрушился на Попова, назвав его рассказы «стоящими вне литературы»; другие Женю не трогали. Откуда у этих людей уверенность в своем праве определять, кому жить в литературе, кому нет? Рассказы самого Залыгина в последней «Дружбе народов» не выдерживают никакого сравнения с рассказами Попова, это очень слабая литература – но мне в голову не придет запретить Залыгину печататься. Розов: «Мы, конечно, не можем этого напечатать». Мы! Михалков: «Писатели союзных республик, которых переводил Липкин, задумываются, не поискать ли им другого Липкина». Какая уверенность, что всегда найдется другой Липкин! И антисемитизмом, конечно, попахивает...

<...>

30.10.80. В «Иностранной литературе» читал корректуру своей рецензии, потом к Копелеву. Там были Липкин с Лиснянской...

Разговор о визите Кани в Москву. В Белоруссии якобы мобилизовали пять возрастов, ГДР закрыла границу с Польшей. Введут войска или нет?

Если введут, будет мировая война. Хочет ли руководство войны? Я сказал, что нет. «Мне кажется, вы относитесь к этим

людям (руководству), как Толстой к своему Холстомеру, – возразил Липкин. – Вы приписываете им человеческие чувства. А у них логика другая, не человеческая». – «Инстинкт самосохранения – это не человеческое чувство», – заметил я.

Рая пригласила меня поехать с ними – к Светлане, на их проводы. Было много знаменитостей: Битов, Ахмадулина, которую я видел впервые (с Борисом Мессерером, ее нынешним мужем, очень симпатичным человеком), Окуджава, Войнович, Даниэль. Читали стихи на пленку. <...>

Ну что ж, для вечности, из разговоров. Липкин спросил у Комы, почему Христос молился «авва отче», т. е. два раза на двух языках произнес одно и то же слово? Кома отвечал, что это сложный вопрос: на каком языке говорил Христос? Вероятно, на арамейском; возможно, где-то существует подлинник Евангелия на древнееврейском языке. И перед смертью, обращаясь к отцу, он вспомнил язык своего детства, а в Евангелии эти слова растолковали для читателя, который этого языка уже не знал, т. е. дали сразу и слово, и перевод...

<...>

24.06.81. ...Из рассказов Липкина. «Когда Анна Андреевна хлопотала за Бродского, она обратилась за помощью к Наровчатову. Тот, конечно, не помог. Меня это очень удивило. Он тогда не был даже влиятельной фигурой, так сказать, подполковник, но не генерал. Я спросил ее, почему она все-таки обратилась к Наровчатову? И знаете, что она мне ответила? “Он красивый”».

<...>

27.01.87. Утром пришел журнал с поэмой Твардовского «По праву памяти» – о ссыльном отце, о Сталине. Увы, это не стихи свободного человека; отсюда все остальное. Вчера на ночь я перечитывал «Декаду» Липкина, в сопоставлении это особенно отчетливо...

<...>

25.04.88. Утром поработал над гл. 8, очень отвлекался. Позвонила Инна Лиснянская, я поехал к ней и Липкину. Инна встретила меня очень нежно, расцеловались...

Книг у них не предвидится: им не предлагают, они сами не ходят и не хотят. Все, что до сих пор было напечатано в журналах, – это по инициативе журналов. «Противно ходить, – сказал Липкин. – У меня тяжелый опыт. Моя первая книга вышла, когда мне было 56 лет». Сейчас оба переводят Кайсына Кулиева: нужны деньги...

– Когда я пишу стихи, – сказал Липкин, – у меня хорошее настроение, а сейчас я перевожу, у меня тоска. Я перестал флотировать – знаете этот химический термин? Когда обогащают руду, доводят в ней содержание нужного металла с 30 до 60–70%, этот процесс называется флотацией. Раньше он мне давался легко, а сейчас я перевожу, лишь бы имело вид. Но это не съедобно...

По его сведениям, на июнь общество «Память» обещает еврейский погром. «Значит, они чувствуют покровительство. Погромы всегда происходят под покровительством властей. Потому что погромщики трусы». И он рассказал историю погрома, который устроил в Одессе атаман Григорьев. Их предупредил о нем старый знакомый, городской. Он уже предупреждал его отца, социал-демократа-интернационалиста, закройщика, когда к нему должны были прийти арестовать. Значит, городской знал, и власти знали. Они прятались в подвале у мадам Шестопал, владелицы магазина церковной утвари. «Но это был уже не 1905 год. Евреи организовали отряды самообороны, на Молдаванке шла стрельба, и до нашего квартала просто не дошло».

Рассказывал, как встречался с Клюевым в доме Клычкова. Его приводил Мандельштам. (Наверно, об этом он сейчас пишет в воспоминаниях.) Клычков объявлял, что еврей не может быть русским поэтом. Немецким, французским, каким угодно, но русской страны он по природе не может понять. «Он не был антисемитом, но таково было его убеждение. И любопытно, что Клюев ему возразил. Нет, сказал он, а чей был сын тот, кто “в рабском виде исходил, благословляя” нашу землю? Жидовочки».

«Мандельштам, – говорил Клюев (коверкая эту фамилию), – поэт, а Пастернак (тоже коверкая) – спичечный коробок, но без спичек».

Рассуждал о национальных проблемах.

– Я считаю, что империя обречена на распад. Когда-то в Средней Азии к русским относились хорошо, по крайней мере интеллигенция. Но все время росла ненависть к русским. Особенно после коллективизации. В Средней Азии многие бедняки имели большие участки земли. Главное – вода, орошение. И много было скота, особенно в Казахстане. Там бедняк-бедняк имел 200 овец. Их всех сослали. И знаете, большую роль, как ни странно, сыграл пример Израиля. Хотя, казалось бы, это враг мусульман. Но они видели: маленькая страна на полупустынной земле сумела устоять против более многочисленного и сильного врага, и живет неплохо. Там через бухарских евреев многие имеют родственников. А бухарские евреи породнены с узбеками, таджиками. К евреям в Средней Азии лучше относятся, чем к русским. Я объясняю это чисто марксистски. Русские и евреи пишут для

них диссертации. Сами они ничего не могут написать, даже по гуманитарным наукам, не говоря о математике или физике. Но русский, написав кандидатскую диссертацию, требует для себя докторскую или высокую должность – там для них предусмотрен определенный процент. А евреи знают, что ни на что не могут претендовать. Разве что напишут свою кандидатскую – если еще не кандидат. Или проще всего деньгами. Или попросит устроить дочку в медицинский институт. С ними проще.

Введение русского алфавита оказалось катастрофой, особенно для поэтов. Дело в том, что там стихосложение связано с тонкостями долготы и краткости, которые можно передать только арабским алфавитом. Там существует 90 основных размеров, их когда-то учили в медресе. Сейчас самый образованный поэт знает 3–4, ну 5 размеров. Я знаю один. Иранцы смеются.

Об идише. Многие древнееврейские слова вошли в воровской жаргон. Например, хаза, шмон, мусор. Хохма – тоже древнееврейское слово, оно родственно имени Хикмет, что означает: мудрая мысль. А что такое душман? Враг. А басмач – следующий за зеленым знаменем мусульман.

<...>

31.10.88. Утром позвонила Милуша, встретились с ней в гостинице, зашли вместе в «Сов. писатель», я сдал верстку. Милуша передала мне рецензии на мои работы. Насколько я мог понять, пока речь идет лишь об издании «Иванов»... Потом – к Лиснянской и Липкину. Липкин утром был в «Дружбе народов», там планируют издать его «Декаду». Спросил, чем он занимается. «Во-первых, пишу стихи. А во-вторых, делаю странную работу: делаю по научному переводу Дьяконова поэтический перевод “Гильгамеша”. Без всякого заказа. Эта работа вряд ли будет напечатана, тем более Кома мне сказал, что Дьяконов считает свой перевод поэтическим. Но я давно это хотел сделать, уже несколько лет этим занимаюсь. Перевел из 11 песен (или таблиц, как правильно их называет Дьяконов) восемь. Пусть после моей смерти останется. Я ведь готовлюсь уходить. Это великое произведение, и оно много говорит моей семитской душе. Там много грубости, эротической грубости. Я придумал одно строфическое решение...» – «А мемуары?» – «Отложил. Я вдруг почувствовал, что многого не помню. Я хотел написать про встречу с Клюевым и вдруг почувствовал, что помню общее содержание его речей, но не помню конкретных слов. А у него очень своеобразная речь. Я сделал глупость, что в свое время не записал. Еще недавно, до операции, мне казалось, что я все точно помню. А после операции вдруг оказалось, что забыл...»

<...>

29.03.99. Разговор с С.И. Липкиным. Обсуждали недавние бомбардировки Югославии, резню, которую устроили сербы в Косове, говорили о национальных страстях и безумствах, о мусульманском самоощущении.

Липкин:

– Они все помнят, ничего не забывают. Был когда-то такой турецкий город Бердыш, там изготовлялось оружие, которое так стало и называться. Теперь это Бердичев...

– Как, Бердичев был турецким Бердышем? Я не знал.

– Но вы же знаете, что и Одесса была турецкой. Конечно, у них все это отвоевали, и сами турки завоевали полмира, переименовали Константинополь в Стамбул. Но они помнят, что и этот город принадлежал им... Я жил когда-то во дворе, превращенном в коммунальную квартиру, там обитали 60 семей, а когда-то дом принадлежал одному известному промышленнику... вот, с возрастом стал забывать фамилии... (Время спустя вспомнил и вставил: Гоншин. И он жалуется на память!) От этого семейства осталась в живых одна старуха, ее сын женился на женщине по фамилии Калинина и взял ее фамилию. Он совершенно не помнил о своем происхождении, и никто не знал, кому принадлежал этот дом. Но старуха помнила все подробности: вот здесь была столовая, в этой комнате детская, там комната для гостей, наверху жила прислуга. Помнила, что было во всех пристройках и надстройках. Она никогда этого не забывала. Так же и с национальной памятью...

Я много бывал в разных наших мусульманских республиках, со мной и при мне говорили откровенно, я для них был не русский, а еврей. Я перевел татарский эпос «Едигей», его не разрешили печатать, я для татар был такой же пострадавший, как они сами. О русских все говорили с ненавистью. Никто не сделал для национальной вражды больше, чем большевики. До революции мусульманские и другие меньшинства готовы были жить с русскими, они были для них носителями высокой европейской культуры, через Россию был выход в мир. Революция все это уничтожила. Ленин ничего не понимал в национальных делах, и они его не интересовали, но Сталин очень хорошо в этом разбирался, умел натравить один народ на другой; взаимная вражда помогала держать в руках власть. Это для нас церкви уничтожали большевики, для мусульман мечети и медресе уничтожали русские, они запретили священные книги на арабском языке, ввели кириллицу, которая совершенно не была приспособлена к фонетике их языков. Вслух они могли говорить что угодно, но память о религиозных святынях молча хранили...

Я знаю, как хоронили Рашидова, узбекского партийного секретаря, члена Политбюро. Его хоронили как положено; приехала из Москвы делегация, тоже какой-то член Политбюро, похоронили по-язычески, возле здания республиканского ЦК. А ночью могилу раскопали, надели на труп чалму, халат, прочли, как полагается, молитву и закопали снова...

– Я никогда об этом не знал. (И странно, что никто не написал сейчас.)

– А вы и не могли этого знать. Этого никто не знал. Мне рассказывала вдова Рашидова. Я был знаком с его семьей...

Или возьмите Дагестан. Там живут 30 наций. И было твердо установлено: первым секретарем ЦК должен был непременно быть аварец. Аварцы – самый многочисленный народ Дагестана. Но если дочь первого секретаря хочет поступить в университет, то и ректором университета должен быть аварец. Значит, если лезгин или кумык хочет устроить ребенка в университет, он должен идти к аварцу. Так устанавливается национальная неприязнь. Лезгины живут на границе с Азербайджаном, говорят на тюркском языке. Они ведут речь о создании особой республики, лезгинской. И есть маленькая народность, таты, их тысяч 10. Это горские евреи, иудейского вероисповедания, и внешность характерная, иудейская. Они были знаменитые виноделы. Дагестанские коньяки – это их изделия, мусульманам пить вино запрещено. Лезгины призывают татов присоединиться к своему Лезгинстану, преследуют, избивают. Многие уже уехали в Израиль, но кто-то остался. Или кумыки. Когда в Дагестан переселились чеченцы-агинцы, они выселили кумыков, жителей равнины, им теперь негде жить, они живут у родственников, кто где может. И так везде. Эти межнациональные разногласия при общей вражде к русским в конце концов непременно взорвут Россию, я не вижу другой перспективы...

– Но вот Фазиль Искандер мне рассказывал, как у них в одном дворе жили мингрелы, греки, абхазцы, жили друг с другом мирно, знали на бытовом уровне какие-то слова из языков друг друга – Фазиль тоже немного знал.

– Фазиль прав в отношении одного маленького двора, но он упускает из виду одно обстоятельство: он принадлежал к титульной нации. Это очень важно. Во дворе надо жить мирно друг с другом, не воевать же. Но с какой-то мелочи могут начаться конфликты. Вы знаете, как начались события в Абхазии? Один грузинский профессор написал научную статью – совершенно правильную, – где рассказывал, что абхазцы, входившие в более обширное семейство адыгов, переселились на свою нынешнюю территорию в XVII в. Абхазцы утверждали иное, они ссылались

на Геродота, который будто упомянул их в качестве древних жителей этой местности. И вот в селе Лыхны – это своего рода священное место для абхазцев – началось стихийное возмущение, демонстрации, в грузин стали кидать камнями... А потом и пошло.

(И сербы, и албанцы жили вроде бы мирно, подумал я, а теперь режут друг друга.)

– А вы ждали такого развития событий лет 30–40 назад? – спросил я. – Мне казалось, человечество в конце тысячелетия становится более единым, современная цивилизация уменьшит национальную рознь. Живут же в других странах люди разных наций?

– Я ждал, потому что я много имел дела с разными народами. Я их переводил, я знал, какая в них кипит ненависть. В 1946 г. я попал в Киргизию, я переводил «Манаса», и там встретил своего старого знакомого Кайсына Кулиева. (Назвал еще одно, менее известное мне имя, я забыл.) Их народы были сюда высланы. Они привели меня к себе домой. Я говорил с людьми, которые были со мной откровенны, – я для них был не русский, а еврей. Удивительно: вернувшись в Москву, я рассказал об этом Василию Гроссману. Вы знаете, что это за человек. Мы тогда были еще на «вы». И когда я ему рассказал о том, что увидел, он в сомнении проговорил: «Но, может, это было вызвано военной необходимостью?»

– Гроссман?! – воскликнул я.

– Да. Я ему ответил: я посмотрю, что вы скажете, когда так же будут высылать евреев. «Высылать евреев в нашей советской стране?» – «Да, в нашей фашистской стране».

– Вы уже в 46-м году могли сказать о нашей стране «фашистская»?

– Да, я уже многое понимал. Может, на меня влияли воспоминания. Мой отец был меньшевиком. Я многое видел. В 43-м году, уже после Сталинградской битвы и Курской дуги, в августе или начале сентября, сейчас точно не помню, нас, военных журналистов, собрали в ЦК. Выступал Щербаков. Он стал говорить, что в войне произошел перелом, мы движемся на запад, и надо немного изменить характер наших газет, помещать в них иногда веселые, развлекательные материалы, шутки, чтобы солдаты могли посмеяться. «Но только без одесщины», – погрозил он пальцем. И когда началась кампания против космополитов, появилась статья «об одной антипатриотической группе литературных критиков», Гроссман позвонил мне и сказал: «Сволочь, ты оказался прав...»

Память важна для всех народов. Вы знаете, что у Ленина один дедушка по матери был еврей, а одна бабушка по отцу была калмычка? Она была дочерью купца третьей гильдии по фами-

лии Карпов – ну, он, как отец Чехова, содержал в Астрахани небольшую лавочку. У Ленина была некоторая слабость к калмыкам, он ведь помнил бабушку. У него есть известное обращение к калмыкам. Калмыки тоже были разные. Есть калмыки-буддисты, и были еще астраханские калмыки, они входили в Астраханское казачье войско. Когда калмыков выслали, часть их территории передали Астраханской области – это как раз те прибрежные области Каспийского моря, где получают богатую осетровую икру, вы знаете эти астраханские баночки. Ну, отняли землю так отняли, уже ничего не поделаешь. Но когда калмыки вернулись из ссылки, они решили обратиться в Астраханский обком партии, чтобы те установили мемориальную доску на лавке бывшего купца Карпова: «Здесь родилась бабушка Владимира Ильича». Лавка сохранилась, мне ее показывали. Маленькая лавка, похожа на одесскую Молдаванку. Вроде бы верноподданническая коммунистическая идея: речь все-таки о Владимире Ильиче. Астраханский обком подумал-подумал и в просьбе отказал. Калмыки возмутились, написали письмо в Центральный комитет. Те тоже подумали – и тоже отказали. Калмыкам пришлось проглотить – но они и этого не забыли. Это же для них гордость: большевик не большевик, им все равно. Но бабушка Ленина была наша, пусть и православная, это неважно.

Интересное замечание. Я упомянул, что эпизод на близкую тему есть в моем эссе «Три еврея»: про то, как Карабчиевский оказался свидетелем неприязненного суждения о русских и на вопрос: а вы кто? – после раздумья ответил: «А вот не скажу».

– Он так ответил? – удивился Семен Израилевич. – Не знаю, как это звучало для армян, но для мусульман это было бы оскорблением. Так нельзя отвечать...

Разговор с С.И. навел меня на грустные мысли об угрозе распада России. Слишком много натворили глупостей и преступлений, нет ни способностей, ни воли что-то исправить, и развитие в мире (особенно в такой его части, как наша страна) не слишком подчиняется сознательным, целеустремленным усилиям, тем более представлениям таких миролюбивых идеалистов, как я.

<...> Беда не беда, но скольким конкретным людям это будет стоить жизни, сколько принесет страданий, крови, утрат, переселений!

Такое повторялось множество раз в 1000-летней истории человечества. Но как странно думать об этом на пороге третьего тысячелетия после Рождества Христова! Я опять чувствую себя идеалистом, витающим в сферах духовных. С.И. Липкин превосходно чувствует житейские измерения жизни – той, что происхо-

дит во дворах, в семьях, в образованиях «племенных». Я, впрочем, тоже это чувствую – все-таки писатель, прозаик, но иногда забываю, что разумно мыслящие люди – везде в меньшинстве.

Я не любил воплей о «русофобии» – она приписывалась почему-то евреям. Нет. Если не говорить о сионистах, которые могут просто уехать, евреи вроде меня принадлежат русской культуре более реально, чем я отдавал себе в этом отчет. Но русофобия существует.

30.03.99. С.И. Липкин заметил, что не считает себя образованным человеком. А если хоть немного и образован, то обязан этим прежней гимназии, в которой проучился полтора года.

Это он-то, переводивший с персидского, тюркских и других языков, знающий народы, культуры, религии, он, великий знаток русской поэзии (и стихосложения), цитирующий наизусть поэмы! Конечно, этим он обязан самообразованию, он мог учиться у великих поэтов-современников, близко знал Ахматову и Мандельштама.

Галя по этому поводу напомнила: ты же писал о нашем образовании: если мы что-то знаем, то вопреки ему. Нам пришлось еще многое отхаркивать.

Да, подумал я, но вот наши дети – знают языки, бывали в других странах, сидят у компьютеров, они бесспорно образованней нас. А скажем, поэзия, знание которой Липкин считает одним из признаков культуры (допустим, хотя бы для своего цеха), для них не существует.

Видимо, надо опять разделить понятие образованности и культурности. Массовая образованность нашего времени отличается от гимназической, но вряд ли верно считать ее более низкой. А вот культура?..

Липкин считает Есенина более культурным, чем Маяковский: у него не было образованности, но была связь с народной крестьянской традицией, а тот – просто городской дикарь. <...>

1.4.99. ...Читаю Липкина. Он четко сформулировал главный интерес своей жизни: «И ныне меня по-настоящему, сильнее и прочнее всего интересуют, волнуют, мучают, восхищают только два нераздельных явления – Бог и нация». И это с раннего детства. А я о некоторых вещах начал думать сравнительно недавно. Грустно, что я в таком возрасте кое-что лишь начинаю понимать. Впрочем, эта грусть сопровождает всю жизнь, и если я лет через десять буду ощущать ту же грусть, значит, я еще живой...

10.4.99. ...Я теперь почти не делаю записей о политических событиях – 10 лет назад записывал подробно, только вводить

в компьютер теперь не хочется. Все это скоро исчезнет: скандалы, имена...

Вечером позвонила Инна Лиснянская: договорить о Самойлове... Удивило, что она совершенно точно расшифровала упомянутые инициалы: это Межиров, это Винокуров, о Владимове не говорю. Потом передала трубку Семену Израилевичу. Его разговор я записал подробно на отдельном листе.

Урок для меня: читая, делать пометки; это определяет культуру разговора о книге. И потом я полистал упомянутые им места моей книги – как бы его глазами. Не думаю, что из тщеславия – но это как бы делает более объемным ощущение литературы. «Ну вот, наговорили друг другу комплиментов», – закончил разговор Липкин. «Дело не в комплиментах, – искренне сказал я, – а в том, что такие разговоры – тоже душевное событие...»

Немного работал. Читал «Записки жильца» Липкина: значительная книга... Между прочим, по-другому понимаешь собственное время: все нынешнее воровство, даже бандитизм все-таки больше человечны, понятны, чем абсурдная идеологизированная жестокость режима, которая превращала людей просто в подлое быдло. Об этом и многом другом я сказал Семену Израилевичу, позвонив ему по телефону. Спросил, насколько его мысль выражает один из героев, называя гениями лишь тех, кто понятны всем, как Гёте или Шекспир, в то время как великие, но не гениальные могут быть понятны немногим избранным? Он в ответ рассказал, как смотрел в еврейском театре Одессы переделку гётевского «Фауста» (и Шекспира тоже), как зрители плакали и смеялись. «Но ведь так же смеются и плачут над нынешними телевизионными сериалами, “мыльными операми”. И воспринимали они упрощенные переделки Гёте, самого Гёте они вряд ли могли понять. И разве Мандельштам – не гений, понятный немногим?» – «Нет, – сказал он, – Мандельштам не гений. У нас было три гениальных поэта: Пушкин, Лермонтов и Тютчев. Они понятны всем». Тут я возразил, что для понимания Пушкина понадобились годы, при жизни его не все понимали. «Надо подумать», – сказал он. Он читает сейчас биографию Тютчева, написанную младшим Аксаковым, там цитируется французское письмо, где Тютчев утверждает, что русский народ, как народ христианский, не может быть жестоким. А в 1918 г. крестьяне жестоко и бессмысленно разграбили его имение. Он ошибся.

Хорошо, что я прочел его роман после мемуаров – стала заметна автобиографическая основа...

Публикуется по изд.: Харитонов М. Стенография конца века. Из дневниковых записей. М., 2002.

Олег Чухонцев
ПОХВАЛА СЕМЕНУ ЛИПКИНУ

Мы собрались здесь по случаю вручения Пушкинской премии Семену Израилевичу Липкину. Я рад прежде всего за поэта, который по справедливости заслуживает высокой награды, рад видеть его друзей и почитателей и благодарю за предоставленную мне возможность сказать несколько слов о лауреате. Постараюсь по необходимости быть кратким и отсюда, из точки сегодняшнего торжества, окинуть хотя бы мельком труд поэта, обильный, как бы сказали древние, плодами и счастливо подтверждающий правоту слов, брошенных якобы Корнеем Ивановичем Чуковским и ставших крылатыми: в России надо жить долго.

Но как вместить 65 лет непрерывного творческого труда в отведенные десять-пятнадцать минут, чтобы не упустить существенного, пометить вехи и хотя бы пунктиром – путь? Как втиснуть сложную духовную жизнь в жесткие рамки регламента? Придется ограничиться главной, стихотворческой ипостасью, а иного коснуться мимоходом – для полноты картины.

Итак, обозначим начало, всегда важное для художника: в мартовском выпуске «Нового мира» за 1930 год, за номер, кстати сказать, до появления там вклеенного портрета Маяковского в траурной рамке, было напечатано стихотворение неизвестного 18-летнего поэта, подписанное «Сем. Липкин»: три восьмистрочных строфы, без названия: «С прогорклым, стремительным дымом...» – так оно начиналось. Это были, в сущности, поиски героя, вполне в духе тех лет, и хотя автор находил его (в данном случае ее) где-то «на дальнем глухом полустанке», где «милым домашним животным / Ложится у ног паровоз» и где «веселое стадо вагонов... / Пропитано салом добротным / И запахом девичьих слез», сама фактурность картины отдавала чем-то знакомым (романтическая школа Багрицкого, его земляка), как, впрочем, заявлен был и самобытный характер поэта с его вниманием к изначальным основам бытия.

Стихи были замечены. Алексей Толстой, как со смущением поведал мне однажды автор, прислал редактору письмо, где среди всего им прочитанного отметил именно это произведение юного стихотворца. И, между прочим, поинтересовался, на свой, правда, лад: уж не жидок ли? Алексей Николаевич был человеком начитанным и мог бы вспомнить известные строки Цветаевой о поэтах «в сем христианнейшем из миров», чтобы не унижать уменьшительно-ласкательным суффиксом это высокое звание.

В дальнейшем следы оригинальных публикаций Семена Липкина случайны или прерываются вовсе и надолго: надвинулась самая темная полоса в русской жизни с террором и энтузиазмом. Лучшие поэты замолчали (для читателей) или ушли в перевод (для выживания). История любит шутить: 100-летие со дня гибели Пушкина на Черной речке оказалось воистину черным годом... Меня не удивило, а скорее поразило, что поэт, всерьез взявшийся переводить многострочный эпос народов Востока и классическую персидскую поэзию, для чего выучил фарси, в этом году заканчивает Московский инженерно-экономический институт. Очень характерная деталь.

Как мастер стихотворного перевода, а занимался он этим годы и годы, вплоть до 1980, когда волею судьбы после скандала с альманахом «Метрополь» был отставлен от своего ремесла, Семен Липкин получил первоначальную известность и громкое последующее признание.

Сто восемьдесят тысяч полновесных стихотворных строк только восточной классики (для сравнения: в «Илиаде» – 15 700, в «Одиссее» – 12 100 строк), страшно представить, полвека кропотливого труда, в котором нет мелочей, где сама форма восточного стихосложения с прихотливой строфикой и редифной рифмой чрезвычайно сложна, и все это передано полноценным стихом, а не ленивым прозаическим пересказом, как это принято по большей части у французов и англичан, – да за это одно Семена Липкина будут с благодарностью вспоминать поколения русских читателей, знакомясь с поэмами А. Фирдоуси и А. Навои, с калмыцким эпосом «Джангар», киргизским «Манасом» или кабардинскими «Нартами». А еще вольные переложения. А еще многочисленные переводы современных поэтов бывшего Союза, среди которых немало образцовых, например балкарского поэта Кайсына Кулиева. «Пропагандистом многонациональной советской литературы» – так, на своем языке, обзовет нашего лауреата КЛЭ. И обзовет справедливо. Это ли не творческий подвиг, скажем со своей стороны мы, как бы высокопарно это ни звучало.

А теперь, потоптавшись на переводческом пяточке, сделаем шаг в сторону собственной поэтики Семена Липкина, в певучую сень ее железных лесов и мыслящего хлорофилла, в щелок и щекот речи.

В чем своеобразие и сила его дара? – спросим себя.

И тут мы замечаем, что при ясности картины нет вразумительного ответа, при внятности высказывания мы незаметно попадаем, едва последуем за поэтом, в заговоренный круг скрытых парадоксов, отчетливо чувствуя при этом некий непрямой,

сокровенный смысл, явленный чаще всего в форме непосредственного впечатления, рефлектирующей мысли, а то и просто обмолвок или стихов на случай, которые так ценил еще Гёте.

В самом деле, поэт, по общему мнению, традиционного склада, причем традиции высокой, одической и элегической, хранитель ее храмового огня, Семен Липкин неочевидным каким-то образом примиряет в своем творчестве элементы и полюса разнородных и часто противоположных начал: почти научного историзма и вольного любомудрия, трезвости и патетики, едва ли не языческого жизнелюбия и религиозной кротости и покоя, очарованности жизнью и ужасом перед ней. Это поэт гармонических контрастов и динамической статики, поэт изначально и по преимуществу онтологический. В этом смысле он не только не оценен по достоинству, но и не прочитан.

Так иногда, увидев тайный свет,
Беспомощный, но истинный поэт
О зле грядущем нам напоминает,
Но тусклых слов никто не понимает, –

предостерегает он в первом же, открывающем итоговый сборник «Письмена», стихотворении 1937 г., как бы угадывая и подтверждая дальнейшую судьбу. И не только потому, что будет надолго заслонен своими переводами, о чем я уже говорил, и отчужден непечатанием, но главным образом, уже в новые времена, из-за дистанции, которую он держит с воображаемым собеседником, не только медитируя или повествуя о чем-то, но и охраняя это что-то от догляда и любопытства, тая сокровенное, одному ему ведомое знание. Недопонимание, по сути, запрограммировано, и не только из-за недомолвок. Это древняя гностическая традиция, где лирический поэт не только космическая антенна, но и аккумулятор иноприродных сил, познающий в себе и через себя преодолевающий разорванность мира. Отсюда и эффект непрочитанности.

Я знаю вместилище мрака,
Я с детской поры в нем живу,
О нем представленья, однако,
Неправильно по существу...

Никаких тропов и метафор, все, казалось бы, просто, как в басне. И все-таки... о чем это?

Во мраке есть жаркие полдни,
И ярко пылает закат.
Деревья в садах не бесплодны,
И скинии хлеба стоят.

В нем синее-синее небо,
Полны города суетой
И даже свершается треба
Священником в церкви пустой.

И все-таки после прочтения остается странное и стойкое ощущение неполноты понимания, когда главное не в словах, а за словами. И это тем более разительно, что с первых строк заявлено опровержение известного, т. е. истинное понимание.

Действительно, о чем говорит поэт, о каком «вместилище мрака», с детства его окружающем? Об «империи зла» с плодоносящими садами и суетой городов, «слепящей мгле», по Артуру Кестлеру? Или о падшем тварном мире? И что значат «скинии хлеба», о ком молится, что за требу совершает священник в пустой церкви – посреди цветущего царства дьявола? И почему она пуста?

Заглянув в толковые и богословские словари, вы можете справиться с первоначальной слепотой, как входят с яркого света в жилище, но все равно остается сомнение, туда ли вошли, в ту ли дверь, потому что смысл образа, будучи в ауре языка, находится вне текста.

Так скиния Завета не теряет силы императива для правоверных иудеев оттого, что недоступна для обладания, кроме как духовно, мистически.

В этом отношении стихи Липкина о «вместилище мрака» столь же двусмысленны и непросты для истолкования, как, скажем, тютчевское «Как океан объемлет шар земной...» или лирический шедевр Роберта Фроста «Stopping by Woods on a Snowy Evening» («Зимним вечером у леса»). Вот голая речь, а многозначней метафоры!

Вообще стихи поэта развиваются из сердцевины замысла сразу как бы по двум направлениям: условно говоря, горизонтально социально-исторического осмысления времени и своего места в ней и вертикали философско-религиозной. Первая дает устойчивость и многообразие тем, жанров, картин и лиц всей его лиро-эпике, вторая – высоту духовного идеала или, соответственно, – метафизическую глубину. Первая – широту культурных ассоциаций и вещность речи, вторая – веяние запретельного.

Это движение можно проследить как на уровне стихового потока, так и отдельного стихотворения, когда, например, строки по горизонтали набирают большую фактурность и смысловую плотность, метрически двигаясь к акцентному стиху и удлиняясь до стихопрозы (и в этом у Липкина приоритет, а не у новых поэтов, скопом бросившихся, подрифмовывая, осваивать и тиражировать уже освоенное), а вертикаль дает как бы освобождение от этой тяжести и интонационную легкость дыхания.

Овцы, курдючные, жирные овцы, овцы-цигейки,
Множество с глазами разумного горя глупых овец, –

как торжественно вытягивается строка в стихотворении 1943 г. «Воля», где описывается бегство от неприятеля, и в самой долготе звучания есть все: и широта Сальских степей, и ужас поражения, и желание выжить, и романтическая любовь, и предательство возлюбленной, и ожидание возможной расплаты:

Алые губы, вздрагивающие алые губы,
Алые губы, не раз мои целовавшие руки,
Алые губы, благодарно шептавшие мне: «Желанный»,
Будут иное шептать станичному атаману
И назовут мое жидовское отчество...

А! Не все ли равно мне – днем раньше погибнуть, днем позже.
Даже порой мне кажется: жизнь я прожил давно,
А теперь только воля осталась, ленивая воля...

Через 20 лет поэт вернется к этому «степному» сюжету и напишет, стихопрозой же, большую поэму «Техник-интендант», насытив текст точными реалиями военного и предвоенного быта, психологической живостью, снайперским зрением памяти и свободным полетом художественной фантазии. Во многом это уже собственно проза, проза поэта. И только одическая интонация через все прозаизмы возвращает ее к жанровому первоисточнику:

– Танки! танки! Мы в окружении! –
Кричит, ниоткуда возникнув, конник
И пропадает.
И там, на востоке, где степь вливается в небо,
Неожиданно, как в открытом море подводные лодки,
Появляются темные, почти недвижные чудища.

И тогда срывается с места, бежит земля,
И то, что было ее составными частями, –
Дома, сараи, посевы, луга, сады, –
Сливается в единое вращающееся целое,
И дивизия тоже бежит, срывается с места,
Но то, что казалось единым целым,
То, что существовало, подчиняясь законам,

Как бы похожим на закон всемирного тяготения,
Распадается на составные части.
Нет эскадронов, полков, штабов, командных пунктов,
Нет командиров, нет комиссаров, нет Государства,
Исчезает солдат, и рождается житель,
И житель бежит, чтобы жить.

Можно подумать, что это Артем Веселый, «Россия, кровью умытая».

Здесь я должен отметить упрямую особенность поэта: при памятью своем зрении он умеет не замечать того, что, по его мнению, не имеет права, не должно существовать в его внутренней жизни в тот момент, когда он при сем присутствует как свидетель. Не поняв этого, трудно объяснить, почему именно в годы лихолетья, когда действительность не только колола глаза, но и лезла, что называется, в душу, он обращается (не бежит! возможен ли писательский эскапизм в аду, например, фронта?) к натурфилософским и библейским мотивам, ища в них ответы на кровавую злобу дня, когда даже березы по утрам плачут «слезами Треблинки».

Правда, если уж он касается воплощенного зла, перо его становится резцом, как бы в камне высекающим для современников и потомков счет преступлений одних и страданий других, мысленно свидетельствуя в некоем Верховном Трибунале.

Мне кажется: я дичь. В зеленом полумраке
За мной охотники следят и их собаки...

И вновь закон – тайга: канон лесоповалов,
Евангелье волков, симпозиум шакалов...

Это из поэмы «Соликамск в августе 1962 года», по сути, очерке, написанном в пору хрущевской оттепели, когда рассказчик, попадая в заполярную резервацию, в страну соляных копеек и лесоповала, в картинах будничного насилия «бравых гавриков» над «щепками» ГУЛАГа («за нами, падлами, ведь

нужен глаз да глаз»), в отчуждении самого ландшафта («где листья ссучились, где каждый сук – стукач») видит всю изнанку мифа об историческом прогрессе, и в сочетаниях несочетаемого, в квазинаучной лексике и арго новояза, кажется, физически передан абсурд бытия, в котором людоедское прошлое предпочтительнее, чем современные «Страда. Борьба за мир и счастье всей земли».

Назад, назад, во мглу, в пещеру, в мезолит,
Где дротик дикаря мне сердце исцелит!..

(Попутно заметим здесь, продолжая неожиданно вылезшую «повесть лесоповала», что поэт, немало стихов посвятивший своим зеленым побратимам, умеющий отличать каждое дерево не по его породе, а в лицо, с горечью осознает, что человек экстраполирует свое палаческо-жертвенное начало на все окружающее, как некий демиург-мичуринец ломая самую природу. И вот, по примеру «поглотителей плоти живой», и пила (даже так: «круглая пила “Дружба”»), насыщаясь «мясом ствола», вовлекает в круговорот своей социально-расистской селекции не только «отцов семейств, бродяг и душегубов», но и весь растительный мир: «И валятся деревья, как евреи, / А каждый ров – как Бабий Яр...»)

Этот исторический параллелизм – самый распространенный стилистический прием у Липкина, можно сказать, его рабочий инструментарий, помогающий поэту раздвинуть художественное пространство. На этом построены не только его поэмы и повествовательные стихотворения, но часто и собственно лирика. Так в стихотворении, сопрягающем две картины из двух эпох: ссыльных римских легионеров-каторжан, древних даков, гонящих, если не сказать волокущих, как телегу, по берегам Днестра свою «ломовую латынь» и создающих таким образом новое наречие, новый язык, и вольных зеков, на своей фене творящих музыку нового века:

Точно так же блатная музыка,
Со словесной порвав чистотой,
Сочиняется вольно и дико
В стане варваров за Воркутой.

Из внезапного сходства несхожего высекается поэзия чистой пробы.

Как тут не вспомнить позднего Заболоцкого, и по словарю, и по одической просодии близкого Липкину:

Наполнив грузную утробу
И сбросив тяжесть портупей,
Смотрел здесь волком на Европу
Генералиссимус степей...

Это из последней его поэмы «Рубрук в Монголии», написанной в те же оттепельные годы, правда, речь в ней идет о другом отце народов, о Чингисхане. Интересно, что, если Заболоцкий всем строем речи осовременивает архаику, Липкин архаизирует современность, укрупняет ее историей.

В иных случаях ему достаточно минимальных художественных средств, например простого перечисления, чтобы на глазах выстроился целый эпос. Так, в кавказской поэме «Нестор и Сария», закованной в строгую метрику и строфику, есть кусок о депортациях и планомерном выселении целых групп и социальных слоев ради построения новой Утопии по сталинскому образцу, где сам перечень потрясает сугубой, почти бесстрастной точностью:

И двинулась Россия: малoverы;
Комбриги; ротозей; мужики;
Путиловцы; поляки; инженеры;
Дворяне; старые большевики;
Ползучие эмпирики; чекисты;
Раскольники; муллы; эсперантисты;
Двурушники; дашнаки; моряки;
Любовницы; таланты; дураки;
Предельщики; лишенцы; виталисты;
Соседи; ленинградцы; старики;
Студенты; родственники; остряки;
Алашордынцы; нытики – короче,
Все те, которых жареный петух
В зад не клевал, – на край полярной ночи,
Туда, где свет, едва взойдя, потух,
В тайгу, в цингу, без права переписки.

Там никому не ставят обелиски,
Там и без газа человек горел.
А за расстрелом следовал расстрел.

О том, как горели в нацистских газовнях, Семен Липкин напишет позже, и это будут самые, быть может, личные его стихи («Моисей», «Зола», 1967), где поэт заговорит голосом замученных и сожженных, голосом вечной скорби и недоумения.

Мертвый ягненок. Мертвые хаты.
Между развалин – наши солдаты.
В лагере пусто. Печи остыли.
Думать не надо. Плакать нельзя...

Черные печи да мыловарни.
Здесь потрудились прусские парни.
Где эти парни? Думать не надо.
Мы победили. Плакать нельзя.

Это строфы «Военной песни», написанной через 36 лет после окончания войны, но полной такой неподдельной боли, словно выплаканы немим плачем на живом пепелище, где флейта державинского «Снегиря» скребет ухо надсадной балалаечной струной из чудом уцелевшей пластинки, из запорошенных пеплом борозд:

В лагере смерти печи остыли.
Крутится песня. Мы победили.
Мама, закутай дочку в простынку.
Пой, балалайка, плакать нельзя.

Что же среди всех испытаний и бедствий, выпавших поэту и его героям, удерживало его от безнадежности и отчаяния? Что держит его духовную вертикаль?

И тут мы подошли к мотиву, едва ли не самому главному у поэта и о котором я скажу с некоторой осторожностью, только наметив.

Если в воздухе пахло землю
Или рвался снаряд в вышине,
Договор между Богом и мною
Открывался мне в дымном огне,
И я шел нескончаемым адом,
Телом раб, но душой господин,
И хотя были тысячи рядом,
Я всегда оставался один.

В этих стихах 1946 г. (в название вынесено значимое слово «Договор») содержится попытка ответа. Если принять во внимание, что и тремя годами раньше, под Сталинградом, поэт, вспоминая о древнем исходе из Египта, мысленным взором видит встающие «во тьме конечной / Будущие башни Иудеи» («Странники», 1942); если вспомнить, как среди развалин на берегу Волги в слу-

чайно появившемся человеке с тетрадкой ему чудится подобье праотца, так же явившегося из первобытного хаоса, и он поражен «внезапно вспыхнувшим понятием Божества» («Руины», 1943) и может со спокойным мужеством сказать: «И минет время. Прибылая / Вода столетий упадет. / В своих руинах жизнь былая / На свежих отмелях взойдет» («Метаморфозы», 1943); если все это не упустить из виду, а принять как опыт религиозной жизни, полученный в экстремальных условиях бытия, ничего и не остается, как истолковать этот опыт не в качестве мотива творчества, а глубже: всего поведения, в том числе и художественного.

Образ ковчега и голубя с масличной ветвью, вообще весь круг библейской символики – формо- и смыслообразующие элементы его поэтического космоса. Как бы по примеру первочеловека, поэт любит вещь или явление схватить и обозначить словом, именем, числом, определить термином, атрибутировать категорией. Это и есть классическое понимание поэтического (читай: разумного) дела: «Быть мерою вещей / По слову Протагора».

Что касается собственно религиозных убеждений, я остерегаюсь судить об этом предмете более определенно (например, о чисто конфессиональных предпочтениях), да это и не входит в нашу задачу. Скажу лишь, что поэт, столько сил и лет отдавший изучению культурных традиций Востока, может развиваться не только в духовном поле между Синаем и Фавором, но позволить себе нечто такое, что если и не примирит, то хотя бы сопряжет всех:

Нам в иероглифах внятна глаголица.
Каждый зачат в целомудренном лоне.
Каждый пусть Богу по-своему молится!
Так Он во гневе судил в Вавилоне.

Кто мы? Жнецы перед новыми жатвами.
Путники в самом начале дороги.
Будем в мечети молчать с бодисатвами
И о Христе вспоминать в синагоге.

Я знаю, что это умонастроение (не путать с экуменизмом) уязвимо с точки зрения любой ортодоксии, древней и новой, и особенно в нынешней России, но она понятна у поэта, и тем более на рубеже тысячелетий. Главное в нем – чувство ценности самой жизни, уважение к ее многообразию и право на свободу, которая изначально дана человеку.

Не отсюда ли так резко и демонстративно выраженная черта Семена Липкина, чрезвычайно мне импонирующая: здравомыслие, – черта довольно-таки редкая у поэтов, особенно роман-

тиков, которые, обличая «позорное благоразумие», не всегда умели отличить добро от зла, а чем кончили, мы все помним.

Не потому ли Семен Липкин в своих поэтических пристрастиях двигался в сторону от этой романтики, грубо говоря, от Багрицкого, своего учителя, к акмеистам, особенно младшим, и дальше, через них, – к Бунину-поэту. Правда, эволюция такого типа стихотворцев не очевидна, и в этом смысле он напоминает скорее Сологуба с отмеченной еще Ходасевичем невозможностью ее проследить. Но это, замечу, вообще черта онтологических поэтов по преимуществу.

Что же до его горизонталей, тут амплитуда развития выражена резко и вполне обозрима. Более того, есть что-то уникальное в полноте самой жизни, зафиксированной и воссозданной поэтом. Иногда кажется, что это не столько стихи, а энциклопедия нравов и обычаев, географических сведений и этнографических реалий, общественных течений и исторических экскурсов и т. д. Поэт, как атлет по прыжкам в высоту, долго разбегаются, чтобы перемахнуть через планку. Его стих с годами набирал не певучую легкость, а бойцовскую упругость и только в последние десять-пятнадцать лет движется к непредсказуемой свободе, прозрачной строке, высокой ноте.

«Изменилась у Пегаса / Геометрия крыла», – скажет поэт в конце 1970-х, уподобив себя сброшенному в бездну седоку. Этот этап, который наступит вскоре и будет связан прежде всего с драматической ситуацией вокруг альманаха «Метрополь», потребует много сил и мужества, принесет немало огорчений поэту, но и раскрепостит его музу, придаст ей острый лирический импульс. Именно в 1980-е, распечатав восьмой десяток, Семен Липкин после шестилетнего насильственного перерыва и публикаций «за бугром» бурно вернется в текущую словесность оригинальными стихами и поэмами, художественной и мемуарной прозой (повести «Декада», 1989; «Записки жильца», 1992). Старый мастер (старый не в смысле возраста, а зрелости духа или, как любят говорить на Кавказе, мудрости) испытает лирический подъем, стих его, сбросив все лишнее, «материальное», заговорит то ветхозаветными словесами на новый лад («На Истре», 1986; «Новый Иерусалим», 1987), то, кажется, тем языком истины, которому не нужны и сами слова:

Пройдено все, – так зачем же иду?
Явлено все, – так чего же я жду?..

Дай мне оглохнуть, чтоб слушать Тебя,
Дай мне ослепнуть, чтоб видеть Тебя.

Это из подборки, опубликованной «Новым миром» в мае 1995 г.

Я не хочу гадать, что Семен Липкин напишет завтра. «Что мы знаем, поющие в бездне?..» С меня достаточно и того, что он написал. Его лучшие стихи и поэмы – а список их можно длить и длить – наш золотой фонд.

Есть поэты, которые могут нравиться или не нравиться, их можно отрицать и даже не замечать. Но не считаться с ними нельзя.

К таким поэтам и относится Семен Липкин. Его герой, слава Богу, не из победителей, он мал и слаб, испытывает страх и сомнения, но он способен на сочувствие и умеет быть твердым, где надо, а именно на таких держится и сама жизнь, и история.

Я вижу нечто символическое в том, что 84-летний поэт, прошедший негладкий путь, воевавший с немецким фашизмом, написавший много книг и который, по завету Державина, «сам внутри себя создал / То, чем жить предстоит», получает сегодня Пушкинскую премию от фонда, основанного немецким меценатом и замечательным человеком Альфредом Тёпфером, воевавшим в Первую мировую, прожившим свои 99 лет в трудах, сделавшим много хорошего и полезного для многих. Что ж, значит, зло не всесильно и каждый получает по дарам своим и по совести.

И еще, возвращаясь к нашему лауреату, скажу одну простую вещь: истинный поэт и оглядываясь смотрит вперед, предвидит. И мне остается напомнить здесь его старое стихотворение, как его, моряка Краснознаменного Балтийского флота, «дуглас» вырывает из кронштадтской блокады и переносит в южную степь для короткого отпуска и он, уставший, бредет в холодной, продуваемой всеми ветрами заснеженной степи за своим промерзшим чемоданом, погруженным на розвальни, и мечтает о ночлеге, а ночлег далек, и удивляется сам себе, как, может быть, и сейчас, через много лет, оглядывая этот зал:

Ты подумай, куда занесло тебя, Семка,
Ах, куда занесло!

1995

Выступление 26 мая 1995 г. при вручении Семену Липкину Пушкинской премии, учрежденной фондом Альфреда Тёпфера.
Публикуется по изд.: Новый мир. 1995. № 10.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ПРАЗДНОВАНИИ 90-летия
СЕМЕНА ЛИПКИНА В МУЗЕЕ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ
В ПЕРЕДЕЛКИНЕ

С.С. Аверинцев

Дорогой и глубокочтимый Семен Израилевич! К моему живейшему сожалению, мое брэнное тело должно в это время находиться в другом пространстве, но я хотел бы, чтобы мой голос был там, где в этот день находится мое сердце, при этом празднестве. Я хотел бы выразить мою живейшую читательскую благодарность. Я всю свою жизнь Ваш читатель. Я полюбил Ваши стихи с первого взгляда, с самых первых, скудных, разрозненных публикаций. Я запоминал Ваши стихи наизусть и вспоминал их в вагоне метро и в других жизненных обстоятельствах, перебирая их снова и снова, строка за строкой. В позднее время к этому добавилось переживание личного общения с Вами. Это большая радость в моей жизни. Видеть Вас, видеть Инну Львовну, Ваш дом – это для меня радость. Ваши стихи – это стихи человека много пережившего, видевшего много бед, но это стихи, наполненные глубокой благодарностью. Ваши глаза прямо и бестрепетно смотрят на ужас мира, но Ваш взгляд претворяет все это в предмет для благодарности, в отражение Божьих слов о сотворенном мире: «Тов меод» («очень хорошо»). Бог увидел созданное и увидел, что оно было очень хорошо – тов меод. Это благодарное и просветляющее видение, которое не имеет ничего общего с подслащиванием и приукрашиванием жизни, как она есть. Это великое и редкое благо.

Должен сказать, что от души удивился, прочитав в благожелательном отзыве поэта Юрия Кублановского замечание о том, что Вашей поэзии будто бы недостает юмора. Я редко встречал

в поэзии наших дней такой глубокий юмор, соединяемый, – как и приличествует настоящему юмору, например, в Евангельских притчах, – с самой глубокой серьезностью, как в Вашем давнем уже стихотворении «Странники» с этой заключительной строкой: «Горе нам, не будет больше странствий». Вот эти люди, которые так скорбно жили в египетском рабстве, которые прошли через блуждания по пустыне 40 лет. И вот, наконец, они подходят к Земле обетованной, но их сердца не радуются, их сердца смущаются: «Горе нам, не будет больше странствий». Это очень глубокое слово о странностях человеческих чувств, и это слово очень серьезное, очень глубокое, но оно полно юмора. Юмора, призывающего нас, конечно, не к смеху, а к совсем другому, другой, более тонкой реакции.

Спасибо за все. Спасибо за Вашу человеческую доброту, спасибо за верное и совестливое служение Вашему поэтическому делу, а за Ваше дарование благодарность отходит к Богу, к небесам. И от всего сердца желаю Вам жизни до библейского срока, 120 лет. Желаю Вам и прежде всего самому себе эгоистически желаю Ваших новых стихов. Желаю Вам сил. И, разумеется, невозможно желать, искренне желать Вам всякого блага, не распространяя этих пожеланий на Инну Львовну. Конечно, это может быть только так.

Спасибо за все.

Тода раба («Благодарю»).

*Елена Чуковская
и послание от Александра Солженицына*

Дорогой Семен Израилевич! Думая о том, что Вам сказать сегодня, я, конечно, вспоминала все, что связано с Вами. И мне показалось, что просто Вы были всегда. Я вспоминала Ваши рассказы о войне, Ваши рассказы о Гроссмане, о Цветаевой, о Булгакове, Ваши приходы к нам в переделкинский Дом, ваши стихи об этом Доме, и просто ну вот многими годами жизни и памяти... как бы в память всех этих годов мне хочется Вас сегодня поздравить и сказать, какой радостью для нас всегда была дружба с Вами, для моей матери, и, наверное, для Корнея Ивановича. Здесь сегодня очень много сотрудников из музея Чуковского, которые, конечно, сами Вас поздравят, но все, весь наш Дом радуется Вашему празднику. Мне также сегодня поручено Александром Исаевичем Солженицыным прочесть его приветствие Вам, которое он написал, но, к сожалению, сам не смог приехать, поскольку он последнее время не очень хорошо себя чувствует. Вот я сейчас это приветствие читаю.

Дорогой Семен Израилевич!

Мы с Натальей Дмитриевной сердечно поздравляем Вас с Юбилеем выдающегося веса и отстойной длительности. Восхищает Ваша способность всю жизнь держаться на духовной высоте, выше и вне потока интеллектуальной моды. Глубоко сострадавая бедам людским и всего живого мира, Вы свою глубокую пронизательность воплотили во многих Ваших стихах, ища и обнаруживая сокровенные законы бытия и иероглифы вещества, Вашими словами. Радует мудрое устояние достигнутого Вами познания. Светлого духа Вам и впредь. Ваш Солженицын.

Юрий Кублановский

«Новый мир» поздравил в своем последнем номере Семена Израилевича. Всегда он наш желанный автор, безусловно. Но, действительно, поразительно, и, наверное, ведь впервые, это вообще в истории русской культуры, что мы празднуем 90-летие поэта. Такого не бывало никогда. Русские поэты мало живучи, ну за небольшими исключениями: Фет, Тютчев. Но до 90 лет не дожил никто, и в этом есть тоже величие Липкина как поэта. Он сумел выработать такой жизненный и творческий ритм, который помог ему просуществовать в течение всего этого страшного прошлого века. Быть может, отчасти код такого долгожительства в его превосходном стихотворении, одном из лучших стихотворений в русской лирике второй половины XX в. Я просто не могу его сейчас не прочитать.

Когда в слова я буквы складывал
И смыслу помогал родиться,
Уже я смутно предугадывал,
Как мной судьба распорядится,

Как я не дорасту до форточки,
А тело мне сожмут поводья,
Как сохраню до смерти черточки
Пугливого простонародья.

Век сумасшедший мне сопутствовал,
Подняв свирепое дреколье,
И в детстве я уже предчувствовал
Свое мятежное безволье.

Но жизнь моя была таинственна,
И жил я, странно понимая,
Что в мире существует истина
Зиждительная, неземная,

И если приходил в отчаянье
От всепобедного развала,
Я радость находил в раскаянье,
И силу слабость мне давала.

Это еще, помимо всего прочего, и замечательная религиозная лирика. И я думаю, именно вот это религиозное особое мироощущение Семена Липкина помогло состояться и его поэзии как феномену русской лирики XX в., и способствовало его долгожительству. Спасибо, Семен Израилевич, что Вы существуете.

Евгений Попов

У меня получилось так, что я недавно впервые оказался в Сталинграде. Так вот, и я ходил по этому городу, и все время думал о двух людях, о Липкине и о Гроссмане. Потому что этот город их – они его воспели так, что имена их связаны неразрывно с этим страшным городом. До сих пор страшным.

И я вспомнил другое, я вспомнил, когда мы познакомились с Семеном Израилевичем Липкиным, – здесь некая тема «Метрополия» возникает, – значит, мы взаимно ошибались. Потому что Семен Израилевич почему-то принял меня за нанятого рабочего, который клеит листы и выпивает портвейн между делом. А я почему-то принял его за переводчика с языков народов СССР и только. Ну, с помощью родной советской власти мы быстро разобрались, значит, что это все означает. И для меня беседы с Семеном Израилевичем в те годы – это вот были одновременно и как у Максима Горького, наверно, «мои университеты», и литинститут тоже. Учиться никогда не поздно, потому что... Тут уже я приступаю к теме уроков, которые он дал, Липкин, мне, а, наверное, через меня и всем нам. Потому что я часами слушал его, он знал всех писателей. Всех означает всех... я, допустим, называл имя малоизвестное абсолютно, мне Семен Израилевич тут же про него все рассказывал. Первый урок, маленький – то, что незначительных писателей нет. Есть или писатели, или не писатели. Это маленький урок профессиональный. А глобальные уроки, и о чем вот я думал тоже в Сталинграде, то я опять же для краткости скажу, что их три было. Первый, что есть Бог. Я окончательно

укрепился в этом, общаясь с Семеном Израилевичем. Второй урок, что счастье возможно и на земле, а не только на небесах, очевидно. И третий урок, что нужно жить так, чтобы кто-то перед тобой был в неоплатном долгу. Вот я в неоплатном долгу перед Семеном Израилевичем, и он знает, и другие знают, о чем я говорю. Так что долг отплатить никак невозможно, можно только восхищаться. Я поздравляю Вас. Я так рад, что Вы здесь, и мы здесь, и то, что мы можем делать то, что мы делаем.

Олег Чухонцев

Я не буду долго говорить, Семен Израилевич дорогой. Хотя бы потому, что большинство как бы находится в личных отношениях с Вами. Поскольку большинство присутствующих Ваших друзей находятся (повторяю) в личных отношениях каких-то, каждый сам по себе читатель, прежде всего, Ваших стихов, и поэтому у него свои отношения. Свое личное отношение к стихам и Вашей жизни я выразил когда-то в «Слове» о Вас. Но на то и... [Пролетает самолет.] С Туполевым не поспоришь, или с Ильюшиным, извините... Я скажу только две вещи, которые хотел Вам как-то сказать. Мы несколько лет назад, лет 20, в русском городе Ялте с Валею Берестовым как-то стали рассуждать, спорить о том, что было бы с русской поэзией, вообще с мировой поэзией, если бы человек жил долго. Ну, скажем, малый библейский срок, 120 лет, положим. Я подумал тогда, что, видимо, эпос победил бы лирику, но у нас не было ни одного эксперимента. Потому что великий цикл Вяземского – это чисто лирический выброс позднего Вяземского. Гёте был в разных жанрах. И вот я рад, что Вы доказали, что лирика тоже имеет права в таком возрасте. Что с мудростью не потеряна наивность. Что со знаниями не уходит первичное отношение к жизни. Это одно, и вот это тот урок, который, как бы сказать, мне еще для размышления. А второе, я просто хотел сказать Вам лично корыстное спасибо за то, что Вы меня с Инной Львовной подкармливаете как соседа иногда, нас с женой, и за то, самое главное, что не так страшно жить в этом мире, пока Вы живы.

Фазиль Искандер

Я очень рад вместе с собравшимися приветствовать Семена Израилевича за его прекрасную, мудрую поэзию. Он так широко раскинул свои поэтические сети, что туда, к счастью, попала

и Абхазия. Я когда-то с невероятным восхищением прочел его поэму «Нестор и Сария». Нестор Лакоба был председателем Совнаркома Абхазии. В 1936 г. он был вызван – видимо, уже шли какие-то трения с Берией, – вызван в Тбилиси, и после какого-то очень горячего разговора в ЦК они окончательно рассорились, Лакоба ушел к себе в гостиницу, но потом, – так передают, – пришла жена Берии, позвала его: «Примиритесь вы», – говорит. Он отказался. Но потом пришла мать. И его патриархальное сознание тут не выдержало просьбы матери, и он пошел в дом к Берия, как будто, говорят, стоя выпил стакан вина, который оказался роковым – он был отравлен. Они пошли после этого в театр. В театре ему стало плохо. И как говорят, – шофер говорил, – он уже понял, в чем дело, в гостинице он по-абхазски говорил Црши, Црши – Меня убили, меня убили. Он был отравлен. Я смутно помню похороны Лакобы. Огромная толпа. Похоронили его с почестями. Объявили, что умер от внезапной грудной жабы. В ботаническом саду. А буквально через несколько месяцев начались ужасающие процессы в Абхазии, где все ведущие работники были арестованы и все они, конечно, под пытками, признались в том, что Лакоба был якобы турецким шпионом, и только жена его, она до конца осталась верной памяти мужу, и несмотря на самые мучительные пытки. Это уже было в Тбилиси, и там вместе в камере с ней были грузинские женщины. Но и потом оставшиеся жить рассказывали, как ее без сознания вбрасывали в камеру. Дальше уже некоторым образом, может быть, и легенда, а может, и нет. Она сказала, что я все вынесу, кроме вида змей. Ее поместили в какую-то особую камеру, где были змеи, и она сошла с ума. То, что сошла с ума, – это объективно. И умерла в тюремной больнице. И вот этой удивительной женщине... Тут тоже не нашлось ни единого человека.

Конечно, наверное, процессы имели свою хитрость. Те, кто оказались упорными и крепкими, их и вообще не допускали до процессов. Так что мы вообще не знаем, были ли люди с большой твердостью, которые не дошли до процессов. Но вот эта женщина героическая, она все вынесла. И Семен Израилевич прекрасно об этом написал. И я вспоминаю, там есть одно совершенно изумительное место, я бы сказал, даже какое-то поэтическое новаторство, потому что я никогда в жизни не помню, чтобы простое перечисление людей, которых брали, то есть в этом перечислении полный хаос, ни по каким признакам, а просто. И этот поток хаоса, который, как будто бы поэт просто перечисляет, превращается в грандиозный какой-то плач по тому, что случилось. Это читать страшно и в то же время вдохновляет, что можно видеть правду даже в самых ужасающих ее выражениях и встать над

этой правдой, и как-то закрепить в себе человека. Все это я ощутил при чтении этой поэмы, и других поэм, и бесчисленного количества прекрасных стихов. Действительно, тут было сказано, что мы не помним ни одного большого русского поэта, который дожил бы до этого возраста. <...> Я полагаю, то, что Семен Израилевич достаточно рано религиозно созрел, помогало ему все видеть, но быть сильнее увиденного. Дай Бог, чтобы все его читатели этот урок осознали и плодотворно для себя и для своих близких переварили его. А Семену Израилевичу и нам я желаю, – дай Бог! – еще много юбилеев и встреч.

<...>

Публикуется впервые. Расшифровал Д. Полищук.

Лев Лосев
<СЕМЕН ЛИПКИН>

Человек дня

Ведущий итогового информационного часа Андрей Шарый:

19 сентября – поэт и переводчик Семен Липкин, 19 сентября ему исполняется 90 лет. Семен Липкин родился в 1911 г. в Одессе, закончил Московский инженерно-экономический институт, публиковался в газетах и журналах. С 1934 г. занимается литературными переводами с восточных языков. Липкин перевел несколько народных эпосов, поэмы Фирдоуси и других авторов. Участвовал в Великой Отечественной войне, награжден орденами и медалями. В 1981 г. вышел из Союза писателей СССР, в 1986 г. восстановлен. Семен Липкин – автор книг «Сталинградский корабль», «Декада», сборников стихов «Лира», «Письмена», «Очевидец», «Перед заходом солнца» и др. Женат. Человека дня «Радио Свободы» представляет поэт и профессор литературы Дартмундского колледжа Лев Лосев.

Лев Лосев:

Липкин – поэт высокого класса. Да и проза у него отличная. Я узнал его стихи поздно, в конце 70-х годов, когда работал в издательстве «Ардис», где Иосиф Бродский подготовил и выпустил большой сборник стихов Липкина «Воля». Помню, я спросил у Бродского: «Он же, кажется, переводчик с восточных языков?» «Замечательный поэт», – ответил Бродский и оказался прав. Кстати сказать, Бродского познакомила с поэзией

Липкина Ахматова, так что эстафета, по которой до меня дошли эти стихи, внушает почтение. Замечательно, конечно, и то, что Липкин – абсолютный рекордсмен человеческого и творческого долголетия в русской, да и мировой поэзии. Из поэтов его уровня в России Петр Вяземский дожил до 86 лет, а в Америке – Роберт Фрост до 89. Что и побудило меня сочинить к юбилею вот такой стишок:

Оставаясь вечно новым, не в пример поэтам хлипким,
Как-то переименован должен быть сегодня Липкин,
Тут не место липкам хрупким и вообще березкам всяким,
Нет, не Липкин он, а Дубкин, Баобабкин, Секвоякин.

Радио «Свобода», 19-09-2001, рубрика «Человек дня»:
http://www.svoboda.org/archive/ll_man/0901/ll.091901-1.asp

Андрей Немзер
ПРАЗДНИК НА ПУШКИНСКОЙ УЛИЦЕ

Сегодня поэту Семену Липкину исполняется 90 лет.

«Меня с детства таинственно притягивали к себе, страстно волновали Бог и история, то есть Бог и его подобия, и не только Бог Ветхого Завета, но и трехипостасный Бог Евангелия, и смутное, темное приближение к Создателю чувствовалось мне в пантеонах языческих богов Греции, Ассиро-Вавилонии, Египта <...> По правде говоря, я и теперь недалеко ушел от поэтических, философских вопросов моего детства, и ныне меня по-настоящему, сильнее и прочнее всего интересуют, волнуют, влекут, мучают, восхищают, обвораживают только два нераздельных явления – Бог и нация. О них я начал сочинять стихи в семь лет, о них я пишу и в семьдесят...»

Мемуарный очерк Семена Израилевича Липкина называется «Пушкинская улица». Пушкинская – это улица в многоязычной Одессе, на которой в 1911 г. родился мальчик Сема. А еще это улица Пушкина, дорога, угаданная отроком, путь, с которого не свернул старейший русский поэт. «Три книги, три мироздания вошли в мою жизнь, чтобы я двигался вместе с ними: Библия (Ветхий и Новый Заветы), “Илиада” и сочинения Пушкина. Они вместе, для меня нераздельные, составляют солнце моих дней. Собственно говоря, в них заключена моя жизнь, в них я нашел то, что люди называют Красотой, а что есть Красота, как не Истина?»

Так просто и естественно верить в единство Красоты и Истины может лишь тот, кто сердцем уразумел библейский стих: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма». Потому и мысль о Боге неотделима от мысли о человеке, грешном, порой преступном, но созданном по образу и подобию Божьему. И от мысли о нациях, разделивших Адамов род, но – всякая по-своему – хранящих отблеск небесного огня. Счастье дольного мира в его многообразии, предвещающем будущее единство. Счастье поэта – открывать это многообразие, сохранять его словом от дьявольской силы, что стремится превратить живой многоцветный мир в серую пыль. И еще – угадывать недоступное и вожденное единство, делать его ощутимым для смертных. Не случайно в воспоминаниях и размышлениях Липкина много раз проникновенно цитируется строка Жуковского «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли».

Сосредоточенное восхищение самыми разными национальными культурами, влюбленность в те поэтические традиции, что постигал Липкин-переводчик, естественно отражаются в его доверии к человеку, замороженности неповторимой личностью, будь то «простые» герои липкинских стихов или великие поэты, с которыми сводила его судьба. Не понаслышке зная, сколь сильно, безжалостно и коварно зло, многократно обращаясь к сюжетам геноцида, террора, рабства человека, поэт сохранил «наивную» веру – ту самую, что входила в состав его души при чтении Библии, Гомера, Пушкина. Он ушел от страшного и «убедительного» соблазна XX в. – соблазна разочарования в Красоте и отказа от творчества, якобы бессмысленного перед лицом тотального зла. Его стихи писаны именно что «после Освенцима» и при твердом знании: мы не застрахованы от повторения ужасов большевизма и нацизма. «Тропкою концентрационной, / Где ночь бессонна, как тюрьма, / Трубою канализационной / Среди помоев и дерьма, // По всем немецким и советским, / И польским, и иным путям, / По всем печам, по всем мертвецким, / По всем страстям, по всем смертям, – // Я шел. И грозен и духовен / Впервые Бог открылся мне, / Пылая пламенем газобен / В неопалимой купине». Или, как сказано в финале повести «Записки жильца», «страдание не устало, страдание шествует вперед».

Явив своей долгой жизнью пример редкого личного благородства, Липкин, кажется, никогда не чувствовал себя героем и жизнетворцем. «Век сумасшедший мне сопутствовал, / Подняв свирепое дреколь, / И в детстве я уже предчувствовал / Свое мятежное безволие. // Но жизнь моя была таинственна, / И жил я, странно понимая, / Что в мире существует истина / Зиждательная, неземная, // И если приходил в отчаянье / От всепобедного разва-

ла, / Я радость находил в раскаянье, / И силу слабость мне давала». Смирение вело к оправданию бытия. На житейском уровне это позволяло претворять «заказную работу» – переводы народных эпосов и восточных стихотворцев – в высокое, счастливое и свободное служение. Сознание собственной правоты, осмысленности дела, радость творческого труда страховали от «комплекса обиженного». В литературных мемуарах Липкина представлено изрядное количество мерзавцев (жизнь материалом обеспечила), но почти во всяком автор находит симпатичные черты. Исключения, конечно, есть, но все-таки: М был талантлив, N образован, X разбойничал лишь по указке свыше, Y свято верил в мудрость властей, а Z мучился из-за собственной пакостности. Признать окончательную победу зла, поставить крест на истории или отдельном человеке, отказаться от «объемного», понимающего и милосердного взгляда на мир, значит подыграть тому, кто неутомимо клеветает, провоцирует, толкает к отчаянию и стремится утвердить свою мертвую ложь, отнять у нас Библию, Гомера, Пушкина, веру в Красоту, равную Истине. Капитуляция для Липкина невозможна. Ни прежде, ни теперь. Порукой тому тихий диалог стихов, соседствующих в одной из его недавних подборок.

«Ветерок колышет ветки / Молодой оливы, / Я сижу в полубеседке, / Старый и счастливый. // Важных вижу я прохожих / В шляпах и ермолках, / Почему-то чем-то схожих / С книгами на полках. // Звук услышан и оборван, – / Это здесь не внове: / За углом автобус взорван / Братьями по крови». Если взрывы гремят на Святой Земле, если вновь повторяется Каинов грех (братство евреев и арабов не абстракция, но факт священной истории), если книги, хранилища мудрости, обречены небытию, как похожие на них люди, то чего стоит счастливая, блаженно легкая старость? Все так, но... «Проснусь, улыбнусь наяву: / Оказывается, живу! / В окне ветерок так прилежно / Качает листву. // Неспешно в осеннем саду / Неровным асфальтом иду, / Упавшие с дерева звезды / Желтеют в пруду. // Настойчива дней череда, / Придут в этот сад холода, / А звезды взметнутся на небо, / Блестя, как всегда». И ветерок тот же, что играл ветвями оливы, и осень расправляется с жизнью-листвой, и не за горами смерть в маске зимы, а звезды остаются звездами, поэзия – поэзией, свет – светом. Для киргизов и эллинов, калмыков и иудеев, поляков и монголов, армян и узбеков. Для всех, кому дорога та улица, что по-русски называется Пушкинской. На этой улице сегодня праздник.

Публикуется по изд.: *Время новостей*.
2001. 19 сент. № 171.

Михаил Синельников
ТАИНСТВЕННЫЙ ХОРИСТ

К 90-летию С.И. Липкина

Личное знакомство с Семеном Израилевичем Липкиным у меня состоялось ровно 30 лет назад в долгий и незабвенный вечер. К известнейшему переводчику и малоизвестному в то время поэту я, довольно молодой стихотворец, пришел по совету Межирова, увлеченно прочитавшего мне лучшие стихи Липкина наизусть – впечатление было ошеломляющее. Кроме того, я понял, что все это мне близко и по некоторым биографическим обстоятельствам... Липкин, очень проницательный и вместе с тем несколько настороженный, затаенный, видимо, не часто принимавший юных авторов, говорил со мною приветливо, слушал внимательно и смотрел изучающе. С годами наши отношения с Семеном Израилевичем стали теснее, а с какого-то времени осмеливаюсь себя назвать одним из друзей нашего замечательного современника... Иногда С.И. иронизирует, что я пришел к нему, не зная его произведений. Конечно, многого я знать не мог и с обширным корпусом стихов и поэм смог познакомиться только после известной истории с «Метрополем», когда все карты были открыты и за границей вышло избранное Липкина с почтительным предисловием Иосифа Бродского. Все же утверждение, что раньше я не знал ничего, не совсем верно. Переводы липкинские из классиков Востока я читал в детстве. Стихи, какие попадались в периодике, запомнил. Правда, очень сильного впечатления они не производили. Но вот то, что было прочитано Александром Петровичем Межировым, не только открыло мне крупного поэта и дало представление о его судьбе, но одновременно ослепило, как сноп огня, высветило мою собственную жизнь. Кажется, я не преувеличиваю. Ведь стихотворение «На Тянь-Шане», написанное Липкиным в 1948 г., – это повесть не только об участии встреченного в киргизском городке пожилого единоверца, но вместе с тем (странным образом) – рассказ о моем младенчестве, о детстве, проведенном в Ферганской долине. Вот в таком туземном городке. Детскими глазами я видел таких же персонажей и подобные обстоятельства...

Бьется бабочка в горле кумгана,
Спит на жердочке беркут седой,
И глядит на них Зигмунд Сметана,
Элегантный варшавский портной.

Восхитительна последняя строчка. Ведь это – вывеска! Элегантный варшавский портной... Вспомним здесь вывески Пи-

росманишвили. Впрочем, пожалуй, ближе будет такое: «Ставропольская бубличная артель. Одесские баранки». Ведь Зигмунд не обязательно варшавянин. Но это – марка. И конечно, он все-таки из Польши, погибшей в 1939 г....

Издадека занес его случай,
А другие исчезли в золе,
Там, за проволокой колючей,
И теперь он один на земле.

Это четверостишие с горчайшим его содержанием в комментариях не нуждается. Скажу только: больно ранит деловито-уклончивое слово «случай». Дальше совершенно упоительно:

В мастерскую, кружась над саманом,
Залетает листок невзначай.
Над горами – туман. За туманом –
Вы подумайте только – Китай!

Картина наглядна, пейзаж убедителен, чувствуется даже движение ветра. И еврейская интонация (которая, увы, во многих стихах авторов, явившихся на службу российской словесности с юго-запада, часто бывает комичной и раздражающей) здесь легка, воздушна, пленительна, естественна. Мне кажется, что и Полонский (один из важных для Липкина поэтов прошлого) одобрил бы движение, расстановку слов, отважную непринужденность. Рисунок стиха, паузы напоминают о тифлисском Полонском... Следующее четверостишие полностью возвращает меня в детство, в мягкие, быстро густеющие сумерки городка, лежащего у подножия Тянь-Шаня. Мне кажется, я вижу знакомые лица:

В этот час появляются люди:
Коневод на кобылке Сафо,
И семейство верхом на верблюде,
И в вельветовой куртке райфо.

Немного поговорим здесь о точности слов, о рифмах. Рифма – опорное слово, к которому сбегаются разные мысли и смыслы. Собравшиеся здесь (как вскоре выясняется, для молитвы и трапезы) люди (слово произнесено с некоторым нажимом, с упором на него, как на рифму), конечно, евреи. Имя кобылки Сафо, разумеется, условно и взято именно для подрифмовки. Но давались и такие имена, все натурально. Дальше – «семейство верхом на верблюде». Да, случалось и так в той удивительной

жизни... А в четвертой строке – точность предельная, смертоносная. Мне кажется, я вижу эту выгоревшую вельветовую (зеленую или бледно-синюю, какие тогда носили) куртку. Словно бы прикасаюсь к ребристой матерчатости рукава (давно истлевшего), вдыхаю запах, воздух эпохи...

Дальше, дальше...

День в пыли исчезает, как всадник,
Овцы тихо вбегают в закут.
Зябко прячет листья виноградник,
И опресноки в юрте пекут.

Целомудрие убогого быта, смирение. И здесь же – такая непреклонная верность 1000-летнему обряду! Нет, как это здорово: «И опресноки в юрте пекут»!

В последнем же, итоговом, четверостишии сказано так много, что добавить нечего. Полная исчерпанность темы, подобная утолению Жажды. Сила вечно совершающегося рока, мощь всегда стоящей за спиной и нависающей судьбы. Вот что сказано:

Точно так их пекли в Галилее,
Под навесом, вечерней порой...
И стоит с сантиметром на шее
Элегантный варшавский портной.

Да, это стихи о еврейской судьбе в XX в., но и во всех других веках. О судьбе этой (ощущая свою земную участь ее частицей) поэт думал постоянно. Раскрываю том Семена Липкина на страницах, где помещены стихотворения, относящиеся ко времени нашего знакомства: «Мне от снежинки больно. / Она, меня узнав, / Звездой шестиугольной / Ложится на рукав»... Вот какого человека я некогда навестил в его одиночестве: очень невеселого, объятая тревогой.

Да – «не на идише, не на иврите / Я писал, но писал и о вас». Но ведь в России «на еврейскую тему» проникновенно писали и неевреи... Изощренный мастер русского стиха, ритмики, воодушевленный российской историей и живущий в русской природе, не чуждый русского чувства, Липкин – русский поэт. Дело не только в том, что его русский язык превосходен. Эта лирика не сводится лишь к еврейской проблематике. Она прежде всего человечна. И общечеловечна. Непосредственно соседствующее со стихотворением о «Звезде шестиугольной» повествование – уже рассказ о жизни в Чечне: «Беру у бизнесменки редиску и творог. / На родине чеченке пусть помогает Бог. / Пусть больше не отправит туда, где дни горчат, / Пусть горя поубавит, прибавит ей внучат...» Трид-

цятилетие спустя эти строчки (в свете всего на наших глазах творящегося) читаются с особым чувством.

В ранних и поздних стихах (и в прозе, и в драматургии) Липкина царит большое многолюдство. Столько здесь историй «про человеческое горе»... Всюду непрекращающийся интерес к человеку и обстоятельствам его бытия. Столько людей: горожане и крестьяне, кавказские горцы, армяне, цыгане, калмыки, корейцы, арабы... Знаменитые поэты и государственные деятели, прекрасные женщины, русские святые и злодеи, палачи и жертвы... Их особость, большое сходство. И единство! Своя гипотеза, свой образ мироздания – в стихах, одухотворенных религиозным чувством, скрытно пронесенным через десятилетия. «Я же только переписчик Завещавшего закон...» Поэт верен духу Книги Бытия, Иову, Екклесиасту и потому (пока есть вера) безошибочен в своих суждениях о происходящем на Земле. Верен духу Писания, но способен ощутить присутствие божества и в церкви, и в мечети, и в кумирне. Религиозный трепет подлинен, а возникающий иногда юмор ситуаций горек. Очевидец совершающегося Закона одновременно преисполнен жалости и неутешительно правдив:

Где заново мы сотворимся?
Куда мы направим шаги?
В светильниках чьих загоримся
И чьи утеплим очаги?

На днях я имел радость навестить Семена Израилевича на переделкинской даче. Поэт, встречающий в этом году свое 90-летие, делился со мною прелестными воспоминаниями (о, не все рассказанное мне вошло в изданную мемуарную книгу!) В разговорах Липкина (как и в его последних стихах, среди которых много превосходных) нет идиллической дачной безмятежности. Мне кажется, старого поэта не покидает та привычная тревога, что жила в нем и на заре туманной юности, и в годы скитаний по глухим кишлачным окраинам империи, где им переводились Рудаки и Фирдоуси. Я часто думал о жизни Липкина и сейчас вспоминаю строки Ходасевича: «О, если бы вы знали сами, / Европы темные сыны, / Какими вы еще лучами / Неощутимо пронзены!» В сознании подлинного поэта незримо пребывает все пронзенное его мыслью мироздание. В этом сознании находимся и все мы, во всяком случае, многие из нас... Долгая жизнь Липкина мне всегда кажется подарком моему и более молодым поколениям. Я от всего сердца желаю Семену Израилевичу новых сил и вдохновений!

Сказано Эпикуром: «Живи незаметно!» Мне кажется, скромный Липкин даже как бы и не настаивает на каком-то

своём авторстве. Но присутствие этой лирики весьма ощутимо. Иногда этот голос становился необходимым:

Есть отрада и в негромкой доле.
Я запомнил, как поет в костеле
Маленький таинственный хорист.
За большими трубами органа
Никому не видно мальчугана,
Только слышно: голос чист...

Публикуется по изд.: Вестник Еврейского агентства.
2001. Сент. № 54 (1).



Афиша последнего авторского вечера
С. Липкина, на котором он прочел поэмы
«Техник интендант» и «Вячеславу. Жизнь
перedelкинская». 2002 г.

ПАМЯТИ СЕМЕНА ЛИПКИНА

Отечественная поэзия понесла невосполнимую, большую потерю. На 92-м году жизни скончался Семен Липкин, выдающийся наш поэт, переводчик, знакомец Мандельштама, Багрицкого, Заболоцкого, друг Ахматовой и Тарковского.

В своей простой и мощной поэзии Липкин совмещал, кажется, несовместимое: лиризм и эпiku, гражданский пафос и взгляд на мир «со звезды». Участник войны, в начале 1960-х годов он пишет яркую и проникновенную поэму о войне «Техник-интендант», которую Анна Ахматова считала в числе лучших на военную тему в русской поэзии... В советские времена Липкин жил за счет переводов, но относился к переводческой деятельности не как к кормушке, но как к полноправной культурной деятельности. Уже на исходе шестого десятка поэт выходит из Союза писателей, том его стихотворений с эмблематичным названием «Воля» выпускает Иосиф Бродский в Америке.

В последнее десятилетие Липкин широко печатается на родине, публикует не только лирику, но и прозу, и воспоминания, и переложения древнего эпоса «Гильгамеш».

В одном из своих лучших стихотворений середины 1970-х годов Липкин писал:

Век сумасшедший мне сопутствовал,
Подняв свирепое дреколье,
И в детстве я уже предчувствовал
Свое мятежное безволие.

Но жизнь моя была таинственна,
И жил я, странно понимая,
Что в мире существует истина
Зиждительная, неземная,

И если приходил в отчаянье
От всепобедного развала,
Я радость находил в раскаянье,
И силу слабость мне давала.

Липкин скончался, сойдя с крыльца своей переделкинской дачи, – упал лицом в снег. Его супруга – поэт Инна Лиснянская была возле...

Поэзия Липкина не затеряется в толще русской культуры второй половины прошлого века, но останется как одно из самобытных и ярких ее явлений.

*Александр Солженицын, Наталья Солженицына,
Фазиль Искандер, Олег Чухонцев,
Юрий Кублановский,
Лев Аннинский, Наталья Иванова*

Публикуется по изд.: Литературная газета.
2003. 9–15 апр. №14 (5919).

Андрей Немзер
«ИСПОЛНЕН ДОЛГ, ЗАВЕЩАННЫЙ ОТ БОГА»

Умер Семен Израилевич Липкин. Он прожил 91 год, шесть месяцев и 12 дней. «Тропою концентрационной, / Где ночь бессонна, как тюрьма, / Трубою канализационной, / Среди помоев и дерьма, // По всем немецким и советским, / И польским, и иным путям, / По всем печам, по всем мертвецким, / По всем страстям, по всем смертям, – // Я шел. И грозен и духовен / Впервые Бог открылся мне, / Пылая пламенем газовен / В неопалимой купине». Здесь можно остановиться, ибо, хотя написанное в 1967 г. стихотворение и называется «Моисей», поэт – с полным правом – говорил здесь о себе.

Итоговая книга Липкина называется «Семь десятилетий» – страшно подумать, что уложилось в этот временной интервал. Поэт воочию видел море зла, горя и человеческой скверны – он не по слухам знал, что такое страх и отчаяние, что такое ад на земле. «Смятений в мире было много. / Ужасней всех, страшней всего – / Две ночи между смертью Бога / И воскресением Его. // И ужас в том, что в эти ночи / Никто, никто не замечал, / Как становился мир жесточе / И как, ожесточась, мельчал. // Верблюжий колокольчик звякал, / Костры дымились вдалеке, / А мертвый Бог уже не плакал / На местном древнем языке. // Но мир по-прежнему плодился / И умножал число вещей... / Я тоже, как и вы, родился / В одну из тех ночей». Брошенный

в ночь, он не подчинился тьме, ибо не поверил в ее беспроглядность, сердцем оспорил ее наглуго, безжалостную и самоуверенную «неодолимость». Он был верен завету. «Если в воздухе пахло землю / Или рвался снаряд в вышине, / Договор между Богом и мною / Открывался мне в дымном огне. // И я шел нескончаемым адом, / Телом раб, но душой господин, / И хотя были тысячи рядом, / Я всегда оставался один». Понятно, что не только о войне идет речь в восьмистишии 1946 г. Открыв в себе свободного человека, ощутив неразрывность своей связи с Богом, Липкин сумел быть поэтом «после Освенцима». Его чувство единства человеческого рода и человеческой истории было неотделимо от верности своей стезе – стезе слышащего божественный глагол, что таинственно претворяется в слово поэта. «Слышишь медных глаголов дрожанье? / Это римские речи звучат. / Сотворили-то их каторжане, / А не гордый и грозный сенат. // Отгремел, отблестал Капитолий, / И не стало победных святынь, / Только ветер днестровских раздолий / Ломовую гоняет латынь. // Точно так же блатная музыка, / Со словесной порвав чистотой, / Сочиняется вольно и дико / В стане варваров за Воркутой // ...Он поет, этот новый Овидий, / Гениальный болтун-чародей, / О бессмысленном апартеиде / В резервацьи воров и блядей. // Что мы знаем, поющие в бездне, / О грядущем своем далеке? / Будут изданы речи и песни / На когда-то блатном языке».

Поэзия – вопреки вавилонскому разделению языков и канонизированной XX веком идее принципиальной замкнутости культур – служит человеческому единению. С.И. был Переводчиком (здесь это слово уместно писать с заглавной буквы) не потому, что советская нежить не пропускала к читателю его стихи. (Зарабатывать на жизнь, сочиняя в стол, можно было и иными способами.) Он был Переводчиком, потому что с детских лет равно пленился Библией, Гомером в великих переложениях Гнедича и Жуковского и Пушкиным, потому что ощущал необходимость по-русски выговорить то, что жило в народных эпических поэмах и созданиях великих классиков Востока, потому что в собственных стихах и прозе вдохновенно и по-колдовски убедительно воссоздавал неповторимый лад «чужих» миров. Он был Переводчиком, потому что был Поэтом. Он помнил, что слова о единстве «своего» и «чужого» принадлежат тому же великому наставнику русской поэзии, что замкнул гениальный перевод средней немецкой драмы своей бессмертной формулой «Поэзия есть Бог в священных мечтах земли».

Поэзия оставалась с С.И. до последних дней – как до последних дней с ним оставалась его воистину счастливая любовь. Любовь эта принесла счастье и нам – счастье читательской

сопричастности торжественному, полному нежности и страсти, просветленному и просветляющему собеседованию поэтов – Инны Лиснянской и Семена Липкина. Помянув в стихотворении «Квадрига» (1995) ушедших друзей, Липкин как выдохнул: «А мне, четвертому, – ломать / Девятый суждено десяток, / Осталось близких вспоминать, / Благословляя дней остаток. / Мой путь, извилист и тяжел, / То сонно двигался, то грозно. / Я счастлив, что тебя нашел, / Мне горько, что нашел так поздно. / Случается, что снится мне / Двор детских лет, грехопаденье, / Иль окружение на войне, / Иль матери нравоученье, / А ты явилась – так во сне / Является стихотворенье». Здесь, опять как у Жуковского, горнее сливается с дольным, жизнь – с поэзией. Иначе для Липкина быть не могло: поэтому прозревал он в расстрелянной еврейке и изнасилованной русской девчужке черты Богородицы, поэтому за земными болями и печальми видел красоту и величие человеческого духа, поэтому не отделял неизбежного для нас страдания от нашей же благословенности. «Пусть три тысячи двести над уровнем моря, / Пусть меня грузовик мимо бездны провез, / Все равно нахожусь я на уровне горя, / На божественном уровне горя и слез. // Потому-то могу я с улыбкой утешной / На мгновение в душе отразиться больной, / Потому-то, и жалкий, и слабый, и грешный, / Я сильнее Кавказа, Кавказ подо мной».

Так он чувствовал, так жил, так писал. С уходом С.И. осиротели не только его родные, друзья, знакомцы, читатели... Мир стал беднее и немощней. И нужно то великое мужество свободы и надежды, которым обладал Липкин, чтобы сейчас всерьез проникнуться духом его поздних – пасхальных – стихов.

«Прошедшее в тумане / Давно затаено, / А я воспоминаний / Пью горькое вино. // Как в день пасхальный, – свято, / Оно и есть любовь / К тем, кто ушел когда-то / И не вернется вновь. // Когда чутье утрою, / Чуть-чуть, едва-едва, / Я слышу их порою, / Но только не слова: // Они звучат над нами / Дыханьем жарких крыл, / Взлетая пред глазами / Того, Кто их творил».

Публикуется по изд.: *Время новостей*.
2003. 2 апр. № 58.

ТАТЬЯНА БЕК О СЕМЕНЕ ЛИПКИНЕ
Беседу вел Семен Резник

Интервью радиостанции «Голос Америки»

Из Москвы пришло печальное известие о кончине замечательного писателя и человека Семена Липкина. Я обратился к известной московской поэтессе и литературному критику Татьяне Бек, которая хорошо знала Семена Израилевича и была дружна с ним и с его женой, известной поэтессой Инной Лиснянской.

– В связи с кончиной Семена Липкина мне на память пришла часто цитируемая строка Евгения Евтушенко: «Поэт в России больше, чем поэт». Мне кажется, что почти ни к кому из поэтов советской и постсоветской России такая характеристика не относится так прямо и точно, как к нему...

– Я согласна, хотя мне кажется, что эта формула давно стала штампом, клише, а к Семену Израилевичу вообще никакие клише не подходят. Он просто был Поэт с большой буквы. И он, безусловно, останется в литературе как выдающийся поэт XX в., перешагнувший, как мы видим, в век XXI. Очень хорошо о нем сказал на недавней панихиде поэт – его, кстати, любимый поэт из последующих – Евгений Рейн. Он в своей надгробной речи подчеркнул, что Липкин был выдающимся связующим звеном, скорее даже мостом, между Серебряным веком и нашим, т. е. он соединил вот это начало – Анненского и Блока – с тем, что происходит сейчас в поэзии, и вообще, шире – в русской словесности. Он родился в 1911 г. Был учеником Багрицкого, при этом очень близко знал и Мандельштама, более того, он даже ему дерзко указывал на какую-то неточность в его рифмах, спорил с ним. Дружил с Ахматовой, с Марией Петровых, с Заболоцким, с Пастернаком. У него было много учеников, которые сейчас еще молоды. В какой-то из газет написали, что он был не только выдающимся поэтом Советской России – он был ее оправданием.

– В каком смысле?

– В том смысле, что столько было там и графомании, и лжи, и какой-то подделки. А Семен Липкин как-то вот смог, оставшись в России, все-таки не посрамить звание русского поэта и, повторяю, продолжить вот эту традицию начала XX в., не уронить ее в грязь лицом и добавить к ней новые очень важные обертоны и оттенки.

– И, насколько я знаю, он всегда принадлежал той среде творческой интеллигенции, которая старалась в условиях советской системы оставаться честной, порядочной, сохранять свое

«я». Более того, даже среди тех людей он был как бы эталоном, на него равнялись.

– Семен Липкин – он не просто сохранял себя. Он, например, спас рукопись Василия Гроссмана – его выдающийся роман «Жизнь и судьба», который был, как вы знаете, изъят КГБ и долго считался утраченным для читателя. Семен Липкин, сильно рискуя и проявляя колоссальное мужество, сохранил эту рукопись. И, когда пришло время, в конце 1980-х, донес ее до широчайшего читателя.

– Об этом, между прочим, написали два американских исследователя – супруги Геррарды из Аризонского университета, авторы превосходной биографии Василия Гроссмана. Они интервьюировали Семена Липкина, и в их книге много говорится о нем и его дружбе с Гроссманом.

– Я хочу к этому добавить, что Липкин был не только замечательным поэтом, он в более поздние годы себя проявил как уникальный прозаик. И одним из его главных прозаических произведений была книга «Жизнь и судьба Василия Гроссмана», где соединились и мемуары, и литературоведческий анализ. То есть он еще был и вернейшим другом своих друзей. Он сохранил не только себя, он сохранил и их.

– Скажите мне вот о чем, Таня. Какое влияние – вы с ним общались довольно тесно – какое влияние на вас он оказал?

– Об этом я подробнее скажу. Еще девочкой, переехав с родителями в писательский дом возле метро «Аэропорт» в Москве, я сразу же стала соседкой Семена Израилевича, и более 20 лет мы просто жили в соседних подъездах. Я помню этого большеголового человека со странной, но необычайно привлекательной внешностью, его такое ветхозаветное лицо, которое всегда было озарено иронией, но иронией очень мудрой и доброй. Чуть в более поздние годы, подростком, я присутствовала при том, как он в Малеевке, в подмосковном Доме творчества, читал свою поэму «Техник-интендант». Это, может быть, лучшее, что написано в поэзии о Второй мировой войне. Поэма тогда ходила в самиздате. Он читал ее, запершись в номере, моему отцу и еще двум-трем писателям. Так что я – счастливый человек: наблюдала его много лет. В последние годы бывала у них в гостях. Он был мужем прекрасной поэтессы Инны Лиснянской. Их невероятная любовь и творческое содружество нас всех вдохновляли. Я была даже на их поздней свадьбе. И так случилось, что в конце января я приходила к ним в гости, я с ним как-то попрощалась, мы даже немного выпили за 100-летие моего отца, которого он всегда помнил. Он вообще помнил ушедших людей. Человек он был замечательный, у него было много учеников, он давал переводческие уроки

ученикам, просто слушал чужие стихи, необыкновенно был к ним внимателен. Но, кроме того, на нас влияли его тексты. Его изумительная, какая-то вдохновенная точность и, я не люблю этого слова в применении к поэзии, но у него была совершенно самобытная техника. Этому нельзя научиться, но вслед за этим можно идти.

– Не могли бы вы привести наиболее запомнившиеся вам, тронувшие вас стихи Семена Липкина...

– Больше всего у меня в памяти живут и меня тревожат такие вот строчки:

Между мною и смертью – пустячок, идиома.
То ли древняя дрема, то ли память погрома.

И еще вот это стихотворение, «Зола», написанное в 1967 г. Оно, несомненно, войдет в самые отборные хрестоматии, антологии XX в., удивительное по своему трагизму, но и все равно – жизнепрियाтию.

Я был остывшею золой
Без мысли, облика и речи,
И вышел я на путь земной
Из чрева матери, из печи.
Еще и жизни не поняв
И прежней смерти не оплавав,
Я шел среди баварских трав
И обезлюдивших бараков.
Неспешно в сумерках текли
«Фольксвагены» и «Мерседесы»,
А я шептал: «Меня сожгли.
Как мне добраться до Одессы?»

– Семен Израилевич Липкин, русский поэт, был евреем по национальности, и тема Холокоста его очень волновала.

– Он был русский поэт, он любил всей душой, всей своей сущностью Россию. Он вообще был украшением русской культуры. Но никогда, ни на секунду не забывал, что он еврей. Он, как мало кто, знал Ветхий Завет и Библию, был человек своеобразной религиозности, и всегда при нем была память погрома. Хочу еще добавить, что умер он, если можно так выразиться, очень счастливой смертью. Это было в понедельник, в последний день марта. Он рано утром вышел погулять из своей перedelкинской дачи и просто упал у калитки в снег, споткнулся. И больше не встал.

– Пусть земля ему будет пухом, и пусть его поэзия и его светлый облик останутся в России, останутся среди нас, среди тех, кому нужна поэзия, кому нужна культура, кому нужна порядочность. Это был действительно замечательный, талантливый, яркий и нужный всем человек.

Публикуется по изд.: Вестник.
2003. 30 апр. № 9 (320).

Избранная библиография

Книги

Стихи, проза, драматургия

- Родина. М.; Л.: Военмориздат, 1941. 24 с.
- Сталинградский корабль. Боевые действия краснознаменной лодки «Усыскин». М.: Военмориздат, 1943. 64 с. («Фронт-овая б-ка краснофлотца».)
- Очевидец. Стихотворения разных лет / Худож. Г. Алимов. М.: Сов. писатель, 1967. 184 с.
- Очевидец. Стихотворения разных лет. Элиста: Калмыцкое книжное изд-во, 1974. 128 с.
- Вечный день. Стихотворения. М.: Сов. писатель, 1975. 96 с.
- Тетрадь бытия. Стихи и переводы. Душанбе: Ирфон, 1977. 223 с.
- Воля. Стихи. Ann Arbor: Ardis, 1981. 300 с.
- Кочевой огонь. Стихи. Ann Arbor: Ardis, 1984. 168 с.
- Декада. N. Y.: Chalidze publ., 1983. 184 с.
- Сталинград Василия Гроссмана. Ann Arbor: Ardis, 1986. 145 с.
- Картины и голоса / Предисл. Вл. Максимова. L.: Overseas Publications Interchange Ltd, 1986. 104 с.
- Лири. Стихи разных лет. М.: Правда, 1989. 32 с. (Б-ка журнала «Огонек».)
- Декада. Сб. / Послесл. Ст. Рассадина. М.: Книжная палата, 1990. 288 с. (Популярная б-ка.)
- Жизнь и судьба Василия Гроссмана. М.: Книга, 1990. 272 с.
- Лунный свет: Стихотворения и поэмы. М.: Современник, 1991. 252 с.
- Угль, пылающий огнем. М.: Правда, 1991. 48 с. (Б-ка журнала «Огонек».)
- Письмена: Стихотворения. Поэмы / Предисл. Ст. Рассадина М.: Худож. лит., 1991. 351 с.
- Перед заходом солнца. Париж; Москва; Нью-Йорк: Третья волна, 1995. 144 с.
- Вторая дорога. Зарисовки и соображения. М.: Олимп, 1995. 270 с.
- Квадрига. Повесть. Мемуары. М.: Аграф, 1997. 640 с.

- Посох. Стихотворения. М.: ЧеРо, 1997. 144 с.
Семь десятилетий. Стихи и поэмы. М.: Возвращение, 2000. 592 с.
Липкин С., Лиснянская И. Вместе. М.: Грааль; Рус. путь, 2000. 320 с.
Воля: Стихи, поэмы. М.: ОГИ, 2003. 496 с.

Переложения для детей

- Манас Великодушный. Повесть. М.: Сов. писатель, 1947. 232 с.
Царевна из города тьмы. Повесть по мотивам узбекских народных поэм. М.: Детгиз, 1961. 160 с.
О богатырях, умельцах и волшебниках. Три повести. М.: Детгиз, 1963. 494 с.
Держава ранних жаворонков. Повесть по мотивам бурятского эпоса. М.: Дет. лит., 1968. 176 с.
Рожденный из камня. Повесть по мотивам кавказских сказаний. М.: Дет. лит., 1974. 160 с.
Приключения богатыря Шовшура, прозванного Лотосом / Рис. Л. Фейнберга. М.: Детгиз, 1958. 96 с.
Золотая цепь. Восточные поэмы / Пер. и вступ. ст. С. Липкина; рис. Л. Фейнберга. М.: Дет. лит., 1970. 222 с.

Переводы

- Эули С.* Стихи / Пер. с груз. В. Бугаевского, С. Липкина, С. Олендера, А. Тарковского, А. Чачикова; оформление худ. А. Голконникова. М.: ГИХЛ, 1934. 80 с.
Джангар. Калмыцкий народный эпос / Илл. В. Фаворского; предисл. О.И. Городовикова. М.: Худож. лит., 1940. 355 с.
Навои А. Лейли и Меджнун. Поэма. Ташкент: Гос. изд-во УзССР, 1943. 232 с.
Манас. Киргизский эпос. Великий поход / Пер. С. Липкина, Л. Пеньковского, М. Тарловского. М.: ОГИЗ ГИХЛ, 1946. 372 с.
Навои А. Семь планет. Ташкент: Госиздат УзССР, 1947. 284 с.
Нарты. Кабардинский эпос / Пер. В. Звягинцевой, С. Липкина, С. Обрадовича, М. Петровых, В. Потаповой. М.: ГИХЛ, 1951. 504 с.
Фирдоуси А. Сказание о Бахраме Чубина. Из «Шахнаме». Сталинабад: Таджикгосиздат, 1952. 344 с.
Джами А. [Избранное] / Пер. с тадж. (фарси) В. Державина, С. Липкина. М.: ГИХЛ, 1955. 212 с.
Липкин С. Кабардинская эпическая поэзия. Избранные переводы. Нальчик: Кабардинское книжное изд-во, 1956. 304 с.
Рудаки А.-А. Избранное / Пер. с тадж. В. Левика, С. Липкина. Сталинабад: Таджикгосиздат, 1958. 200 с.

- Махмуд из Кахаб-Росо.* Песни любви / Пер., предисл. и примеч. С. Липкина. М.: ГИХЛ, 1959. 80 с.
- Фирдоуси.* Поэмы из «Шахнаме» в переводах С. Липкина. Сталинабад: Таджикгосиздат, 1959. 524 с.
- Липкин С.* Голоса шести столетий. Избр. переводы с узб. Ташкент: Гослитиздат УзССР, 1960. 392 с.
- Абхазские сказания* / Пер. и предисл. С. Липкина; сост. Б.В. Шинкуба. Сухуми: Абгосиздат, 1961. 134 с.
- Страницы таджикской поэзии* / Сост. и пер. С. Липкин; предисл. М. Турсун-Заде. Сталинабад: Таджикгосиздат, 1961. 259 с.
- Липкин С.* Строки мудрых. Переводы / Предисл. А. Лейтеса; худож.-оформ. Е. Коган. М.: Сов. писатель, 1961. 228 с.
- Приключения нарта Сасрыквы и его девяноста девяти братьев.* Абхазский народный эпос / Пер. Г. Гулиа (проза), С. Липкина (стихи). М.: ГИХЛ, 1962. 288 с.
- Гургани Ф.* Вис и Рамин. Поэма / Пер. с перс. С. Липкина; вступ. ст. и общ. ред. И. Брагинского; худож. В. Эльконин. М.: ГИХЛ, 1963. 495 с.
- Джами.* Весенний сад. Бахаристан / Пер. с тадж. М. Занда; стихи в пер. А. Адалис., С. Липкина. Душанбе: Ирфон, 1964. 252 с.
- Джами.* Юсуф и Зулейха / Пер. с тадж. С. Липкина. Душанбе: Таджикгосиздат, 1964. 288 с.
- Бабич Ш.* Избранная лирика / Пер. с башк. С. Липкина. Уфа: Башкирское книжное изд-во, 1966. 60 с.
- Семьдесят две небылицы* / Пер. с калмыц. С. Липкина; гравюры В. Мезенцева. Элиста: Калмыцкое книжное изд-во, 1969. 64 с.
- Гэсэр.* Бурятский героический эпос / Пер. с бурят. С. Липкина. М.: Худож. лит., 1973. 396 с.
- Дебет Златоликий и его друзья.* Балкаро-карачаевский нартский эпос / Пер. С. Липкина. Нальчик: Эльбрус, 1973. 156 с.
- Калидаса.* Избранное. Драмы и поэмы / Пер. с санскрита С. Липкина; сост., подстроч. пер., вступ. ст. и примеч. В. Захарьина; худож. А. Скородумова. М.: Худож. лит., 1973. 408 с. (Драмы: Малявика и Агнимитра; Мужеством завоеванная Урваши; Шакунтала, или Перстень-примета. Поэмы: Облак-вестник; Рождение бога войны; Род Парху.)
- Махабхарата* / Пер. С. Липкина // Махабхарата. Рамааяна / Пер. С. Липкина. В. Потаповой. М.: Худож. лит., 1974. 606 с. (Б-ка всемирной литературы. Т. 2.)
- Махабхарата.* Четыре сказания / Пер. с санскрита, вступ. ст. С. Липкина; подстроч. пер. О. Волковой; худож. Г. Клодт. М.: Худож. лит., 1969. 192 с. (Народная б-ка.)
- Липкин С.* Слово и камень. Избр. переводы из узб. поэзии. Ташкент: Изд-во лит. и искусства им. Г. Гуляма, 1977. 472 с.

- Письмена. Стихи поэтов Востока в переводах С. Липкина. Вступ. ст. Л. Эйдлина, примеч. С. Липкина // Далекие и близкие. Стихи зарубежных поэтов в пер. В. Марковой, С. Липкина, А. Гитовича. М.: Прогресс, 1978. 312 с. (Мастера поэтического перевода.)
- Джами.* Поэмы: Золотая цепь; Дар благородным; Четки праведников; Юсуф и Зулейха; Лейли и Меджун; лирика / Пер. С. Липкина // Джами. Избр. произведения. Л.: Л.О. изд-ва Сов. писатель, 1978. 656 с. (Б-ка поэта, большая серия, 2-е изд.)
- Андалусская поэзия / Пер. с араб. В. Потаповой, М. Петровых, Б. Шидфара, С. Липкина, М. Кудинова, Е. Витковского, М. Зенкевича, В. Микушевича, Ю. Хазанова, Г. Кружкова, В. Игельницкой, М. Курганцева, Н. Стефановича, Н. Горской, Е. Николаевской, Л. Кельмана, А. Межирова. М.: Худож. лит., 1988. 319 с.
- Едигей. Татарский народный эпос / Пер. С. Липкина. Казань: Тат. книжное изд-во, 1990. 256 с.
- Земная музыка. Образцы народной и классической поэзии Дагестана / Пер. С. Липкина. Махачкала: Дагестанское книжное изд-во, 1995. 216 с.
- Гургани Ф.* Вис и Рамин / Пер. С. Липкина; худож. М. Ромадин. Петрозаводск: АО Карпован сизарексет, 1996. 352 с.
- Гильгамеш / Стихотворное переложение С. Липкина; послесл. Вяч.Вс. Иванова; словарь сост. И.М. Дьяконовым; илл. С. Острова. СПб.: Пушкинск. фонд, 2001. 120 с.

Интервью

- Я хотел передать музыку киргизской поэзии. Беседа с Валерием Ровинским // Слово Кыргызстана. 1995. 21 янв.
- Нынешняя власть не заинтересована в литературе. Это хорошо. Беседу вела Ирина Тосунян // Литературная газета. 1996. 30 окт. № 44 (5626).
- Покурим, Семен Израилевич? Беседу вела Юнна Чуприна // Общая газета. 1997. 18–24 сент. № 37 (216).
- Искусство не знает старости. Беседу вела Ольга Постникова // Вопросы литературы. 1998. № 3.
- Воспоминания о поэте Арсении ТАРКОВСКОМ (беседа с А.Н. Кривомазовым) // Антология мировой поэзии. 2001. № 5.
- «Я родился при царе и девять лет жизни прожил в нормальных условиях». Беседу вела Екатерина Варкан // Независимая газета. 2001. 15 сент.

- Мы – бедные наследники великой литературы. Беседу вела Лиза Новикова // Коммерсантъ. 2001. 19 сент. № 170.
- «Тем, кого я переводил, я часто советовал, что убрать, где расширить...» Беседу вела Елена Калашникова // Русский журнал. 2002. 7 мая. www.russ.ru/krug/20020507_kalash.html.
- С вершины горы. Беседу вел Лев Алейник // Алеф. 2002. № 900 (8).
- Преодоление века. Беседу вел Ян Шенкман // www.peoples.ru/art/literature/poetry/contemporary/lipkin/index.html

Статьи, воспоминания о С.И. Липкине

- Турсун-Заде М.* Друг нашей поэзии // Страницы таджикской поэзии / Сост. и пер. С. Липкин; предисл. М. Турсун-Заде. Сталинабад: Таджикгосиздат, 1961.
- Эйдлин Л.* Восточные переводы в поэзии С. Липкина // Далекие и близкие. Стихи зарубежных поэтов в переводе В. Марковой, С. Липкина, А. Гитовича. М.: Прогресс, 1978.
- Аксенов В.* // Липкин С. Воля. Анн Арбор: Ардис, 1981.
- Максимов В.* Путь вверх // Картины и голоса. L.: Overseas Publications Interchange Ltd, 1986.
- Рассадин С.* Очевидец // Липкин С. Декада: Сб. М.: Книжная палата, 1990.
- Рассадин С.* Человек, называющий все по имени // Липкин С.И. Письмена. М.: Худож. лит., 1991.
- Степанян Е.* «Не стал ничтожным ни единый...». Заметки о лирике Семена Липкина // Континент. 1991. № 4.
- Чухонцев О.* Похвала Семену Липкину // Новый мир. 1995. № 10.
- Солженицын А.* Из «Литературной коллекции» // Там же. 1998. № 4.
- Бродский И.* // Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским / Вступ. ст. Я. Гордина. М.: Независимая газета, 1998. С. 54.
- Ипполитова Н.* Калмыкиана Семена Липкина. ПЛАЧ ПО ИЗГНАННИКАМ. Тема геноцида в творчестве С. Липкина // Теегин герл [Свет в степи]. 1999. № 8.
- Аверинцев С.* Ответственное свидетельство // Православная община. 1999. № 53.
- Рассадин С.* Липкин Семен Израилевич // Русские писатели 20 века. Биограф. слов. / Гл. ред. и сост. П.А. Николаев. М.: Большая рос. энциклопедия, Рандеву-АМ, 2000.
- Иванов Вяч.Вс.* Еще одно рождение Гильгамеша // Гильгамеш. СПб.: Пушкинск. фонд, 2001.
- Синельников М.* Таинственный хорист // Вестник Еврейского агентства. 2001. Сент. № 54 (1).

- Рассадин С.* Человек преодолевающий // Новая газета. 2001. 17 сент. № 67.
- Немзер А.* Праздник на Пушкинской улице // Время новостей. 2001. 19 сент. № 171.
- Гейзер М.* Тот, кто родился, – не умрет. Размышления о жизни и творчестве С. Липкина // Лехаим. 2002. Май. ИЯР 5762-5 (121).
- Харитонов М.* Стенография конца века. Из дневниковых записей. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 78, 107, 108, 130, 238, 253, 264, 416–421.
- Эпос «Манас» как фактор культурной интеграции XX века: Материалы юбилейных чтений, посвященных 90-летию поэта и переводчика С.И. Липкина и 55-летию выхода книги «Манас. Великий поход» / Отв. ред.-сост.: А. Какеев, И. Исамидинов, В. Шаповалов. Бишкек: КГНУ, 2002. 112 с.
- Немзер А.* «Исполнен долг, завещанный от Бога» // Время новостей. 2003. 2 апр. № 58.
- Рассадин С.* Человек преодолевший // Новая газета. 2003. 7 апр. № 24.
- Солженицын А., Солженицына Н., Искандер Ф., Чухонцев О., Кублановский Ю, Аннинский Л., Иванова Н.* Памяти Семена Липкина // Литературная газета. 2003. 9–15 апр. № 14 (5919).
- Бек Т.* Татьяна Бек о Семене Липкине. Беседу вел Семен Резник // Вестник. 2003. 30 апр. № 9 (320).
- Полищук Р.* Бесконечное мужество преодоления // Вестник. 2003. 10 дек. № 25(336).
- Рассадин С.* Преодолевающий, преодолевший // Рассадин С. Книга прощаний: Воспоминания о друзьях и не только о них. М.: Текст, 2004.
- Лиснянская И.* На крылечке // Иерусалимский журнал. 2006. № 22.

Рецензии на книги С. Липкина

Строки мудрых, 1961.

Лейтес А. Искусство поэтического перевода // Литературная газета. 1961. 21 сент.

Очевидец, 1961

Кулиев К. Чем продолжительней молчанье // Новый мир. 1967. № 12.

Рожденный из камня, 1974.

Рассадин С. С. Липкин. Рожденный из камня // Новый мир. 1974. № 10.

- Тетрадь бытия*, 1977.
Нерлер П. Страницы жизни // Памир. 1977. № 12.
- Воля*, 1981
Горбаневская Н. «Это плакало сердце России...» // Русская мысль. 1981. 22 окт. № 3383.
- Декада*, 1990.
Егоров А. Время и декада // Литературная газета. 1989. 6 сент.
Нерлер П. История и лира // Знамя. 1990. № 7.
Рассадин С. «Кровь» рифмуется с «любовь» // Вопросы литературы. 1990. № 2.
- Письмена*, 1991.
Немзер А. Лес. Степь. Свет // Новый мир. 1992. № 7.
- Перед заходом солнца*, 1995.
Полищук Д. «Их внутренним обогащенный зреньем» // Книжное обозрение. 1995. 14 нояб. № 46.
- Вторая дорога*, 1995.
Беляев А. (Щуплов А.) «Поверх барьеров нижнего чутья» // Там же.
- Квадрига*, 1997.
Кублановский Ю. Квадрига // Новый мир. 1997. № 9.
- Посох*, 1997.
Урицкий А. Порог – это только начало // Exlibris-НГ. 1997. 16 окт. № 17.
- Семь десятилетий*, 2000.
Кублановский Ю. Поэтическая Евразия Семена Липкина // Новый мир. 2000. № 7.
Ермолин Е. Страдающее эхо // Знамя. 2000. № 11.
- Гильгамеш*, 2001.
Крючков П. Книжная полка Павла Крючкова // Новый мир. 2002. № 3.
Петров М. О давней истории из разряда «популярных» // Знамя. 2002. № 3.
- Воля*, 2003.
Давыдов Д. Диалоги со смертью. Два поэта, которые «просто есть» // Время новостей. 2003. 2 апр. № 58.
Репина Н. Семен Липкин. Воля // Знамя. 2004. № 3.
Крючков П. Книжная полка Павла Крючкова // Новый мир. 2004. № 12.

Составил Д. Полищук

Contents

<i>Editor's Foreword</i>	9
Semion Lipkin	
<i>About Osip Mandelshtam</i>	
«And coal flamed ...». <i>Memoirs</i>	13
The Moldavian Language.	36
<i>Poem not included in collections</i>	37
<i>Articles and talks</i>	
Translator's note (Jangar. The traditional epic poem of the Kalmyk people)	101
The etchings of "The Jangariad"	105
"The Russian Christian Movement's Herald" Questionnaire for Anna Akhmatova's Centennial (1889–1966)	109
Kataev and Odessa	110
Culture is immortal	120
On Yulia Neiman's poems	123
"Overcome the page's temptation" (on Pavel Nerler's poems)	124
One's own life is a treasure	126
A holiday	142
About my memoirs	143
Hitler's Spirit overcame Stalin's spirit. Pondering the Victory Day	146
When I was vacationing in Maleevka	147
Once upon a time in "Znamya"	151
<About Kaverin. For His Centennial >	155
I worked off my happiness with more than my poems	156
I danced the lezginka	159
Notes from workbooks	160
An opinion. <i>Inna Lisnyanskaya</i>	163
<i>Correspondence excerpts</i>	
"Kindness is the true power" (Two letters by Vasily Grossman)	166

S.I. Lipkin's letter to L.K. Chukovskaya	169
S.I. Lipkin and A.A. Akhmatova.	
From the history of their relations	172
The image and pressure of time. An open letter	175
S.I. Lipkin's letter to M.V. Favorskaya	180
S.I. Lipkin's letter to E. Makarova	181
From the correspondence with A.I. Sozhenitsyn	192

Interviews

I wanted to convey the music of the Kyrgyz poetry.	
<i>A conversation with Valery Rovinsky</i>	195
"The poems write themselves."	
<i>An interview by Dmitry Polishchuk</i>	201
Today's authorities are not interested in literature. That's good.	
<i>An interview by Irina Tosunyan</i>	210
Let's have a smoke, Semion Izrailevich.	
<i>An interview by Iunna Chuprinina</i>	218
Art does not know old age.	
<i>An interview by Olga Postnikova</i>	225
Remembering Andrey Tarkovsky.	
<i>A conversation with A.N. Krivomazov</i>	248
"I was born in the tsarist time, and I had nine years of a decent life".	
<i>An interview by Ekaterina Varkan</i>	258
We are poor heirs of a great literature.	
<i>An interview by Lisa Novikova</i>	268
"I often advised to remove something or to expand something to the people whose works I translated."	
<i>An interview by Elena Kalashnikova</i>	270
From a mountain top. <i>An interview by Lev Aleinik</i>	276
Overcoming the time. <i>An interview by Yan Shenkman</i>	281

About Semion Lipkin

Portraits and testimonies

<i>Sergei Averintsev</i> . A responsible testimony	287
<i>Vasily Aksenov</i> . "God and Truth breathe in his poems"	289
<i>Iosif Brodsky</i> . "I think he is a wonderful poet"	289
<i>Mark Vatagin</i> . "Get rid of Lipkin, I don't want to part with my party membership card because of him"	290
<i>Matvei Geiser</i> . The one who is born will not die	295
<i>Natalya Ivanova</i> . "Blessing the remaining days..."	304
<i>Aleksandr Krivomazov</i> . Meetings with Semion Lipkin	309

<i>Pavel Kriuchkov</i> . A lantern	313
<i>David Kugultinov</i> . About Lipkin	321
<i>Inna Lisnyanskaya</i> . On the stoop	323
<i>Elena Makarova</i> . The victor	341
<i>Vladimir Moshchenko</i> . "Pal, we're dialing wrong numbers"	347
<i>Pavel Nerler</i> . The last will	356
<i>Vadim Perelmuter</i> . Fragments about Lipkin	363
<i>Rada Polishchuk</i> . The endless courage of overcoming	373
<i>Stanislav Rassadin</i> . The one who was overcoming. The one who overcame	378
<i>Aleksandr Sozhenitsyn</i> . From "The Literary Collection"	393
<i>Mark Kharitonov</i> . From the diaries	398
<i>Oleg Chukhontsev</i> . A praise for Semion Lipkin	408

On the 90th birthday

From the speeches at the celebration of Semion Lipkin's 90th birthday at Bulat Okudzhava Museum in Peredelkino	420
<i>Lev Losev</i> . <Semion Lipkin>	426
<i>Andrey Nemzer</i> . A celebration on Pushkin Street	427
<i>Mikhail Sinelnikov</i> . A mysterious chorister	430

On the death

Semion Lipkin. In memoriam.	435
Andrey Nemzer. "The duty God decreed has been fulfilled" ...	436
Tatyana Bek. About Semion Lipkin. <i>An interview by Semion Reznik</i>	439

<i>Selected bibliography</i>	443
------------------------------------	-----

Semion Lipkin. "A coal flamed..." Remembering Osip Mandelshtam. Poems, articles, correspondence. About Semion Lipkin

The collection is dedicated to the memory of Semion Lipkin, a remarkable poet and translator. The collection includes Lipkin's own works (his reminiscences about Osip Mandelshtam, previously unpublished poems, selected letters). The book also includes articles and reminiscences about Semion Lipkin and his interviews.

For a broad readership.

Семен Липкин.

С30 «Угль, пылающий огнем...»: Воспоминания о Ман-
дельштаме. Стихи, статьи, переписка. Материалы о Семене
Липкине. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2008. 452 с.

ISBN 978-5-7281-0925-9

Сборник посвящен памяти замечательного поэта и переводчика Семена Израилевича Липкина. В книгу вошли произведения самого поэта – воспоминания об Осипе Мандельштаме, стихи, не входившие в авторские сборники, биографические материалы, избранные письма. Кроме того, представлены статьи и воспоминания о Семене Липкине, интервью с ним.

Для широкого круга читателей.

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)6я43

Научное издание

Семен Липкин

«УГЛЬ, ПЫЛАЮЩИЙ ОГНЕМ...»

Редактор

Т.Ю. Журавлева

Художественный редактор

М.К. Гуров

Корректор

Т.М. Козлова

Технический редактор

Г.П. Каренина

Компьютерная верстка

Г.И. Гаврикова

Подписано в печать 29.09.2008
Формат 60×90¹/₁₆
Усл. печ. л. 28,5. Уч.-изд. л. 29,0.
Тираж 500 экз.
Заказ № 241

Издательский центр
Российского государственного
гуманитарного университета
125993 Москва, Миусская пл., 6



9 785728 1109259